

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

2000

1

2000

«НОВОМУ МИРУ» — 75 ЛЕТ!

В 2000 ГОДУ ВЫЙДЕТ В СВЕТ 900-Й НОМЕР ЖУРНАЛА.

**В 2000 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Т. ТВАРДОВСКОГО.**

**В 2000 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ
ОПУБЛИКОВАТЬ:**

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Горизонт семьи (о некоторых константах традиционного русского сознания);

МАРИНА АДАМОВИЧ (США). Сетевая проза — новый тип литературы (аналитический обзор);

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);

МИХАИЛ АРДОВ. Вокруг Ордынки (новые главы);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть);

АЛЕССАНДРО БАРИККО. 1900 (монолог; перевод с итальянского В. Николаева);

ИСАЙЯ БЕРЛИН. Полный текст одного из последних интервью;

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Купавна (повесть);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);

ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники 1980-х годов (из наследия);

БОРИС ЕВСЕЕВ. Отреченные гимны (роман);

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Культурно-политические статьи для рубрики «По ходу дела»;

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА. Литература после конца времен (статья);

ОЛЕГ ЛАРИН. Пятиречь (сцены из захолустной жизни);

БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Буква «А» (повесть);

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);

МАРИНА ПАЛЕЙ. Long Distance, или Славянский акцент (сценарные имитации);

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Ужас победы (повесть);

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. «Гамбургский счет»: возможность и действительность;

МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман); **Искусство не принадлежит народу** (бодрые мысли о грустных материях);

АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. НЕДО (автогеография);

А. СОЛЖЕНИЦЫН. Крохотки;

ИРИНА СУРАТ. Пушкинский юбилей как заклинание истории (опыт подведения итогов);

АЛЕКСЕЙ ТУРОБОВ. Америка — каждый день (из дневника писателя);

ВЛАДИМИР ТУЧКОВ. Русская коллекция;

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Путешествие с... (роман);

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ. Подьячий Василий Курбатов (повесть);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Музыка о перспективах для России и мира (три композиторских портрета);

ИГОРЬ ШАЙТАНОВ. Русская «метафизическая поэзия» после Бродского;

ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ. Город мертвых и город бессмертных (об эволюции образов Петербурга и Москвы в русской культуре XVIII — XX веков);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом (повесть);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, ЮРИЯ БУЙДЫ, МИХАИЛА БУТОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, НИНЫ ГОРЛАНОВОЙ, СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, АНАТОЛИЯ КИМА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ИРИНЫ ПОВОЛОЦКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АНТОНА УТКИНА;** стихи **МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ЕВГЕНИЯ КАРАСЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, МАРИНЫ КУДИМОВОЙ, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, ГЕНРИХА САПГИРА, МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА;** статьи, очерки, эссе **ПАВЛА БАСИНСКОГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЕНА ЗЛОБИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, МАРКА ФЕЙГИНА** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 1999 и 2000 годах: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: nmir@aha.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2000» (том 1, стр. 144, вверху). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость подписки на первое полугодие 2000 года — 210 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на первую половину 2000 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 198 рублей. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (ул. Бахрушина, 28), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира»
обращать внимание на обложку журнала.*

*За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется
только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»;
торговля журналами в голубой обложке не является законной.*

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1 (897)

Январь, 2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

М. А. — Юбилейная ода	7
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА — Последний коммунист, повесть	9
АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Огорчаться поздно! Стихи	62
ЛАРИСА МИЛЛЕР — И чувствую себя невозвращенкой. Мелочи жизни	68
МАРИНА ПАЛЕЙ — Long Distance, или Славянский акцент. Сценарные имитации	86
АРИАДНА ЭФРОН — ...В небе — сохатый бьет копытом... Публикация Р. Б. Вальбе. Послесловие Е. Эткинда	99

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

БОРИС ЕКИМОВ — Десять лет спустя	110
----------------------------------	-----

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА — Людская молвь и конский топ. Из записных книжек 1950 — 1990-х годов	124
СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — О духе времени и чувстве юмора	137

ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — И победителей судят	141
---------------------------------------	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ОТЕЦ БОРИС И МАТУШКА НАТАЛЬЯ. Протоиерей Борис Старк и Наталья Дмитриевна Старк вспоминают. Публикация Ю. В. Тихоновой. Послесловие протоиерея Михаила Ардова	147
---	-----

ОПЫТЫ

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН — Исход	173
----------------------------	-----

БЕСЕДЫ

НА ПОРОГЕ НОВЫХ ДНЕЙ. Главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский беседует с Юрием Буртиным, Мариэттой Чудаковой и Михаилом Новиковым	181
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЙ НЕМЗЕР — Замечательное десятилетие. О русской прозе
90-х годов 199

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Александр Гаврилов. Плюс к нам перфект 220
Дмитрий Полищук. «Она, должно быть, из Китая» 225
Наталья Маршалкович. О чудесах, которые не повторяются 230

Татьяна Касаткина. — I. Томас Венцлова. Свобода и правда. Сборник статей. II. МЕСНМВРІА. Българо-руски сборник в чест на Сергей Аверинцев 232

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА 237

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко) 242
Периодика (составитель Андрей Василевский) 245
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко) 252
SUMMARY 256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЖИГУЛИНА
С 70-ЛЕТИЕМ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА НОСОВА
С 75-ЛЕТИЕМ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
ГОСПОДИНА ОТТО ЗАГНЕРА,
ДИРЕКТОРА ВЕДУЩЕЙ НЕМЕЦКОЙ ФИРМЫ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«КУБОН УНД ЗАГНЕР»,
С 85-ЛЕТИЕМ,
ЖЕЛАЕМ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ,
НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3500 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Благотворительный Резервный Фонд выкупает с благотворительными целями 1500 экземпляров журнала «Новый мир» для их последующего бесплатного распространения среди неимущих читателей, а также для провинциальных библиотек.

ЮБИЛЕЙНАЯ ОДА

Се­миде­сяти­пя­ти­ле­т­ний
мла­де­нец вы­шел из пе­лен,
на­ве­тов не бо­ясь, ни сплет­ней,
не за­го­луб­лен, у­бе­лен
5 се­ди­на­ми, су­ров и ве­сел.

О­гонь из рас­па­лен­ных чре­сел
в по­ры­ве пра­вед­ном спер­ва
вспорх­нул — и го­ло­ву по­ве­сил,
но, встав на ме­сто, го­ло­ва
10 под­ъем­ле­тся на под­виг снова.

Пу­скай от Рож­дес­тва Хри­сто­ва
по­след­ний, на­ступая, год
ты­ся­че­ле­тия вто­ро­го
не­смет­ные да­ров и ль­гот
15 под­но­сит мно­же­ства на блю­де

с кай­мою го­лу­бой, во гру­де
ко­то­рых вы­би­рать воль­но,
вни­ма­ния на то, что лю­ди
не­смыс­лен­ные все рав­но
20 ре­кут, не об­ра­щая слиш­ком.

О но­вый мир! сво­им умиш­ком
жи­ви безоб­лач­но, презрев
писк, по­ле­вым присуш­ий мыш­кам,
и — л­ва­м ливий­ским срод­ный — рев, —
25 при всем не­сход­стве оба ди­ки.

Хва­ла Все­выш­не­му Вла­ды­ке!
про­ви­дя­ще­му на­перед:
за­чем вол­нуют­ся язы­ки,
о чем без­молв­ствует на­род,
30 ка­кая по­бе­дит идея.

О бла­ге под­лин­ном ра­дея,
Гос­под­ня дан­ница — борь­ба —
ни эл­ли­на, ни иудея,
ни вла­сте­ли­на, ни ра­ба
35 не раз­ли­чает на ши­ро­ком

про­стран­стве цар­ства, где про­ро­ком
один ста­но­вится из­гой;
пре­об­ра­жаясь не­на­ро­ком,
не­бес из­бран­ни­ком — дру­гой;
40 творит­ся пра­вед­ни­ком тре­тий.

Сквозь толщу двух тысячелетий
ты, новый мир, как старый миф,
из тесных выпутавшись нетей,
45 кору земную проломив,
возрос и вспыхнул пышным садом,

где горький плод и сладкий рядом,
где ум соседствуют и чушь,
как ночь со днем и жар со хладом, —
50 священной связи не нарушь!
единство сохраняя цели.

В начале мира, при конце ли —
всегда равнодушных муз
сладкоголосо хоры пели,
55 печалей облегчая груз;
на поиски пускаясь поза-

вчераших дней, из недр навоза
таскали жемчуг петухи, —
стихов рифмованная проза
и прозы вольные стихи
60 да не грозят тебе потопом!

Ямбическим четырехстопом
я возглашаю, не пою,
к обратным прибегая тропам:
тебе ли, новый мир — в бою
65 неторопливый вождь, невесте

жених нетерпеливый — вместе,
за: «Возродись или умри
для жизни вечной!» — не из лести
знамена, звезды, октябри,
70 народов дружбы пальму дали?

Так на суворовской медали
написано: «Сим победих!» —
без продолжения, но дале
развенчивает оду стих —
75 созвучный первому — последний.

М. А.



ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА



ПОСЛЕДНИЙ КОММУНИСТ

Повесть

Глава первая

ВОТ МЫ КАКИЕ!

1

Самолет свалился на голову — беззвучно выпал из низких немых облаков, растопырив, как кошка лапы, колеса шасси. Грузно ударившись о мокрый бетон, он взревел, жалуясь и страдая, но скоро замолк, помертвев, став просто железом.

Незамедлительно к его толстому боку прилепились два трапа, и по заднему стали спускаться немолодые, но стройные, хорошо одетые, с мягким загаром на лицах, улыбающиеся господа, которых дожидался внизу длинный аэропортовский автобус; передний трап оставался пустым. Тому, кто должен был выйти из открытой двери первого салона, предназначался стоящий прямо у трапа розовый «роллс-ройс», изящный и церемонный.

Но почему-то из первого салона никто не выходил...

За «роллс-ройсом» стоял огромный, черный, с тонированными стеклами, несколько зловещий «шевроле-субурбан». Рядом прохаживались и недружелюбно поглядывали по сторонам широкоплечие парни со стриженными затылками и устрашающе мощными шеями — все в черных двубортных костюмах. Поставив ногу на подножку «субурбана», что-то кричал в трубку мобильного их начальник — пожилой, седой, пунцоволицый. Он кричал и от крика еще больше пунцовел лицом.

А из первого салона так никто и не выходил...

Седой кричал, парни нервничали, напряжение росло. Только господа из второго салона продолжали улыбаться и смотреть на пустой трап, на парней, на «роллс-ройс». Иностранцы — они улыбались даже тогда, когда седой вдруг громко и хлестко выматерился...

И одновременно в темном овальном проеме появился тот, кого все ждали. Это был мальчик... И это ему предназначался розовый «роллс-ройс», и это его собирались охранять бравые секьюрити, и это к нему бежал Седой с невесть откуда взявшимся огромным букетом цветов в руках...

Выходил он как-то странно, боком, словно не желая этого делать, — его буквально выдавливал сзади здоровенный охранник с коротким ежиком рыжих волос, в маленьких черных очках.

Невысокий, хрупкий, он был очень красив, этот мальчик или, точнее, юноша, похожий на мальчика. Его можно было бы даже назвать смазли-

Залотуха Валерий Александрович родился в 1954 году в Тульской области. Закончил факультет журналистики МГУ и Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Автор сценариев более десяти художественных фильмов. Как прозаик дебютировал в «Новом мире» в 1992 году. Живет в Москве.

вым, если бы не глаза — не по годам серьезные и усталые. Он был одет в нелепую красную курточку с вышитыми золотом на нагрудном кармане тремя горными вершинами, в узкие короткие брюки и в большие, похожие на клоунские, ботинки.

Загадочный юноша задержался на верхней площадке трапа, вдохнул сырой, пахнувший жженым керосином воздух, криво улыбнулся и легко и беззвучно, словно полетел, побежал вниз.

2

За открывшимися воротами аэропорта их дожидался гайшный «форд». Включив проблесковые маячки и взыв сиреной, он повел «роллс-ройс» за собой. «Субурбан» шел последним. Сидящие в нем парни молчали, сжимая в руках черные автоматические винтовки.

Седой расположился в «роллс-ройсе» рядом с водителем в форменном черном кителе и такой же фуражке с лакированным козырьком. Расстегнув плащ и вытирая носовым платком лицо и шею, Седой шутил и сам же смеялся. Водитель, однако, оставался невозмутимым, ни на мгновение не отвлекаясь от дороги.

Молодой человек сидел в углу, маленький и неприметный. Из-за глухой прозрачной перегородки он не слышал шуток Седого, да они его, похоже, и не интересовали. В глазах молодого человека были усталость и безразличие.

Они не стали въезжать в Москву, но внимательно и молча смотрели на нее, пока Москва была видна: парни с винтовками, Седой, даже водитель «роллс-ройса» коротко глянул назад.

Москва была огромная, зловещая, живая.

А молодой человек смежил веки — Москва его не интересовала.

На Симферопольском шоссе гайшный «форд» сменила гайшная же «Волга», и они взяли направление на юг.

Время от времени молодой человек открывал глаза и равнодушно, бесстрастно смотрел в окно, за которым появлялись и исчезали в сереющем воздухе приметы убогой российской жизни: бесцветные поселки с черным дымом из трубы котельной, безлюдные, словно вымершие, деревни, бабы, торгующие по обочине чайниками, полотенцами и рыбой.

В одном месте их маленькая колонна сбавила скорость почти до нуля — на дороге горел, чадя, перевернутый автомобиль, сгрудились машины и озабоченные люди. Седой постучал в окно перегородки, стал показывать пальцем на происходящее и что-то кричать, радуясь аварии, как ребенок. Молодой человек лишь мельком взглянул туда, а потом внимательно посмотрел на Седого и усмехнулся краешками губ.

Ведомые меняющимися гайшными автомобилями, они мчались на юг всю ночь. Печальные среднерусские пейзажи сменились пустынными далями. Седой спал, уронив голову на грудь; молодой человек, напротив, оживился, пристально вглядываясь сквозь стекло в плоское безлюдное пространство...

3

На рассвете «роллс-ройс» и «субурбан» въехали в распахнутые ворота просторного «новорусского» имения. Напротив огромного и довольно безвкусного, с колоннами по фасаду, особняка в окружении многочисленной прислуги замерли его хозяева: муж и жена Печенкины, Владимир Иванович и Галина Васильевна.

Он, большой, сильный, в ярком спортивном костюме, стоял босиком на росной холодной траве.

Она была одета элегантно и со вкусом в костюм неопределимого цвета и выглядела так, будто сейчас здесь не рассветное утро, а званый вечер, светский прием.

В его глазах были радость и веселье, в ее — грусть и даже немного печаль.

— Мама, — прошептал мальчик, выскочил из остановившейся машины и стремительно побежал к женщине. Они обнялись.

— Мальчик... Илюшенька... Малыш... — шептала Галина Васильевна, и из ее красивых с длинными ресницами глаз выкатились две прозрачные слезы.

— Ну что ты, мать, сырость тут развела, — добродушно пробасил Владимир Иванович, взял сына за плечи, притянул к себе и взглянул в глаза. Мальчик смотрел в ответ прямо и внимательно. И вдруг отец подхватил его под мышки, как малое дитя, подбросил в воздух и закричал:

— А вот мы какие! Смотрите! Завидуйте! Мы — Печенкины!

И тряс, тряс мальчика, словно большую тряпичную куклу.

— Володя! — взволнованно воскликнула Галина Васильевна. — Пусти, ты его покалечишь!

— Не покалечу! — засмеялся Владимир Иванович. — Он сам еще меня покалечит! — Но послушался — поставил сына на землю.

Вздохмаченный, красный, растрепанный, молодой человек был растерян и удивлен. А тем временем его обступила со всех сторон многочисленная прислуга; наклонив головы и вытянув шеи, улыбаясь любовно и подобострастно, садовники и кухарки, официанты и парикмахеры, массажисты и экстрасенсы громко наперебой приветствовали долгожданного молодого хозяина:

— Здравствуйте, Илья Владимирович!

— С приездом, Илья Владимирович!

— Устали небось с дороги, Илья Владимирович!

— В гостях хорошо, а дома лучше!

— Илья Владимирович...

Юноша вертел головой, улыбался, кивал, вежливо отвечая на каждое приветствие, но его растерянные глаза искали при этом лазейку в плотном кольце обступивших его людей. Что-то взорвалось неподалеку, гулко хлопнуло в утреннем сыром воздухе, и мальчик вдруг так испугался, что даже подпрыгнул на месте. Отец захохотал, тыча в него пальцем, окружающие тоже засмеялись, и только мать, испуганно вздрогнув, прижала ребенка к себе. Он улыбался, как улыбаются дети, когда вот-вот заплачут.

Тем временем все вокруг закричали «ура», и громче всех кричал хозяин дома. Взрыв, который так напугал мальчика, был первым залпом фейерверка, специально устроенного в честь его приезда. Вылетая из травы, хвостатые ракеты стремительно взмывали в белое небо и с резким треском разлетались там огненными брызгами. Фейерверк увлек всех, кроме мальчика. Он нахмурился и громко и сердито произнес вдруг короткое, непонятное слово:

— НОК!

Никто его, однако, не услышал, даже мать — она тоже смотрела на небо и, как все, была увлечена фейерверком.

Молодой человек, Илья Владимирович Печенкин, вернулся на родину после шести безвыездных лет жизни в Швейцарии, где учился в элитнейшем колледже «Труа сомэ», что в переводе означает «Три вершины».

Глава вторая

ЛЮБИЛ ПОД КРОВАТЬ ПРЯТАТЬСЯ

Сославшись на дорожную усталость, Илья сразу лег спать, родители же не ложились. Они сидели в полутемной спальне, с трудом помещаясь вдвоем на узком низком диванчике, и с умилением и гордостью смотрели на спящее свое чадо. Видимо, от избытка чувств отец положил вдруг ла-

донь на колено матери и стал медленно поднимать юбку, но Галина Васильевна решительно остановила это неуместное и несвоевременное действие, крепко ухватив мужа за запястье. Впрочем, она нисколько не обиделась, а даже прижалась к его сильному жилистому плечу.

— Он такой остроумный, — зашептала Галина Васильевна. — Я спросила: «Что ты любишь больше всего?» Знаешь, что он ответил? «Ленина и пепси-колу...» — Она улыбалась и смотрела на мужа, ожидая его реакции.

— Новое поколение... — прокомментировал Печенкин и пожал плечами.

Как большинство мужчин, он не умел разговаривать шепотом — получалось громче, чем если бы он говорил в полный голос. Галина Васильевна сделала круглые глаза, Владимир Иванович виновато втянул голову в плечи.

— Я только одного боюсь, — взволнованно зашептала мать. — Он совсем не говорит о девушках.

— Ну и что? — удивился Печенкин. — Какие его годы? Я только после армии гулять начал.

— Тогда было другое время. А сейчас... Ты помнишь, что мы видели с тобой в Сан-Франциско? Этот ужасный парад...

Владимир Иванович повернулся к жене, посмотрел на нее и с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться:

— Да ты чего, Галь? Мой сын? Печенкин?

Галина Васильевна смущенно улыбнулась и зашептала:

— Нет, все-таки хорошо, что мы живем в Придонске и до нас эта зараза еще не дошла...

Илья зашевелился, поворачиваясь лицом к стене, и родители замолкли, вглядываясь и вслушиваясь.

Сын спал, как спят малые дети, придавив щекой сложенные ладони, но дышал как взрослый — ровно и глубоко.

Родители переглянулись.

— А я его спрашиваю: «Ты выучил?..» — начал рассказывать Печенкин, но жена перебила:

— Что выучил?

— Латынь... Латынь выучил?

— Выучил, все выучил, — успокоила мужа Галина Васильевна. — Два стихотворения в день...

— Что — два стихотворения в день? — не понял он.

— Когда Илюша был маленький, я заставляла его выучивать два стихотворения в день. Помнишь? Одно утром, другое вечером. Еще при поступлении в «Труа сомэ» они мне сказали: «У вашего мальчика феноменальная память». Знаешь, что я им ответила?

Печенкин остановил на жене вопрошающий взгляд.

Галина Васильевна улыбнулась, глянула гордо и победно и повторила то, что сказала шесть лет назад, с удовольствием процитировав себя:

— Я знаю.

Печенкин кивнул. Возникла пауза. Ребенок дышал ровно и глубоко.

— А помнишь, как он взял моду нас пугать? — зашептала Галина Васильевна. — Годика четыре ему было... Идешь, а он из-за угла — гав! Я так пугалась. Помнишь?

Владимир Иванович напряг память и честно признался:

— Чего-то забыл...

— Ну вот, — расстроилась Галина Васильевна. — Ты же его и отучил. Сам на него из-за угла гавкнул. А он так испугался! Реву было... Зато больше уже никогда не пугал. Помнишь?

— Кажется, помню, — смущенно соврал Печенкин. — Я зато помню, как я за ремень взялся — он мою электробритву раскурочил, — я за ремень, а его нету! Как сквозь землю провалился... Ищу-ищу — нету! А он,

оказывается, под кровать спрятался, засранец! Любил под кровать прятаться... Вот засранец...

Галина Васильевна поморщилась и попросила:

— Володя!

Печенкин, улыбаясь, мотнул головой — еще раз переживая то забавное происшествие, и взглянул на часы.

— Все, пора вставать, — решительно проговорил он. — День очень насыщенный. — Подумал и повторил свою мысль: — Насыщенный день.

Галина Васильевна взяла ладонь мужа в свои ладони:

— Ну еще минуточку, Володя! Вспомни, что значила в детстве лишняя минуточка сна...

Владимир Иванович подумал, вздохнул, видимо вспомнив, что значила в детстве лишняя минуточка сна, и кивнул, соглашаясь.

И они продолжали сидеть на неудобном низком диванчике, прямые и счастливые, наблюдая лишнюю минуточку сна своего единственного дитяти.

Наверное, Владимир Иванович и Галина Васильевна очень удивились бы, если бы узнали вдруг, что сын их вовсе и не спит... Илья не спал. Глаза его были открыты. Что-то он там думал...

Глава третья

НАСЫЩЕННЫЙ ДЕНЬ

1

День, как и обещал Владимир Иванович, оказался насыщенным и напоминал сказочное путешествие Кота в сапогах и короля, с той лишь разницей, что Печенкину не приходилось обманывать сына, это были и впрямь его владения: фермы, гигантский элеватор, три завода, две фабрики, четыре банка и центральный офис компании «Печенкин», расположенный в самом высоком в Придонске здании — двадцатипятиэтажном небоскребе. Но было еще одно отличие этого путешествия от того, сказочного: если король, помнится, беспрестанно восхищался виденным, то молодой Печенкин молчал и смотрел на богатства отца холодно и бесстрастно. Впрочем, Владимира Ивановича подобная реакция не обижала, он ее не замечал, сам радуясь как мальчишка. И когда их черный бронированный «мерседес» в сопровождении «субурбана» с охраной остановился на краю придонского аэродрома, он первым выскочил из машины и, как фокусник из художественной самодеятельности, громко и весело крикнул:

— Оп-ля!

Среди ржавеющих «кукурузников» и вертолетов без лопастей особенно выделялся белоснежный красавец «фалькон» — личный самолет Печенкина. Под стать самолету был и летчик: в белой, очень элегантно, не нашей форме, белокурый, голубоглазый, здорово смахивающий на аса германских «люфтваффе» времен Второй мировой.

Владимир Иванович обнял сына за плечо и крепко прижал к себе:

— Полетим, Илюха! Сядем и полетим! Куда душа попросится... Я его буквально неделю назад купил. Хотел за тобой в Швейцарию послать, но Москва не разрешила.

— Необходим полетный сертификат и предварительно оформленное разрешение на полет, — объяснил стоящий рядом секретарь-референт Печенкина по фамилии Прибыловский, тридцатилетний примерно господин безупречной внешности и безукоризненных манер. Речь его была ясной и четкой, взгляд твердым.

Печенкин отмахнулся, помрачнев:

— Знаю я их сертификат, мироеды московские! Копают все под меня! — Он вновь улыбнулся и обратился к сыну: — А летчика я выписал прямо из Германии. Летчик должен быть немецкий. А знаешь почему? Они детям рулить не дают! — Печенкин захохотал и хлопнул летчика по плечу: — Ну что, Фриц, полетим Москву бомбить?

— Ja, ja, — отвечал улыбаясь немец.

— Я, я, — удовлетворенно повторил Владимир Иванович и задумчиво посмотрел на сына, который оставался равнодушным и к этой восхитительной и дорогой игрушке.

2

Последним в деловой части программы насыщенного дня был док ПСЗ — Придонского судостроительного завода, который с недавних пор стали называть Печенкинским судостроительным.

Ветер поднимал волну, полоскал трехцветные флаги, рвал и разносил над сотнями скучившихся внизу людей речь Печенкина, лишая ее смысла, но оставляя то, что в подобной ситуации может быть важнее смысла, — интонацию.

Интонация была торжественной:

— Я-а-а-я-я!

— Я-а-а-я-я!

— Я-а-а-я-я-я-я!

Илья стоял неподалеку от отца в плотной толпе почетных гостей. Высокая деревянная трибуна, специально для них построенная, была довольно хлипкой, поскрипывала и даже как будто покачивалась. Никто этого, впрочем, не замечал. Все улыбались, горделиво глядя то вниз, то вдаль, и только Илья напряженно прислушивался к еле заметным колебаниям трибуны. Кажется, он боялся...

Картинно подержав в руке привязанную за горлышко бутылку шампанского, Владимир Иванович отпустил ее, и, описав полукруг, бутылка расплылась пенным пятном на борту новенького танкера типа «река — море». Танкер назывался «Придонский-1». Он медленно сполз в воду, все закричали «ура», а стоящие внизу стали подбрасывать в воздух монтажные каски.

— А теперь нравится?! — заорал Печенкин, обращаясь к сыну, принимая испуг в его глазах за восторг.

Военный оркестр заиграл российский гимн.

Владимир Иванович послушал немного, вздохнул и озабоченно поделился:

— Гимн у нас, конечно... Слов нет, да и мелодия не очень...

Но тут же широко улыбнулся, давая понять, что дело это поправимое, все в наших руках, подмигнул и предложил:

— Ну а теперь поехали уху хлебать! Царская! С дымком...

Глава четвертая

НАСЫЩЕННЫЙ ДЕНЬ

(Продолжение)

1

Великолепный белый катер с высокой кормой и горделиво вздернутым носом, на котором было написано «Надежда», разрезал надвое фарватер Дона. На носу стояло счастливое семейство Печенкиных. Владимир Иванович выдвинулся вперед, смело подставляя грудь прохладному напорис-

тому ветру. Галина Васильевна пряталась за спиной мужа и крепко прижимала к себе сына, заботливо обернув его своей теплой кофтой.

Печенкин повернул голову к жене:

— Я тут историю слышал... Не понял только, анекдот это или правда. Мужу одному врач сказал, что у него гастрит, а тот пришел домой и повесился...

— Конечно, анекдот. Кто же вешается от гастрита? — объяснила Галина Васильевна и улыбнулась. — Наш папа, Илюш, как был мальчишкой, так им и остался. Знаешь, что он подарил мне на двадцатилетие нашей супружеской жизни? Кинотеатр! Причем точно такой же, в каком мы однажды познакомились. Он там сидел лужгал семечки и плевал на пол...

Печенкин глянул озорно на Илью:

— А она сделала мне замечание!

— С этого все началось. — Галина Васильевна крепче прижала к себе сына. — А теперь, Илюш, каждую ночь после работы он смотрит там один и тот же фильм...

— Ну, допустим, не каждую, — не согласился, защищаясь, Печенкин.

— Каждую, каждую... — настаивала Галина Васильевна.

— А если я так отдыхаю! — перешел в наступление Владимир Иванович. — Расслабляюсь! — Он повернулся, сделал в сторону сына шутливый выпад, как если бы в его руке был нож, и крикнул: — Если ты обманешь Джагу, ты получишь это!

Галина Васильевна отступила на шаг, увлекая за собой сына. Печенкин захохотал, катер взвыл сиреной, подходя к причалу Тихой заводи, которая тоже была территорией печенкинского имения. Дом, куда утром приехал Илья, стоял наверху на крутояре и смотрелся издали гораздо лучше, чем вблизи.

На широком песчаном, переходящем в луг берегу былолюдно. Посредине возвышался яркий шатер, рядом стояли покрытые белыми скатертями столы. Чуть в отдалении горел костер, над костром висел большой закопченный котел. Суетились, сновали многочисленные официанты в белых сорочках с черными бабочками.

— Уха готова? — первое, что, ступив на берег, спросил Печенкин мгновенно окруживших его людей.

— Готова, Владимир Иванович, остался дымок! — доложил, улыбаясь, дородный розовощекий повар в белоснежном кителе и в таком же белоснежном башнеподобном колпаке.

Печенкин развел руками и воскликнул:

— А вот это мое!

Происходящее напоминало известную картину, на которой окружение Петра I с трудом попевало за своим стремительным лидером: на каждый шаг Печенкина приходилось три-четыре шажка всех остальных. Его приветствовали на бегу, подобострастно шутили и обращались с просьбами — и, хотя Владимир Иванович никого не слушал и не слышал, его все равно приветствовали, подобострастно шутили и обращались с просьбами.

— Отдыхаем культурно! Весело, но без мордобоя! — шутил Печенкин под общий чрезмерный смех и раздевался на ходу: шелковый черный пиджак, яркий галстук от Версаче, полотняная белая сорочка — все это подхватывали на лету случайные люди слева и справа, и только большой пистолет в мягкой кожаной кобуре мгновенно очутился в руках Седого.

У Печенкина была крепкая, в жесткой рыжеватой шерсти грудь и чуть расплывший живот.

— Патрик Лесаж, Владимир Иванович, журнал «Экспресс». Вы обещали интервью. Завтра он улетает, — напоминал, убеждая, спешащий рядом Прибыловский.

Печенкин глянул вбок и вниз и обнаружил там иностранца — в джинсах и свитере, мелкого, с грязными волосами, прыщеватым лицом и не-

здешними глазами. Чужак посмотрел вызывающе и требовательно и что-то залопотал. Владимир Иванович поморщился и обратился к референту:

— Какая это страна?

— Франция, — доложил Прибыловский.

Печенкин усмехнулся.

— Как говаривал мой друг Желудь, Франция — последняя великая нация, которая думает, что она последняя великая нация. — Он засмеялся, и все, кто были вокруг, тоже засмеялись, хотя многие и не расслышали остроу.

Прибыловский сдержанно улыбался. Француз смотрел снизу нахально и зло.

— Он мой друг, Владимир Иванович, — сказал Прибыловский.

Печенкин пожал плечами, сдаваясь:

— Ну если друг... Мужская дружба для меня святое. Вообще-то я интервью не даю, зарекся. Перевертут все, ходишь потом как оплеванный. Ваши еще любят про уборные писать, уборные у нас грязные... Дались им эти уборные... Всем отказываю! Японцам только не отказываю. Эти так напишут, что никто не прочтает. — Владимир Иванович снова засмеялся, и снова засмеялись следом все вокруг.

Прибыловский сказал что-то француз по-французски и вновь обратился к Печенкину:

— Господин Лесаж готовит большую статью о философии нового русского бизнеса, точнее даже, о его идеологии...

— Идеология? — перебил Печенкин, еще больше оживляясь. — Идеология — это не ко мне. Это вон к губернатору. Он на идеологии собаку съел, двадцать лет просидел на идеологии.

Владимир Иванович говорил, глядя на приближающегося мокрого усатого мужика в красных растянутых плавках, который прижимал к груди, держа за жабры, здорового, бьющего хвостом сазана.

— Вернулась рыба в Дон, Иваныч! — сипло кричал на ходу губернатор. — На простой шестиметровый бредень взяли! — Подбежав, он бросил добычу к ногам Печенкина.

Владимир Иванович захохотал:

— Да ты замерз как цуцик, Павел Петрович! Погрейся хоть маленько...

Губернатор замотал головой:

— Не, Иваныч, когда рыба идет, я сам не свой! — Он махнул рукой и побежал к воде, где дожидались его жалкие замерзшие подчиненные с бреднем.

Следующую остановку Печенкин сделал у костра, рядом с которым выстроились официанты; шеф-повар протянул ему специально приготовленный обугленный, дымящийся кол, держа его за обернутый белоснежной салфеткой конец. Сделавшись вдруг очень серьезным и сосредоточенным, в мгновенно наступившей тишине Владимир Иванович поднял кол над головой и медленно, торжественно и строго перпендикулярно погрузил его в котел с ухой.

— Вот теперь с дымком! — победно воскликнул он, и все вокруг закричали, причем не только «ура», но и, так как здесь было довольно много молодежи, новомодное, на американский манер «вау».

Торжественная часть на этом, однако, не закончилась. Печенкин подошел к микрофону и, подозвав взглядом стоящих неподалеку жену и сына, заговорил:

— Когда шесть лет назад мы с моей женой отправили нашего сына в Швейцарию, в знаменитый колледж «Три сома»...

— «Труа сомэ», — с улыбкой на устах поправила мужа Галина Васильевна, но он весело и смущенно отмахнулся:

— Это я никогда не запомню... «Три сома»!

Вокруг засмеялись, глядя то на мужа, то на жену.

— Ну вот — сбила! — укорил Печенкин Галину Васильевну, вспоминая, о чем же он говорил. — Да! И я сказал ему: «Ты вернешься, когда выучишь латынь! Ты будешь единственным человеком в Придонске, кто знает латынь». Это не блажь, это, если угодно, принцип. Я позвонил ему туда и спросил: «Латынь выучил?» Он сказал: «Да». Я сказал: «Возвращайся». Меня сейчас не интересует, что он знает три языка, экономику, право и все такое прочее, меня интересует латынь!

Владимир Иванович замолчал и улыбнулся. Все были явно заинтригованы, кроме, быть может, Ильи — тот стоял спокойный и бесстрастный, как будто не о нем шла речь.

— Сейчас мы проведем экзамен! — выкрикнул вдруг Печенкин. — Проверим, как он ее там выучил...

Мгновенно возникший рядом Прибыловский протянул старинный кожанный фолиант с блеклым золотым тиснением.

— Я эту книжечку специально для сегодняшнего дня на аукционе «Сотбис» купил, — объяснил Печенкин. — За сколько — не скажу, все равно не поверите. Это Плиний Младший. Жил в первом веке новой эры, писал исключительно на латыни, тогда, между прочим, все на латыни писали. И вот... Я открываю страницу... Любую... Наугад... И строчку... Тоже любую... Ну-ка, сынок, читай! Вот от сих и до сих!

Печенкин куражился, но, кажется, уже не из желания повеселить публику, а от волнения за сына.

Илья взял фолиант и, всматриваясь в выцветший старинный шрифт, стал читать по-латыни — негромко, глухо, монотонно. Ветер стих, и непонятная тревога посетила вдруг Тихую заводь, легкое волнение коснулось душ слушающих — мертвый, таинственный, опасный язык... Эхом разносились над придонскими далями непостижимые слова:

— ...Timere potes... potes... potes...

...sed omnes timent... timent... timent...

...dolores mortis... mortis... mortis...

— А теперь переводи! — выкрикнул Печенкин, обрывая сына на полуслове.

Илья послушно кивнул и стал переводить, запинаясь, коротко задумываясь, тихо и глухо:

— «Я не боюсь тебя, лукавый царь Парсена, — воскликнул Муций Сцевола.

— Меня ты можешь не бояться, но все боятся смерти. А пуще боятся смертных мук! — сказал Парсена и захохотал.

— Я смерти не боюсь! — с этими словами отважный юноша опустил руку в пылающий очаг.

— Ну что ж, посмотрим, — воскликнул царь, но первым закричал от страха. И ужаса».

Илья замолчал и поднял на отца глаза.

Судя по этому взгляду, он был готов к любому, самому невыносимому экзамену. Печенкин смотрел на сына с благодарным восторгом. Галина Васильевна прикладывала к уголкам глаз сложенный мышкой платочек. Гостям не терпелось аплодировать — громко, от души, но, глядя на застывшего, похожего на статую Печенкина, они пока не решались. Владимир Иванович пошевелился, расправил плечи, посмотрел на стоящих вокруг людей. Благодарный восторг в его глазах сменился победным бешенством.

Резко наклонившись, он вырвал из земли здоровенный булыжник, поднял его над головой и закричал так, что на шее вздулись синие, в палец толщиной жилы:

— Это камень! Он мертвый, но я возьму этот камень и положу его в фундамент, а на этом фундаменте построю дом! Самый прекрасный дом! Сегодня мертвое рождает живое!!

Печенкин бросил камень к ногам, и вот тут все наконец зааплодировали...

2

Мать и сын Печенкины не участвовали в общем празднике поедания ухи с дымком, а удалились ото всех на дощатый настил купальни под свисающие ветви ив. Галина Васильевна стояла на самом краю у воды, Илья за ее спиной полуприсел на деревянное перильце.

— Это мое заветное место, — говорила Галина Васильевна, глядя вдаль. — Сюда я прихожу в минуты радости и печали. Душа моя здесь отдыхает. — Она раскинула руки и заговорила громко и возвышенно, как актриса на сцене: — Отчего люди не летают! Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Когда стоишь на горе, так тебя и тянет. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела!

Галина Васильевна засмеялась вдруг, повернула голову и, ласково глядя через плечо на сына, объяснила:

— В юности я мечтала стать актрисой, учила классические монологи, и некоторые так и остались в памяти...

Кажется, Илье это было не очень интересно, он сделал нетерпеливое движение, чтобы что-то сказать, но перильце вдруг треснуло, ломаясь, и он чуть не упал в воду.

— Ах! — воскликнула Галина Васильевна, подскочила к своему ребенку и прижала его к себе.

— Русская работа, — негромко проговорил Илья, выбираясь из материнского объятия.

— Боже, как я испугалась... — прошептала Галина Васильевна.

— Русь-ская рапота, — повторил Илья громко, презрительно и почему-то с сильным эстонским акцентом.

— Боже, как я испугалась! — воскликнула мать, успокоившись, и, взяв сына за плечи, направила его к берегу. — Пойдем отсюда, Илюшенька. Здесь прохладно, ты можешь простудиться.

Мать и сын шли вдоль берега, когда к их ногам подкатился мяч — несколько молодых людей играли неподалеку в волейбол. Отделившись от компании, за мячом бежала красивая юная девушка в купальнике, с длинными, почти до пояса, распущенными волосами. Илья поднял мяч и бросил ей, девушка поймала, улыбнулась и сделала книксен.

— Здравствуйте, Галина Васильевна! — широко улыбаясь, поприветствовала она маму Илья.

— Здравствуй, Дашенька, — отозвалась Галина Васильевна. — Ты не простудишься? Ветер холодный.

— Что вы, Галина Васильевна, тепло! — не согласилась девушка и, коротко, робко посмотрев на Илью, побежала.

— Тепло, — грустно улыбнувшись, повторила Галина Васильевна, глядя вслед убегающей девушке, и обратилась к сыну: — Это Дашенька Канищева. Правда хорошенькая? Очень порядочная девушка. Ее папа владеет городскими прачечными, химчистками и банями. Как остроумно выразился наш папа: «Самый чистый бизнес». Правда смешно?

— Мама, я хочу в город, — неожиданно громко и требовательно заявил Илья, сказав, похоже, то, что помешало ему сказать сломавшееся перильце купальни.

— В город? — удивилась Галина Васильевна. — В какой город?

— В наш Придонск.

Склонив голову набок, Галина Васильевна улыбнулась:

— Как это хорошо, что ты назвал Придонск нашим... Меня просто выводит из себя, когда я слышу — «эта страна... этот народ...». Это наша страна! Это наш народ!

3

Француз сидел по-турецки. Безупречный Прибыловский — на корточках. Печенкин по-разински полулежал на большом узорчатом ковре и деревянной ложкой хлебал из глубокой глиняной миски уху. За его спиной неподвижно стоял официант с перекинутой через согнутую в локте руку салфеткой.

— Идеология у меня одна. Работать! Пахать! Вкалывать! Вот и все... — Печенкин замолчал и задумчиво улыбнулся: — Но вот что интересно... Раньше думалось: будут людям хорошо платить — будут хорошо работать. Ни фиги! Тот, кто за копейки раньше вкалывал, тот и за большие деньги сегодня точно так же вкалывает. Ему, в принципе, все равно. А кто был лентяем, тот лентяем и останется, хоть сколько ему плати. Так вот: любит человек работать — он для меня существует. Не любит — я его в упор не вижу! А все остальное, как говорится, от лукавого. Национальность, вероисповедание и все такое прочее... У меня в совете директоров — чеченец и два еврея...

— Три, — неожиданно уточнил Прибыловский.

— А кто третий? — обратился к нему Печенкин.

— Уралов. У него объявился отец. Живет в Израиле.

— Уралов — еврей? — на мгновение удивился Печенкин, но тут же согласился: — Ну, еврей так еврей. — И, глянув через плечо на официанта, попросил: — Будь другом, налей еще. И сомятинки побольше положи.

4

Грустно и нежно смотрела Галина Васильевна издали на своего супруга. Размахивая деревянной ложкой, Печенкин философствовал перед вникающим французом. Прибыловский с трудом успевал переводить. Одновременно Галина Васильевна разговаривала с сыном:

— Русские женщины, Илюша, лучшие в мире. Об этом столько сказано, столько написано. У всех великих людей были русские жены. Сальвадор Дали, Пабло Пикассо — этот список можно продолжать бесконечно...

— Мама! — невежливо, даже грубо остановил ее Илья.

— Что? — удивилась Галина Васильевна.

— Я хочу в Придонск.

— А, — улыбнулась мать, вспомнив о просьбе сына. — Мы обязательно туда съездим, и ты не узнаешь свой родной город. Все это сделал наш папа. И возьмем в эту поездку Дашеньку Канищеву. — Она на мгновение задумалась. — А знаешь, почему во всем мире так ценят русскую женщину? Потому, что русская женщина жертвенна по своей природе. Она может пожертвовать всем ради того, кого она любит.

Галина Васильевна вновь посмотрела на мужа, потому что до нее донеслось громко сказанное им слово — «жизнь».

5

— Но жизнь есть жизнь, одной работой жив не будешь! — все больше вдохновляясь, определял философию своей деятельности Владимир Иванович. — Я вот, например, уху люблю похлебать с дымком. Раньше выпивал, но уже семь лет как не пью, работать это дело мешает... Когда меня спрашивают, в чем секрет успеха моей компании, я отвечаю: «За нас всем богам молятся!» Мы всем конфессиям помогаем. — Он засмеялся: — Тут, правда, пришли одни денег просить, не разобрались сразу, оказалось — сатанисты! Ну, ребята из охраны накостыляли им, конечно!

Француз торопливо сменил кассету в диктофоне. Печенкин вновь стал серьезным.

— Есть у нас в городе Заводская площадь. Там когда-то, говорят, монастырь был, потом церковь, теперь завод хрустальный мой... Так вот, я строю сейчас на этой площади храм... Во имя Ильи-пророка... Не храм, точнее, часовню... Но какую! Хрустальную! Это седьмое чудо света будет. Или восьмое? — обратился он к секретарю-референту.

— Восьмое, — не задумываясь, подсказал Прибыловский.

— Восьмое. Причем там же, на площади, стоит памятник Ленину. Были разговоры — снести. А как быть с теми, кто в Бога не верит, а в Ленина верит? И я сказал: «Пусть стоит!» Не мы его ставили — не нам его сносить! Снести легче всего, вы попробуйте построить... — Владимир Иванович широко улыбнулся, пожал плечами и подытожил: — Вот и вся идеология...

Удивленно посмотрев на миску с ухой, к которой француз не притронулся, Печенкин поморщился и проговорил укоризненно:

— А вы чего ж это? Или угощением нашим брезгуете? С дымком ведь...

Француз залопотал, оправдываясь, но Владимир Иванович неумолимо замотал головой:

— Нет, брат, так дело не пойдет. Я тебя уважил, и ты тоже меня уважь...

6

— Да, это наш город, но ты не можешь появиться там без охраны, без Нилыча... — заглядывая сыну в глаза, говорила Галина Васильевна спокойно и назидательно.

— Я не хочу слышать ни о каком Нилыче! — выкрикнул Илья высоким детским голосом.

— Без Нилыча тебя там сразу украдут какие-нибудь чеченцы. — Галина Васильевна была спокойна и тверда.

У Ильи задрожала нижняя губка, и он закусил ее, готовый вот-вот расплакаться.

Мать сочувственно улыбнулась и, положив сыну руки на плечи, предложила:

— Давай я лучше познакомлю тебя с Дашенькой Канищевой?

Внезапно в центре праздника возникло непонятное суматошное движение — там кто-то вдруг закричал, пронзительно и жутковато. Из стоящей в отдалении машины «скорой помощи» выскочили санитары с носилками и как угорелые понеслись к месту неизвестного происшествия.

— Что? Что случилось? — встревоженно спрашивала Галина Васильевна бегущих мимо людей.

— Француз! Журналист французский рыбьей костью подавился! — объяснили ей на бегу.

Вытягивая шею, Галина Васильевна заторопилась за всеми, но тут же остановилась и, обернувшись, удивленно посмотрела на сына. Илья смеялся — весело, заливисто, так, что слезы выступили на глаза.

Глава пятая

НАСЫЩЕННЫЙ ДЕНЬ

(Окончание)

1

Поздней ночью, когда уже выключили уличные фонари, к одной из панельных пятиэтажек придонских Черемушек, тяжело шурша шинами, подъехал черный печенкинский «мерседес». У подъезда стоял «субурбан» и темнели неподвижные охранники. Угловое на пятом этаже окно ярко све-

тилось. Еще раз глянув на него, Владимир Иванович вбежал в темный подъезд. Перемахивая через две ступеньки, по-юношески легко он взлетел на площадку пятого этажа, где стоял рыжий охранник, тот, который выводил Илью из самолета. Печенкин задержал дыхание, подмигнул рыжему и спросил шутливым тоном:

— Ну что, самбист, когда сразимся?

Охранник смущенно улыбнулся:

— Когда скажете, Владимир Иванович.

Печенкин прислушался — из-за фанерной двери доносились гитарные переборы. Он легонько толкнул дверь, и она открылась.

2

В маленькой комнате однокомнатной квартирки стояли от пола до потолка полки с книгами, и тут же теснились во множестве мелкие предметы: сувениры из дерева, глины и металла — человечки, собачки и птицы, кораблики, фотокарточки в рамках и без. Для самой большой фотографии — молодой, с дерзким взглядом Марины Цветаевой — была устроена специальная ниша, в которой стоял букетик засохших цветов. На тумбочке в углу, где, как у всех, должен был находиться телевизор, лежал старый проигрыватель-чемоданчик, а рядом — кипа пластинок. На верхнем конферте был запечатлен знаменитый дирижер знаменитого оркестра, и, проходя мимо, Печенкин почему-то постучал по нему ногтем.

На широкой старой, накрытой пледом тахте, уткнувшись затылком в стену, полулежала женщина лет сорока с коротко остриженными волосами, без капли косметики на лице. И одета она была небрежно, совсем домашнему: в старые выцветшие бриджи и клетчатую ковбойку. На животе ее лежала старая гитара. Женщина не была красавицей, скорее наоборот, но Печенкин смотрел на нее взволнованно и робко. Она же смотрела в ответ рассеянно, с легкой ироничной улыбкой и, продолжая наигрывать какую-то мелодию, прислушивалась к ней.

Женщину звали Геля, Ангелина, Ангелина Георгиевна Всеславинская.

— Зря ты все-таки дверь не запираешь, — негромко, осторожно проговорил Печенкин.

Не запира-айте вашу дверь,
Пусть будет дверь откры-ята, —

иронично улыбаясь, пропела в ответ Геля.

Рядом с тахтой на маленьком треногом столике стояли початая бутылка водки, рюмка, на деревянной дощечке лежал нарезанный хлеб, а на тарелке — колбаса и соленый огурец. Печенкин смотрел на выпивку и закуску с легким изумлением, но молчал, не решаясь спрашивать. Геля загадочно улыбалась, продолжая наигрывать ту же мелодию.

Печенкин подошел к столику, поднял бутылку, увидел на этикетке собственное изображение и как будто немного успокоился. Водка так и называлась «Печенкин». После этого Владимир Иванович глянул в окно, нашел вдалеке как бы парящие над городом красные неоновые буквы «ПЕЧЕНКИН» и успокоился совсем. Победно, с хрустом расправив плечи, он сообщил:

— Спустили.

— Куда и что? — поинтересовалась, не скрывая иронии, Геля.

— Танкер на воду спустили, — объяснил Владимир Иванович и похвастался: — Сам владыка освящал.

Геля усмехнулась:

— «Сам владыка»... Гляди, Печенкин, охмурят тебя попы, как ксендзы Козлевича охмурили.

Она отложила гитару, села на край тахты и, наливая в рюмку водку, стала рассказывать:

— Я тут в «Литературке» прочитала про нижегородского одного миллионера. Богател, богател, а потом взял и на все свои миллионы монастырь в лесу построил! И теперь сам в том монастыре простым послушником...

— Знал я его. Лес у него покупал. Белкин его фамилия, — проговорил Печенкин, почему-то мрачней.

— А ты бы так смог? — лукаво улыбаясь, спросила Геля.

Печенкин не отвечал, мрачней еще больше.

— Смог бы? — настаивала она.

Он нахмурился и попросил:

— Ты такие вопросы не задавай.

Геля с удовольствием тяпнула рюмку, захрустела огурцом и задорно сообщила:

— А я новую песню сочинила. Знаешь, как называется? «Маленький человек пришел».

— Споешь? — дрогнувшим голосом спросил Печенкин.

— Нет, конечно, — еще более задорно ответила Геля, взяла гитару, заиграла уже знакомую мелодию и запела:

Пришел маленький человек —
В утреннем небе горит последняя звезда.
Кто он?
Дон-дили-дон! Дон-дили-дон!
Маленький человек, маленький человек.

Значит, есть ему что сказать,
Значит, есть ему что пропеть —
Тебе и мне.
Дон-дили-дон! Дон-дили-дон!
Маленький человек, маленький человек.

Он объедет планету
На своей деревянной лошадке —
Иго-го-го!
Дон-дили-дон! Дон-дили-дон!
Маленький человек, маленький человек.

Он достанет своими руками
Горящее сердце земли. И подбросит его
Выше неба!
Дон-дили-дон! Дон-дили-дон!
Маленький человек, маленький человек.

Веселитесь, люди, радуйтесь, люди, —
Маленький человек пришел!
Твой и мой.
Дон-дили-дон! Дон-дили-дон!
Маленький человек пришел!

3

В тот момент, когда Илья стал падать в сон, спальня наполнилась вдруг густым красным светом. Он открыл глаза и снова закрыл, потому что никакого красного света не было, но тут же вновь все стало красным... Илья сел на кровати и удивленно посмотрел в окно. За темными стволами сосен одна за другой зажигались большие неоновые буквы: ОКТЯБРЬ.

Илья радостно и смущенно засмеялся. Буквы погасли. Торопливо сунув ноги в тапочки, он выбежал на балкон и вновь проследил рождение красного слова. Почти вплотную к балкону стояла сосна, Илья глянул вниз, примерился, встал на перила, ухватился за толстую ветку, перебирая руками, добрался до ствола, обхватил его по-обезьяньи и быстро спустился на землю...

Это действительно был кинотеатр, самый настоящий кинотеатр!

Босой, в летней пижаме, Илья стоял на освещенном пустом крыльце кинотеатра и удивленно осматривался. Стеклопанная дверь была открыта. Везде горел свет. На стенах фойе висели выцветшие от времени фотографии звезд советского кино: красавец Ивашов, красавица Светличная, другие прежние красавцы и красавицы с немодными ныне прическами и несовременным вдумчивым выражением лиц. Было тихо, тихо до жути. Илья оглянулся, зябко поежился и вошел в приоткрытую дверь кинозала. Выкрашенный блеклой розовой краской, он тоже был совершенно пуст. Илья посмотрел на белый экран и сел в крайнее кресло, холодное и твердое.

И тотчас где-то за спиной кто-то растянул мехи гармони и неумело заиграл. Звук был высокий, ржавый, трудновыносимый. Он доносился из квадратных окошек проекторской.

— Талы, талы, талы, — как-то неуверенно запел там невидимый человек. — Талы, талы, талы...

Илья улыбнулся. Переливчатая, напоминающая татарскую мелодия перетекла в мелодию, напоминающую индийскую.

А-ба-ра-я,
Бро-дя-гая, —

запел тот же человек.

Илья поднялся, чтобы уйти незаметно, но сиденье предательски громко хлопнуло, гармонь вякнула и замолкла, и раздался радостный крик:

— Барин молодой!

Илья удивленно повернул голову. В квадратном окошечке с трудом помещалась большая улыбающаяся физиономия.

— Кино пришли смотреть? — громко спросил киномеханик.

— Нет-нет, я просто... — мотнул головой Илья и направился торопливо к двери.

Киномеханик перехватил Илью в фойе. Он был коротконогий, плотный, с круглой, с редкими короткими волосами головой, картофельным носом и толстыми губами. Маленькие круглые глазки смотрели кротко и виновато, он улыбался. Илья тоже улыбнулся.

— Барин молодой, — обожающе повторил тот.

Илья нахмурился:

— Не называйте меня так! Я не барин!

— А кто же вы тогда? Помните, когда Никита Михалков в «Жестоком романсе» приехал? Все там кричали: «Барин приехал! Барин приехал!» Вас все здесь любят. Владимира Ивановича любят... А Галину Васильевну как любят! Они нас не обижают. Деньги хорошие платят. Без вас пропадем. Я зуб вставил золотой, видите? — Киномеханик широко открыл рот. — У меня тут дырка была, Владимир Иванович говорит: «Вставь ты зуб себе, Наиль!» Я говорю: «Какой? Железный или золотой?» Он говорит: «Золотой, конечно». Денег дал. Я вставил. Мама заболела, Владимир Иванович узнал: «Наиль, хочешь, в Москву ее на лечение пошлем, хочешь, за границу, я все оплачу». Мама не согласилась. Говорит: «Наиль, спой мне татарскую песню». Я говорю: «Я не знаю татарских песен, я уже ассимилировался». Она говорит: «Не знаю, что это такое, спой».

Татарин замолчал, глядя виновато и продолжая улыбаться:

— Днем сплю, ночью не сплю, жду — Владимир Иванович позвонит: «Наиль, заряжай!»

4

Неподвижно и молча сидел Печенкин рядом с Гелей, и рука его лежала на ее колене. Геля молчала. Глаза ее были закрыты.

— Это твоя лучшая песня, — убежденно проговорил Печенкин.

Она открыла глаза, иронично улыбнулась:

— Ты говоришь так после каждой моей новой песни.

Владимир Иванович не услышал.

— Гель, скажи, а почему ты не в рифму сочиняешь? — заинтересованно спросил он.

Геля наморщила лоб:

— Потому, что в рифму пишут все.

Печенкин кивнул, поняв.

Геля улыбнулась и, ласково посмотрев на него, спросила:

— Ты лучше скажи: как Илья?

Владимир Иванович оторвал от ее колена руку и показал свой большой палец.

— Я рада. Я очень рада, — сказала она.

— Латынь выучил, — похвастался Печенкин.

— Я рада. Я очень рада, — повторила она.

Он вернул руку на место, и они снова замолчали.

— Гель, а маленький человек — это образ или конкретно? — поинтересовался Печенкин.

— Образ... Или конкретно, — погрузнев вдруг, повторила Геля и хотела подняться, но Печенкин не позволил ей это сделать — может быть, неожиданно и для самого себя опрокинул женщину на тахту.

Она беззвучно, но отчаянно сопротивлялась; Владимир Иванович вдруг вскрикнул, вскочил на ноги, стал трясти рукой и, морщась от боли, дуть на укушенный палец. Это, кстати, был тот самый палец, который он только что показывал.

— Бешеная, — прошипел Печенкин.

— Чикатило! — парировала Геля и резко поднялась. Застегивая ковбойку на груди, стала что-то искать в стенном шкафу.

— А если б я закричал? Охрана за дверь! — продолжал возмущаться Владимир Иванович.

— Тогда б меня застрелили, — пожала плечами Геля, подходя к нему с бинтом в руке.

— Бешеная, — повторил он, наблюдая, как она забинтовывает его палец, и успокаиваясь.

— Сделай укол, — примиряюще пошутила Геля и прибавила почти ласково: — Чикатило...

— Просто я соскучился, — объяснил Печенкин.

— Приезжай чаще, — предложила она.

— Приезжай чаще?! — взорвался вдруг он. — Еду к тебе и не знаю, дома ты или нет. Позвонить даже не могу! Говорю — возьми мобилку!

С насмешливым чувством превосходства в глазах Геля помотала головой, отказываясь. Печенкина это еще больше разозлило, он вырвал руку, размотал бинт, бросил его на пол и закричал:

— Живешь в хрущевке!.. На работу каждый день!.. На троллейбусе!.. Сорок лоботрясов!.. За три копейки!..

— Что ж, не всем учиться в Швейцарии, кому-то приходится в Придонске! — язвительно парировала Геля.

— Нормальные люди так не живут! — выкрикнул Печенкин.

— Нормальные люди только так и живут! — прокричала в ответ она.

— По-твоему, нормальные — бедные?

— А по-твоему — богатые?

— Конечно, богатые! Нормальные — богатые!

— Нормальные — интеллигентные!

Печенкин саркастически захохотал:

— Интеллигентные? Что за звери такие? Все говорят, никто не видел.

— Ну почему не видел? — не согласилась Геля. — Видел. Видели. Я видела.

— Это какие такие — интеллигентные? Которые сами ни черта не делают и другим делать не дают? Тот, кто пашет как трактор, вкальвает по шестнадцать часов, тот, значит, бандит и вор! А тот, кто... Ко мне эти интеллигентные каждый день приходят: «Дайте, Владимир Иванович, дайте!» Только одному дашь, другие интеллигентные бегут: «Вы ему неправильно дали. Он плохой, мы хорошие, нам дайте». Я говорю: «Давайте я у него заберу и вам отдам?» — «Давайте!» Интеллигентные... — Печенкин презрительно скривился: — Правильно Ленин говорил: «Не интеллигенция у нас, а говно!»

Геля не выдержала, топнула вдруг ногой и закричала:

— Печенкин, выйди из класса!

— Из какого класса? — засмеялся Владимир Иванович. Он уже готов был мириться.

Геля поняла, что оговорила, но ни шутить, ни мириться она сейчас не желала и, подталкивая Печенкина к двери, неумолимо приговаривала:

— Иди... Иди, Печенкин, иди...

— Ну ладно, Гель, чего ты... — виновато улыбаясь, пятился Печенкин.

— Иди, Володя, прошу тебя... Я прошу тебя! — Геля вытолкнула гостя на лестничную площадку и вдруг шепотом, скороговорно и стыдливо сообщила: — Я беременна.

— Что? — не расслышал он.

— Я беременна! — высоко пискнула Геля и захлопнула перед его носом дверь. Щелкнул замок. До Печенкина дошел наконец смысл ее слов, он растерянно улыбнулся и надавил на дверь сначала рукой, потом плечом.

— Помочь, Владимир Иванович? — услышал он за спиной сочувственный голос рыжего и остановился в задумчивости.

Глава шестая

ЧТО-ТО ПРИГОРЕЛО?

Спустя несколько дней в доме Печенкиных состоялся концерт московского оркестра, руководимого знаменитым дирижером, тем самым, который был изображен на конверте пластинки в доме Гели и по которому Владимир Иванович, входя, постучал пальцем, видимо и имея в виду будущее культурное событие.

Концерты известных исполнителей и музыкальных коллективов проходили в доме Печенкиных регулярно под общим названием «Встречи у камина». Их вдохновителем и организатором была Галина Васильевна, она же приглашала зрителей и слушателей — новых придонцев, руководителей города, а также местных деятелей культуры. Концерты традиционно проходили в каминном зале дома Печенкиных, где для артистов устраивалась сцена, а гости сидели на расставленных полукругом стульях, диванах и в креслах. Перед началом обязательно зажигался большой, отделанный махлахитом камин — даже летом.

Печенкины, как всегда, расположились в первом ряду, в центре — Владимир Иванович в огромном кресле и рядом на диване Галина Васильевна и Илья. Третьей на диване поместилась Дашенька Канищева — на этом настояла Галина Васильевна.

Дашенька Канищева смущалась — другие девушки смотрели на нее с завистью. Вообще молодежи на концерте оказалось много, и что интересно, молодые люди были одеты так же, как и взрослые: юноши — в смокинги с бабочками, девушки — в вечерние платья. Илья на их фоне выглядел странно и даже вызывающе — на нем были красные кроссовки, желтые джинсы и зеленый свитер. К тому же он безостановочно жевал жевательную резинку.

Придонцы сидели прямо и неподвижно и во все глаза смотрели на живого знаменитого дирижера.

Знаменитый дирижер излучал неиссякаемую энергию, щедро одаривая всех белозубой улыбкой и веселым, с лукавинкой, взглядом. Говорил он быстро, как говорят со сцены юмористы-конферансье, которым надо поскорей разогреть публику:

— У Моцарта, — был такой довольно известный композитор, — есть сочинение, в котором на первой странице написано: «Играть быстро», на второй: «Быстро, как только возможно», а на третьей: «Еще быстрее»... — Выдерживая паузу, знаменитый дирижер изобразил на лице предельное удивление. — Как играть, товарищи?! — обратился он к публике.

Придонцы смутились, не зная, как правильно ответить.

— Хорошо, мы не станем сегодня исполнять Моцарта, — успокоил их знаменитый дирижер. — Есть другой, не менее, а может быть, более известный вам композитор... Наш красный Моцарт... Исаак Осипович Дунаевский. Это был святой человек! В приватном письме к своей жене он писал: «Это счастье, что мы живем в одно время с товарищем Сталиным». А нам, черт побери, не повезло! — Знаменитый дирижер замер, по-птичьи склонив голову набок и дожидаясь смеха. Придонцы робко засмеялись.

— Итак! Дунаевский! Увертюра к фильму «Пятнадцатилетний капитан»! — воскликнул знаменитый дирижер, повернулся к оркестру и взмахнул позолоченной дирижерской палочкой.

И полилась знакомая с детства, оптимистичная, хотя и тревожащая душу мелодия. Слушатели сразу узнали ее, закивали, заулыбались, благодарно глядя в егозливую спину знаменитого дирижера.

Галина Васильевна окинула покровительственным взглядом увлеченных музыкой гостей и остановилась, скосив глаза, на сыне. Илья по-прежнему жевал... Но вдруг случилось неожиданное: музыканты отложили свои инструменты и продолжили исполнять увертюру при помощи собственных легких, ртов и губ: «Ту-у-ду-у-ду-ду-ду...»

В первый момент слушатели растерялись, оторопели, испугались даже, но скоро сообразили, что это шутка, музыкальная такая шутка, а местные деятели культуры, зная уже, что знаменитый дирижер любит подобные сюрпризы, стали улыбаться. И только когда Владимир Иванович захохотал — весело, свободно и радостно, — все засмеялись.

Одна Галина Васильевна не принимала участия в общем веселье. Что-то ей во всем этом не нравилось, что-то ее тревожило. Галина Васильевна повернула голову и встретилась взглядом с Дашенькой Канищевой. Девушка растерянно улыбалась. Ильи рядом с ней не было.

— А где Илюша? — спросила Галина Васильевна.

— Не знаю, — жалобно отозвалась Дашенька Канищева, которая во всем подражала Галине Васильевне, и ей тоже было не смешно.

А музыканты все поддавали жару! Знаменитый дирижер высоко подпрыгнул и стал выбивать ногами чечетку, отчего некоторые прямо зашлись в смехе, а иные дамы даже визжали от восторга.

Галина Васильевна страдальчески поморщилась, глубоко вздохнула и вдруг почувствовала какой-то странный, неприятный, невозможный здесь запах. Она стала принюхиваться и вновь столкнулась взглядом с Дашенькой Канищевой. У девушки раздувались ноздри.

— Ты чувствуешь? — обратилась к ней Галина Васильевна.

— Что-то пригорело? — испуганно спросила Дашенька Канищева.

Галина Васильевна отвернулась: что могло пригореть в ее гостиной?

Пахло жареным, определенно пахло жареным, точнее даже, не пахло, а воняло, и не жареным, а горелым, воняло горелым мясом.

А знаменитый дирижер, продолжая веселить публику, пошел вприсядку, но смех, однако, стал стихать, потому что многие уже, особенно женщины, почуяли этот нехороший запах.

Знаменитый дирижер остановился — выпрямился и удивленно замер, хотя его музыканты еще продолжали дудеть и трендеть. Он смотрел вперед, за спины слушателей, туда, где потрескивали поленья в камине. На лице знаменитого дирижера выступили вдруг крупные капли пота. Он видел там что-то страшное, настолько страшное, что никто не решался повернуть голову и посмотреть туда же, все смотрели на происходящее у камина, так сказать, отраженно — глядя на знаменитого дирижера. Казалось, он видит ад. Медленно подняв дрожащей рукой дирижерскую палочку и указывая туда, знаменитый дирижер вдруг закричал высоко, жалобно, из последних сил:

— Горит! Он горит, товарищи!

Все разом обернулись.

Илья стоял у камина и держал руку над огнем, над самым его пылающим пеклом. Удушающе воняло горелым мясом. Илья упал.

Глава седьмая

В МАВЗОЛЕЙ, В МАВЗОЛЕЙ!

1

На большой двустворчатой белой двери под стеклянной табличкой с надписью «Хирург» был приклеен глянецовый плакат, на котором голая сисястая блондинка недвусмысленно манила к себе, что подтверждала и отдельная типографски исполненная надпись внизу: «Входите!» Никто, однако, не входил: Печенкин, Галина Васильевна, Прибыловский, Седой — все в накинутых на плечи белых медицинских халатах. Равномерно и сильно Владимир Иванович бил кулаком в стену, так что дребезжало оконное стекло и вздрагивала плакатная блондинка. Прибыловский с кожаной папкой под мышкой стоял рядом и внимательно смотрел на шефа. Седой украдкой курил, выпуская дым за плечо. Галина Васильевна застыла, сцепив на груди руки и закусив нижнюю губу, вперившись горестным неподвижным взглядом в пыльное стекло окна.

— Я за границей больше недели находиться не могу — запить могу. Чистота эта — плюнуть некуда. А тут шесть лет. Шесть лет в чистоте этой, — потирая кулак, поделился Печенкин своими неожиданными размышлениями.

— Вот я и говорю: шесть лет — это срок! — горячо поддержал Седой. — Истосковался мальчонка вдали от дома.

— А я думаю, он там элементарно перезанимался. Я знакомился с их программой — огромные нагрузки, — высказался Прибыловский.

С этим были согласны и супруги Печенкины, и Седой, они закивали, готовые продолжить и развить данную мысль, но Галина Васильевна остановила.

— Не надо было этот оркестр приглашать, — неожиданно высказалась она, продолжая смотреть в окно.

— При чем тут оркестр? — не понял Владимир Иванович.

— При том! — нервно воскликнула Галина Васильевна. — При том, что нельзя так над классикой измываться! Взяли моду над классикой измываться... Дунаевский, между прочим, — наша классика!

Хирург появился неожиданно — вывернулся из-за угла — в длинном сером халате, в матерчатых бесшумных бахилах, лицом и походкой здорово смахивающий на уличного хулигана. Все заволновались, задвигались, Седой искал глазами, куда бы незаметно бросить горящую сигарету. Поравнявшись с ним, хирург ловко, не привлекая внимания, выхватил бычок

и, пряча его в кулаке, указал на дверь — на плакат, на надпись «Входите», проговорил укоризненно:

— Входите, что же вы не входите?

2

Он сел за стол, глубоко и с удовольствием затаился, выпустил тонкой струйкой дым и решительно, строго обратился к Печенкину:

— Значит, так... Комплекты белья постельного — триста штук. Судна подкладные — пятьдесят штук. Телевизор, желательно цветной, — одна штука. Памперсы взрослые — сколько сможете...

Прибыловский торопливо записывал.

— Завтра будет, — ответил Печенкин.

— Завтра воскресенье, — напомнил Прибыловский.

— Завтра будет, — повторил Печенкин.

— Завтра будет, — повторил Прибыловский.

Докурил сигарету до фильтра, хирург обжег пальцы, поморщился и, глядя рассеянно на свою руку, продолжил:

— Ну, в общем, это... С рукой все в порядке. Но будет болеть. Шрам останется. Можете потом сделать пластику. Но это уже не у нас... В Австралии, я слышал, хорошо пластику делают...

Мужчины разом вздохнули, Галина Васильевна всхлипнула, но расчувствоваться хирург им не позволил.

— А что с ним дальше было? — неожиданно спросил он.

Все смотрели непонимающе.

— С кем? — спросил Печенкин.

Хирург пожал плечами:

— Ну с этим, Муцием Сцеволой...

Владимир Иванович растерянно улыбнулся:

— А он дальше не читал... Я остановил... Что там дальше было...

— А вы в мединституте разве латынь не учили? — поинтересовался Седой.

— Да чего мы там учили... — отмахнулся хирург.

— Так мы Илью попросим, он переведет, что там дальше было! — нашелся Владимир Иванович.

— Не нало! — взволнованно остановила его Галина Васильевна.

— Вот я про то и говорю: что он дальше там делал, чтобы знать зараннее, а то... — Хирург неожиданно замолчал и смущенно поскреб макушку.

Прибыловский выхватил из кармана мобильный и стал набирать какой-то номер. Хирург скривился и закончил:

— А то он, это... Он в Мавзолей попросился...

— Кто? — не поняла Галина Васильевна.

— Сын ваш.

— В какой Мавзолей? — не понял Владимир Иванович.

Хирург слабо улыбнулся:

— Ну в тот, наверно, который в Москве? Другого у нас пока нет...

— В Кремле, — подсказал Седой.

— Не в Кремле, а рядом с Кремлем, на Красной площади, — уточнил Прибыловский.

— Я и говорю, — важно кивнул Седой.

Печенкин взглянул на Прибыловского:

— Кто у нас в Кремле?

— В Кремле у нас Бусыгин, Черевичко, Кац, — доложил секретарь-референт.

Хирург засмеялся, махнул рукой, удивляясь такой непонятливости.

— Да не в Кремль он попросился, а в Мавзолей!

— Кто у нас в Мавзолее? — вновь обратился Печенкин к Прибыловскому.

— В Мавзолее у нас Ленин, — доложил секретарь-референт.

Владимир Иванович знал, что в Мавзолее — Ленин, но, судя по выражению лица, все равно ничего не понимал. Он так и сказал:

— Ничего не понимаю.

— Что же тут понимать, Володя! — теряя терпение, воскликнула Галина Васильевна. — Я была в Мавзолее, ты был, все были...

— Я четыре раза был, — сообщил Прибыловский, продолжая набирать какой-то номер.

— А ты вспомни, куда мы первым делом стремились попасть, когда в Москву приезжали? В Мавзолей! — все пыталась достучаться Галина Васильевна до своего обалдевшего мужа.

— А что там еще смотреть, в этой Москве? Только Мавзолей, — успел вставить Седой, пока Галина Васильевна переводила дыхание.

— А куда иностранцев везли? — продолжала она. — В Мавзолей! А Илюша — он же практически иностранец! В Мавзолей, в Мавзолей!

Прибыловский поднял палец, призывая к тишине, и стал громко повторять то, что ему сообщалось по телефону:

— «Гай Муций Сцевола — легендарный герой борьбы римлян против этрусков (конец шестого — начало пятого века до новой эры). Пробравшись в стан врага, юноша хотел убить этрусского царя Парсену, но попал в плен. Желая доказать, что он не боится боли и смерти, Гай Муций сам опустил руку в огонь и, пока рука тлела, не издал ни единого звука». Все. — Прибыловский спрятал мобильный.

— А про Мавзолей — ничего? — с надеждой спросил хирург.

— Все, — повторил Прибыловский.

— В Мавзолей! — сказала Галина Васильевна, глядя на мужа.

— Я в Москву не поеду, — буркнул, насупившись, Печенкин.

— Я поеду. — Галина Васильевна была настроена решительно.

Печенкин взглянул на Прибыловского и приказал:

— Звони Кацу.

3

В Москве, как и в Придонске, было прохладно, ветрено. Седой стоял у самого Мавзолея и с любопытством провинциала глядел по сторонам. Рядом прохаживался хмурый полковник милиции в расстегнутой шинели и то и дело посматривал на свои наручные часы. Расположенные рядом куранты напоминали о себе боем, но, похоже, полковник им не доверял.

Галина Васильевна стояла по другую сторону Мавзолея и неподвижным взглядом смотрела в сторону храма Василия Блаженного. Ее глаза, лицо и даже то, как она стояла — выставив вперед ногу и сцепив за спиной руки, — все выражало чувство исполненного материнского долга.

На Красной площади былолюдно и весело. Прямо напротив Мавзолея потешно маршировали клоуны. Наряжены и разрисованы они были забавно: как будто головы и руки были у них внизу, а ноги — вверху. Один как бы ногой бил в барабан, а другой приставил мунштук трубы как бы к заднице и выдувал односложные грубые звуки.

Седой смущенно улыбнулся, глянул на полковника и спросил:

— Цирк?

— Да тут каждый день цирк, — ответил полковник недовольно и еще раз посмотрел на свои часы.

4

За прозрачным хрусталем, подсвеченный мягким розовым светом, вытянувшись, на спине спал вечным сном Ленин.

Илья стоял перед ним неподвижно и долго. В нескольких метрах за его спиной терпеливо дожидались двое: пожилой сухощавый прапорщик в

блестящих хромовых сапогах и большой розовощекий доктор с пышной шевелюрой.

Глянув на висящую на перевязи забинтованную руку Ильи, прапорщик спросил доктора свистящим шепотом:

— А чего у него с рукой?

— Бандитская пуля, — пошутил доктор, но прапорщик, кажется, не понял, что это шутка.

— А ведь все равно поехал, — прошептал он с уважением.

— За те деньги, что его мамаша отвалила, мы б ему на дом привезли, — снова пошутил доктор.

Прапорщик не успел понять, шутка это или нет, как вдруг неожидан-но отчетливо и громко Илья произнес странное, загадочное слово:

— НОК!

Прапорщик и доктор вздрогнули и удивленно переглянулись. Илья был по-прежнему неподвижен. Кажется, то слово вырвалось у него само по себе, возможно, он его даже не услышал.

— Что такое «НОК»? — спросил шепотом прапорщик.

Доктор задумался.

— Национальный олимпийский комитет? — сам расшифровал прапорщик.

— «НОК-5» — есть такое лекарство, его почки пьют, — высказал свою версию доктор.

— Он сказал просто «НОК», а не «НОК-5», — не согласился прапорщик. — НОК — это Национальный олимпийский комитет...

Они так расшумелись, что Илья резко обернулся и глянул через плечо возмущенно и грозно. Прапорщик и доктор смутились и даже немного испугались. Прапорщик растянул в притворной улыбке тонкие бесцветные губы, обнажая два ряда мелких, прокуренных до черноты зубов, и подбодрил:

— Да вы стойте, стойте. Тут у нас недавно делегация магаданских комсомольцев была, тоже вот так же стояли...

Но Илья не слышал. Он продолжал всматриваться в неподвижное лицо вождя, и из его глаз выкатились две большие прозрачные слезы.

Глава восьмая

У КАЖДОГО КОММУНИСТА ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ СУНДУЧОК

1

— Мама, я коммунист, — решительно объяснил Илья.

Дело происходило на кухне, где Галина Васильевна варила вместе с прислугой варенье. Было жарко, шумно, весело, Галина Васильевна, в нарядном переднике с оборками, раскраснелась, к ее вспотевшему лбу прилипла кокетливая курчавая прядка.

— Коммунист? — спросила она, держа в руке длинную деревянную ложку. — Коммунист — и больше ничего? Правда ничего? Посмотри мне в глаза.

Илья прямо посмотрел в глаза матери.

Галина Васильевна с облегчением улыбнулась:

— Что же ты сразу не сказал? Мы с отцом что только не передумали. Так вот почему Мавзолей? «И Ленин отвечает. На все вопросы отвечает Ленин»? Да. Я не ошиблась? Ну что ж — и мы были коммунистами... И я, и папа... А уж про дедушку и говорить нечего!

Она подула на ложечку и дала попробовать варенье сыну:

— Угу?

— Угу, — оценил Илья.

— Снимаем и охлаждаем! — скомандовала Галина Васильевна прислуге и вновь стала смотреть на сына. Глаза ее при этом радостно и загадочно светились.

— А ты знаешь, что у каждого коммуниста должен быть свой сундучок?

— Что? — не понял Илья.

— У каждого коммуниста должен быть свой сундучок! — весело воскликнула Галина Васильевна. — Так твой дедушка говорил перед самой смертью. Но где же он должен быть?

— Кто? — вновь не поняв, спросил Илья несколько даже испуганно.

— Сундучок! — успокоила Галина Васильевна и засмеялась.

2

Сундучок был дощатый, с выпуклой крышкой и железной кованой ручкой наверху, крашенный когда-то красной краской.

Илья медленно повернул ключ в замке и поднял крышку. С обратной ее стороны была приклеена огоньковская репродукция картины Решетникова «Прибыл на каникулы» — добрый дедушка и внук-суворовец у наряженной новогодней елки. Сверху, на ярко-красной шелковой ткани, лежала старая, пожелтевшая от времени открытка, на которой слились в едином порыве, подавшаяся куда-то вперед, русский, китаец и негр. «Да здравствует коммунизм!» — было написано внизу, а еще ниже приписано от руки корявым стариковским почерком: «Коммунистам XXI века». Илья снисходительно улыбнулся. Обратная сторона открытки была плотно заполнена ровным бисерным почерком. Чернила выцвели, но, напрягая зрение, Илья все же смог прочитать: «Как можно жить вне партии в такой великий, невиданный период? Пусть поздно, пусть после боев — но бои еще будут. В чем же радость жизни вне ВКП(б)? Ни семья, ни любовь — ничто не дает сознания полноценной жизни. Семья — это несколько человек, любовь — это один человек, а партия — это 1 600 000. Жить для семьи — это животный эгоизм, жить только для себя — позор».

С трудом управляясь одной рукой, Илья чуть не запутался в длинном шелковом полотнище советского флага. Флаг был особенный, возможно — цирковой, с таким скакали раньше по арене джигиты, и он красиво развевался. Серп и молот на алом шелке блестели настоящим золотым блеском.

Под флагом стоял массивный, тяжеленный мраморно-чугунный чернильный прибор времен хрущевских совнархозов, к которому прилагалась янтарная ручка со стальным пером и четвертинка с высохшими чернилами, а также крашенная серебрянкой гипсовая скульптура сидящего на пеньке Ленина. Под Лениным лежали книги Ленина же, Сталина, брошюры политпросвещения. Последней оказалась «Как закалялась сталь» Николая Островского — красный томик в твердом переплете. Илья внимательно посмотрел на него и вдруг прижал к губам.

Еще там был довольно объемистый полотняный, завязанный шнурком мешок. С трудом управляясь одной рукой и зубами, Илья развязал его, и на пол посыпались сушеные кусочки хлеба. Он поднял один, понюхал, лизнул даже, но есть не решился. От сухарей Илью отвлекла лежащая на самом дне жестяная коробка из-под зубного порошка, в которой что-то весело гремело. Он стал открывать ее, прижав к груди, но коробка выскочила, раскрылась в воздухе, из нее вылетели вставные челюсти и, кляца зубами, упали на пол. Илья смотрел на них испуганно и брезгливо.

3

На маленьком, работающем и ночью привокзальном базарчике стояла сонная тишина, когда вдруг, ослепив торговцев светом фар, подъехал и остановился вблизи черный «мерседес». За «мерседесом» встал и «субур-

бан». Владимир Иванович выскочил первым, за ним, опаздывая, охрана. Базарчик мгновенно проснулся, оживился, обрадовался.

— Печенкин...

— Печенкин!

— Печенкин! — шептали и восклицали слева и справа нервно, восторженно и приветливо. Ему предлагали купить пиво и водку. «Не пью — зашился», — шутиливо отвечал Владимир Иванович; сигареты — «Не курю — завязал»; воблу — «Соленое врачи не велят». И на каждую такую шутку ночные торговцы отзывались радостным смехом.

Стремительно и целеустремленно Печенкин двигался к двум торговающим семечками бабам. Одна была старая, другая молодая, обе большие — в ватниках, толстых платках и мужицких кирзовых сапогах. Они смотрели на приближающегося Печенкина и улыбались: старая — радостно и открыто, не стесняясь своего шербоного рта, молодая — смущенно, кося в сторону глазами.

— Чегой-то я тебя здесь не видал, — весело и дружелюбно обратился Печенкин к молодой и, ухватив из ее большого дерматинового мешка несколько семечек, стал пробовать их на вкус. — А Егоровна где?

— Померла, — ответила молодая и махнула рукой для убедительности.

— Жалко, — сказал Печенкин, пробуя семечки из стоящего рядом точного такого же мешка старой торговки.

— Это невестка ее, она теперь вместо Егоровны, — объяснила старая, наблюдая за реакцией дорогого покупателя.

— А-а, — понимающе протянул Печенкин и, глядя озорно на молодую, поинтересовался: — Муж-то пьет?

Та бросила в ответ прямой и укоризненный взгляд:

— Пьет, а как же! — И снова скосила глаза в сторону.

Владимир Иванович брал по несколько семечек то из мешка молодой, то из мешка старой, но никак не мог определить, чьи — лучше. Сомнение и озабоченность были в глазах Печенкина, но при этом он еще и продолжал разговор:

— А ты скажи ему... скажи... Как его звать?

— Витька! — Молодая во второй раз махнула для убедительности рукой.

— Ну вот... скажи ему: «Вить, не пей, пожалуйста...» А тебя как звать? — Печенкин брал семечку двумя пальцами, раскусывал, сплевывал шелуху себе под ноги и мелко-мелко жевал, прислушиваясь к вкусовым ощущениям.

Молодая вспыхнула и назвалась:

— Лиза!

— Ну вот, Лиз, скажи ему: «Вить, не пей, пожалуйста, а?» Он и бросит...

— Бросит, — устало усмехнулась молодая.

— Бросит! Я тебе говорю — бросит! — заглядывая ей в глаза, убеждающе заговорил Печенкин. — Я, например, тоже пил... А мне моя сказала: «Володь, не пей, а?» Ну я и бросил.

Молодая колебалась, не зная, верить или нет.

— Да он шутит! — выкрикнула старая. — Он всегда тут у нас шутит! — И засмеялась, широко разевая рот. — А-ха-ха-ха!

Печенкин усмехнулся, мотнул головой, отказываясь спорить, и, так и не определив, чьи семечки лучше, оттопырил карман пиджака и скомандовал:

— Ладно, сыпьте по стаканчику!

4

Илья ходил взад-вперед по своей комнате, прижимая к груди больную руку и кривясь от боли, повторял вслух как заклинание:

— Как можно жить вне партии в такой великий невиданный период? Пусть поздно, пусть после боев, но бои еще будут...

И вдруг услышал голос приближающегося отца, который тоже повторял странные слова, причем говорил он их громко, зычно, словно выступал перед публикой:

— Экспорт-импорт! Это вещи отсюда туда, а оттуда сюда! Экспорт-импорт! Это вещи отсюда туда, а оттуда сюда! Экспорт-импорт!

Взгляд Ильи заметался по комнате, он торопливо выключил свет, кинулся на диван, укрылся пледом с головой и замер.

Владимир Иванович открыл дверь, включил свет и, не обнаруживая сына, проговорил удивленно:

— Экспорт-импорт...

Но, заметив под пледом очертания лежащего тела, улыбнулся и, подходя, спросил — озорно и насмешливо:

— Что это ты там делаешь, сынок?

Илья не отозвался, и тогда, взяв плед за край, Печенкин сорвал его.

Илья лежал на спине, поджав ноги и прижимая к груди руку.

— Болит? — спросил отец.

— Нет, — преодолевая боль, ответил сын.

— Нет, — недовольно повторил отец. — Жалко, если не болит. Надо, чтоб болела! Чтоб не совал ее куда не следует!

Рассеянно глянув на лежащие на столе предметы из сундучка, Владимир Иванович переключился на другую тему:

— А мне мать сегодня на работу звонит: «Не волнуйся, Володя, наш сын коммунист!» Я говорю: «А чего я должен волноваться?! Чего я должен волноваться?! Пусть он кто угодно будет, только чтоб без членовредительства...»

Печенкин подошел к столу, постучал ногтем по полою скульптуре Ленина, взял из раскрытого мешка сухарик, бросил его в рот, громко и весело захрустел и спросил:

— В Швейцарии сушил, к подполью готовился?

Илья не ответил, лишь молча сел на диван, но Печенкину, похоже, и не нужен был его ответ.

— Я тебе сейчас скажу, ты расстроишься, но я все равно скажу, — заговорил Владимир Иванович громко и убежденно. — Нет тут ни коммунистов, ни демократов! Мне, когда в Москве, в Кремле, приз вручали — «Рыцарь российского бизнеса», я им знаешь как сказал: «Мы не белые, мы не красные, мы придонские!» Пять минут хлопали! Аплодировали...

Печенкин замолчал, успокаиваясь, пристально посмотрел на гипсового Ленина и воскликнул:

— Это ж Григорича наследство! А я все думаю, где это я видел? Ты представляешь, мы этот дом построили, пора переезжать, а как ему сказать — не знаем! Сказали — дом отдыха. Так он бродил все тут, местную парторганизацию искал. И хлеб в столовой тырил зачем-то...

Он задумчиво посмотрел на мешок с сухарями, пытаясь связать воспоминания и реальность, но новые воспоминания отвлекли:

— И челюсти свои все прятал...

Сундучок стоял на полу, и, присев к нему, Владимир Иванович продолжил свои воспоминания:

— Открываешь утром сахарницу — сахарку в чай посыпать, а там они лежат... Помер — так и не нашли, а новые не стали заказывать, все равно вроде... В гробу лежал, как младенец, товарищ председатель Губчека...

Красный шелк знамени Печенкин измерил деловито и по-хозяйски — от кончика пальцев до плеча.

— Раз... два... три... Оно самое, точно. Это когда Василь Григорич в третий раз овдовел, он пошел к четвертой свататься. Бурковская была такая, циркачка, Герой Соцтруда... Конный цирк, еще до революции начинала. Ноги, ты не поверишь, — поросенок трехпудовый пробежит, она не заметит. Ну вот... Не было Григорича всю ночь, а утром он это знамя принес.

Рассказывая, Владимир Иванович открыл жестяную коробку из-под зубного порошка и обрадованно воскликнул:

— О! Нашел! Нашел... — И, держа челюсти покойного тестя на вытянутой ладони, проговорил с саркастическим умилением: — Спи спокойно, дорогой Василий Григорьевич, твое дело в надежных руках! — Бросив на сына многозначительный взгляд, Печенкин уточнил: — В руке...

Кинув челюсти в коробку, а коробку в сундук, Владимир Иванович выпрямился, расправил плечи и заговорил, подводя итог:

— У нас губернатор — коммунист! А знаешь, кто его губернатором сделал? Я! Вот этими руками, на свои деньги. Он, конечно, дурак, но зато работать не мешает. Так вот! Нет здесь никаких коммунистов. И демократов тоже нет. А есть те, кто работает, и те, кто языком треплет...

Печенкин замер, задумавшись. Илья вздохнул и лег на диван, поджав под себя ноги и прижимая больную руку к груди; Владимир Иванович мотнул головой, удивляясь собственным мыслям, и продолжил:

— Но вот что интересно! Раньше думалось: будут людям хорошо платить, будут хорошо работать. Ни фига! Тот, кто за сто рэ в месяц вкалывал, тот и сейчас вкалывает... А знаешь, почему я здесь самый богатый? Потому, что я работаю больше всех! Когда они спали или языком болтали, я не спал и не болтал, я вкалывал! Думаешь, просто так мне все это досталось? Тут такое было! Снайпер на крыше, а я внизу, в песочнице, детским совочком окапываюсь. Спасибо Нилычу... Мину противотанковую под капот подложили, гады... Как рвануло! Тебе задницу мою показать? Показать?

— Не надо, папа, — устало попросил Илья, подтягивая плед к подбородку.

— Трое насмерть, я живой, — продолжил Печенкин горячась. — Ты только матери не говори, что я тебе рассказал. Мы как с ней хотели? Мы хотели, чтобы не видел ты всей этой грязи! У-у, тут такое было... Юрка Желудь пропал! Помнишь дядю Юру? У нас с ним первый частный бизнес в Придонске был — компания «Тугеза». Он гений — Юрка! Он был у нас мозг, я — все остальное... Выпили мы с ним маленько... Правда, я задремал... Просыпаюсь — нет Юрки! С концами! Как сквозь землю провалился! Знаешь, как я его искал? Как я его искал! И сколько на меня грязи вылили... И ведь до сих пор в Придонске думают...

— Папа, мне это неинтересно, — еле слышно проговорил Илья и закрыл глаза.

— Неинтересно? Ну и правильно, что неинтересно! Мне тоже неинтересно... Слушай, пошли в кино? Такой фильм! Я семечек купил...

Илья не ответил. Он спал.

5

Любил Печенкин кино. Любил ходить в кино, с детства это осталось: синенький билетик, поданный рукой невидимой кассирши в тянущее сквозняком окошечко кассы, равнодушно-строгие тетки на контроле, фотопортреты артисток и артистов на стенах фойе, прохлада сумрачного зала, скрип фанерных сидений, торопливое шарканье ног, приглушенные голоса, белый пока экран, сулящий полтора часа счастливой отключки, и семечки, конечно...

Потом это стало невозможным, так как все кинотеатры в Придонске приказали долго жить, тогда Владимир Иванович отремонтировал один — «Центральный», капитально отремонтировал, поставил мягкие кресла и заграничную аппаратуру, торжественно открыл и даже сходил туда парутройку раз, но — не понравилось, не было того, что раньше, да и охрана, страшась темноты, возражала.

И тогда пришла в голову эта гениальная идея... Однажды в Америке Печенкин узнал, что богатые американцы покупают в Европе старинные замки,

разбирают их по кирпичику и перевозят к себе... «Мы, конечно, не американцы, но все-таки», — сказал тогда Владимир Иванович и дал отмашку. «Октябрь» — любимый с детства, где из-за «Фантомаса» подрался с милиционером и где действительно познакомились с Галкой. Правда, строители объяснили, что переносить нет смысла — легче, да и лучше будет, если построить новый, точно такой же «Октябрь». Сказано — сделано. А тот, городской, снесли, он все равно разваливался. Получалось — как бы перенесли! Буквально за три копейки купил городскую фильмотеку, и следом пришел Наиль, который всю жизнь кинемехаником в «Октябре» проработал...

Сначала смотрел все подряд, тыча в список пальцем, и так случайно наткнулся на виденный когда-то давно индийский фильм «Бродяга». Попросил поставить еще. И еще... И ничего другого больше уже не хотелось, потому что всякий раз случалась та самая счастливая отключка... С семечками, конечно.

Владимир Иванович сидел в зале один, лузгал семечки и с немимым восторгом смотрел на экран. Радж Капур лукаво улыбался и объяснял:

— Экспорт-импорт? Это вещи отсюда туда, а оттуда сюда!

Глава девятая

ЗДРАВИА ЖЕЛАЕМ, АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВНА!

А Геля бросила курить и стала совершать по утрам оздоровительные пробежки. В одно такое раннее тихое утро, когда, кроме нее, не было на улице ни души, напротив, на обочине, остановился милицейский «уазик». Из него выбрался милиционер, подбежал к Геле, отдал честь и сказал:

— Извините, женщина, нужна ваша помощь. Нам понятой нужен срочно.

Милиционер был молоденький, ясноглазый, и, хотя он хмурил брови, лицо его все равно оставалось улыбочивым.

Геля озабоченно вздохнула и спросила:

— Что-то серьезное?

Милиционер улыбнулся:

— Да нет, воришку поймали, куртку украл. Понятой нужен для оформления, а люди сейчас сами знаете какие...

Геля задумалась и посмотрела на часы:

— Это далеко?

— Да нет, не очень, — ответил милиционер и снова улыбнулся.

— Ну хорошо! — решительно согласилась Геля.

В «уазике» кроме водителя и молоденького милиционера был еще один, сидевший на переднем сиденье, грузный, неподвижный, с толстой пивной шеей.

«Уазик» ехал, милиционеры молчали, и тогда Геля заговорила сама. С досужим женским любопытством во взгляде она указала на погоны молоденького милиционера и задала вопрос:

— А вы кто?

Тот скосил глаза на свои плечи и ответил:

— Лейтенант.

— Значит, две звездочки — лейтенант? А три? Никак не могу запомнить, — шутиливо пожаловалась Геля.

Молоденький милиционер понимающе засмеялся:

— А все женщины не могут. Моя Верка тоже не может. Сколько раз ей объяснял: одна звездочка — младший лейтенант, две звездочки...

— Ага, значит, вы — младший лейтенант! — Геля тронула за плечо сидящего впереди милиционера.

— Я майор, — обиженно поправил тот, с трудом поворачивая шею. У него оказался маленький и круглый, как яблочко-китайка, подбородок, вислые усы и большие выпученные глаза.

— А как же — одна звездочка? — растерялась Геля.

— Так то — маленькая! — воскликнул, веселясь, молоденький милиционер. — А это большая. Вы сравните!

— Ага, значит, есть маленькие и есть большие! — сообразила Геля, готовая и дальше постигать труднопостижимую для женского ума науку о погонах.

— Есть маленькие и есть большие! — повторил молоденький милиционер и сконфуженно вдруг засмеялся, и все засмеялись, даже водитель — беззвучно, вздрагивая сугулой спиной.

А «уазик» меж тем ехал и ехал, оставив уже позади город. Геля с удивлением посмотрела в окно на разрезанные лесополосами поля и громко и оптимистично обратилась сразу ко всем милиционерам:

— Так, ну и где же ваш несчастный воришка?

Но милиционеры не ответили — промолчали.

А «уазик» все ехал и ехал... И тогда Геля положила незаметно руку на свой живот и спросила дрогнувшим голосом:

— Куда вы меня везете?

Но милиционеры вновь не ответили, а как-то вдруг съезжились, как будто даже испугались.

— Куда... вы... меня... везете? — потребовала Геля ответа, разделяя слова и произнося их громко и четко.

«Уазик» тряхнуло на колдобине, майор крикнул, повернулся и, улыбаясь в усы, проговорил смущенно и укоризненно:

— Неужели, Ангелина Георгиевна, вы думаете, что с вами что-то такое может случиться?

Беспрепятственно миновав пост охраны, они въехали на территорию уютного городка, где на молодой изумрудной траве среди сосен и елей стояли нарядные и аккуратные кирпичные двухэтажные коттеджи.

— Это... «Царское село»? — спросила Геля, с интересом глядя по сторонам.

— Так точно, — произнес свои первые слова водитель.

Геля слышала про загородный поселок, который построило для себя губернское начальство и новые придонцы и который в народе сразу же прозвали «царским селом», — слышала, но еще не видела...

Людей почему-то не было — ни около домов, ни на посыпанных красным битым кирпичом дорожках.

Майор громко, со свистом, потянул носом и прокомментировал:

— Кислород!

«Уазик» остановился рядом с розовым, словно игрушечный, домом. Молоденький милиционер выскочил первым и, улыбаясь, галантно подал Геле руку. Повозившись немного с замком, усатый майор открыл дверь, отдал честь и бодро пожелал:

— Здравия желаем, Ангелина Георгиевна!

— Та-ак, — протянула Геля, начиная кое о чем догадываться, и широким решительным шагом вошла в незнакомый дом.

Везде стояла хорошая современная мебель, на полу лежали пушистые шерстяные ковры, в каждой комнате было по телевизору, даже в кухне; огромный холодильник был забит продуктами, в ванной висели белоснежные полотенца и розовый махровый халат.

— Та-ак! — громко и сердито повторила Геля и рванула по деревянной лестнице на второй этаж, где оказалась спальня с широченной кроватью, один вид которой вызывал смущение. Рядом в кресле лежала гитара. Это была ее, Гелина, старенькая любимая гитара...

На улице загудел мотор уезжающего «уазика».

Геля обессиленно опустила на край кровати и, глядя на гитару, громко вдруг всхлипнула и зарыдала.

— Дурак! Вот дурак-то! Вот дурак-то, господи! — приговаривала она, размазывая по щекам слезы.

Взгляд случайно упал на окно, и она увидела, как из дома напротив молодая, красивая, хорошо одетая женщина выкатывает детскую коляску. Неторопливо и счастливо катила она ее по посыпанной красным битым кирпичом дорожке.

Геля перестала плакать и неотрывно и задумчиво смотрела ей вслед.

Глава десятая

ЧЕМ Я БОГАЧЕ, ТЕМ НАРОДУ ЛУЧШЕ

1

Зал смеялся и аплодировал ведущему, а тот в ответ делал вид, что хочет откусить кусок микрофона. Ведущий был с бачками, в цветастой рубашке и клешах. Задник сцены украшал огромный российский триколор, который составляли надутые шарики — белые, голубые и красные, причем надуты они были так, что каждый из них в отдельности напоминал тугую женскую грудь с темным торчащим соском.

— Представляю следующего члена жюри, — завопил ведущий, бегая из конца в конец сцены. — Хотя нам, придонцам, его представлять не надо. Писатель! Вот я сказал — писатель, и вы сразу поняли — кто. Это Толстых было аж четыре штуки, а наш Эдуард Бык один! Мы гордимся нашим придонским писателем! Эдуард Бык!

Зал взорвался аплодисментами. Писатель Бык в костюме-тройке поднялся и кивнул. Внешне он здорово смахивал на быка: огромный, сивый, с маленькими злыми глазками.

А ведущий продолжал носиться по сцене:

— Я видел вчера на книжном лотке: лежит ихняя Агата Кристи, а сверху наш Эдуард Бык, и подумал: повезло старушке!

Публика охотно откликнулась на шутку, дружно засмеявшись, и даже писатель Бык улыбнулся. Ведущий остановил свой бег и, покачиваясь из стороны в сторону, продолжил мягко и лирично, представляя еще одного члена жюри:

— Вот смотрю я на него... Улыбается... А чего ему не улыбаться? Профессия — врач-маммолог... Все мужчины в этом деле специалисты, но чтобы по восемь часов в день и за это еще деньги платили?! И фамилия у него соответственная — Счастливец.

Публика вновь смеялась и аплодировала, а красный от смущения, милый пожилой доктор кланялся.

Ведущий тем временем перестал раскачиваться, выпрямился, и лицо его из шутовского превратилось в серьезное, даже пафосное.

— Владимир Иванович Печенкин! Компания «Печенкин», генеральный спонсор нашего конкурса! — воскликнул он, указывая рукой на Печенкина.

Аплодисменты переросли в овацию, многие вставали, чтобы увидеть знаменитого земляка. Владимир Иванович поднялся со своего места в первом ряду, повернулся и развел руки, как бы всех сразу обнимая. Во втором ряду за ним сидели Илья и Седой. Седой, как и все, аплодировал, а Илья, как будто ничего не слыша, читал какую-то книжку.

— Несмотря на свою гигантскую занятость, Владимир Иванович не только профинансировал это, без преувеличения сказать, эпохальное в жизни Придонска событие, но и любезно согласился возглавить высокое

жюри. Согласился в последний момент, еще вчера мы этого не знали. Как известно, Владимир Иванович Печенкин обратился к жителям нашей губернии с патриотическим призывом: «Ешьте придонское! Пейте придонское! Любите придонское!» Сегодня мы будем любить! Итак, наш конкурс объявляется открытым! Еще раз напоминаю: ка-атегорически запрещается любая видео- и фотосъемка. На сцену приглашается участница под первым номером! Я хочу сказать — не с первым номером, а под первым номером! — Ведущий многозначительно подмигнул и под аплодисменты и смех ускакал за кулисы.

Оглушающе загремела ритмичная латиноамериканская музыка, и на сцену выбежала девушка в одних трусиках, на которых сбоку был прикреплен бумажный кружок с цифрой «1». Весело танцуя, девушка стала демонстрировать публике свой бюст.

Придонцы притихли, как-то вдруг враз оробев. Печенкин самодовольно усмехнулся, повернулся и посмотрел на сына. Илья читал.

— Что читаем? — бодро поинтересовался Владимир Иванович.

Не поднимая головы, Илья показал обложку. Книжка была из дедушкиного сундука: «И. Сталин. „Основы экономической политики”».

— Ага, — понимающе кивнул Печенкин, взял ручку, склонился над стоящим перед ним столом, начертил что-то на листе бумаги, написал и протянул Илье.

— Я над этим много думал, — становясь серьезным, стал объяснять Печенкин. — И вот что получилось... Теорема Печенкина.

На листе было следующее:



Илья удивленно и непонимающе смотрел на отца.

— Чем я богаче, тем народу лучше. Вот и вся экономическая политика, — подытожил Владимир Иванович и пожал плечами.

На сцене объявили выход второго номера, но ни сын, ни отец туда даже не взглянули. Илья достал из кармана свою ручку, перевернул листок другой стороной и, положив его на обложку книги, начертил и написал:



Владимир Иванович засмеялся:

— Не устоит! Упадет сразу же! Эх ты, Пифагор! Богатые сверху, и их мало, бедные внизу, и их... Посмотри — я один здесь богатый, а всем хорошо. Все веселы, все смеются — праздник! Праздник!! — повторил Печенкин и потрепал сына по волосам.

Илья побледнел вдруг, торопливо начертил на листе что-то, написал и протянул отцу:



Тот поднял удивленные глаза:

— А что такое НОК?

— НОК — это НОК, — еще больше бледнея, ответил Илья, поднялся и пошел к выходу, но, сделав несколько шагов, вернулся, протянул отцу томик Сталина и, кривясь в улыбке, проговорил: — Почитай на досуге, там и про тебя написано.

Владимир Иванович растерянно смотрел уходящему сыну в спину.

Седой поднялся и заторопился следом.

2

Фойе Дворца культуры было пустым, просторным, гулким. На расписанных стенах и потолках самоотверженно трудились и безмятежно отдыхали счастливые судостроители и судостроительницы.

Седой нагнал Илью и заговорил негромко:

— Ты зря, сынок, на отца наезжаешь. Ничего, что я тебя так называю? У меня уже внук такой, как ты, Мишка... А отец у тебя молоток! Самородок... Таких бы человек сто — мы бы сейчас в другой стране жили. Я имею в виду — в России, конечно...

Илья остановился у буфета и купил у скучающей буфетчицы пару жареных пирожков.

Седой замялся:

— Вообще-то Галина Васильевна просила, чтобы ты ничего городского не ел.

Илья демонстративно откусил полпирожка и стал жевать, глядя в растерянные глаза своего телохранителя.

— Дайте и мне два! — приказал Седой буфетчице и пошутил: — Попробуем вместе.

— Вы первый, — уточнил Илья.

Седой поперхнулся. Илья тем временем купил две бутылки пепси-колы и одну протянул Седому. Тот улыбнулся.

— А насчет конкурса этого ты не обижайся. Я тебе по секрету скажу: это Галина Васильевна Иваныча попросила. Ну, чтобы ты нормально развивался, понимаешь? Других дел у Иваныча нет, как на ребра эти смотреть.

Сделав глоток пепси-колы, Седой глянул на этикетку, улыбнулся и продолжил:

— А знаешь, как ее Фидель Кастро называл? Сточные воды империализма!

Он засмеялся, однако Илья оставался серьезным.

— Он сказал это про кока-колу, — не согласился молодой человек.

Седой поставил бутылку на столик, закурил и заговорил искренне и нервно:

— Ты, сынок, считай, не жил при советской власти. Что ты понимал — ребенок... А я жил! Я, между прочим, зампреда областного управления комитета госбезопасности был. Большой начальник, да? А что я видел? Двести рублей оклад и понос! Пять дней в неделю понос! А в выходные — стул нормальный! Стресс постоянный, понимаешь? В отпуске стул нормальный, а на работу выходишь — понос!

Илья вытер салфеткой губы и пальцы, скомкал ее, бросил на стол и проговорил — еще более искренне и нервно:

— Вы Родину охраняли, шпионов ловили!

— Охранял! Ловил! — пунцовея, закричал в ответ Седой. — А теперь я каждый день по телевизору вижу шпионов этих! Шпионы...

Илья не слушал. Он быстро спустился по широкой парадной лестнице, а Седой семенил рядом, пытаясь еще что-то объяснить, рассказать.

— Я вас уволю, — бросил Илья на ходу.

— Как это? — не понял Седой и даже остановился в раздумье.

Илья направился в туалет, и Седой побежал следом.

Туалет был просторный, с мокрыми, недавно вымытыми полами.

— Я вас уволю, — громко и отчетливо проговорил Илья из своей кабинки.

Седой нервно засмеялся и вошел в кабинку соседнюю.

Илья спустил воду, вышмыгнул под шум воды из кабинки, схватил стоящую у стены швабру, подпер ею дверь, за которой пребывал Седой, распахнул настежь большое матовое окно напротив и спрятался в другой кабинке, самой дальней.

Седой удовлетворенно выдохнул, ткнулся в дверь и спросил удивленно:

— Сынок?

Ничего не услышав в ответ, он стукнул в дверь ногой и повторил растерянно:

— Сынок...

И тут наконец до него дошло...

— Сынок! — прорычал Седой, багровея, и с медвежьей яростью кинулся на дверь грудью.

Швабра громко треснула и сломалась, как спичка, дверь с грохотом распахнулась, Седой вылетел из кабинки, упал, проехал на четырех конечностях по мокрому полу до противоположной стены, вскочил на ноги, сунулся в пустую кабинку Ильи, перевел взгляд на распахнутое окно, мгновенно все понял, взобрался на подоконник и бесстрашно прыгнул вниз...

3

На площади перед Дворцом культуры Илья остановился и прощально и насмешливо посмотрел на его помпезный фасад, на котором висел огромный бело-сине-красный плакат, объявлявший:

«1-й Всероссийский конкурс „Грудь России“. (Региональный этап)».

— Прощай... немытая... грудь России! — засмеявшись, прокричал Илья и побежал в свой город — один!

Глава одиннадцатая

СПРОСИ, КАК МЕНЯ ЗОВУТ

1

Холодный стальной кружок давил на висок, принуждая не двигаться, и Илья не двигался — сидел на лавочке в той внешне расслабленной позе, держа в полуопущенной руке недоеденное мороженое, — как застал его внезапно прижавшийся к виску холодный стальной кружок... Еще был хриплый приказ: «Молчать и не двигаться!», и Илья молчал и не двигался, совершенно не двигался, только мороженое в руке двигалось: стекало, тая, на ладонь, ползло, щекоча, между пальцев...

А больше пока ничего не было...

Дело происходило в запущенном пустынном парке Воровского, куда Илья забрел, чтобы отдохнуть и съесть любимое с детства сливочное мороженое в вафельном стаканчике. До этого он долго бродил по Придонску, вспоминая город, купил в книжном магазине пузырек чернил, а в газетном киоске «Придонскую правду» и «Придонский комсомолец», но, лишь глянув на заголовки первых полос, выбросил обе газеты в мусоросборник. Илья был внимателен и осторожен, понимая, что Нилыч его ищет, и расслабился только, когда купил мороженое, вошел в перекошенные ворота парка Воровского и сел на грязную скамейку...

Тот, кто подкрался сзади, приставил пистолет к виску и приказал молчать и не двигаться, сам молчал и не двигался, то ли испытывая нервы, то ли издеваясь, то ли дожидаясь кого, то ли еще что... Было страшно и непонятно. И, видимо, от этого Илья вдруг задышал — часто и громко, часто, громко и все чаще и громче... И тут же тот, кто стоял за спиной с пистолетом, тоже вдруг задышал часто и громко, часто и громко и все чаще и громче. И так они вдвоем дышали... Странно, но это напоминало то самое известное всем любовное дыхание, которое кончается сладостным стоном или криком, но чем оно могло здесь кончиться — выстрелом? Кончилось звонком, и оба они от неожиданности перестали дышать, слушая высокий искусственный голосок мобильного. Он пел и пел, назойливо повторяя коротенькую мелодию.

— Это у тебя? — на выдохе хрипло спросил стоящий за спиной с пистолетом.

Илья не понял вопроса, но переспросить не решился и промолчал.

— Это у тебя? — нервно повторил стоящий за спиной, и пистолет в его руке сильно и опасно дернулся.

Илья еще больше растерялся, не понимая.

— Это телефон, — шепотом ответил он. — Мобильный телефон.

— Я и говорю — у тебя?!

Илья понял наконец и торопливо ответил:

— У меня!

— Ну говори тогда! — приказал стоящий за спиной с пистолетом.

Илья разжал руку, избавляясь наконец от растаявшего мороженого, незаметно вытер ладонь о дерево скамейки, достал из кармана телефон.

— Сынок, это ты? — спросил Седой.

— Я, — ответил Илья.

— Слушай, сынок. — Голос у Седого был злой и нервный. — Ты не сынок, ты щенок! Я тебя сегодня поймаю, штаны сниму и задницу надеру.

Илья дал отбой и хотел положить аппарат обратно в карман, но тот, кто стоял за спиной с пистолетом, выхватил его, сдавленно крикнув:

— Дай сюда!

Илья облегченно улыбнулся — кажется, это было просто ограбление.

— А как здесь? — неожиданно спросил незнакомец и убрал пистолет от виска Ильи. — Где нажимать, покажи...

Илья осторожно повернул голову и, не поднимая глаз, показал, как пользоваться мобильным. Человек с пистолетом имел небольшие, очень смуглые руки, а обломанные грязные ногти были покрашены разноцветным лаком — белым, зеленым и фиолетовым. Он набрал нужный номер и прижал аппарат к уху. Только тогда Илья поднял глаза... Это была девушка, точнее даже, девочка, школьница, старшеклассница, ребенок. Из-за шапки черных курчавых волос голова ее казалась очень большой. Она была метиска или мулатка: кожа цвета кофе с молоком, иссиня-черные глаза, расплющенный нос и огромные губы. На плече ее висел яркий школьный рюкзачок, на груди был прицеплен большой круглый значок с надписью: «Спроси, как меня зовут».

Видимо, не соединилось, — недовольно хмуря брови, девушка стала снова набирать номер, но блестящий короткоствольный револьвер мешал, и тогда она сунула его Илье, приказав:

— На, подержи!

Илья взял оружие и глянул на девушку удивленно.

— Але! — закричала она, как это обычно делают люди, редко говорящие по телефону. — Але, Баран, это ты? Ты дома? Я так и знала, что ты дома... Узнал? Это я, ага... Чего делаешь, чай пьешь? Я так и знала, что ты чай пьешь... С вареньем? Я так и знала, что с вареньем... А я тебе с Воровки по мобильному звоню... Ты что, оглох? Тебе по буквам повторить? По

мо-биль-ному! Баран, я тебе должна сказать знаешь что... Я давно хотела тебе это сказать, да времени не хватает. Баран, ты козел!

Девушка сунула телефонную трубку Илье, и он вернул револьвер. Она вскинула оружие, прицелилась в пустоту, сказала: «Ба-бах!» — и по-ковбойски дунула в дуло. Илья улыбнулся. Ей это, кажется, не понравилось. Она глянула строго и ткнула револьвером в значок на своей груди. Илья смотрел вопросительно, не понимая, что это значит.

— Ну! — потребовала девушка и снова показала на значок.

— «Спроси, как меня зовут», — прочитал Илья то, что там было написано.

Девушка громко вздохнула, пожала плечами и посмотрела по сторонам, как бы ища сочувствия.

— Ты что, дурак? Или с луны свалился? — раздраженно спросила она. — Это ты должен спрашивать, понимаешь? Для чего я его сюда повесила?

— Как тебя зовут? — задал Илья требуемый вопрос.

— Меня? — Девушка словно этого не ожидала. — Снежана.

— Снежана? — искренне удивился Илья.

— Снежана, а что? Что тебя так удивляет? — Она готова была обидеться.

— Редкое имя, — объяснил Илья. — Редкое и красивое.

— Красивое, конечно, — согласилась девушка. — Я сама, когда первый раз услышала... А тебя как звать?

— Сергей.

— Сережка?

— Сергей, — твердо повторил Илья.

— А фамилия?

— Нечаев.

Девушка смотрела на Илью так, как будто разгадывала загадку.

— Знаешь, почему я про фамилию спросила? Подумала — может, ты его родственник... Ты все-таки здорово на него похож. А Баран знаешь на кого похож? На Леонардо. Ты любишь Леонардо?

Илья внимательно посмотрел на девушку и ответил серьезно:

— Я больше люблю Рафаэля.

Она скривилась:

— Ты что, старик, что ли? Это моя мать Рафаэля любила, когда молодая была. Блеет, как козел. Я девять раз «Титаник» смотрела. А Верка двенадцать. Она первая поняла. Что Баран на Леонардо похож. А ты знаешь на кого похож? Сказать?

Илья пожал плечами.

— На Влада! — выпалила девушка. — До Леонардо я Влада любила.

— Кто такой Влад? — делаясь серьезным, спросил Илья.

— С луны свалился! — весело воскликнула девушка. — Влад Сташевский!

Девушка ждала реакции, но реакции не было.

— Правда не знаешь? — спросила она растерянно и недоверчиво.

— Не знаю, — спокойно ответил Илья.

— Певец! — неожиданно заорала девушка. — Это певец такой! «Вечерочки-вечерки» слышал?

Илья помотал головой.

— С луны свалился? — тихо серьезно спросила она.

— Нет, просто я жил далеко, — объяснил Илья улыбаясь.

— Сидел? — догадалась девушка.

Илья кивнул:

— Сидел... И лежал... И ходил...

— Сколько лет?

— Шесть.

— А за что? Маму не слушался?

— Наоборот — слушался...

Девушка засмеялась.

— А у тебя бабки сейчас с собой есть?

Илья задумался.

— Ну, бабки — мани, мани, — нетерпеливо воскликнула она.

— Есть, — спокойно ответил Илья.

— Значит, ты такой же крутой, как Баран, — подытожила девушка и продолжила неожиданно: — И значит, ты сегодня меня трахнешь.

Она смотрела на Илью, ожидая реакции, но вновь реакции не было.

— Трахнешь! — крикнула девушка и приставила револьвер к его груди.

— За что я должен тебя трахнуть? — спросил он сочувственно.

— Да ни за что! Просто так! Просто так не можешь, что ли? Мужик называется! Мужики пошли, просто так трахнуть уже не могут! — продолжила возмущаться девушка.

— Просто так не могу. Просто так я никогда никого не бил. Только за дело, — взволнованно объяснил Илья.

Девушка глянула на него недоверчиво, отступила на шаг, еще на шаг и вдруг захохотала — чужим гортанным хохотом, сгибаясь в поясе и чуть не падая. Илья смотрел на нее непонимающе, удивленно, но скоро удивление в его глазах сменилось возмущением.

— Почему ты смеешься? — Он требовал ответа.

Девушка вытирала слезы рукой, в которой сжимала револьвер.

— Нет, ты все-таки не с луны свалился. Ты все-таки дурак... Дурак с мобильным... И с бабками... Ты как моя бабка! Она тоже не знала, что значит — трахаться. Я говорю ей тогда: «Ба, а что вы с дедом дома делали, когда мама в школу уходила?» Думала, думала — вспомнила, а потом ка-ак меня поварешкой по башке трахнет! Догадалась...

Она посмотрела на Илью внимательно и серьезно и спросила:

— Догадался теперь?

Илья кивнул.

— Трахнешь?

Илья кивнул еще раз.

Девушка засмеялась:

— Быстрый какой! Сначала мы в «Макдональдс» пойдем, как Верка с Бараном.

— Я «Макдональдс» не люблю, — попробовал не согласиться Илья, но девушка оборвала:

— Зато я люблю! Я сказала в «Макдональдс», значит, в «Макдональдс»!

2

То был первый и единственный пока в Придонске «Макдональдс». Девушка жадно поела гамбургеры, запивала их клубничным коктейлем, гладела по сторонам и непрерывно болтала:

— Еще мне Верка рассказывала, что в сортире здесь чище, чем в операционной, ей аппендицит недавно вырезали. Надо будет сходить посмотреть, да? И пописать можно заодно... А ты чего ничего не ешь? Бабки экономишь? Как Васька Огрызков... Тоже бабки экономил, в «Макдональдс» хотел сходить... А потом на уроке в обморок — ба-бах!

— Я сыт, — объяснил Илья.

— Дома покушал?

— Да.

— А у тебя отец есть?

— Есть.

— И мать?

— И мама.

— И они вместе живут?

— Да.

— Бедненький, — ехидно посочувствовала девушка. — Накормили, значит, на дорожку. Ну хоть попей.

— Я пью только пепси-колу, а ее здесь нет, — очень серьезно объяснил Илья.

— Поэтому ты не любишь «Макдональдс»? — догадалась девушка.

— Да.

Девушка тоже посерьезнела.

— Любишь пепси?

Илья кивнул.

— А я коку больше уважаю... Хотя пепси тоже люблю. И фанту... Но спрайт я ненавижу!

— Я пью пепси, — повторил свою позицию Илья. Такая определенность вызывала у девушки уважение.

— А что у тебя с рукой? — живо поинтересовалась она.

— Бандитская пуля, — ответил Илья, и девушка оценила шутку, засмеялась.

От гамбургеров остались одни бумажки, коктейльная трубочка издавала финальный хрип. Девушка громко вздохнула и еще раз посмотрела по сторонам:

— Классно здесь... Будь моя воля, я бы здесь жила... Моя родина — «Макдональдс».

Илья усмехнулся:

— Чего же здесь хорошего?

— Чисто... Красиво... Вкуснятина прикольная... Никто не матерится, не блюет... Даже на улицу не хочется выходить. Как увидишь эти рожи! А я тут штуку баксов хотела заработать. Конкурс «Грудь России», слышал?

Илья кивнул.

— Ну хоть это слышал. Ну вот... Прихожу я туда, а они мне: «Это непатриотично, Печенкину это не понравится. Печенкин это не поймет!»

— Кто такой Печенкин? — перебил ее Илья.

— Наш главный богач. Бабка его народным кровососом называет. Она на заводе вахтерила, а Печенкин завод купил и всех стариков выгнал. Будь моя воля, я бы его собственными руками задушила. Знаю я, что ему нравится. Он нашу училку третий год трахает, а она в одной и той же юбке ходит и курит «Пегас»... Жа-адный! Все богатые — жадные, правда? А тебе мой пистолет понравился? Мне его один слесарь шестого разряда из газового переделал за две бутылки водки. А то лезут все... А я прихожу домой, а бабка говорит: «Эх, где бы мне пистолет достать?» Я чуть не упала, подумала — знает, а потом смотрю — нет... И говорю: «А зачем тебе пистолет?» Застрелиться, говорит... Они всем своим советом ветеранов застрелиться решили...

— Почему?

— Ну как почему? Они эту страну защищали, а чего они от нее хорошего видят? У бабки пенсия — на два биг-мака, да и ту не платят. Чем так жить, лучше вообще не жить. Ну вот... Я говорю: «Ба, а какой вам нужен пистолет?» Типа прикальываюсь... А она: «ТТ зарегистрированный». Я говорю: «ТТ могу достать, только незарегистрированный», — прикальываюсь опять... А она: «Нет, только зарегистрированный». Я: «Незарегистрированный». Она: «Зарегистрированный»... Я: «Незаре-ре...» Тьфу ты! А она кружкой по башке меня ба-бах! Шишка до сих пор осталась, хочешь — потрогай. — Девушка перегнулась через стол, вытягивая шею, но Илья не стал дотрагиваться до ее головы, а спросил:

— Ты читала «Как закалялась сталь»?

Неожиданный вопрос не застал девушку врасплох. Она подняла обращенную к Илье ладонь и проговорила успокаивающе:

— Я книжек не читаю.

— Это хорошо, что ты книжек не читаешь. Но эту прочтешь.

Девушка громко засмеялась:

— Отгадай загадку! Слово из трех букв, в котором можно сделать три ошибки, а смысл все равно остается!

Илья задумался.

— Сдаешься? Сдавайся. Все равно не отгадаешь! Ишо! — выкрикнула девушка.

Илья не понимал, решительно не понимал.

— У вас там на луне все такие? Как до утки — на четвертые сутки? Или как до жирафы? — раздраженно спрашивала она.

— Еще? — догадался Илья.

Девушка согласилась, кивнула:

— Один коктейль и один биг-мак! Нет, лучше два коктейля! И два биг-мака...

Илья поднялся и направился к раздаче, но, проходя вдоль стеклянной стены, увидел внизу в сквере Седого. Старый чекист ходил прихрамывая кругами, глядя по сторонам потерянно и обреченно. Илья достал из кармана телефон и набрал номер. Седой торопливо приложил к уху свой мобильник.

— Это я, — заговорил Илья.

— Сынок! — обрадовался Седой и тут же пожаловался: — Что же ты делаешь, сынок?

Илья улыбнулся:

— Хорошо. Пока я не буду вас увольнять. Но предлагаю вам работать на меня. Детали обсудим позднее. А сейчас садитесь на скамейку и ждите. Я приду, и мы вернемся домой вместе. В противном случае я вернусь один и скажу маме, что вы меня потеряли и меня чуть не украли чеченцы.

Седой закружился на месте, завертел головой, пытаясь увидеть Илью, он даже посмотрел на небо.

— Садитесь! — строго приказал юноша, и старый чекист послушно опустился на стоящую рядом скамейку.

На подносе стояли не два, а три коктейля и лежали не два, а три биг-мака. Девушка взглянула на Илью счастливо и благодарно.

— Ты не как Баран. Ты круче Барана, — решительно проговорила она.

— Знаешь, на кого похожа ты? — спросил Илья.

— Знаю! — кивнула девушка, впиваясь зубами в американский бутерброд. — На обезьяну. Мне это по сто раз в день говорят...

— Ты похожа на Андзелу Дэвис, — уверенно сказал Илья.

— Как-как?

— Анджела Дэвис.

— А кто это? Певица?

— Американская коммунистка.

Девушка улыбнулась:

— Надо бабке моей сказать, вот обрадуется. А мы куда пойдем: к тебе или ко мне?

— К тебе.

— А к тебе нельзя? Родители дома?

— Мама.

— Значит, ко мне. Только ключ у бабки надо забрать, а то она мне не доверят.

3

На обитой оцинкованным железом выходящей прямо на улицу двери висели две таблички: первая — «ЖЭК», вторая — «СВВОВ». Илья подергал закрытую дверь и взглянул вопросительно на спутницу. Она махнула рукой:

— Да там они, я знаю! Только они не откроют, стучи не стучи. Секретничают...

Илья подошел к высоко расположенному окну, ухватился за карниз, подтянулся и, с трудом удерживаясь на узком приступке фундамента, приник к стеклу.

За длинным, накрытым кумачом столом плотно сидели седовласые, увешанные орденами и медалями ветераны.

— Видишь кого? — нетерпеливо спросила девушка.

Илья не отвечал.

— Кто там?

— Старик, — ответил Илья, не отрываясь от стекла.

— Это Коромыслов! — обрадованно воскликнула девушка. — Председатель ихний. Это он придумал — застрелиться... Злой как собака.

Старик был длинный, сухой, седой, усатый. Он стоял во главе стола, говорил что-то горячо и напористо, то поднимая, то опуская сжатую в кулак руку.

Слушатели, несомненно, были с ним согласны: они часто кивали, трясли дряблыми подбородками и, готовясь аплодировать, потирали ладони. Два толстых пыльных стекла не пропускали ни звука. Это напоминало аквариум, в котором давным-давно нет воды, — пыльный обветшалый аквариум, где прах сохранил форму живых существ. Был, вероятно, какой-то праздник, известный им одним юбилей, и по этому поводу проводилось мероприятие — необходимое, тягостное, священное...

— А бабуку видишь? — крикнула снизу девушка.

— Как она выглядит?

— Бабка? Бабка как бабка...

Илья спрыгнул на асфальт и смущенно посмотрел на девушку.

— Подсади! — потребовала она и стала забираться туда же. Илья подерживал ее сзади, стараясь не смотреть вверх.

— Ба! — заорала девушка и забарабанила в стекло. — Ключ дай, ба! Нас сегодня раньше отпустили. Да одна я, одна! Контрольная завтра, готовиться надо срочно!

Ключи вылетели в форточку и, звякнув, упали на асфальт. Девушка спрыгнула вниз, подхватила их, подбросила в воздух, поймала и предложила — деловито и задорно:

— Ну что, айда? Цигель-цигель о-ля-ля!

4

Девушка и бабушка жили на втором этаже старого двухэтажного барачного типа дома. Комната была одна, но получалось — две, что подчеркивала полустершаяся меловая черта, проведенная по дощатому полу от середины окна до середины входной двери. Левая половина принадлежала бабушке: там стояла высокая железная кровать под атласным покрывалом, комод, шифоньер, радиола на ножках и швейная машинка в желтом фанерном футляре. На стене над кроватью, в рамках и без, висели старые фронтовые фотографии, вырезанные из журналов фотопортреты военачальников, среди которых центральным был цветной парадный маршал Жуков, украшенный, как икона, блеклыми цветами из навощенной бумаги.

На стороне внучки, прямо напротив Жукова, висел глянцевый плакат Леонардо ди Каприо, а вокруг — вырезанные из журналов фотографии артистов, певцов и рок-музыкантов. На бабушкиной половине царило опрятное, но мрачное спокойствие, на внучкиной было пестро и грязно. На разложенной красной диван-кроватьи валялись скомканные одеяло и простыня, были разбросаны молодежные журналы, обертки от жевательной резинки, магнитофон и кассеты, дешевая косметика и пара грязных тарелок.

— На бабкину половину не заходи, — предупредила девушка, копаясь в своем рюкзаке.

— Почему?

— Бабка убьет. На...

Она повернулась, протягивая что-то на ладони. Илья увидел и смутился.

Девушка хохотнула:

— Безопасный секс! Пользоваться умеешь или научить? Бери, не бойся!

Илья смутился еще больше и опустил глаза. Она присела и заглянула в них снизу.

— Ты чего, мальчик еще? Признавайся! Мальчик?

Илья мотнул головой, не соглашаясь:

— У меня была девушка.

— А как ее звали?

— Оксана.

Девушка насмешливо фыркнула.

— На следующий день она погибла, — проговорил Илья.

— Это давно было? — спросила девушка шепотом.

— В прошлом году.

— Ты ее не можешь забыть?

— Я никогда ее не забуду. У нее отец — безработный шахтер. Мама — больная. И еще трое маленьких детей. Она их всех кормила...

— Не собираешься забывать? А зачем же тогда ко мне шел? Зачем обещал, что трахнешь? Баран дома чай с вареньем пьет, ты не собираешься забывать... А что я Верке скажу? Я сегодня себе последний срок поставила. Надо мной все девчонки в классе ржут...

— Это не главное, это совсем не главное, — попытался успокоить ее Илья, но девушка в ответ швырнула в него презерватив и не попала.

— Не главное? А что главное? — возмущенно требовала она ответа.

— У нас не было с ней того, о чем ты говоришь. Мы сидели и разговаривали, и она рассказывала мне о себе...

— Не было?! — обрадовалась девушка. — Тогда чего же боишься? Может, ты голубой? А, поняла, ты голубой!

— Я не голубой, просто это не главное... — все пытался объяснить Илья.

— Я знаю, что главное! — Она вытащила из рюкзака револьвер и, держа его обеими руками, направила в грудь Илье.

— Молчать и не двигаться! — приказала она, как в парке.

Илья улыбнулся:

— Там нет патронов.

— Есть! — закричала девушка. — Целых три штуки! Я сама покупала их на базаре!

Илья протянул кулак и разжал ладонь. На ней лежали три револьверных патрона.

Девушка смотрела растерянно и непонимающе то на Илью, то на патроны в его руке, то на револьвер в своей.

— А-а, — догадалась она наконец. — Вытащил... Вытащил, когда я с Бараном по мобильному говорила. Ну ты и гад...

И, не зная, что еще сказать, девушка швырнула в него и револьвер и снова не попала.

Илья поднял оружие, спокойно осмотрел, выдал барабан и стал вставлять в него патроны.

— Главное в жизни — это борьба. Борьба до победы, — сказал он и улыбнулся: — Я трахну тебя, обязательно трахну, но только тогда, когда мы победим.

— Кто — мы? — недоверчиво спросила девушка.

— Мы.

— А кого? Кого мы должны победить?

— Твоя бабушка хочет застрелиться, потому что у нее отняли смысл жизни. Твой одноклассник падает в голодный обморок. Ты мечтаешь жить в «Макдональдсе». Мы победим тех, кто во всем этом виноват...

— Я не понимаю — кого? Кого мы должны победить? Например! — нетерпеливо и нервно закричала девушка.

— Например, Печенкина.

— Печенкина? Я согласна. А как?

— Я знаю — как. Ты слышала о Тристане и Изольде?

Девушка нахмурила брови, вспоминая.

— Которые вместе отравились? Кино видела.

— Нет. Они завязали глаза, разделись донага, легли рядом и лежали так, не дотрагиваясь друг до друга.

— А почему — не дотрагиваясь?

— Чтобы скорее победить.

Девушка поняла и одобрила:

— Прикольно. Только я платков не ношу, бабкины можно?

— Можно.

Девушка зашла на чужую половину, выдвинула ящик комода и достала из него два платка.

Нагие, с завязанными глазами, они лежали на крашеном дощатом полу совсем рядом.

Как меч Тристана, их разделял взведенный револьвер.

— Как тебя зовут? — требовательно и строго спросил Илья, и девушка с готовностью ответила:

— Анджела Дэвис.

Глава двенадцатая

КОМУ ЭТО НУЖНО?

1

Прибыловский торопливо вошел в приемную Печенкина, чуть не столкнулся с пожилой уборщицей в синем халате и поморщился. Вид у Прибыловского был утомленный, взгляд озабоченный. На плече его висела дорожная сумка. Сняв ее и бросив на диван, секретарь-референт громко выдохнул и упал рядом.

Сидящая за своим рабочим столом секретарша Марина — красивая, похожая на топ-модель, но с человеческими глазами — никак не прореагировала на появление Прибыловского. Она вертела в руках большой конверт.

Уборщица вытряхивала содержимое соломенной урны в свой бумажный мешок, то ли ворча при этом, то ли напевая.

Понаблюдав несколько секунд за конвертом в руках Марины, Прибыловский равнодушно поинтересовался:

— Это случайно не мне?

— А как будет по-швейцарски «здравствуйте»? — спросила Марина, продолжая вертеть конверт в руках.

— У швейцарцев нет своего языка, — устало объяснил Прибыловский.

— Бедненькие, как же они без языка, — пожалела швейцарцев Марина.

Прибыловский снисходительно улыбнулся и повторил вопрос:

— Так это мне?

— Вам, — официальным тоном ответила Марина и положила пакет на край стола.

Чтобы взять его, секретарю-референту пришлось подняться с низкого дивана и сделать два больших шага.

— Не открывала? — спросил он.

— Но я хорошо заклеила, — ответила Марина.

Прибыловский вновь упал на диван, разорвал конверт, вытащил до половины свежий журнал «Экспресс», глянул на обложку и сунул его обратно.

— Привет из Франции? — спросила Марина, записывая что-то.

— Это я уже в Цюрихе читал, — равнодушно ответил Прибыловский.

— Владимир Иванович, прибыл Прибыловский, — доложила Марина по внутренней связи.

— Пусть заходит, — приказал Печенкин.

Прибыловский торопливо поднялся.

— Ты хотя бы предупредила, — упрекнул он, но Марина пропустила упрек мимо ушей.

Во взгляде секретаря-референта появилась вдруг растерянность, и причиной этой растерянности был тот самый конверт с журналом — ни взять его с собой, ни оставить в приемной Прибыловский почему-то не мог.

Волоча по полу бумажный мешок, уборщица уходила из приемной.

— Постойте! — окликнул ее Прибыловский, подбежал и бросил в мусор обременительную корреспонденцию.

В следующее мгновение в глазах секретаря-референта загорелся тот ровный холодноватый свет деловитости и исполнительности, который горел всегда, когда он общался с шефом.

— Моя фамилия происходит не от глагола «прибыл», а от существительного «прибыль», — снисходительно и иронично напомнил он секретарше, открывая тяжелую дверь кабинета, на которой серебряными шурупами была прикреплена золотая пластина с изысканной гравировкой:

ПЕЧЕНКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.

2

В огромном, обставленном дорогой мебелью, но все же довольно безвкусном кабинете за большим длинным столом заседал совет директоров компании «Печенкин». Во главе, в глубоком кожаном кресле, сидел Владимир Иванович.

Члены совета, числом примерно с дюжину, были сплошь мужчины — крупные, крепкие, средних лет, в однообразных черных двубортных костюмах, с яркими, но тоже однообразными галстуками и с однообразным же деловито сосредоточенным выражением лиц. Выделялись, пожалуй, двое: первый — могучий чеченец, он делал доклад, второй — курносый голубоглазый русак, у которого на макушке, среди непослушных пшеничных вихров, неожиданно оказалась кипа — еврейский головной убор. Первого звали Лема, фамилия второго была Уралов.

Чеченец говорил без акцента, но время от времени повторял слова:

— Насчет хора... Насчет хора... Наследники белогвардейцев, в принципе, не против, но они не хотят стоять позади потомков казаков. Казаки тоже не против, но хотят обязательно стоять впереди потомков белогвардейцев. Губернатор не против казаков и даже не против белогвардейцев, но категорически возражает против «Боже, царя храни»... «Боже, царя храни».

— А его-то кто спрашивает? — усмешливо проговорил Печенкин и глянул на стоящего за креслом неподвижного Прибыловского.

Чеченец улыбнулся и объяснил:

— Я его не спрашивал, он сам позвонил. Вы, говорит, что, за монархию? Я говорю: за конституционную... Еще он предлагает, чтобы красноармейцы в буденовках выступили.

Члены совета директоров заулыбались, а Печенкин почему-то нахмурился.

— А что говорит церковь? — спросил он.

— Церковь ничего не говорит... Ничего не говорит... Но один человек там сказал: «Кому это нужно?»

Владимир Иванович громко вздохнул и с хрустом расправил плечи.

— Кому это нужно... — задумчиво повторил он, нерешительно улыбнулся и продолжил — тихо, словно разговаривая сам с собой: — Вчера на моем «мерсе» рулек отломали... Ну знаете, на носу, кругленький такой, блестящий?

Члены совета директоров закивали головами, понимая, о чем идет речь.

— Отломали рулек... — продолжал Печенкин, жалуясь и печалась. — Стоим мы с Нилычем, смотрим и думаем: «Кому это нужно?» В самом деле — кому? Раньше, помните, если у кого машина была, дворники все друг у друга тырили. Ну не было их, дефицит был, вот и тырили, а это... Кому это нужно? Я никогда не поверю, что человек, допустим, купил «мерс», а на рулек этот у него денег не хватило... Или у кого-то этот рулек отломали, а он у меня... Ну как дворники... Не поверю, ни за что не поверю... Нилыч говорит: «Коллекционируют», но как их можно коллекционировать, если они совершенно одинаковые? Я говорю: «Нилыч...»

Печенкин сначала, казалось, шутил, а теперь, казалось, нет.

— Ну не могу я на таком «мерседесе» уже ездить, понимаете, не могу! — Владимир Иванович даже руками взмахнул от возмущения. — Кому это нужно? — заканчивал он пафосно и закончил просто и деловито: — Сегодня новый «шестисотый» пригнали.

Судя по глазам, члены совета директоров одобряли такой выход из положения.

— Продолжай, Лема, — приказал Печенкин докладчику, а сам поднял голову, скосил глаза и обратился к Прибыловскому: — Ну рассказывай, что ты там разведал...

Прибыловский наклонился и стал шептать в ухо шефа:

— Все началось в прошлом году. К ним в пансион тайно, по ночам, стала приходить русская проститутка, некто Оксана Тупицына. Молодые люди пользовались ее секс-услугами.

— А Илья? — с живым интересом спросил Владимир Иванович. — А то Галка волнуется на этот счет.

Прибыловский смущенно улыбнулся и пожал плечами.

— Ясно, — кивнул Печенкин. — Продолжай.

— Кто-то выдал, ее забрали в полицию. За это Илья сильно избил араба, сына шейха Маффуди...

— Молоток, Илюха! — горячо одобрил поступок сына отец. — Я тоже стукачей ненавижу.

— Оказалось, араб не выдавал...

— Ошибся, бывает, — понимающе кивнул Печенкин.

— Девушка повесилась в полицейском участке на колготках.

— Повесилась? Ага, что дальше было?

— Спустя некоторое время, — продолжил секретарь-референт, — у них была дискуссия на тему: «За что я люблю свою страну?» Илья сказал, что ненавидит свою страну.

— Россию? — удивился Печенкин.

— Россию. «Как можно любить страну, возвращение в которую страшнее смерти», — вот что он сказал.

Владимир Иванович усмехнулся:

— А почему они нам тогда об этом не сообщили?

— Видимо, не хотели выносить сор из избы... — высказал предположение Прибыловский.

— Знаю я, какой сор... Деньги мои... Что еще?

— Выпускной реферат Илья по экономике назывался «Развитие нового капитализма в России».

— Название интересное, — одобрил Печенкин.

— Эпиграф интересный: «Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли?»

— Это кто сказал?

— Это из Библии.

— Там так написано?

— Возможно. Вообще Илья серьезно увлекался религией, ходил в церковь, собирался принять католичество. Но после экскурсии в Аушвайц его богоискательство прекратилось.

— Аушвайц?

— Освенцим, — перевел Прибыловский.

— Ну и что? — не понимал Владимир Иванович. — Освенцим знаю, ну и что?

Прибыловский пожал плечами.

Печенкин помолчал, соображая, но так, похоже, и не сообразил.

— Еще что?

— Еще о реферате... — продолжил свой конфиденциальный доклад Прибыловский. — Илья делает там следующий вывод: новые русские собственники должны вернуть, как он говорит, награбленное, как он говорит — народу.

— А если я не захочу? — прямо спросил Печенкин.

Прибыловский опустил глаза:

— Тогда народ применит силу. Там так написано.

Владимир Иванович улыбнулся:

— А я ему треугольнички рисовал... Лечили от желтухи, оказалось — китаец. И что он за этот реферат получил?

— Шесть баллов. Это у них высшая оценка. Дело в том, что преподаватель экономики Джереми Маркс...

— Как, говоришь? — перебил секретаря Печенкин.

— Маркс.

— Маркс! — громко, во весь голос, повторил Печенкин, так что докладчик замолчал, и все члены совета директоров стали внимательно смотреть на шефа.

Печенкин поднялся с кресла и обратился неведомо к кому:

— Где-то я слышал уже эту фамилию? А Энгельса у них нет? Я, значит, большие деньги им платил, а они моего сына учили, как мне башку свернуть? Маркс...

— Он уже уволен, — успел вставить Прибыловский.

— Уволен! Ха! Уволен... Да за такие дела на него, гада, солнцевских зарядить! Маркс, блин... — И, сунув руки в карманы, Владимир Иванович нервно заходил по кабинету.

— Левые идеи вновь входят на Западе в моду, — попытался объяснить Прибыловский.

— На Западе в моду, а у нас в морду! — закричал Печенкин. — Прямо в морду они у нас входят!

И быстро пошел вокруг большого стола. Проходя мимо Уралова, Печенкин остановился, в задумчивости глядя на его кипу, и спросил:

— Слушай, Уралов, а что это на тебе за тибетейка?

Уралов улыбнулся и объяснил:

— Это не тибетейка, а кипа! Ко мне папа из Израиля приехал. Надел и попросил не снимать.

Печенкин долго смотрел на Уралова, пребывая в каком-то усталом отупении, но, сделав над собой усилие, вышел из этого состояния, улыбнулся и, уже садясь в свое кресло, одобрил:

— Молодец, Уралов! Папу надо слушать.

Заседание совета директоров продолжилось.

Глава тринадцатая

Я НАУЧУ ТЕБЯ ДЕСЯТИ УДАРАМ

1

Картина была явно комическая и страшноватая: прохожие на тротуаре останавливались, машины на проезжей части тормозили. Илья шел по центральной улице Придонска — улице Ленина — и с детским упоением ел мороженое в вафельном стаканчике, а в это время его охраняли. Впереди шел рыжий охранник в темных очках, сзади еще один здоровяк, за ним — одним колесом по проезжей части, а другим по тротуару — медленно полз «субурбан», за затемненными стеклами которого мутно светился Седой.

Мороженое почти растаяло, подтекало снизу, и Илья с удовольствием слизывал выступающие белые капли. Наконец он закончил, вытер губы и ладони носовым платком и посмотрел по сторонам, размышляя, куда дальше направить свои стопы. Но в этот момент из «субурбана» выскочил Седой, семenea, подбежал к Илье и спросил — официально и язвительно:

— Ну что, нагулялись, Илья Владимирович? Домой? До мамочки?

Илья перевел свой внимательный озабоченный взгляд на главного телохранителя и, склонив голову набок, задал неожиданный вопрос:

— А какую мы дадим вам кличку?

— Какую кличку? — раздраженно отмахнулся Седой. — Садитесь в машину.

— Вы забыли, что я вас завербовал? — с улыбкой напомнил Илья.

— Ты меня не вербовал, — огрызнулся Седой.

— Стоит только моей маме узнать, что вы меня потеряли...

— Кроме мамы есть еще и папа, — перебил его Седой и приказал: — В машину, Иваныч до трех отпустил.

— «Седой»! Как вам?

— Садись в машину! — требовал Седой.

— А пароль?

— Сам не сядешь — посадим!

— Есть такой пароль, что если я его назову, то вы меня сразу отпустите, — неожиданно высказался Илья.

— Нет такого пароля. Садись в машину!

— Есть. Спорим на мороженое! — Илья явно издевался.

— В машину! — прорычал Седой и уже взял Илью за локоть, чтобы потащить его к «субурбану», как молодой человек проговорил вдруг громко, отчетливо:

— Ангелина Георгиевна Всеславинская.

Седой отпустил руку и стоял молча и неподвижно.

Илья смотрел на него насмешливо и сожалеюще:

— Нет, не буду я вас вербовать. Лучше, пожалуй, уволю.

Седой не услышал, повернулся и затрусил к машине. Охранники замерли в нерешительности. Илья расправил плечи и спокойно, не торопясь, направился к «зебре» перехода. Седой смотрел сквозь стекло в его спину и кричал в трубку телефона:

— Иваныч, он откуда-то знает про Гелю. Все знает: имя, фамилию, отчество.

Печенкин долго молчал.

— Он уходит, Иваныч! — напомнил Седой.

Владимир Иванович нервно хохотнул:

— Знаешь поговорку: жена узнаёт последней...

— Так она последняя и осталась! Что делать, Иваныч? Он уходит!

— Черт с ним, пусть уходит, — поставил точку Печенкин.

2

Бодро, весело вышагивал Илья по привокзальному рыночку; не обращая внимания на возмущенные крики баб, подхватил на ходу из отверстого мешка жменью семечек и, лузгая их, остановился у прилавка, за которым одиноко пребывал продавец корейской моркови. Полноватый, с глазами-щелочками, похоже, очень смешливый юноша-продавец не стоял на месте, а все время двигался: руки, ноги, туловище, голова, и с губ при этом слетали звуки яростных каратистских ударов:

— Бум! Джи! Кия!

Они смотрели друг на друга так, будто были знакомы сто лет, потом сто лет не виделись и вот теперь снова встретились.

— Ты Ким, — сказал Илья.

Кореец сдвинул у переносицы брови и проговорил несогласно и гордо:

— Я — Брюс!

— Нет, ты Ким! — настаивал Илья.

— Нет, я Брюс! Бум! Джи!

— Ну какой же ты Брюс, ты Ким! — Илья добродушно улыбался, но кореец увидел в этом насмешку. Он выскочил из-за прилавка, встал в боевую позу, однако Илья поднял вверх руку, показывая свою забинтованную ладонь. Кореец склонил голову набок, вопрошая.

— Бандитская пуля, — объяснил Илья.

Кореец понимающе кивнул и стал смотреть по сторонам в поисках подходящего соперника, чтобы доказать, что он — Брюс. Пьющие чай кавказцы, пьющие водку алкаши, омововцы с автоматами и казаки с нагайками — все они были не соперники. Тогда кореец молча подхватил с прилавка ведро с морковью и направился в сторону станции. Илья взялся за дужку ведра с другой стороны, и они пошли вместе — дружно, весело, в ногу.

Переступая через переплетение рельсов и пролезая под вагонами, молодые люди вышли на другую сторону станции, где было пустынно и грязно. На высоком бетонном заборе, за которым возвышались корпуса железнодорожных складов, висел большой черно-красный плакат, на котором был нарисован, и довольно умело, штурмовик в черной рубаше, галифе и сапогах, поднявший руку в фашистском приветствии. Как солнце с расходящимися лучами, над ним сияла слегка закамуфлированная фашистская свастика. Грозная надпись внизу свидетельствовала и предупреждала: «Охраняет „Русский порядок“».

Перед закрытыми железными воротами прохаживался человек, который, быть может, позировал для этого плаката, — белобрыйсый верзила в черной форме с повязкой-свастикой на рукаве. На боку его болталась резиновая дубинка.

Еще больше прищутив прищуренный глаз, кореец оценивающе посмотрел на противника. Этот ему подходил.

— Я — Брюс, — громко шепнул кореец Илье и, поставив ведро на землю, отправился на бой.

Фашист смотрел на инородца как на диковинку. Его белесые, словно обсыпанные мукой ресницы часто моргали.

— Эй, ты, дай закурить! — провокационно воскликнул кореец и встал в боевую позу.

— Что? Да я... — Фашист от возмущения задохнулся и кинулся вперед, отстегивая на ходу дубинку. — Да я тебя!

— Ки-я!! — пронзительно выкрикнул кореец и довольно высоко подпрыгнул с вытянутой вперед ударной ногой. Удара, однако, не вышло, потому что до противника было еще довольно далеко. Неудавшийся каратист шлепнулся об землю, но тут же бодро вскочил и резво понесся назад. Илья уже был в стартовой позиции. Подхватив на ходу ведро, они рвану-

ли к станции. Верзила настигал. Он занес дубинку над головой и наверняка достал бы кого-нибудь, если бы не корейская морковь — ведро вылетело вдруг из дужки, опрокинулось на асфальт, фашист ступил в оранжевую склизкую кучу, получая ускорение, проехал на пятках, и ноги его взлетели чуть не выше головы...

Илья и кореец не успели подумать, что спасены, как увидели бегущих навстречу двух других фашистов. Не сговариваясь, ребята свернули резко в сторону и нырнули под стоящие вагоны. Они пересекли несколько составов и спрятались под товарняком, прижавшись спинами к колесу и пытаясь сдерживать дыхание.

— А здорово я ему чуть не попал! — громким шепотом похвастался кореец.

— Сколько ударов ты знаешь? — спросил вдруг Илья.

— Шесть.

— Я научу тебя десяти ударам, — пообещал Илья и прибавил: — И ты будешь непобедим.

Кореец посмотрел на Илью как восторженный и благодарный ученик на своего сэнсея.

Три пары ног в начищенных до блеска сапогах и черных эсэсовских галифе остановились напротив, и казалось, что сейчас, как в советском кино, зазвучит громкая и нахальная немецкая речь.

Но речь зазвучала наша, русская:

— Обнаглела нерусь вконец!

— Да запомнил я их обоих. Найдем.

Третий молча мочился.

Илья осторожно вытащил из-за пазухи револьвер и плавно, бесшумно взвел курок. Чтобы не закричать от восторга, кореец зажал ладонью рот.

Словно почувствовав для себя опасность, фашисты ушли.

Глава четырнадцатая

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

1

— Ну знакомьтесь! — громко и радостно предложил Илья и отступил на шаг.

Мулатка еще раз глянула на корейца, криво улыбнулась и, неохотно протягивая ладонь, назвалась:

— Анджела Дэвис.

Взволнованный кореец чиркнул ладонью по штанине, излишне крепко пожал девушке руку и назвал свое полное имя:

— Ким Ир Сен.

Илья смотрел на них как родитель на своих удавшихся детей — счастливо и удовлетворенно.

Анджела Дэвис повернула голову в его сторону, скривилась еще больше и, не скрывая раздражения, поинтересовалась:

— Ты специально нас таких подбираешь?

— Каких — таких? — не понял улыбающийся Илья.

— Я черножопая, он узкоплечный...

— Как? Узкоплечный? — повторил Илья и залиристо засмеялся.

— Специально таких подбираешь?! — нервно крикнула Анджела Дэвис.

Илья оборвал свой смех.

— Специально? Да, специально. Я выбрал вас специально, — спокойно и серьезно заговорил он, глядя то в глаза мулатки, то в глаза корей-

цу. — Я выбрал вас специально, потому что вы — последние. Сегодня последние становятся первыми, а первые — последними. Вы будете первыми. Я выбрал вас специально...

— Мы последние, а ты какой?! — робея, еще громче крикнула Анджела Дэвис. — Кто ты вообще такой?

Илья грустно улыбнулся и не ответил на вопрос.

Ким почесал затылок и спросил смущенно:

— Ты русский?

— Он с луны свалился, — язвительно вставила Анджела Дэвис.

Илья снова улыбнулся:

— В этой стране нет ни русских, ни нерусских, а есть богатые и есть бедные, есть обманутые и есть обманувшие.

— Как это? Ничего не понимаю, — честно признался Ким.

— Можно и не понимать. Главное — верить. Вы мне верите?

Илья посмотрел на Кима, и Ким ответил:

— Верю.

Илья посмотрел на Анджелу Дэвис, и она, смутившись, сказала в ответ:

— Верю.

— Тогда я вам скажу, — продолжил Илья, — что вы будете первыми членами НОК.

— А что такое НОК? — разом спросили Ким и Анджела Дэвис.

Илья еще раз внимательно посмотрел в глаза товарищам, как бы размышляя — говорить или не говорить, и сказал:

— НОК — это Новое Общество Коммунистов.

На лицах молодых людей возникло разочарование.

— Ха! — сказала Анджела Дэвис. — Да у меня бабка — коммунист! У нас весь барак за коммунистов голосует.

— У нас полгорода коммунисты, — поддержал ее Ким.

Илья помотал головой:

— В этом городе нет ни коммунистов, ни демократов.

— А кто есть? — спросил Ким.

— Есть слепые котята, а кошка куда-то ушла. Они тычутся во все углы и ищут.

— Утопили кошку, — мрачно согласилась Анджела Дэвис.

Все молчали, и никто ни на кого не смотрел.

Илья глянул на часы и медленно в задумчивости пошел по тротуару. Ким и Анджела Дэвис растерянно переглянулись и направились следом.

— Мы заставим их прозреть и увидеть правду, — заговорил на ходу Илья. — Правда вернет им желание жить, и это приведет их к нам. НОК — это справедливость.

— А в него как, записываться надо? — озабоченно спросил Ким.

— Для начала ты выучишь десять ударов. А ты прочтешь «Как закалялась сталь». Потом вы будете испытаны. Потом принесете клятву, — ответил Илья, ускоряя шаг.

На углу Профсоюзной и Ленина располагалось маленькое старомодное фотоателье.

Илья остановился напротив и решительно проговорил:

— Этот день вы должны запомнить на всю жизнь.

2

Фотограф был древний, дряхлый, смешной. Он медленно двигался навстречу, громко шаркая подошвами желтых одеревенелых ботинок. На его лысой шишковатой голове выделялся костяной крючковатый нос, но еще больше выделялись глаза: они излучали неожиданную радость и невозможный оптимизм. Можно было подумать, что каждый из прожитых стариком бесчисленных годов прибавлял ему радости и оптимизма.

— Какие красивые молодые люди! — восхищенно проговорил он, остановившись напротив. — Я давно не видел таких красивых молодых людей. Какие лица! Последний раз я видел такие лица в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году. Они уезжали покорять целину. Вы тоже собрались покорять целину?

Ким и Анджела засмеялись — старик вызывал у них восторг.

— Сделайте наш коллективный портрет, — попросил Илья.

Старик вскинул брови:

— Коллективный портрет, я не ослышался? Вы шутите? Я спрашиваю, потому что сейчас никто не просит сделать коллективный портрет. Только фотографии на загранпаспорт. Почему все так стремятся за границу? Вот я, например, там не был и не испытываю ни малейшего желания. Зачем? Мне хорошо здесь! Повторите — коллективный портрет?

— Коллективный портрет, — повторил Илья хмурясь.

Старик задумался, роняя голову на впалую грудь.

Анджела Дэвис хихикнула. Ким смущенно улыбался.

— Коллективный портрет современной молодежи! — вскидывая голову, сформулировал старик и стал передвигать треногий деревянный скворечник древнего фотосъемочного аппарата, не закрывая при этом рта. — Мне нравится современная молодежь! Знаете — почему? Потому, что ей неизвестен страх! Я недавно прочитал в газете, что девяносто девять процентов первоклассников не знают, кто такой Ленин. Я заплакал — счастливые дети!

Справившись с фотоаппаратом, старик подобрался к криво висящей простыне задника, стал выравнивать волнистую поверхность, делая ее, однако, еще более волнистой.

— Я знаю, что говорю, — продолжал он вещать. — Мой папа был большевик, его родной брат, мой дядя, был меньшевик. Папа приговорил дядю к расстрелу. Эсерка-мама исключительно из идейных соображений ушла от папы к эсеру. Бундовец-дедушка их всех проклял. Не потому, что они так себя вели, а потому, что не вступили в Бунд. Тогда моя бабушка сказала: «Не нравится мне все это». Она как в воду глядела: папу расстреляли, а мама умерла в лагере. И тогда моя бабушка дала мне мудрый совет. Она сказала: «Если хочешь долго прожить — не верь коммунистам. Даже если они будут говорить на белое — белое, не верь — это черное. Даже если они будут говорить на воду — вода, не верь — это камень. Даже если они будут говорить на хлеб — хлеб, не верь — это яд!» Я следовал бабушкиному совету всегда! Знаете, сколько мне лет? Это бессмысленно говорить, потому что все равно не поверите!

Теперь старик выстраивал композицию кадра, меняя местами хихикающую Анджелу Дэвис, смущенного Кима и недовольного, раздраженного Илью.

— Знаете, до какого времени я собираюсь дожить? — продолжал он. — Я собираюсь дожить до того времени, когда на свете останется всего один коммунист, последний коммунист! Его никто, никто не пожалеет! Женщины категорически откажутся продолжать с ним свой род. Мужчины не будут говорить с ним о футболе и играть в шахматы. А маленькие дети будут бегать за ним, показывать пальцем и кричать: «Коммунист! Коммунист!» Это будет самое страшное, самое последнее слово!

Старик хотел еще что-то сказать, он даже вскинул руку, но Илья его остановил:

— Значит, для того, чтобы вы поверили, надо на воду говорить — камень, а на хлеб — яд?.. Надо белое называть черным, и тогда вы поверите?

Илья смотрел на фотографа, прищурившись, ожидая от него ответа. Старик опустил руку.

— Ты умный мальчик. Ты, возможно, даже очень умный мальчик, — сказал он как-то робко и попятился по-рачьи. Остановившись у аппарата,

старик еще раз взглянул на Илью и продолжил свою мысль: — Беды начнутся тогда, когда появится один очень умный мальчик...

Илья готов был и на это что-то сказать, но старик торопливо спрятался под толстую и глухую шерсть накидки.

— Приготовились! — крикнул он из своего укрытия специальным голосом.

Илья бросил на соратников горящий взгляд и прошептал:

— Да здравствует коммунизм!

— Да здравствует коммунизм, — согласился Ким.

— Да здравствует коммунизм, — повторила Анджела Дэвис.

Глава пятнадцатая

А ВОТ ЭТО ЗДОРОВО ПРИДУМАНО!

1

В небе — среди темных и плотных, накаченных водой облаков — глухо ворочался гром. Губернские начальники на высокой трибуне посматривали, улыбаясь, вверх и удовлетворенно кивали, переглядываясь, соглашаясь, что и там сегодняшнее мероприятие наверняка вызывает одобрение.

Густой неподвижной толпой стояли на Заводской площади праздничные любопытствующие придонцы, глаза на хрустальную маковку и золоченый крест часовни, на начальство, среди которого выделялся стоящий в центре Печенкин в белом костюме, белой сорочке и белом галстуке, на концертную площадку, где сводный хор потомков казаков и наследников белогвардейцев слаженно и красиво исполнял «Боже, царя храни!».

— Нет, что ни говорите, но красноармейцев в буденовках здесь все-таки не хватает, — дружелюбно посетовал стоящий по левую от Печенкина руку губернатор. По правую руку от него стоял митрополит в парчовой ризе — седенький старичок с добрыми слезящимися глазками. Митрополит мелко закивал, то ли соглашаясь, то ли испытывая краткий, неопасный приступ какого-то старческого недуга.

Владимир Иванович не слышал губернатора, наверное, потому, что не остыл еще, не отошел от речи, которую сам толкнул несколько минут назад. Обычно Печенкин говорил без бумажки, и хорошо говорил, просто, доходчиво, убедительно, но здесь — такой случай — приказал написать Прибыловскому, и тот, надо сказать, постарался на славу. Особенно хорошо было про дорогу, ведущую к храму: мол, у нас теперь не только дорога есть, но есть и сам храм. И не просто храм, а чудо. Русский народ всегда мечтал о чуде. И вот оно — чудо, хрустальный храм, какого нигде больше нет! Восьмое чудо света! Придонское чудо!

Хлопали минут десять... Ну если не десять, то пять точно. Печенкин был счастлив. Это был его день.

Боже, царя храни,
Боже, царя храни,
Дай ему долгие дни,
Слабых хранителю,
Гордых смирителю,
Мир ниспошли, —

торжественно выводил хор.

— Вот гимн так гимн! — обратился Печенкин к митрополиту. — И слова и музыка!

Митрополит мелко закивал.

— Ну, наш был не хуже, — подключился губернатор. — Помните, как Роднина под него плакала? На весь мир...

— Мотив хороший, а слова? — выдвинул довод Владимир Иванович.

— Слова тоже хорошие. — Губернатор стоял на своем.

Владимир Иванович не стал дальше спорить — не потому, что боялся испортить настроение, это было невозможно, просто он отвлекся, переводя взгляд с хрустала часовни на гранит памятника Ленину, окончательно утверждаясь в собственной правоте: одно другому не мешает. А в том, что Ленин, получалось, указывал рукой на храм, в этом тоже был свой смысл. И преемственность поколений, и покаяние, и терпимость — все эти слова, которые Владимир Иванович не то чтобы не любил, но не очень хорошо понимал и как-то их стеснялся, — все это было теперь на Заводской площади, присутствовало, имело место.

В небе громко гроыхнуло, и сразу вдруг потемнело. Народ внизу заволновался.

— Не будет дождя! — громко проговорил Владимир Иванович и нахмурил брови, вспомнив, что нет здесь родных и близких: у Галины Васильевны был приступ мигрени, Гелю он даже не приглашал, потому что знал, что она все равно откажется, а Илья только усмехнулся в ответ на предложение, чем обидел и разозлил.

2

— Пора! — решительно проговорил Илья, разматывая красное знамя на длинном тонком древке. Знамя было шелковое, то самое — из дедушкиного сундучка, цирковое.

Ким и Анджела Дэвис смотрели на Илью растерянно, не веря, похоже, в то, что задуманное им произойдет. Они стояли в пустом переулке рядом с площадью, откуда доносились голоса хора. Илья торопливо натянул на голову бандитско-омоновскую шапочку с прорезями для глаз и, подняв знамя, стремительно побежал вперед — к людям, стоящим на Заводской площади.

Дул сильный встречный ветер, и знамя сразу расправилось и затрепетало. Илья бежал прямо на толпу, и толпа его испугалась, подалась назад, расступилась. Он вошел в людскую массу, как нож входит в масло, разделив ее на две половины, и теперь это было две толпы: над одной возвышался Ленин, над другой — православный крест.

Среди начальства первым оценил происходящее губернатор. Он просиял и воскликнул, одобряя:

— А вот это хорошо придумано!

Митрополит подслеповато сощурился, вытянул цыплячью шею и, передернув плечами, крякнул, как будто выпил мерный стаканчик горькой микстуры.

Печенкин наблюдал за бегущим знаменосцем неподвижно и бесстрастно.

Хор сбился: казаки еще кое-как пели, а белогвардейцы уже даже не раскрывали ртов.

— Да здравствует коммунизм! — звонко прокричал на бегу Илья, и после этого замолчали и казаки. На Заводской площади стало совсем тихо. Милиционеры вертели головами, но не пытались задержать бегущего, думая, видимо, что так и должно быть.

Илья уходил и — ушел, выбежав из толпы и скрывшись за углом стоящего на краю площади дома.

— Заср-ранец, — прорычал сквозь сжатые зубы Печенкин.

Глава шестнадцатая

БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ И ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА

В юности Владимир Иванович занимался боксом и даже стал кандидатом в мастера. Званием своим он гордился и, стараясь ему соответствовать, поддерживал спортивную форму. Время от времени, когда было настроение, устраивались публичные поединки с кем-нибудь из коллег по бизнесу или из ближайшего окружения, чаще из охраны. Для этого на поляне среди сосен, неподалеку от кинотеатра «Октябрь» натягивались канаты боксерского ринга, Седой снимал пиджак и галстук и надевал черную судейскую бабочку, собиралась веселая, возбужденная публика: гости и домочадцы, и — начиналось...

Обычно поединок случался неожиданно, без объявления, ночью, после насыщенного дня, когда Печенкину удавалось сделать что-то особенно важное или, наоборот, не удавалось. Вот и в день торжественного открытия храма, вернувшись поздно домой, вместо того чтобы пойти, по обыкновению, в кино, Владимир Иванович приказал натягивать канаты.

Илья не знал про эту отцовскую забаву, точнее, знал — по письмам матери, но забыл и, идя к дому, с удивлением смотрел на ярко освещенный квадрат, где метались два добровольных гладиатора и бесновались окружившие ринг зрители.

Илья узнал сначала рыжего охранника, потом отца и, поколебавшись, направился к ним.

Это был странный бой. Печенкин был боксером, а рыжий — борцом-самбистом, и экипированы они были соответственно: Владимир Иванович — в трусах и старой, как видно, мемориальной майке с каким-то линялым спортивным знаком на груди, его противник — в подпоясанной крепкой самбистской куртке.

Это был странный бой: Печенкин бил, стараясь свалить, рыжий хватал, пытаясь заломать. Судил Седой. Большинство болело за хозяина:

— Давайте, Владимир Иванович!

— Бейте, Владимир Иванович!

— Эх, Владимир Иванович!

Кричали громко, то искренне радуясь, то неподдельно сокрушаясь.

— Молодец, рыжий! Дави боксера! — заорал Илья, подходя к месту боя.

Стоящие впереди болельщики удивленно оглянулись, увидели Илью, стали смущенно здороваться, называя его по имени-отчеству и пропуская вперед.

И боксер, и самбист сражались нешуточно и уже порядком устали — первому никак не удавалось ударить, второму свалить.

— Дави, рыжий, дави капиталиста! — закричал Илья.

Владимир Иванович услышал, коротко взглянул туда, но тут же почувствовал на своей шее цепкую пятерню самбиста.

— Вали, рыжий, вали! — завизжал Илья.

Рыжий и впрямь валил Печенкина, и голос Ильи в этот момент был единственным, остальные молчали.

Владимира Ивановича спасло то, что его шея и ладонь рыжего были мокрыми от пота, он не вывернулся, а выскользнул. Растерявшись, рыжий на мгновение раскрылся и тут же получил точный и сильный удар в челюсть. Его ослабшие колени подогнулись, взгляд рассредоточился. Дело было сделано, но Печенкин сгоряча ткнул противника в лоб, и тот опрокинулся на спину.

Все закричали, празднуя победу, и только Илья резко повернулся и стал смотреть в противоположную сторону.

Печенкин победно кружил по рингу и выкрикивал:

— Самбо! Тьфу ваше самбо! И каратэ тоже тьфу! И кун-фу, и фу-сю, и го-мо-жо — прямо в жо — тьфу! И все ваши черные пояса против майки мастера спорта СССР — тьфу!

Владимир Иванович преувеличил свое спортивное звание, но никто, разумеется, не стал его поправлять.

Держа за руки победителя и побежденного, Седой торжественно объявил:

— Победил мастер спорта СССР Владимир Печенкин, Придонск, «Трудовые резервы», — и вскинул руку Печенкина вверх. Зрители закричали, засвистели, зааплодировали, и тут же заиграл советский гимн — это тоже была традиция.

На глазах Ильи выступили слезы.

— Эй, ты, коммуняка, иди сюда! — весело и грозно проорал Печенкин.

Илья не двинулся.

— Слышь, что ль! — требовал улыбающийся Владимир Иванович, перекрикивая гремющий на всю катушку гимн СССР.

— Вас папа зовет, Илья Владимирович, — трогая за локоть, услужливо подсказали стоящие рядом.

Илья повернулся. Он улыбался, но с места не двигался.

— Иди-иди, не бойся, звезду на груди вырезать не стану, — подбодрил отец. — Звездану один раз, и все!

— Я не боюсь. — Илья хотел, видимо, сказать громко, но почему-то получилось тихо, и направился к рингу.

Вокруг смеялись — осторожно и немного нервно. Илья подлез под канаты и остановился напротив отца. Владимир Иванович подскочил, широко размахнулся, и Илья испуганно зажмурился. Печенкин не ударил, он и не собирался бить, а сердито закричал:

— Никогда не делай этого! Не закрывай глаза перед ударом! Это первое правило! Знаешь, как я от этого избавился? Мячик теннисный привязываешь за бечевку и стоишь. Он качается, а ты уклоняешься. Но глаза не закрываешь. Понял?

Илья кивнул.

Печенкин захохотал:

— А теперь учишь удар держать! Но тут никакой теории, только в бою, только в бою! Ну-ка! Нилыч, надень на него перчатки.

Пока Седой, глядя насмешливо, всовывал в перчатки слабые безвольные руки Ильи, Печенкин вновь, как после победы, заходил кругами по рингу и закричал, обращаясь к публике, куражась:

— Матч века! Отец-капиталист против сына-коммуниста! Бой без прывил и до победного конца!

Он повернулся к Илье и вдруг замолчал и замер. За спиной сына стояла Галина Васильевна — в длинном, до земли, зеленом халате, с влажной повязкой на лбу.

— Ты что здесь устроил, Володя? — спросила она тихо и укоризненно.

Печенкин смущенно улыбнулся и пожал плечами.

Тем же своим спокойным, обезволивающим взглядом Галина Васильевна обвела стоящих вокруг людей, и они стали бесшумно расходиться.

— Нилыч! — закричал Печенкин в спину уходящему Седому. — Будь другом, сгоняй на вокзал, купи семечек, а то в кино еще охота сходить.

— Ты что здесь устроил, Володя? — повторила свой вопрос Галина Васильевна.

Она ждала ответа на свой дважды произнесенный вопрос, но Печенкин решил, видимо, на него не отвечать. Он перестал вдруг замечать жену — как будто ее здесь не было, хотя Галина Васильевна стояла за спиной сына.

— Ну и что? — грозно и насмешливо обратился Печенкин к Илье. — Да здравствует, ну и что? Я ж тебе говорил: нет тут ни коммунистов, ни демократов! Говорил? Говорил! Мы не белые, мы не красные, мы — придонские! Хотел людям праздник испортить? Да они не поняли ничего! Подумали — пьяный омоновец с ума сошел! — Печенкин хохотнул, довольный неожиданной придумкой. — Никто ничего не понял! Или думаешь, в газетах напишут? Не напишут! Или по телевизору покажут? Не покажут! Это я тебе гарантирую. Никто ничего не узнает, понятно? А вот что ты засранец — узнают все...

— Володя! — остановила мужа Галина Васильевна. Она не любила грубых слов.

— Что — Володя?! — закричал Печенкин. — Знаешь, что он сегодня сделал? Он мне в душу плюнул! У меня такой день! Сколько я дерьма за этот храм съел, сколько сил потратил, денег, а он?! — орал Печенкин, и на его шее веревками вздувались жилы. — Заср-р-ранец!

— Володя! — решительно оборвала его жена. Печенкин замолчал и неожиданно засмеялся, сверкая глазами.

— Коммунист? Ну вот и живи как коммунист! — Он вновь обращался к сыну: — Тебе дед сухарей засушил — вот и грызи! И никакой больше охраны — коммунистов не воруют...

— Володя...

— Хочешь — сама охраняй! И жить он в моем доме больше не будет! Все!

— Володя, успокойся, — попросила Галина Васильевна.

— А я спокоен! — заорал Владимир Иванович. — Спокоен! Потому что это мой дом и все здесь мое. А твой вон кинотеатр «Октябрь»... Ни копейки денег ему! Днем пусть работает, а вечером учится! В школе рабочей молодежи, как я учился. В Швейцарии не научили, там научат! Быстро научат! Обязательно научат! Все! Новая жизнь! Нью лайф! — Печенкин перемахнул через канаты и прокричал вдаль: — Нилыч! У молодой не бери, у нее недожаренные!

(Окончание следует.)



АЛЕКСАНДР КУШНЕР

*

ОГОРЧАТЬСЯ ПОЗДНО!

Иван-чай

В окне вагонном под откосами
Мелькает призрак иван-чая.
Кем надо быть, чтоб этот розовый
Цвет миновать, не замечая?

Ну что ж вы, русские художники,
Народолюбцы, интроверты,
Где ваши грубые треножки,
Чернорабочие мольберты?

Не скучно ль явкою с повинною
Жить, узкогрудым интересом?
«Бывало, шла походкой чинною
На свист и шум за ближним лесом...»

Не жаль вам заросли лиловые,
Сиреневатые наплывы
Отдать французам, бестолковые
И безыдейные мотивы?

И все по смерть ходить, как по воду,
Все тьма, «столыпин» да теплушка...
«Я понял, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка».

Все по убийственному, этому,
Слепорожденному, глухому,
Напрасно в розовый одетому,
В лиловый, в летнюю истому.

Кушнер Александр Семенович родился в 1936 году, закончил филологический факультет Ленинградского пединститута им. Герцена, живет в С.-Петербурге. Автор двенадцати поэтических книг, выступает и как эссеист. Лауреат премии «Северная Пальмира», Государственной премии России и Пушкинской премии фонда Альфреда Тёпфера.

* *
*

Облака, мои лебеди нежные!

И. Анненский.

Потому-то и лебеди нежные,
Что земными замучены формами,
И не только вершинами снежными,
Но верблюдами также двугорбыми,
И рояля концертного крышкою,
И Кремлевской стеною зубчатою,
И поэта крахмальной манишкою,
И шкатулкой, и паклей, и ватою.

Только кажется, будто нездешние,
А спроси у них, что они видели, —
То полки они вспомнят потешные,
То правителя в форменном кителе,
То князьями покажутся, дожами,
То прикинутся пленными, ссыльными...
Как им хочется быть не похожими
Ни на что, проходными, стерильными!

* *
*

Первым на сцену является белый шиповник,
Чтобы, наверное, знали, кто первый любовник,
О, как он свеж, аккуратен и чист, — как Пьеро!
Вот кто, наверное, всех оболщений виновник,
Снов и иллюзий: печаль и сплошное добро!

Он не отцвел еще, как зацветает махровый,
Душный, растрепанный, пышный, свекольно-лиловый,
Так у художников в ярком трико Арлекин
Смотрит с полотен, все в скользкую шутку готовый
Вдруг обратить, ненадежный такой господин.

Третьим приходит, как шелк ослепительно-алый,
С желтой середкой рассеянный гость запоздалый,
Нами любимый всех больше и дикой пчелой.
Кто им порядок такой предписал, тот, пожалуй,
Знает, что делает, прячась за вечною мглой.

* *
*

Однажды на вырицкой даче, в компании шумной,
Я был поражен приоткрывшимся видом на реку,
С какой-то неслыханной грацией полубезумной
Лежавшей внизу и смотревшей в глаза человеку,
Как будто хозяин держал у себя под обрывом
Туманную пленницу в тайне от всех, за кустами,
Турчанку, быть может, и прятал глаза, и счастливым
Был, и познакомить никак не хотел ее с нами.

Поэтому в дом пригласил и показывал комнат
 Своих череду затененных, с кирпичным камином:
 «Легко нагревается и хорошо экономит
 Дрова», и вниманье привлечь к полутемным картинам
 Хотел, и на люстре дрожали густые подвески,
 И плотными шторками окна завешены были,
 Вином угощал нас, чтоб мы позабыли о блеске,
 Мерцанье в саду — и его ни о чем не спросили.

* *
 *

Я должен эту мысль додумать до конца.
 Пылают звезды в небе чистом.
 Подслеповатая пыльца!
 Тот, кто любит созданными Творца,
 На это время он и обладает смыслом.

Звездой, шиповником, растущим у крыльца,
 Речным обрывом, остролистом,
 Большими окнами дворца
 И милой бледностью прекрасного лица,
 Как Фет нам, скептикам, сказал и эгоистам.

* *
 *

Надеваешь на даче похуже брюки,
 И рубашка застирана и лилова,
 Ходишь черт знает в чем, — ни тоски, ни скуки,
 Как во сне, как охотники у Толстого,
 Можешь книгу писать «И мои досуги»,
 Можешь не говорить вообще ни слова.

Пчелам нравишься ты и такой; сороке
 Безразлично, во что ты одет, — стрекошет.
 А машина появится на дороге —
 И проедет; могли быть еще короче
 Рукава или порваны; эти строки
 Тоже не отутюжены, между прочим.

Друг, единственный, в женском нарядном роде:
 Загорала, читала, купалась, пела...
 Написала статью о другом подходе,
 Слуховом, к стихотворному ряду, дело
 В интонации, — по предпоследней моде
 Одевалась, а кое-как не хотела!

Есть традиция у простоты, подобной
 Предлагаемой здесь, и восходит к Риму,
 Возлюбившему запах гелиотропный,
 Сельский дом и презрение к славе-дыму;
 Задевая Горация, этот пробный
 Шар летит к позднеримскому анониму.

Жаловаться на жизнь хорошо лет в двадцать —
 Слишком воспринимаешь ее серьезно,
 В тридцать стыдно уже приставать, цепляться
 К ней, а за шестьдесят огорчаться поздно!
 Над лысеющей головой толпятся
 Звезды мрачно, задумчиво, грандиозно.

Я и начал с того, что живу на даче,
 Дорожа каждым днем, как последним в жизни,
 Шелестеньем листочка, лучом горячим,
 Золотящим еловые корни, мысли,
 Упрощая решение той задачи,
 За которую в молодости взялись мы.

Если думаешь, был кто-нибудь, кто понял
 Все, — то это не так, хоть Екклезиаста
 Назови. Как лежит на его ладони
 Жизнь? Как тюбик, в котором иссякла паста.
 Будто дуб не вскипал, не вздымались кони,
 В сети не попадал бегемот мордастый!

Я, единственный, может быть, из живущих
 И когда-либо живших, с умнейшим спорю
 И насчет суеты, и насчет бегущих
 Дней, бесследно и быстро, как реки к морю,
 Черета золотая лугов цветущих,
 Комнат, пляжей, оврагов, аудиторий!

Буду краток, тем более что эклоги
 Ни одной до конца не прочел, и лето
 Наше коротко; сумрачный на пороге
 Август топчется, не одолев сюжета.
 Разбежишься — и надо уже итоги
 Подводить и не жаловаться на это.

* *
 *

Так быстро ветер перелистывает
 Роман, лежащий на окне,
 Как будто фабулу неистовую
 Пересказать мечтает мне,
 Так быстро, ветрено, мечтательно,
 Такая нега, благодать,
 Что и читать необязательно,
 Достаточно перелистать.

Ну вот счастливое мгновение,
 И без стараний, без труда!
 Все говорят, что скоро чтение
 Уйдет из мира навсегда,
 Что дети будут так воспитаны —
 Исчезнут вымыслы и сны...
 Но тополя у нас начитанны,
 И ветры в книги влюблены!

Там едут в Геную...

Там едут в Геную, допустим, из Парижа, допустим, в случае любовной катастрофы, бредут куда глаза глядят: когда обижен, чужие улицы милей своих; готовы чужие лестницы тебе помочь, аркады, да, да, те самые сплошные галереи, сырые, сводчатые (здесь мы вспомнить рады Гостиный двор у нас, а кто рискнул затеи к нам итальянские перенести, — не знаю), итак, под сводами и мимо стен зубчатых бредут (кремлевские зубцы идут по краю такие ж парные), бредут без провожатых и указателей, воображая сцену ее свидания с другим, — колись, булавка жестокой ревности, — плечу ее, колену чужая нравится рука, — ты дрянь, мерзавка, есть слово точное, он вспомнил: потаскуха! Зачем он в Генуе? Ему противна башня такая ж древняя, как встречная старуха, чему тут нравится? Что это, слабость, шашня, любовь, распушенность? И чем нежней залива черта, тем тягостнее любоваться этим, и плачет нехотя, стыдясь, самолюбиво. (Когда у нас беда, мы никуда не едем.)

* *
*

За землетрясенье отвечает
В Турции Аллах — не Саваоф.
Суток семь душа не отлетает,
Если молод узник и здоров.
Поисковая собака лает
От него за тысячу шагов.

Он, звериной жаждою замучен,
Подышает в каменном гробу
В испражненьях, в крошечке колючем,
Тьме бетонной, с садиной на лбу.

Дольше взрослых мучаются дети
На предсмертной, страшной той стезе.
Помолчите в церкви и мечети,
На газетной вздорной полосе
И на богословском факультете,
Хоть на день, на два заткнитесь все!

* *
*

Молодой человек, ради бога,
Хоть верлибром пиши, хоть без знаков
Препинанья, суди меня строго,

В гроб живым уложив и оплавав,
Быть поэтом — завидная участь,
Я тебя понимаю прекрасно,
Как, вцепившись в меня и намучась,
Править ты бы хотел самовластно.

Но трудна и туманна дорога,
Впрочем, я никого не пугаю,
Власть, ты, может быть, знаешь, — от Бога,
За кустами стоящего с краю,
На него и сердись, и с упреком
Обращайся, и с жалобой тоже —
В состязанье, где ты ненароком
Оказаться рискуешь без кожи.



ЛАРИСА МИЛЛЕР

*

И ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НЕВОЗВРАЩЕНКОЙ

Мелочи жизни

Пишу воспоминания. Тржусь
Над допотопной памятною сценкой
И чувствую себя невозвращенкой
Из прошлого, в котором нахожусь.

С теньями, окружившими меня,
Беззвучно говорю и улыбаюсь
И слезы лью. И напрочь не врубаюсь
В шальные речи нынешнего дня.

БЕССОННИЦА И ЧАСЫ С БОЕМ

В семнадцать лет я почему-то перестала спать. Всю ночь лежала с открытыми глазами, а под утро впадала в полузабытье: слышала все, что происходит за окном или за стеной, но не могла пошевелиться. А тут еще наши старые часы на буфете шипели и дзинькали каждые пятнадцать минут. Эти с младенчества знакомые и столь любимые мной звуки стали ненавистным и навязчивым фоном моей свирепой бессонницы: ш-ш-ш, дзинь, ш-ш-ш, дзинь, не спишь-шь-шь, дзинь, не спишь-шь-шь, дзинь, издевались они.

Мама повела меня к московскому «светилу» — старому доктору, жившему в одном из арбатских переулков. Его просторный кабинет походил на антикварный магазин: причудливой формы вазы, пушистые ковры, увитая фарфоровой виноградной лозой лампа на столе, под лампой — чернильница в виде разверстой львиной пасти, рядом изящные бронзовые пальчики, сжимающие пачку чистых рецептов. Но главное, что приковало мое внимание, — это часы: напольные, настенные, настольные, с гирями, с маятником, с кукушкой, они непрерывно тикали, а в положенное время издавали разнообразные звуки — от высоких и мелодичных до низких и грубых. После стольких бессонных ночей, проведенных под шипенье и дзиньканье домашних часов, прийти за помощью туда, где, казалось, не было ничего, кроме гуденья, звона и боя часов самого разного калибра, — это ли не насмешка судьбы? Это ли не зловещий знак?

«Светило» вошло бесшумно и пригласило меня сесть поближе к столу. Маленькое, лысое, оно, сладко улыбаясь, принялось попытаться, не является ли моя бессонница следствием несчастной любви. Убедившись, что не является, оно поскучнело и, вытянув из бронзовых пальчиков чистый рецепт, выписало люминал. Тот самый, который глотала мама, когда не могла уснуть. Мне надлежало принимать его за полчаса до сна, а потом идти на прогулку. После люминального моциона я возвращалась домой

Миллер Лариса Емельяновна родилась в Москве. Окончила Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Автор десяти книг. Живет в Москве. Выдвинута журналом «Новый мир» на соискание Государственной премии России за 1999 год. Internet: <http://www.penrussia.org>

разбитая, вялая, сонная, бухалась в постель, но, ненадолго забывшись сном, тут же просыпалась, чтоб снова слышать: ш-ш-ш-дзинь, ш-ш-ш-дзинь. Не спишь-шь-шь, дзинь? Не спишь-шь-шь, дзинь?

Убедившись, что от люминала проку нет, мама призвала на помощь бабушку, для которой не существовало безвыходных ситуаций. Она стала ежевечерне проделывать путь из своего Лефортова к нам на Павелецкую, чтоб, действуя личным примером, доказать мне, что нет ничего проще, чем спать. Бабушка ловко расставляла раскладушку и, весело пожелав мне спокойной ночи, мгновенно засыпала. Теперь к шипению и звону прибавился бабушкин энергичный храп. Утром, едва проснувшись, она поворачивалась ко мне и, увидев мою унылую физиономию, восклицала: «Быть не может, чтоб ты не спала!» Решительно поменяв тактику, бабушка самоотверженно бодрствовала часть ночи, рассказывая мне разные истории или читая вслух. Но постепенно голос ее слабел, речь становилась невнятной, и она засыпала. Продержавшись месяц, бабушка сдалась. То есть она продолжала звонить маме, чтоб получать сводки с фронта, но ночевать у нас больше не оставалась. Из всех мероприятий по спасению меня, которых, наверное, было немало, помню только одно — перемещение из большой проходной комнаты в более тихую маленькую, где я оказалась лицом к окну, за которым раскачивался на ветру негасимый фонарь. Зимой вокруг него плясали снежинки. «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». Лишнее зачеркнуть. Лишней была аптека. Все остальное повторялось с назойливым постоянством. Теперь, когда мы с часами оказались в разных комнатах, они звучали приглушенно, что, как ни странно, стало для меня источником дополнительных мучений. Отныне мне приходилось напряженно вслушиваться, чтоб, не дай Бог, не пропустить очередную порцию издевательского шипения. Это вслушивание так меня изматывало, что я все чаще впадала в полусонное состояние, благодаря которому, наверное, и держалась.

Долго ли, коротко, но спас меня труд. Тот самый, что создал человека. Восемнадцати лет от роду, меня, первокурсницу, отправили на целину. То есть туда, где степь, ковыль, небо, звезды, элеватор и зерно, зерно, зерно. Если мне что и снилось тогда, то потоки зерна, которое я выкидывала плицей из вагона, сгребала лопатой со дна грузовика, вытряхивала из резиновых сапог, но которое шло, шло и шло, грозя подмять и раздавить меня. Сон мой был крепким, но коротким. Коротким потому, что спать было некогда: то страда, то гульба. Но, едва добравшись до лежащего на полу матраца, я немедленно засыпала. Слава Труду! Слава степному воздуху! Слава прогулкам под луной.

Но и бессоннице слава. Благодаря ей одной я услышала ход времени в том нежном возрасте, в котором о нем обычно понятия не имеют. Услышала, как оно идет — безостановочно и неумолимо. И не только услышала, но и вступила с ним в сложные, сугубо личные отношения: время дразнило меня, пугало, повергало в отчаяние. Оно стало моим кошмаром, бредом, единственным недремлющим свидетелем моей бессонницы, и по иронии судьбы олицетворяли его старые добрые часы с фигуркой безмятежно читающей женщины. Те самые, которые все детство были для меня символом тишины и уюта. Онемевшие и ослепшие после неудачного ремонта, они и сегодня живут в моем доме, не ведая, какую сложную роль играли в моей судьбе.

Излечившись от бессонницы, я так и не избавилась от порожденной ею болезни. Как она зовется, не знаю. Может быть, мания времени, хроническая хрономания. Долгие ночи, проведенные под тиканье и звон часов, не прошли даром. Время навеки загипнотизировало меня, околдовало, приворожило, приучило ловить каждый его вздох и шорох...

А У НАС ВО ДВОРЕ

Мы с Галкой Зайцевой играли в дочки-матери в нашем дворе на Большой Полянке. Гнездышко для дочек — моей целлулоидной Мальвины и Галкиной пупса Машки — свили в одном конце двора, а «молоко» для них носили из другого, где всю весну не просыхала глубокая, необъятных размеров лужа. Пока наши «дети» спали после обеда, я в очередной раз отправилась за «молоком». Возвращаясь с двумя полными ведерками, споткнулась о какой-то булыжник и упала. Попыталась подняться, но, почувствовав острую боль в колене, осталась лежать. Вот полегчает, тогда встану. Пустые ведерки валялись рядом, а я лежала и ждала, когда пройдет колено. И вдруг во двор въехала большая черная машина и двинулась прямо на меня. Видя, что она приближается, я еще раз попыталась подняться, но не смогла. То ли действительно так болело колено, то ли страх помешал. Поняв, что мне не встать, я приготовилась к самому худшему. Гибель под колесами протяжно гудящего черного чудовища казалась неминуемой. Я вжалась в землю и застыла. На секунду приоткрыв глаза, я как в тумане различила лица дворничихи тети Маруси, истопника дяди Пети, Галкиной мамы, портнихи Зины из квартиры напротив, Димки и Марика из бокового флигеля... Все они смотрели на меня долгим и скорбным взглядом: прощай, мол, девочка. Жаль твоих близких, но что поделаешь — от судьбы не уйдешь... Зажмурившись, я еще сильнее вжалась в землю и вдруг почувствовала, как чьи-то руки подняли меня и понесли. Я открыла глаза и увидела ее — ту, которая была постоянным предметом моей зависти и восхищения. Во-первых, потому что ей было четырнадцать, а мне шесть. Во-вторых, потому что она была сестрой Юрки Гаврилова, который учился в Суворовском училище и давно мне нравился. В-третьих, потому что ее звали как и меня, но при этом она была высокой, стройной и, в отличие от меня, не косолапила. И вот девочка, к которой я и подойти не смела, несет меня на руках. Что же это делается? Только что была на волосок от гибели — и вдруг оказалась наверху блаженства. А может, я уже умерла и попала в рай, про который рассказывала тетя Маруся, когда приходила греть мне обед? Лариса со мной на руках вошла в наш подъезд, позвонила в дверь и вручила меня ничего не понимающей бабушке. «Она упала и ушибла колено. Его надо промыть», — взрослым голосом сказала Лариса. Бабушка стала усиленно ее благодарить и — о, счастье — пригласила в комнату. Пока Лариса пила чай с конфетами, бабушка возилась с моей коленкой. «Что ты дрожишь?» — спросила она. «Ей больно», — все тем же взрослым голосом объяснила Лариса. Меня действительно била дрожь, но не столько от боли, сколько от недавнего ужаса и сменившего его восторга.

Почти год я рассказывала об этом событии всем, кого считала достойным своего рассказа. Потенциальных слушателей становилось все меньше, посвященных все больше, а событие не тускнело. Однажды, когда в нашем дворе появилась новенькая, я поняла, что должна срочно с ней поделиться. Тем более, что она поселилась в одном подъезде с моей спасительницей. «Ты знаешь Ларису Гаврилову?» — начала я издали. «Конечно», — ответила девочка. «А знаешь, что она спасла мне жизнь?» Я сделала выразительную паузу и, понизив голос, на одном дыхании произнесла: «Она выхватила меня из-под колес машины». Девочка потрясенно молчала. Теперь можно было изложить все по порядку. Но в этот момент вмешалась соседка, которая, луша семечки, сидела на той же скамейке: «Лариска-то? Да она клеptomанка». — «Кто?» — не поняла я. «Клеptomанка», — повторила соседка. «А что это значит?» — «Это значит, что она у вас что-нибудь украла. Вы ничего не хватились после ее ухода?» Я тупо смотрела на соседку. «Клеptomания — это болезнь, — продолжала она, — человек ворует даже то, что ему совсем не нужно. Он просто не может не воровать. Так что когда она в следующий раз спасет тебе жизнь и принесет домой, ты

все же следи за ней повнимательней. И своим скажи, чтоб следили». Увидев, что я чуть не плачу, соседка сжалась: «Да ты не расстраивайся. Она хорошая, просто больная. И мать у нее больная. Но не клеptomанией. У матери падухая. Упадёт на пол и бьётся, бьётся, пока приступ не пройдет. Лариска с ней мается, бедная. Несчастливая семья. Отца на фронте убили, мать по больницам. Хорошо хоть Юрка мало дома бывает. Ладный такой, кудрявый. Может, хоть он здоровым вырастет».

Я долго не могла уснуть в ту ночь. «Клеptomанка, воровка, падухая», — вертелось у меня в голове.

Несколько дней спустя я осторожно спросила маму: «А правда, если бы не Лариска, меня бы не было в живых? Правда она спасла меня?» — «Ну конечно», — ответила мама. «Правда машина бы меня раздавила?» — не унималась я. «Ну нет, не думаю. Зачем ей было тебя давить?» — «Но ведь она ехала прямо на меня», — настаивала я. «Но водитель ехал медленно, он тебя отлично видел. Просто думал, что ты дурачишься, и гудел тебе, чтоб ты встала». — «Но ведь вокруг были люди, и никто не подошел ко мне. Только Лариска». — «Да, конечно, она добрая девочка, — согласилась мама, — но люди могли просто не видеть, что происходит, не придать этому значения». Я задохнулась от обиды: «Как это не видеть? Они все смотрели на меня, а машина ехала, и колеса уже почти касались моих волос». — «Ну что ты так переживаешь? — удивилась мама. — Все кончилось хорошо. Скоро Новый год. Хочешь, позовем Ларису? Дед Мороз ей тоже принесет подарки». — «А что такое клеptomания?» — не отвечая на мамин вопрос, спросила я. «Это когда...» — и мама повторила то же самое, что сказала соседка. Больше я свою историю никому не рассказывала.

Прошло несколько лет, в течение которых я лишь изредка видела, как Лариска пересекает наш двор. Она стала еще стройней и выше. Однажды весной я неожиданно столкнулась с ней лицом к лицу. Она была не одна. Рядом шел, вернее, неловко прыгал на костылях темноволосяй молодой человек. Правая нога его была в гипсе. Лариска медленно шла рядом с ним, и в ее повернутом к нему лице было нечто такое, что мешало мне с ней поздороваться. Я уже почти прошла мимо, когда она неожиданно окликнула меня: «Здравствуй, Лариска!» Я радостно оглянулась и ответила: «Здравствуй, Лариска!» А про себя добавила: «Которая спасла мне жизнь, выхватив прямо из-под колес машины».

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Бабушка, закончившая два педвуза (чем очень гордилась), всегда считала, что и с познавательной и с медицинской точек зрения городскому ребенку необходимо как можно чаще бывать на лоне природы. И в первое послевоенное лето мы сняли дачу на станции Удельная. Бабушка пасла меня, а наша хозяйка — своих коз, чьим молоком меня усердно отпаивали. Когда я с отвращением подносила ко рту кружку, бабушка складывала трубочкой губы и шумно втягивала в себя воздух, будто пила. Если рядом оказывалась хозяйка, бабушка в очередной раз показывала ей мои торчащие ребра и рассказывала, как в эвакуации я погибала от диспепсии и дистрофии и как она меня выхаживала.

Удельная и козье молоко были в моем сознании неразлучны, хотя мне очень хотелось, чтоб Удельная осталась, а козье молоко испарилось навеки. И чудо свершилось. Как-то раз, когда дедушка приехал вечером на дачу, бабушка подала ему на ужин кофе с молоком. Едва он допил стакан, она веселым и звонким голосом сказала: «Ну вот, выпил и не поморщился, а говоришь, что козье молоко терпеть не можешь». Дедушка покраснел, уставился на нее неподвижным взглядом, потом вскочил и, опрокинув табуретку, выбежал из комнаты. Бабушка бросилась за ним, я за ба-

бушкой. Мы нашли дедушку за калиткой. Его рвало. Я смотрела на него с ужасом и восторгом, потому что понимала, что после всего случившегося бабушке вряд ли удастся влить в меня хоть одну каплю столь полезного для рахитичных дистрофиков напитка.

Неотъемлемой частью моего раннего детства была Малаховка, где жил с семьей дедушкин давний друг дядя Яша. Хотя его дом стоял на бойком и совсем не дачном месте, поездки в Малаховку все же считались выездом на природу. Для меня, московского дворового ребенка, чьим любимым занятием было смотреть, как заливают асфальт, грызть кусочки черного блестящего вара и нюхать гашеный карбид, пучок ранней ярко-зеленой травы в Малаховке становился событием. А уж встреча Нового года в заваленном снегом поселке — рождественской сказкой.

Однажды дедушка вернулся домой раньше обычного и сообщил мне, что дядя Яша умер и мы едем в Малаховку с ним прощаться. Всю дорогу он молчал, качал головой, вздыхал и кричал, а когда мы подошли к знакомому крыльцу, вдруг рухнул на колени и громко завыл. Он выл и причитал на том языке, на который они с бабушкой переходили, когда не хотели, чтоб я понимала. Я смотрела на дедушку и не знала, как быть. Зачем он так раскачивается, всхлипывает и надрывно причитает? Зачем касается лбом ступенек? Почему никто из вышедших нам навстречу не бросается его поднимать? От страха я тихонько хныкала и грызла ногти. Вскоре дедушка поднялся и, слегка покачиваясь, пошел в комнату. Подойти к гробу я не решилась и дядю Яшу почти не видела. Больше, чем смерть, которую я и осознать тогда не могла, меня потряс сгранный дедушкин поступок. И лишь когда я подросла и дедушка рассказал мне о своем нищенском витебском детстве, о том, как возле его умершего отца, следуя давней традиции, целый день выли плакальщики, я поняла, что случилось тогда на ступеньках малаховского дома.

Так устроена память, что стоит произнести хорошо знакомое имя или название, как немедленно всплывает одна-единственная навеки прилепившаяся к этому слову картинка или деталь. Так Удельная — это кружка ненавистного козьего молока, Малаховка, в которой я часто и позже бывала и даже снимала дачу, когда у меня родился сын, — это навеки та Малаховка, где на крыльце дяди Яшиного дома качается и причитает дедушка.

Дедушке не везло с друзьями: многие из них рано умерли, а про некоторых у нас дома говорили шепотом и лишь тогда, когда думали, что я сплю. Вопросов про случайно подслушанное я, естественно, не задавала. «Когда посадили мужа, она задушила себя собственной косой», — донеслось до меня однажды. Я прислушалась. Речь шла о жене дедушкиного друга, старого большевика, о котором спустя годы мы узнали, что его расстреляли перед самой войной. У нас бывала их дочь Еничка, забегавшая поболтать с мамой. Однажды ранней весной она пригласила нас с мамой не то в Перхушково, не то в Полушкино — куда-то, где у них была дача. Мы долго ехали на дымящем, сипящем, пронзительно свистящем паровичке. Сперва я не отрываясь глядела в окно, а наглядевшись, отправилась путешествовать по вагону.

Добравшись до нужной станции, мы спустились по шатучим неудобным ступенькам и оказались в большой луже. Долго шли по талому снегу, по тонкому льду. Место казалось пустынным, безлюдным, и не верилось, что мы недавно из Москвы. Наконец остановились возле недостроенного забора. «Вот наша дача», — сказала Еничка. Мы пересекли огромный участок и подошли к дому без окон и дверей. Возле крыльца лежало гигантское серое обструганное дерево. «Милости прошу, — сказала хозяйка, — я покажу вам дом. Вот здесь мы думали устроить папин кабинет, здесь спальню, здесь кухню...» Ее голос странно звенел. Бродя по брошенному дому, слушая Еничку, глядя на ее длинные, красиво уложенные вокруг головы косы, я вспоминала произнесенные шепотом слова: «Она за-

душила себя собственной косой». Меня тянуло на улицу, и, когда экскурсия завершилась, я с облегчением покинула зияющий пустотами дом и пошла бродить по участку. Меня почему-то приворожило огромное сырое бревно, лежащее возле крыльца. Я его гладила, нюхала, садилась на него верхом. От него, как и от всего, что меня окружало, пахло свежестью, какой я не знала прежде. Когда я слышу Перхушково-Полушкино, я всегда вспоминаю эту небывалую весеннюю свежесть, пугающе длинные косы Енички, полупризрачный дом, талый снег, тонкое кружево льда, на которое так приятно наступать медленно и осторожно.

Неожиданных выездов на природу было в моем детстве не так уж много, и каждый запомнился надолго. Помню длинный воскресный день, проведенный в Химках, где жила мама близкая подруга Верушка. С ней у меня навсегда связаны загадочные слова «Блокнот агитатора», где она работала редактором, мистические буквы ГлавПУРККА, по-видимому, означающие место, где обретался этот самый «Блокнот», и часто мелькающее в разговорах Верушки и мамы короткое слово «Штрот». Потом оказалось, что такова фамилия Верушкиного друга, который жил в Ленинграде и лишь наездами бывал в Москве. Когда приезжал Штрот, Верушка исчезала, а появившись снова, забиралась в угол дивана и долго-долго шепталась с мамой, время от времени прикладывая к глазам сложенный треугольником носовой платок. А глаза у нее были светло-голубые и бесконечно добрые. Мне от этих глаз всегда становилось хорошо и уютно. А еще оттого, что она называла меня точно так же, как в своих письмах с фронта папа, — Ларченок. «Ларченок, — сказала она однажды, — приезжай с мамой ко мне в Химки». И мы приехали. Химки — это деревянные дома, палисадники, цветы, огороды, лавочки, куры, козы. Вокруг Верушкиного дома — сплошные кусты сирени. Наконец-то я увидела, откуда берутся те небывалой величины букеты, которые она привозила в мамин день рождения. Букет сперва проплывал мимо наших окон на Полянке, потом вливался в коридор и уж потом в комнату. Только тогда можно было наконец разглядеть Верушку, ее сияющие голубые глаза. Когда мы появились у нее в Химках, она как раз гладила оборки платья, которое специально для меня сшила. Надев его, я сказала: «Оно парное». — «Почему парное?» — удивилась Верушка. «Потому, что теплое, как парное молоко». Платье пахло уютом, дом и сад — сиренью, а вечеромпряно и горько пах табак, который рос под самыми окнами. Химки, сирень, душистый табак, Верушкины голубые глаза, платье с оборками. Счастье.

АННА ВАСИЛЬЕВНА С ОЛИМПА

В пятом классе мы начали изучать мифы Древней Греции. Храмы, битвы, боги, чьи имена я запоминала с необыкновенной легкостью, меня завораживали. Единственную трудность представляла хронология: XII век до н. э.; V век до н. э. Я до рези в глазах вглядывалась в эти цифры, буквы, точки, но усвоить их не могла. Что значит *до нашей эры*? Я и нашу эру с трудом себе представляла. Воображение отказывалось мне помочь. Написали бы просто — *очень давно*. Разве этого не достаточно? Но и датам не удалось отбить у меня любовь к древнегреческим мифам. Тем более, что преподавала их Анна Васильевна. Когда она — высокая, статная, с огромным пучком пепельных волос на затылке — впервые вошла в наш класс своей величественной походкой, мне показалось, что она спустилась с Олимпа. Что такое Олимп, я уже знала — сперва от мамы, а позже от Жени, который короткое время был моим мужем. Кандидат философских наук, он очень красочно и бурно рассказывал мне про войну титанов и богов, про огненную колесницу Фазтона, про веселого козлоногого Пана и его несчастную любовь к нимфе. Анна Васильевна говорила о том

же, но совсем иначе — негромко, медленно, спокойно, как и следовало олимпийке. Когда она в своем неизменном длинном темно-вишневом платье и большой белой шали бесшумно двигалась между рядами и, не прерывая повествования, подходила к доске, чтоб записать имя очередного бога или героя, все глаза были устремлены на нее. Кронос, глотавший своих детей, Зевс, низвергнувший Кроноса, Гера — верховная богиня и жена Зевса, — обо всем она говорила так, что сомнений не оставалось: она была там. Но кем она там была — в том непредставимом веке до нашей эры? Герой? Вряд ли. Уж больно Гера мстительна и ревнива. В конце концов я придумала ей роль таинственной безымянной олимпийки, стоявшей выше всех верховных богов и безучастной к их играм, страстям и битвам. Единственно, что не соответствовало ее величественному облику, — это неожиданно приветливая и ласковая улыбка, которую каждый мечтал заслужить. Все свое домашнее время я тратила на историю, а на уроке изо всех сил тянула руку (чего делать не полагалось) или старалась перехватить взгляд учительницы.

Но однажды Анна Васильевна не пришла. Нам сказали, что она заболела, и заменили историю физкультурой. Не пришла она и на следующий урок, и через урок. Жизнь потеряла краски. Вызнав каким-то образом ее адрес, я отправилась к ней домой. Как я на это решилась, сама не знаю. Держа в руках бумажку с адресом, я отыскала нужный переулок (благо он оказался неподалеку), вошла во двор и, увидев там тетеньку, развешивающую на веревке белье, показала свою бумажку. Она молча кивнула в сторону деревянного флигеля, но, едва я стала подниматься по ступенькам, крикнула: «Вниз!» Неужели в подвал? На лестнице пахло кошачьей мочой, а в кухне жареным луком. «Где тут Анна Васильевна?» — спросила я у тени, скользнувшей по темному коридору. «Сюда, пожалуйста», — юным голосом ответила тень и повела меня за собой. Скоро мы оказались в узкой комнате, где царил полумрак. На кровати лежала женщина с разметанными по подушке волосами. «Кто пришел, Аня?» — услышала я слабый голос Анны Васильевны. Я назвалась. «А-а-а, очень рада, проходи, садись. Яблоко хочешь? Анечка! Принеси яблоко». Девушка метнулась к буфету. «Это моя дочь Анечка. А я вот слегла с пневмонией». — «С чем?» — спросила я, радуясь непонятному слову как возможности поддержать беседу. «С пневмонией, с воспалением легких». — «А вы скоро придете?» — «Как только встану на ноги. А ты пока читай. Хочешь, дам тебе книжку про Троянскую войну?» — «Спасибо, не надо, — зачем-то отказалась я. — У нас дома много книг про древний мир. Мамин муж — философ. Он все знает». — «А-а-а, ну, тогда другое дело». Анна Васильевна поглядела на дочь и улыбнулась. Видя, как ей трудно говорить, я стала прощаться. Анечка сунула мне в руку яблоко и повела по коридору. «У мамы глаза болят, поэтому мы в комнате света не зажигаем», — сказала она на прощанье.

Поднявшись все по той же вонючей и шатучей лестнице, я оказалась на свету. Домой шла медленно, припоминая все случившееся. Что, собственно, меня так поразило? Убогое жилище? Да мы все жили примерно одинаково: в коммуналках, среди чада и смрада, с мышами и крысами. Но Анна Васильевна — величественная гордая олимпийка, самая верховная богиня. Могла ли я подумать, что и она живет в подвальной конуре? Могла ли я представить, что именно оттуда она каждый раз приходила к нам, чтоб рассказать о подвигах Геракла, о Зевсе, Гере, Гебе...

Ты скажешь: ветренная Геба,
Кормя Зевсова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила, —

читала она на уроке своим глубоким грудным голосом. Не в силах расстаться с мыслью об эллинском происхождении Анны Васильевны, я ре-

шила сделать ее Персефоной, живущей в царстве Аида, или по крайней мере Деметрой, спустившейся в Тартар, чтоб навестить дочь. Но как я ни пыталась приучить себя к этой новой версии, ничего не получалось: грязный двор, сырой подвал, вонючий коридор, полутемное жилище никак не выязались со звучными греческими именами.

В конце четверти открылась дверь и вошла Анна Васильевна — спокойная, статная, все в том же темно-вишневом платье, с белой шалью на плечах. Она улыбнулась нам своей удивительной улыбкой и сказала, что мы начнем новую тему. И вновь замелькали имена: Приам, Парис, Гекуба.

ВСЕ ЛЕТО КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Летом сорок девятого, а может, пятидесятого я, как обычно, уехала с бабушкиным детсадом за город. С бабушкиным — потому что она работала там завпедом, то есть заведовала педагогической частью. Будучи младшей школьницей, я на этот раз жила не в группе, а с бабушкой и руководимыми ею воспитателями. Всячески стремясь к тому, чтобы я провела лето с максимальной для себя пользой, бабушка обеспечивала меня пищей телесной и духовной. Что касается пищи телесной, то она покупала у местных молоко, клубнику и яички, которые, проделав в них крошечную дырочку, заставляла меня пить сырыми.

Что до пищи духовной, то воспитательница Лидия Наумовна, яростно борясь со сном, занималась со мной английским, а сама бабушка — арифметикой, что обычно сопровождалось грохотом, выкриками и низким сатанинским смехом. Для полного счастья не хватало только уроков музыки. Но и с музыкой все наладилось. Нет, преподавателя найти не удалось, но инструмент был найден. Позвонив со станции маме на работу, бабушка громко и требовательно сказала: «В воскресенье привези ноты. Но-ты. Я договорилась насчет музыки. Начинаем в понедельник».

В понедельник бабушка отвела меня туда, куда в дальнейшем я ходила сама. Дом стоял на краю поселка и был почти не виден из-за высоких теннистых деревьев. Пройдя по узкой тропинке, мы, спугнув двух кошек, ступили на крыльцо. «Ау-у-у, — крикнула бабушка, — хозяйюшка-а-а». Из глубины дома вышла дама. Именно так я назвала ее про себя. Седовласая, спокойная, с тихим голосом и внимательными глазами, она казалась не такой, как все, хотя держалась просто и произносила обычные слова. Спросила, как меня зовут, сколько мне лет, давно ли учусь музыке и что играю. Беседуя, она вела нас все дальше и дальше вглубь дома, которому не было конца: веранда, коридор, комната, веранда, лесенка наверх, снова комната, коридор и, наконец, зал, а посреди него — огромный черный рояль. «Старый концертный», — сказала дама и назвала фирму, которую я, к сожалению, не запомнила. «Он сильно расстроен, я вас предупреждала, — обратилась она к бабушке, — и настраивать, увы, некому». — «Ничего, лучше заниматься на расстроенном, чем не заниматься вовсе», — ответила бабушка и, пообещав прийти за мной через час, в сопровождении дамы вышла из зала. Я осталась наедине с роялем, тишиной, кошками, прыгающими с одного потертого бархатного кресла в другое, с мерно тикающими старинными часами, с райской птичкой, вышитой на синем шелку покосившейся ширмы (за которую я конечно же заглянула, чтоб обнаружить там круглую шляпную коробку, точно такую же, как у нас дома на зеркальном шкафу). Самое неинтересное дело, каким можно было заниматься в этом странном месте, — это играть на рояле гаммы, этюды и пьесы. Но бабушка, которой не удалось найти мне учителя, надеялась на мою сознательность, и я не могла ее подвести. Тем более, что мимо окон уже дважды прошла дама, наверняка недоумевающая, почему из зала не доносится ни единого звука.

Я развязала тесемки своей черной папки с оттиснутой на ней головой Чайковского и достала сборник этюдов Черни и распадающиеся листочки какой-то пьесы. Едва прикоснувшись к роялю, я поняла, что вся тайна дома, его прошлой и нынешней жизни, его зримых и незримых обитателей хранится в этих западающих или выпирающих, немых или слишком долго звучащих клавишах. Что бы я ни пыталась сыграть, рояль приглушенно и слегка картаво толковал о своем. Его поведение было непредсказуемо. Нажимая нужную ноту, я не знала, чего от него ждать — молчания или возгласа, дребезжания или вздоха. Я бы век не отходила от загадочного рояля, трогая и трогая его клавиши, перемещаясь то вверх, то вниз по клавиатуре, нажимая и отпуская скрипучую педаль. Но за мной пришла бабушка и увела меня туда, где все было знакомо и привычно: булочки с повидлом на полдник, игра в прятки с вечным «пора — не пора, иду со двора», «Оливер Твист» с Лидией Наумовной, звонки в Москву со станции... «Скоро понедельник?» — приставала я к бабушке. «А какой сегодня день?» — отвечала она вопросом на вопрос. «Вторник». — «Вот и считай». Считать приходилось долго. И все же понедельник наступал, и я снова отправлялась на край света, где прятался за высокими деревьями дом-невидимка.

Дерева окружали дачу таким плотным кольцом, будто хотели скрыть ее от чужих глаз. Подходя к дому, я никогда не была уверена, что увижу его, и, ступив на крыльцо, спешила убедиться, что все на месте — и дама, и кошки, и часы, и главное, хранитель здешних тайн — черный рояль. Каждый понедельник я попадала в мир, не имеющий ничего общего с тем, в котором жила. Не его ли имел в виду дедушка, когда, рассказывая о чем-то давнем, говорил: «В старое время»? Я так часто слышала эти слова, что они слились для меня в одно неразъемное слово: «встароевремя». И все же, входя в этот дом, я попадала не «встароевремя», а в *иное* — в то, которое, в отличие от старого, не проходит и пройти не может. Оно лишь способно затаиться, и, если как следует прислушаться, различишь его шорохи, шаги, скрипы, вздохи...

Каждый понедельник я открывала калитку, за которой начиналось *иное*. Я не могла, да и не пыталась описать его словами. Мне достаточно было того, что оно существовало и разрешало мне войти в него и в нем раствориться. Каждый понедельник я вела с ним разговор, трогая клавиши рояля и слушая, как они звучат. «Хочешь посмотреть, что там внутри?» — однажды предложила мне дама. Подняв и закрепив огромную черную крышку, она сперва взяла несколько аккордов, а потом попыталась что-то сыграть своими слегка дрожащими, непослушными пальцами. «Видела, что там творится?» Видела. Там творилась сложная и таинственная жизнь. «Не надо настраивать рояль», — сказала я. «Почему?» — удивилась она. «Потому, что тогда он станет как все». Дама обняла меня за плечи, и я восприняла это как обещание.

В то лето я впервые осознала, вернее, почувствовала, что мир, который мне знаком и понятен, — еще не весь мир, что существует нечто... Впрочем, трудно сказать, что я почувствовала в то лето, но каждый раз, когда я подходила к дому, стоящему на краю поселка, у меня ёкало сердце. Нет, я не разучила ни этюдов, ни пьесы, но услышала голоса, каких не слышала прежде.

Начав писать стихи (что случилось много позже моих визитов в старый дом), я не раз пыталась вернуться к событиям того давнего лета, но ничего не получалось. Одно из неудавшихся стихотворений начиналось, кажется, так:

Да будь благословенна тень
 Тех лет, да будь благословенна,
 Жизнь скоротечна и мгновенна,
 Но «дольше века длится день»,
 Когда, переступив порог...

ВЫПУСКНОЙ БАЛ

Белое платье мне сшили на мое шестнадцатилетие. Когда через год я надела его на выпускной вечер, талия оказалась не на месте, да и юбка коротковата. И все это полностью соответствовало моему внутреннему состоянию. Я страшно не любила школьные вечера и почти никогда на них не ходила. Но как пропустить выпускной? Меня бы не поняли ни в школе, ни дома. Мама целый день пребывала в элегическом настроении, а вечером собралась пойти со мной на торжественную часть. Но я ее отговорила и отправилась одна. Возле входа толпились пришлые парни, которых не пускали внутрь дежурные с красной повязкой на рукаве. Стараясь как можно незаметней проскользнуть мимо подвыпивших парней, я вошла в раздевалку. По кафельному полу скользили белоснежки. У них были такие невообразимые прически, такие возбужденные лица, такой неестественно громкий смех, что я их едва узнавала. Ребята, одетые с иголки, держались солидно и строго. Я сразу же потерялась, не зная, куда приткнуться и к кому прилепиться. Во время торжественной церемонии в актовом зале было так душно, что я с тоской поглядывала на дверь, от которой оказалась безнадежно далеко. Вручали медали и похвальные грамоты. Меня среди награжденных не было и быть не могло. Я была отличницей только один раз — в пятом классе. Все остальные годы прожила хорошисткой, временами съезжающей на тройки.

После речей и наград все высыпали в коридор, где стояли накрытые столы и гремела музыка. Я погрызла яблоко, съела пирожное и запила все это лимонадом. А потом началось самое страшное — танцы. «Может, уйти?» — подумала я. Но что сказать маме, которая обязательно спросит, почему я так рано? Пришлось снова идти в зал, уже проветренный и свободный от стульев. Я прибилась к стайке разгоряченных одноклассниц, но так и не смогла влиться в беседу, если можно назвать беседой реплики, то и дело сопровождаемые взрывами хохота. Те, кто побойчее, уже танцевали. И среди прочих длинный и сутулый Пашка, лихо мотающий по залу очередную пассию. Когда-то он мне очень нравился, и я ему тоже. Но все это, увы, в прошлом.

После меня он был влюблен в белокурую Инку с ямочками на румяных щеках, потом в интернатскую Ритку — обладательницу невероятно стройных ножек, а теперь в малорослую тоненькую партнершу по танцам. А вон Мишка, Пашкин друг, который, оттягивая пальцем близорукий глаз, пытается кого-то высмотреть. Не меня, конечно. С ним мы тоже когда-то дружили. Но теперь у него есть верная подружка, которая вздыхала по нему с того самого дня, как нас объединили с мальчиками, то есть с восьмого класса. И вздыхала так громко, что он наконец услышал и снизошел. Выходит, я везде ни при чем: ни медали, ни похвальной грамоты, ни друга, ни подружки.

И вдруг передо мной явился он: худой, высокий, с пышной копной русых волос — Михась, учитель физики. Обычно он носил военную форму, которую сохранил с войны. Но сейчас на нем был строгий костюм и галстук. Глядя мне в глаза и многозначительно улыбаясь, он взял меня за руку и отвел подальше от галдящих девчонок. Выбрав место потише, он склонился надо мной и заговорил. Я не понимала ни единого слова, думая лишь о том, что все на нас смотрят. Вот математичка, глядя в нашу сторону, что-то шепнула литераторше; вот оглянулся физкультурник; вот, хихикая, пробежали мимо нас девчонки из параллельного класса; вот, криво улыбаясь, продефилировали парни. Стоя ко всем спиной и дыша мне в лицо винным перегаром, Михась говорил и говорил. Он говорил, что я должна его понять, что он давно... что ему очень важно... Потом он закашлялся и вынул из кармана ингалятор, с которым никогда не расставался. Немного отдышавшись, он взял меня за руку и принялся молча водить по-

душечкой большого пальца по краю моего ногтя. К горлу подступила тошнота. Но что было делать? Он — учитель, а я — ученица, которая к тому же ничего не смыслит в физике и получила в аттестате четверку лишь благодаря его доброму (как выяснилось, слишком доброму) отношению. «Пойдем ко мне в кабинет. Здесь шумно», — сказал он и, не выпуская моей руки, потащил за собой. Я в панике соображала, как быть. Тут мимо нас пронеслась ватага ребят. «Михал Михалыч, мы на Красную площадь. Айда с нами!» И вдруг неожиданно для себя самой я сорвалась с места и бросилась за ними. «Ты куда?» — донесся до меня голос Михася. «На Красную площадь», — крикнула я, сбегая по лестнице. Оказавшись на улице, я наконец остановилась и отдышалась.

Небо казалось низким и густо-черным. Собиралась гроза, которая разразилась, едва я переступила порог дома. Мама не спала. Ждала меня. Еще бы: такой незабываемый день. «Ну, девочка, рассказывай». — «Что рассказывать?» — «Как — что? Все подряд». — «Ну, была торжественная часть, потом танцы». — «А почему ты так рано? — Мама с тревогой заглядывала мне в глаза. — Разве вы не собирались на Красную площадь?» — «Собирались, но ведь гроза». За окном сверкнула молния. Все было как в кино: летний ливень, выпускной бал, белое платье, любовное признание. Я разделась и легла в постель, но спать не могла. В голову назойливо лез старый стишок, сопровождающий игру, в которую я так часто играла в детстве: «Черный с белым не берите, да и нет не говорите. Вы поедете на бал?» — «Нет, — мысленно выкрикивала я запрещенное слово, — нет, нет и нет. Никогда, ни за что».

«Я ПРИШЛА К ПОЭТУ В ГОСТИ»

В оттепельном пятьдесят восьмом, когда все живое зашевелилось, забурлило, запенилось, я стала ходить на поэтические посиделки к жениху моей подруги. Мы с подругой были первокурсницами Иняза, а жених ее — без пяти минут геолог и, кроме того, библиофил и страстный любитель поэзии. Жил он в старом доме в Еропкинском переулке, где мы и собирались по субботам. Стихи читали по кругу, причем не свои (хотя кое-кто из присутствующих наверняка баловался стишками), а любимых поэтов. К услугам тех, кто не помнил стихов наизусть, было несметное множество разных томов и томиков на многочисленных книжных полках. Однажды во время очередных посиделок жених подруги предложил: «А давайте как-нибудь нагрянем к одному грандиозному поэту — моему доброму знакомому. Он живет за городом».

Мы решили нагрянуть к нему в майские праздники. Мы — это я, моя подруга и ее жених. Сперва ехали на поезде, потом в автобусе, битком набитом празднично настроенными людьми, которые играли на гармошке, орали частушки, дудели в разные дуделки и бранились. В глазах рябило от пестрых бумажных цветов, красных флажков и воздушных шариков. Добравшись до места и вывалившись из автобуса, мы двинулись по проселочной дороге, потом свернули раз, другой и оказались на тихой зеленой улочке, где, окруженный палисадником, стоял двухэтажный деревянный дом барачного типа. Толкнули дверь, прошли темным коридором мимо кухни, в которой по случаю праздника дым стоял коромыслом, и попали в гости к поэту.

Комната его оказалась сумеречно-солнечной. В распахнутые окна настырно лезла махровая сирень, но вся она была пронизана лучами. Ветер теребил ветки, и по затененной сиренью комнате бесшумно перемещались солнечные блики. Поэт был темноволос, бородат, сдержан и немногословен. Он встретил нас в накинутом на плечи пальто, что придавало ему вид независимый и немного зябкий, что, в общем-то, естественно: оттепель

оттепелью, но поэт живет не столько во времени, сколько в вечности, где всегда холодно.

После недолгого чаепития приступили к делу, то есть к чтению стихов. Поэт остался сидеть на табуретке у стола, а мы разместились на диване напротив. Чтение началось.

В ту пору я не только не писала, но даже и не слишком часто читала стихи, хотя в нашем шкафу их было полным-полно. Мне особенно нравились старые букинистические сборнички (на некоторых сохранилась надпись в старой орфографии бывшего владельца), купленные отцом еще в довоенные годы. Иногда, выбрав стишок попроще, я заучивала его наизусть. Однажды я зачем-то выучила игривые строчки Верлена, которые звучали примерно так:

Мы веселые творенья,
Глазки синие у нас,
Нас вместило вдохновенье
В мало читанный рассказ...

Так что, впервые попав к поэту в гости, я не слишком смыслила в поэзии, но впечатление от этого чтения было очень сильным. Поэт положил перед собой толстую клеенчатую тетрадь, которую долго листал, прежде чем что-нибудь выбрать. «Шпарь все подряд», — дрогнувшим от нежности к небожителю голосом пробасил жених. Не обратив внимания на его слова, поэт продолжал задумчиво перелистывать страницы. Найдя нужное стихотворение, сперва молча пробежал его глазами, а потом произносил вслух. До сих пор помню стихи про вдохновенье. Про то, как трудно его сохранить в сутолоке дня, в толчее поезда, в шумной коммуналке, в чадной кухне, как долог путь к столу, к белому листу, в тишину, в уединение, с которым конечно же рифмовалось «вдохновение». Тема была поэтичная и вполне доступная моему пониманию.

А вообще меня не столько трогали стихи, тем более что я с трудом воспринимала их на слух, сколько весь антураж: вот мы сидим в тенистой комнате, поэт читает, подруга, слегка сощурившись, смотрит куда-то вдаль, жених, откинувшись на спинку дивана, слушает с закрытыми глазами. Я тоже решила принять выразительную позу и, закинув ногу на ногу, уперлась локтем в колено, а подбородком в ладонь. Только бы все это длилось: завораживающий голос поэта, не менее завораживающие паузы, тень, сирень, блики...

Вдруг жених пошевелился и слегка толкнул меня в бок. Решив, что это случайно, я отодвинулась. Жених встал и принялся ходить по комнате. Я подумала, что ему не сидится от избытка чувств, но, взглянув на него, с удивлением обнаружила устремленный на меня весьма говорящий взгляд. Я недоумевала. Заподозрить его в чем-то романтическом было невозможно. Не тот случай. Он был по уши и по гроб жизни влюблен в загадочную красавицу — мою подругу. Так в чем же дело? Что означает этот взгляд? Мной овладело беспокойство... Может, что-то с моей внешностью? С носом, например. Я достала платок и старательно вытерла нос. Жених продолжал смотреть. Может, крошка на губах от печенья, которое ели за чаем? Провела ладонью по губам. Жених не отводил взгляда. Я слегка пожалала плечами, показывая, что ничего не понимаю. Он нервно походил по комнате, а потом, остановившись за спиной поэта, стал напряженно смотреть на что-то в районе моей левой ноги. Я взглянула туда же — и обмерла: розовая резинка-крокодильчик, поддерживающая чулок, и небесно-голубое трико — вот что предстало моему взору. И если бы только моему! Наверное, подол задрался в тот момент, когда, решив принять выразительную позу, я закинула ногу на ногу. Судорожным движением одернув юбку, я одеревенела. Жених, наконец-то расслабившись, сел и приготовился к

кайфу. Но я расслабиться не могла. Для меня все было кончено. Жизнь сыграла со мной злую шутку: пока я с мечтательным видом наслаждалась происходящим, уплывала в заоблачные выси и предавалась грезам, мои голубые штаны и розовая резинка делали свое черное дело. Я видела в этом грозное предзнаменование, зловещий знак. Наверное, такова моя программа, сформулировать ее я не умела, но чувствовала, что это не случай, а закономерность. Теперь я наконец-то поняла, почему поэт время от времени, отрываясь от тетрадки, устремлял взгляд только на подругу. Он наверняка уже имел неосторожность посмотреть в мою сторону и, увидев то, что секунду назад увидела я, отвернулся, чтоб больше никогда ко мне не поворачиваться.

Не помню, как мы попрощались, как шли к автобусу, как добирались домой. Помню только, что мои спутники вели оживленную беседу обо всем услышанном, что жених, видя мое расстроенное лицо, пытался тактично втянуть меня в разговор, но тщетно. Они перебрасывались разными стихотворными строчками, а я... Если бы даже я и могла что-нибудь произнести, то лишь одну-единственную всем известную фразу, с которой оперный Онегин покидает сцену: «Позор! Тоска! О, жалкий жребий мой!»

КОФТА С ПУПЫРЫШКАМИ

Летом пятьдесят девятого года, сдав экзамены за второй курс, я должна была, как тогда полагалось, отработать месяц на стройке. Уезжала рано утром, возвращалась вечером. Лето было жарким, дорога длинной. Сперва я ехала в душных переполненных вагонах метро до «Сокола», потом не то автобусом, не то трамваем, потом долго шла. Однажды утром с недосыпу попыталась подняться на эскалаторе, идущем вниз. Спасибо, кто-то вовремя оттащил меня, ухватив за ворот. С собой я всегда возила книжку Луначарского о киносценариях и бутерброды. Книжку так и не прочла, а бутерброды раздавала однокурсникам, предпочитая деликатесы, которые приносила с собой Валька Боганова: тонкие ломтики поджаренного хлеба с икрой, красной рыбой или яичницей с помидорами.

Все утро мы поглядывали на часы в ожидании обеда, а когда он оставался позади, скисали и считали минуты до отбоя. «Нервная работа, — приговаривала моя однокурсница Зойка, — целый день под движущимся краном».

И то правда: крики «Майна, вира» мне уже снились по ночам.

Нам, студентам, поручали разное: что-то подмести, что-то поднести, что-то покрасить. Когда работы не было, я усаживалась в сторонке и открывала своего Луначарского. И зачем я возила с собой эту нудную книгу? Сдается мне, причина была одна: я надеялась привлечь внимание однокурсника, который в ту пору занимал все мои мысли. Вдруг заметит, какую умную книгу я читаю.

С нами, студентами, любили поболтать работающие на стройке тетеньки и молодые девицы. Одна из них предложила погадать нам. Мы с радостью согласились. Я оказалась первой. «Прижми ладонь к стене», — скомандовала она. Я послушалась. «Замужем?» — спросила гадалщица. «Нет», — ответила я. «Вот на стенку и лезешь», — заключила она. Девчонки, ждущие своей очереди, разочарованно похихикали и разошлись.

Мы все с нетерпением ждали, когда кончится трудовой месяц или хотя бы рабочая неделя. «Суббота, суббота, хороший вечерок». По субботам нас отпускали пораньше. Когда я вернулась в ту злополучную субботу домой, мама и отчим накрывали на стол, собираясь обедать. Я едва держалась на ногах от усталости и страшно хотела есть. «Ну, что сегодня было?» — зада-

ла мама свой обычный вопрос. «Ничего особенного. Все как всегда». — «А почему ты не переоделась?» — спросил отчим, когда я села за стол. «Есть хочу». — «Ну, деточка, так нельзя, — настаивал он, — на стройке грязь, пыль. Надо переодеться. Кстати, ты, кажется, уезжала в кофте. Где она?» Я бросилась к сумке. В ней лежал Луначарский и остатки завтрака. Кофты не было. «Наверное, забыла в раздевалке», — упавшим голосом призналась я. «Придется срочно ехать», — решительно заявил отчим. «Когда? Сейчас?» — с ужасом спросила я. «Конечно сейчас, срочно. Немецкая кофта, прекрасная, дорогая. Я же просил, умолял не брать ее с собой. Просил, умолял, — горячился отчим, — но ты ведь не желаешь слушать». Мама пыталась уговорить его дать мне поесть, а уж потом решать, что делать. Но он был непреклонен: «Какой обед? Конец рабочего дня. Завтра воскресенье. В понедельник кофты не будет. Или ехать сейчас, или попрощаться с ней навсегда». — «Я устала», — слабо сопротивлялась я. «Но, деточка, я же просил, умолял...» Конца фразы я уже не услышала. Резко поднявшись, я направилась к двери. Из-за слез я плохо различала дорогу, все ту же постылую дорогу до метро, на метро, от метро... «Но там ведь никого уже нет, — подумала я, — и корпус, в котором раздевалка, наверняка уже заперт. Зачем я притащилась?» Когда я входила на стройку, мне навстречу шли рабочие. Кое-кто уже был навеселе. Один парень, чье лицо мне было знакомо, шутливо спросил: «Решила сверхурочно поработать?» Но, пригладившись, переменил тон: «Да ты никак плачешь. Что случилось-то?» — «Я кофту здесь забыла». — «И что, из-за этого притащилась из дома? В понедельник взяла бы», — резонно заметил он. «Да нет. Мне велели сегодня». — «Что, если не найдешь, заругают?» Я кивнула. «Ну и предки у тебя. А где кофта-то?» — «В пятом корпусе в раздевалке, на четвертом этаже». — «Да корпус-то закрыт, — пробормотал он и, заметив проходившую мимо девицу, крикнул: — Ваську-крановщика не видала?» Она покачала головой. «Жди меня здесь», — приказал парень и убежал. Через некоторое время вернулся с тем, кого звали Васькой. «Ну что, красавица, будем кофту доставать?» — спросил он. Я молча смотрела на них обоих, не представляя, что они собираются делать. «Повезло, окна открыты», — сказал Васька, взглянув вверх. Он полез в кабину крана, а Петька (так звали того, кто первым вызвался мне помочь) ухватился за крюк. «Вира!» — крикнул он. Не веря своим глазам, я смотрела, как Петька поднимается все выше и выше. «Стоп! — Он поравнялся с четвертым этажом. — Давай ближе, ближе, стоп!» Отцепившись, Петька шагнул на подоконник и скрылся в раздевалке. Через некоторое время вновь появился в окне, держа в руках какую-то кофту. «Эта?» — крикнул он. «Нет!» — ответила я. «Эта?» — «Нет!» — «Эта? Эта?» Я уже готова была согласиться на любую, лишь бы он прекратил поиски. «Моя — пестрая, с пупырышками». — «С чем?» — не расслышал он. «С пупырышками!» — «С крылышками?» — «Да нет, с пупырышками!» Господи! Дались мне эти пупырышки. Зачем я про них сказала?! «Эта?» — крикнул он, размахивая моей кофтой. «Да-а-а!» — заорала я не своим голосом. Засунув за пазуху кофту, Петька снова прицепился к крану, скомандовал: «Майна!» — и поплыл вниз. «Ну чего ты теперь-то реवेशь?» — спросил он, вручая мне кофту. «Спасибо вам, — всхлипывала я, — и вам спасибо... большое. Я вам так...» — «Да ладно, чего там. Привет предкам», — сказал Петька, и они с Васькой направилась к выходу. Я двинулась за ними.

Едва я вошла в комнату, мама и отчим рванулись мне навстречу. «Боже мой, девочка, — виновато причитала мама, — как тебе удалось ее найти? Ну садись, ешь скорее. Ты ведь так устала!» — «Вот умница, вот умница, — повторял отчим, — хлеб будешь?» Он отрезал кусок хлеба и густо намазал его маслом. «Ну ешь, ешь. Слава Богу, нашла кофту. Больше никогда не бери ее с собой. Такая кофта! Немецкая, чистая шерсть!»

ПО ДОРОГЕ НА ТЕННИС

Кто-то сказал мне, что на Петровке есть теннисный корт, где за невысокую плату занимаются с новичками. Это было более тридцати лет назад, когда детей у меня еще не было, энергия была через край и постоянно возникали планы — один краше другого: то научиться играть на гитаре (ради чего я некоторое время бегала в клуб медработников на Герцена), то в теннис. Решив не откладывать дело в долгий ящик, я съездила на Петровку и записалась на определенный час. «Только не опаздывать, — предупредил инструктор, — у меня расписание жесткое».

На первое занятие я летела сломя голову. И вдруг в воротах меня остановил немолодой коренастый мужчина: «Прости, девушка, я горьковский шофер. Вот вышел из заключения, хочу домой попасть, а денег на дорогу нет. Приехал к другу, который жил в этом дворе, а дом его как сквозь землю провалился. Снесли, наверное. Не будет ли у тебя двадцати копеек? Мне бы до другого кореша добраться. Может, он выручит».

Чувствуя, что безнадежно опаздываю, я торопливо порылась в карманах. «Извините, нет ничего». — «Ну, прости», — сказал он и побрел дальше. Я пробежала через двор, рванула на себя дверь, влетела в раздевалку. Подружка, с которой я собиралась вместе заниматься, уже переделалась и ждала меня: «Ну что так долго? Просили же не опаздывать!» Я вытряхнула из сумки костюм, а вместе с ним и кошелек, который упал на пол и раскрылся. По полу покатились мелочь, и тут меня как молнией ударило: а ведь я даже не потрудилась достать из сумки кошелек. Спешила, видите ли. Собрав мелочь, я выскочила из раздевалки, выбежала на улицу и огляделась. Его нигде не было. Побежала в одну сторону, в другую, перешла дорогу, постояла, озираясь. Нет, глупости все это. Как его найдешь в такой толпе?

Когда я вернулась, подружка рвала и метала: «Что с тобой происходит? Ты в своем уме?! С первого раза такие фортели выкидывать! Куда тебя носило?» — «Потом скажу». Я вяло переделалась и, почти не слыша слов инструктора, целый час тупо стучала мячиком об стенку. На обратном пути подружка потребовала объяснений. Пришлось рассказать ей про шофера и несчастные двадцать копеек. Выслушав мою историю, она остановилась и с недоверием уставилась на меня: «И что, из-за такой ерунды ты раскисла? Думаешь, он у тебя одной просил деньги? Да у него в каждом дворе друг, который переехал! Ты что, вчера родилась?» — «Но он так мало просил! Кто врет, просит больше». — «А если и не врет, — вскинулась подружка, — он что, за хорошие дела в тюрьму попал?» — «Но он шофер. Долго ли шоферу срок получить? Случайно кого-нибудь сбил и сел». — «Ну ладно. У каждого свои проблемы», — резюмировала она и пошла прочь. Оставшись одна, я испытала облегчение. Нет, облегчение — не то слово. Просто я смогла наконец сосредоточиться на своих мыслях и еще раз вспомнить все как было: вот я забегаю во двор, мне навстречу немолодой коренастый человек: «Прости, девушка, я шофер из Горького...» Нет, он сказал «горьковский шофер». Я даже на секунду подумала, что он когда-то возил Горького. «Не будет ли у тебя двадцати копеек?» А я спешу, мне на теннис надо, кошелек на дне сумки, искать некогда. «Извините, ничего нет», — бросаю на бегу. «Прости, девушка...» Я прокручиваю сценку снова и снова. Какая же, оказывается, я была счастливая еще совсем недавно. Какие все вокруг счастливые — идут, смеются, едят мороженое. Я тоже купила мороженое, но счастливее не стала.

Придя домой, я все рассказала мужу. Он отлично меня понял, но мне не полегчало. Оставалось терпеть и ждать, уповая на то, что это сигнал, предупреждение, что судьба специально позаботилась обо мне, продемонстрировав в достаточно нежном возрасте и не на самом страшном примере, что такое совесть. Мне почему-то вспомнилась невысокая пожилая

женщина с печальными глазами — институтская преподавательница латыни, которая, желая нас утихомирить, часто повторяла: «Audi, vide, sile» — «Слушай, смотри, молчи».

МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ

Я увидела их впервые в огромном подвальном помещении, где располагался комиссионный мебельный магазин. В том далеком семьдесят втором мы только-только переехали в новый дом возле платформы «Яуза» и подыскивали себе недорогую мебель, благо магазин был совсем рядом. Заинтересовавшая меня троица — он, она и девочка лет шести — занималась тем же: открывала и закрывала дверцы допотопных шкафов, выдвигала и задвигала ящики столов, изучала ценники. Все трое настолько завладели моим вниманием, что я автоматически следовала за ними: они к шкафам — и я туда же, они к диванам — и я. Все трое казались диковинными птицами, невесть как залетевшими в этот промозглый, пропахший плесенью и морилкой подвал. Видавшее виды пальто отца семейства, длинный яркий вязаный шарф, небрежно намотанный вокруг шеи, темные слегка выщипанные волосы, тонкие черты лица — все это полностью соответствовало моим представлениям о бедном художнике с Монмартра. На женщине была короткая латаная дубленка, полы которой разлетались в разные стороны при каждом движении ее стройных ног. А темноволосая девочка с огромными глазами и тоненькой фигуркой казалась маленькой Одри Хэпберн. Изящество, ленивая грация, элегантность были присущи всем троим.

Оказывается, они уже заметили нас прежде и знали, что мы живем на четвертом этаже той же новостройки, где тремя этажами выше живут они. Мы стали часто бегать друг к другу. Их малогабаритная квартирочка отличалась тем же изяществом, что они сами. Все в ней, кроме разве что старинных, доставшихся по наследству часов, было сделано или украшено руками хозяев: причудливой формы книжные полки (чья причудливость объяснялась необходимостью уместить большое количество книг на малом пространстве), затейливые абажуры, фантастической расцветки шторы на окнах и картины, картины, картины, автором которых была Галя (так звали хозяйку дома), работавшая художником на «Мосфильме». Откинув пестрое покрывало, можно было увидеть, что лежанкой служила старая дверь, а приподняв веселую скатерку, обнаружить, что стол сколочен из найденных в куче строительного мусора досок.

Попавшие в этот дом вещи преобразались и начинали новую, одухотворенную жизнь. Художественная жилка была и у дочери Маши, которая постоянно что-то рисовала, лепила, клеила. Экспозиция над ее столом менялась чуть ли не каждый день, и руководил этим папа Женя — кинорежиссер, так и не снявший в свои тридцать с лишним лет ни единого фильма. Дыры и прорехи в доме латались столь виртуозно и высокохудожественно, что казалось, появлялись они с единственной целью — сделать квартиру еще краше. Галя ходила по дому в старых вытянутых на коленях рейтузах. Но когда она, ловко подогнув под себя ногу, усаживалась латать эти самые прорехи или, накинув дубленку и повязав голову серым платком, отправлялась на студию, от нее *не можно было глаз отвести*.

Галя с утра до вечера «вкалывала», а Женя... Что делал Женя, сказать трудно. Он был непригеном (пользуясь словом, придуманным моим другом-писателем), то есть непризнанным гением. Его обуревали идеи, воплотить которые мешали, по его мнению, исключительно внешние обстоятельства, а точнее, режим, царящий на шестой части суши, где он, Женя, имел неосторожность *родиться с душою и талантом*. Идеи роились, планы множились, уверенность в их неосуществимости крепла, время шло, жизнь проходила мимо, Женя страдал, мрачнел и наконец родил безумную по тем временам идею, вытеснившую все остальные, — идею отъезда. С ее

возникновением походы с седьмого этажа на четвертый и обратно участились. Но если раньше Женя забегал, чтоб поделиться впечатлениями от только что увиденного на закрытом просмотре шедевра, то теперь — поговорить об ОВИРе, отказах, разрешении на выезд и прочем. Назревала драма: Галя уезжать не хотела, а Женя считал отъезд единственным для себя выходом. Наступил черный день, когда он впервые произнес слово «развод» (неразведенных не выпускали, у них даже не принимали документы). «Отъезд, развод, отъезд, развод», — вот что постоянно звучало в стенах нашего дома. «Галка уперлась, ехать не желает, жизнь одна, я должен работать», — твердил Женя.

Мой муж, при любых обстоятельствах сохраняющий способность мыслить ясно, повторял одно: «Только не развод. Развестись — значит потерять семью. Твою русскую жену, если она вдруг надумает ехать, никто никогда не выпустит, а без Гали и Маши ты там повесишься». Послушавшись совета, Женя пошел ва-банк: явился в ОВИР не разведясь. Случилось чудо: свирепейшая дама по фамилии Израилова (!) была в отъезде, а другой инспектор, видимо, просто проглядел. Документы приняли.

Шло время. Осунувшаяся Галя продолжала таскать на студию огромные папки с эскизами, Машенька, сверкая дивным личиком, играла во дворе с детьми, а Женя, страдая от собственной неприкаянности, с нетерпением и страхом ждал разрешения на выезд. Не зная, куда себя деть, он часто увязывался за мной в молочную, булочную, обувную мастерскую. Его общество временами тяготило, потому что строчки, которые крутились в голове и обещали стать стихами, при его появлении исчезали. Но что было делать! Ведь не прогонишь человека, которому худо. Женина неприкаянность росла день ото дня. Однажды, когда мы ехали в трамвае, он внезапно вскочил и направился к выходу. «Куда? Почему?» — недоумевала я. «Никуда. Так просто». Трамвай тронулся, а я смотрела из окна, как Женя с присущей ему небрежной грацией медленно пересекает огромную пустую площадь, на ходу комкая и отбрасывая в сторону трамвайный билет, немедленно подхваченный и унесенный ветром... Законченный кадр из не снятого Женей фильма.

Зимой нас позвали на проводы. Народу собралось немного. Мы сидели за столом в уютной, обжитой, знакомой квартире, которую ранним утром должен был навсегда покинуть один из ее обитателей. Далеко за полночь мы ушли к себе, а на заре Женя улетел.

Мой муж оказался прав. Едва прибыв «на пересылку» в Италию, Женя смертельно затосковал. Он то и дело вызывал Галю на переговорный пункт (в нашем доме телефона не было). И вскоре случилось то, что должно было случиться: Галя сообщила нам, что они с Машей решили последовать за ним. И снова та же волокита, которую я, впрочем, помню слабо, потому что к тому времени родила второго сына. Галя заходила взглянуть на новорожденного, потом принесла специально для него сшитый теплый синий конверт, потом забежала рассказать, что ее навещали сотрудники госбезопасности и уговаривали не уезжать, а через некоторое время сообщила, что получила разрешение.

Придя на проводы, мы с грустью обнаружили, что уютного жилища больше не существует. «Живите в доме, и не рухнет дом». В доме не жили, а доживали. Утром мы посадили Галю и Машу в такси и долго им махали. А днем, не веря своим глазам, увидели, как они снова входят в наш подъезд. Что стряслось? В чем дело? «Какие-то неувязки, — усталым голосом сказала Галя, — летим завтра утром». Их неожиданное появление казалось таким же диким и противоестественным, как если бы они вернулись с того света. Жизнь дала им редкую и малоприятную возможность еще раз перешагнуть порог навсегда покинутого дома и провести в нем еще одну тревожную ночь. Наутро отъезд состоялся.

А за несколько дней до того с седьмого этажа на наш четвертый перекочевали огромные напольные антикварные часы, которые нам предстояло сдать в какой-то музей. Они погостили у нас недели две, наполняя комнату задумчивым звоном и звуками старинного марша, а потом уехали. От распавшегося на наших глазах уклада нам на память остались лишь несколько Галиных картинок, выполненных цветными мелками. На одной были пестрые геометрические фигурки на зеленом фоне, на другой — яркие цветы на черном, на третьей — крупные бабочки, порхающие среди кладбищенских крестов.

Через некоторое время мы получили открытку из Вены (из Вены ли?), позже — несколько художественных альбомов из Нью-Йорка, где обосновалось семейство. Дальше — тишина. И лишь пятнадцать лет спустя, в начале перестройки, мы совершенно случайно узнали, что Галя умерла от рака, Маша играет в маленьких театриках, которые возникают и лопаются как мыльные пузыри. Она талантлива, хороша собой, русский не забыла и дважды приезжала в Россию. А Женя... Женя, как всегда, полон планов, но ничего определенного. Как и в России, семью долгие годы кормила Галя. Ее поделки, шитье, вышивка в русском стиле пользовались большим спросом. У нее были золотые руки. Жаль ее.

Я слушала все это и вспоминала, как много лет назад, поднявшись на седьмой этаж, застала Женю за учебником английского. «Ты вовремя как никогда, — обрадовался он, — сейчас ты мне объяснишь разницу между *live* и *leave*. Я их все время путаю». — «*Live* — жить, а *leave* — уходить, покидать», — сказала я.

А впрочем, как их не путать? Ведь они синонимы. Жить — значит уходить: сегодня — от себя вчерашнего, завтра — от себя сегодняшнего.

Говорят, от себя не уйдешь. Еще как уйдешь. Вопрос лишь в том — как далеко... И не так ли уж судьбоносно физическое перемещение в пространстве? Тогда, объясняя Жене разницу между *live* и *leave*, я сказала, что в первом случае гласная короткая, а во втором — долгая. И то правда: живем стремительно, а уходим долго, всю жизнь.



МАРИНА ПАЛЕЙ

*

LONG DISTANCE,
ИЛИ
СЛАВЯНСКИЙ АКЦЕНТ

Сценарные имитации

Rotterdam, апрель 1998.

Теперь по поводу той части, которую произвольно назову «Вступление». На мой взгляд, она должна идти до титров, в самом начале фильма. Наверное, Вы тоже много раз это видели: площадь возле вокзала, и нищий сын Африки вовсю нажаривает на некоем percussion instrument (условно назовем его тамтам). Мне всегда лезет в голову, что на этом instrument натянута человеческая кожа. А если и не человеческая, то все равно кого-то прежде живого.

Вы видите пришельца, сухого и черного, как судьба. Он скалит зубы и с пугающей неутомимостью — словно жертва и сатана сообща — выдает свое одинокое, беспощадное, безостановочное и неукротимое там-там. Он бьет в самое сердце, и первое время (которое длится, кстати сказать, вечность) принимаешь эти удары как ураганную атаку беды, истязание, совокупление, убийство. А потом, если тебе повезет и останешься жить, и утихнет твой кровохлест, и заживет кожа, ясно вспомнишь, что уже тогда, одновременно, ты чувствовал не только это. О, конечно, не только! А то чего же ради ты всю жизнь балансируешь на этом электрическом проводе, что искрит огнями райских иллюминаций!

Мне бы очень хотелось, чтобы «Вступление» читалось за кадром, по-русски, и на экране были бы английские субтитры. А синхронно, фоном русскому голосу, должен звучать одинокий, загнанный, непобедимый ритм тамтама. Мне кажется, его барабанный бой, буквально, внутриутробно совпадает с ритмом моего «Вступления». А отзвук этого тамтама задал бы всему фильму энергию воли, отчаянья и восторга.

(Из письма к американскому режиссеру.)

Вступление

...И у тебя получится.

Но все-таки все будет здесь как-то не так. Трамвайная дверь будет открываться не так, лифт будет вызываться не так, не так ты станешь отправлять заказное письмо, совсем не так будут продаваться конверты и марки, сигаретный автомат будет срабатывать странно, как-то не так, и не так, целиком не так, — автомат для размена денег, чашку кофе надо будет

Палей Марина Анатольевна родилась в Ленинграде. В 1978 году закончила Ленинградский медицинский институт, в 1991 году — Литературный институт им. А. М. Горького. Прозаик, переводчик, критик. Печатается с 1987 года — автор книг прозы «Отделение пропащих» (М., 1991) и «Месторождение ветра» (СПб., 1998). Постоянно печатается в «Новом мире». Переведена на ряд иностранных языков. С 1995 года живет в Нидерландах.

просить не так, не так совершенно, а кофе-автомат будет устроен абсолютно не так, учитывая, что в стране твоего происхождения он не устроен никак вообще, не так, полностью не так будут называться меры веса и меры пространства, а градусы холода и жары будут именоваться тем паче не так, и не так ты вынужден будешь регулярно напрягать мышцы рта, лба, всего тела, гальванически сокращая все это в то, что здесь считают улыбкой, о, не так, насколько ж не так тебе надо будет откликаться на свое имя, которое будет произноситься до смешного не так.

Первая неделя уйдет у тебя на то, чтобы научиться пользоваться общественным туалетом, уличным телефоном, кнопкой для перехода дороги. Затем тебе нужно будет срочно учиться не цепенеть перед долларовой тележкой в супермаркете — и тому, чтобы, зайдя в этот супермаркет, вмиг не заплакать и не броситься вон, и еще тому, чтобы, напрягая весь свой ротовой аппарат, все мышцы и связки своей опорно-двигательной системы, давясь, подавляя нервную рвоту, все же выдавливать из себя в нужном месте и в нужное время: *would you be so kind as...*

В конце концов ты, конечно, научишься тому и научишься этому. И все-таки долго тебе еще будет казаться, что осень здесь наступает как-то не так, пахнет она как-то не так — да что там, если уж честно, любят и умирают здесь как-то не так, напрочь не так, насмерть не так, — как ни вживайся, не так.

Фильм первый

МАКАРОНЫ

CAST:

Он, он же герой.

Она.

Механический голос героя.

Автоответчики.

Голос диктора.

Птица.

Сцена 1. СКАНДАЛ

В темноте слышно долгое прохождение кем-то невидимым длинного ряда невидимых дверей. То есть это шаги — довольно тяжелые, решительные, грубые — в сочетании со всем разнообразием звуков, которые способны издавать очень разные двери при их отпирании-запирании. За этим кем-то мы следуем одним лишь своим изнывающим слухом, но вот наконец включаются и наши глаза: мы вышли на свет.

Теперь мы стоим за плечом этого «кого-то» (по виду сзади довольно массивного), он перекрывает почти весь проем узкого темного коридора, который заканчивается, как карандаш, белым наконечником: это кухня.

Постояв, спина направляется туда. В двух-трех просветах между спиной и стеной коридора мы успеваем увидеть кое-что в кухне: телефон на холодильнике, длинную темную прядь, узкий локоть, легкий халат.

Войдя в кухню, спина встает к нам окончательно спиной. Она закрывает кого-то маленького, словно бы пойманного, зажатого между ней и дверью, которая застеклена в верхней части и ведет из кухни наружу. Оттуда, сквозь щели белых металлических жалюзи, льет ясный и мягкий свет летнего утра. Попадая в кухню, свет дает арестантскую тень. Эта застекленная дверь выхода находится на одной оси с входной дверью в кухню — и с темной кишкой коридора, — имеется в виду его последний отрезок.

Спина (прекрасный разворот плеч) одета в модную футболку. Руки неторопливо расстегивают ремень на джинсах. Крупно: видение мужских

ягодиц в плавках. Крупнее: видение мужских ягодичек без плавков. Неэротично. Некомично. Ни даже «неприлично». Несмотря на формальную безупречность линий, человечье седалище выглядит нелепо. Точнее сказать, глупо, грубо и незащитно. Мясо мясной лавки — временно с кожей. Шуршанье бумажкой (оберткой кондома).

Совокупление. Деловитые, монотонные поступательные движения ягодичек. Полная иллюзия туповатого трудолюбия. Так, видимо, полезней для обмена веществ этого большого здорового организма. Вместе с тем: слепая незащитность человеческого (хотя бы даже атакующего) мяса. Черт его знает, когда это кончится! Трудно смотреть... Затянуто... Хватит! Вот идиот, котлету он отбивает, что ли? Человеческое беззвучие; звуки голой механики. Хватит же наконец! Да нет, это, видно, надолго...

Он (*внезапно*). Боже, что мы делаем?!

Она (*эхо с восточноевропейским акцентом*). Что?

Он. Что мы делаем?! Джизус!!

Она (*паралич страха*). Что? Что? Что-нибудь не так?

Он. Боже! Боже! О, Боже мой! Как это возможно?!

Она. Но что? Что случилось? Ради Бога!

Он (*полноценный стон*). О-о-о-о-о-о!!!

Она. Но что, что не так? Скажи словом! Что? Ну что, ради Бога? Хоть одно слово!

Он. Дура.

Она. Но что...

Он. Я сказал!!

Она. Но что...

Он. Дура! Дура! Ты — идиотка!

Она. Боже, умоляю тебя... объясни... что не так... скажи... что...

Подобного рода общение протекает в следующих декорациях. Слева (в стиле WC, мясоразделочного цеха, анатомического театра) — стена, сплошь облицованная ярко-белым кафелем. Справа, начиная от входной двери, стоят мусорный бак и белый холодильник с телевизором, которые мы пока только и видим, поскольку спина полностью перекрывает «перспективу», а щель кухни, будучи продолжением коридора, так же противостоит узка. И по этой же причине женское существо, дающее о себе знать лишь голосом, тоже для нас невидимо. Ну разве что прядь волос. Подростковый локоть, край халата. Хотя при первой же реплике (см. выше) мужское существо резко отталкивает существо женское, все равно увидеть это существо из-за спины мужчины мы не можем.

Он (*резкий жест вправо*). Это что?!

Она. Что — «это»?

Он. Это — что?!

Она. Где? Это?..

Он. Да! Это! Вот это! На плите! В кастрюле!

Она. Это?.. Макароны...

Он (*передразнивая ее восточноевропейское «р»*). «Ма-ка-ро-ны»!..

Она (*скорее обессилев, чем испуганно*). Что не так?..

Он (*свежий прилив ярости; напирая на «не»*). Это не «ма-ка-ро-ны»! Не «ма-ка-ро-ны»! Это паста! Паста! Понимаешь ты?! Пас-та!

Она. Я знаю, что это называется у вас паста, уже знаю... Но у нас паста — это другое! Даже паста — другое, а ты хочешь!.. Разве я виновата?! (*Разнообразная комбинация всхлипов.*)

Он (*ядовито*). Что же паста — у вас?

Она. У нас это вот... что. (*Полка; палец, робко тычущий в тубик.*) Чем зубы чистят...

Он. Чем зубы чистят! (*Понимая, что накал уже спал и надо «добирать» самому.*) А паста тогда как же (*с максимальным ехидством*) у вас называется?

Она. Макароны...

Он. Ма-ка-ро-ны! Ма-ка-ро-ны! Это только в Италии так называется!

Она. У нас тоже это так называется...

Он. У нас тоже иногда... (*Спохватываясь.*) Но дело не в этом!!! О, Джизус!

Следует заметить, что все, проартикулированное выше, — это еще не сам скандал, а только увертюра — может быть, не столь искрометная, но, вне сомнений, очень и очень быстрая. Парень (ему тридцать, плюс-минус) как дурак прицепился к слову, а из-за чего весь сыр-бор, между тем упустил. Shit!

Краткое замешательство. Герой экстренно наращивает пары. А вот его экстерьер.

Это олицетворение американской мечты русских, впитанной с молоком рекламы. Герой вживе персонифицирует святое триединство: 1. «простой калифорнийский парень»; 2. благородный принц, взятый напрокат из пены «мыльных опер» (принц с нерушимостью принципов и пробора); 3. красивый покалеченный ковбой. Он же, кроме прочего, безвылазный всегдатой того самого бара, где всегда в продаже самый лучший «Spearmint», незаменимый влюбленный на фоне всякого рода золотых побережий — и вообще почетный гражданин сникерсо-твиксового рая. Куда в него, в этого гражданина, ни плюнь (глаза, волосы, зубы) — угодишь либо в рекламу, либо в ее следствие. Мы уже молчим про футболку! Про то, что под ней!..

А вместе с тем все в этом герое как-то на удивление нежизнеспособно: что эрзац-терриконы его торса, что квазиканьоны холеной физиономии. Герой активно излучает неподдельную немочь. В переводе на язык природы и продуктов питания — это хлеб без крахмала, обессахаренный мед, виски без алкоголя и дождь без воды. А нас-то, похоже, надули! Что это за полусинтетический цветок нам подсунили? Пустотелый, анемичный Нарцисс, у коего недостает сил даже на то единственное, ради чего он и был сотворен: ведь для всепоглощающей любви к себе тоже нужна страсть (по крайней мере способность к отрешенности и полной сосредоточенности на предмете обожания), а где ж это взять? Выходит, что сколь ни потребляй — в идеальном порядке — протеины, витамины, микроэлементы, результатом будет лишь вяловатый страх смерти. Хотя... Что же в нем так привлекательно, в этом герое? Как бы поточнее сказать? Слово... слово... Вот оно, слово: стерильность. Невидимая, приклеенная к лицу пленка, раз и навсегда обеззараженная, создающая магнетически завораживающее поле притяжения и отталкивания. Но в чем же, черт побери, заключается зловещее притяжение этой стерильности? Ее изошренная, сладостно-истязаящая эротика? В чем каменная, гипнотическая власть манекена? Приспособления, в равной степени годного для соблазнения человека носками, колбасами, любовью, слабительными средствами, стиральными порошками?

Манекен. Результат плановой случки компьютера с болванкой для клёвых прикидов — химерический житель химерических измерений (кои обречен тщетно алкать сбитый с толку пасынок местных ландшафтов), — безотказный капканчик нашего незатейливого, но всегда несытого воображения, — существо, что бесхлопотно заполучает нашу душу, а затем уж неотрывно держит ее — на заговоренной нитке до самой нашей кончины. Так и болтаемся, как балбесы, в низких слоях атмосферы, отравленные самым стойким из всех земных сладострастий, а именно — абсолютной недостижимостью идеальных пространств, где царствует в люминесцентном своем бессмертии сумрачный манекен.

Да: чуть было не упустили. Помимо футболки и спущенных джинсов герой облачен сейчас только в кондом. (Солдатская шутка, застиранная, как портянки, зато чистая правда.) То есть к концу предыдущего диалога, при взгляде спереди, мы могли заметить некоторое расхождение между патетической жестикуляцией героя, исполненной гнева и возмущения, и этим сводящим, как пьяный суфлер, насмарку весь пафос провисшим чуть не до колен кондомом. (Деталь, привносящая некий незапланированный эффект.)

Женщина (ей тоже около тридцати: фигура подростка, материнство голоса), — женщина, лицо которой все еще скрыто, — существо, сжатое в комок, напряженно дрожащее, — то, что оправдывалось, не смея повернуть головы, — в конце диалога робко поворачивается. Таким образом, только что описанный фронтальный вид героя нам зрим глазами героини. Теперь мы можем видеть уже ее спину. Какую? Вытекает из последующего диалога.

Она (*устало*). Объясни, ради Бога, в чем дело.

Он (*с яростью, которая уже несколько вымучена*). В чем де-е-ело! В чем де-е-ело!

Маленькая пауза.

Кто это готовит пасту на завтрак?! Кто?! Где?! Ты что, сумасшедшая?

Она. Я хотела сделать для тебя с сырком...

Он. С каким еще сырком?! У меня нет сыра! Нет сыра! О-о-о-о! Паста — на завтрак!

Она. У тебя есть несколько засохших кусочков... Я думала натереть на терке...

Он (*очень отчетливо; видны рекламные зубы*). Но у меня нет тер-ки. Я ни-ког-да не дер-жал тер-ки. У ме-ня! Нет! Тер-ки!

Она. Я нарезала ножом... На очень мелкие кусочки...

Он. На какие еще кусочки?! О, Джизус! О, Джи! Где?! А ты посмотре-ла на дату реализации?!

Хватает не глядя остаток сыра, еще не подвергшийся ее старательному обстругиванию, и — продолжением жеста — швыряет в открытый мусорный бак. Попал! Нежданный артиллерийский успех дарит герою заряд к новому взрыву. Дело искры.

Она. Но почему нельзя просто макароны?.. Без сыра?..

Он. Fuck you!! Fuck you!! О-о-о!! Fuck you!!

Она. Ради Бога...

Он. Fuck you!! Есть джем! Fuck you! Есть хлеб! Fuck сок! милк! хэм! чай! Fuck you — есть даже бесхолестероловое яйцо! Джизус крайст!.. Объясни мне, почему макароны?!

Женщина молчит.

У вас что, в вашей дурацкой стране, все на завтрак жрут макароны?

Затишье. Видимо, перед новым взрывом. Взгляд героя некстати (то есть как раз кстати) падает на полку. И что же он видит?! О, Джизус!! Там, где стояла банка с надписью «Соль», сейчас стоит банка с надписью «Макароны», а там, где всегда стояли «Макароны», сейчас — Fuck! Shit! — стоит... О, Джи!.. — стоит банка с надписью «Соль»!

Он (*растерянно*). Fuck you... Я должен теперь тратить май энерджи... Тратить май оун энерджи... (*Со стоном и грохотом переставляет банки.*)

Что-то падает.) О, Джи... Fuck you! Fuck you! О, Джи!.. Aw, you bitch!.. О, Джи!.. Aw, you bitch! (*Обессилев.*) That's a real disaster...

Пауза.

У вас что, на завтрак и вправду едят макароны?

Молчание.

Отвечай. Я тебя спрашиваю: у вас что, все макароны едят на завтрак, что ли?

Женщина безгласна.

Ну?.. Aw, you bitch! Ты что, свой ротик открыть не можешь? Ну? Открой же свой ротик! Ну? Я тебя, кажется, о чем-то спросил?.. Ну?! Отвечай!

Она (*неожиданно резко*). Что есть, то и едят. (*Выскользнув, убегает.*)

Он (*в темноту коридора*). Shit!

Сцена 2. ВЫЯСНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

Бег в темноте коридора. Те же звуки, что в начале предыдущей сцены, только быстрее и громче. Да, это бег знакомой уже пары мужских ног. Женских не слышно: та, за которой бегут, исчезла. Очевидно, преследующий ее бежит не просто туда, откуда пришел, но исследует все возможные ответвления этого огромного, запутанного, непонятного жилища. Громкое сопенье, чертыханья и т. п. Возгласы: «Эй! Хэлло! Хэлло!.. Эй!..»

Резкий переход в свет. Мы попадаем в большую комнату, стены которой, как и в кухне (в WC, в мясоразделочном цехе, в анатомическом театре), сплошь облицованы ярко-белым кафелем. Точнее было бы назвать этот параллелепипед «помещением», но, увы, это жилая комната героя: на ходу он привычно поправляет какие-то предметы, подключает не глядя (к день и ночь здесь горящему) добавочный люминесцентный свет, быстро подбирает с пола и бросает на кровать иллюстрированный журнал. Кровать представляет собой узкий, довольно потрепанный холостяцкий топчан. Над ложем, кривовато приклеенная к кафелю липкой лентой и слегка надорванная, красуется большая фотография Брижит Б.

В комнате нет окна. Топчан с фотографией образуют единственный относительно человеческий фрагмент этого жилья. Остальное — предметы, выполненные из металла цвета хаки и такого же цвета пластических полимеров: компьютерные реле, musical sets, их детали, какие-то педали, футляры, разрозненные панели, шнуры, лампы и т. п. Окончательная победа электронного. При этом хаос, царящий здесь, ужасает. Мы находимся словно внутри компьютера, и компьютер этот навсегда сломан.

Герой (джинсы, кстати, уже натянуты), ныряя под разные полки, расшвыривая коробки, панели, новые, но уже непригодные каркасы, издавая различного рода междометия, разыскивает героиню. Как будто она может здесь быть!

Снова коридор. На этот раз в руках у героя фонарик. Резко выхваченные светом фрагменты стен: гобелены, обои, кирпич, грубый камень фермерского подвала, снова лиловатые гобелены, свежие, еще сыроватые бревна (на гвозде висит водолазный костюм), серая, в трещинах штукатурка, тяжелый бархат портьер, резко: наскальная живопись... снова кроваво-красный кирпич... Иногда, как в тоннеле метро, вдруг мелькнет какое-то боковое ответвление... Английские гобелены XVIII века, ярко-белый кафель, краска школьных коридоров, капли смолы на свежеструганых досках, лист фанеры с клочком объявления, венозные обои цвета старческих ног... Хлопанье испуганных крыл, треск льда, звон разбитых стекол, шум

струи из крана, возглас: «No, really?», пугающе близкое дыхание большого животного, стук молотка, парочка фокстротных аккордов на фортепьяно, шуршание мыши, старческий кашель, вой ветра, звяканье вилок и ножей, возглас: «Oh, no!», собачий лай, колокольный набат, фрагменты компьютерной музыки, возглас: «Sorry!», клекот воды в унитазе, резкий взвизг скрипки... С размаху — стоп.

Он. Ты?!

В круге света — ее лицо, выхваченное из тьмы. Правильней сказать: кулаки. Очень белые — на ярком свете, в идеальной тьме. Плотная защита глаз — от света, взгляда, вообще от пространства по эту сторону мозга.

Хэлло! Эй! Ты меня слышишь?.. Хэлло-о-о! Ответь. *(При этом: не двигаясь с места. Ни на микрон навстречу.)*

Чирк лучом вправо — плащ на стене. Плеск влево — стена. Чуть выдвинутый вперед, фонарик натывается на неожиданно близкую толщу драпировки. Нора. Женщина почти полностью ушла в мякоть круглого кожаного диванчика. Он черный, в уютных залысинах. Сидящая замерла в позе эмбриона. Очень далека от речи.

Что случилось? Что не так? Что? Я не понимаю. Что-то не так? Объясни. Ну?.. А?.. Эй!!

Герой держит свет резко направленным на белые кулаки. Никакой реакции. Очень тихо. Слышны мелкие нерегулярные пощелкиванья. Это, конечно, слезы. Слишкомakraхмален халат.

Хэлло. Хэлло-о-о! Хэлло?.. Хэлло!!!

Кружок света: два-три его прыжка вдоль косяка двери. Выключатель. Профиль героя с заведомо злым глазом. Щелк-щелк. Щелк-щелк...

Черт! Ничего в этом доме не работает! Ничего!

Снова щелкает выключателем. Прежний результат.

Ну гадство! *(Наставляя на женщину дуло фонаря.)* Так. Ты мне скажешь наконец, что случилось? Ты, кстати, в моем доме! Если сейчас же не ответишь, можешь вообще убираться. I am completely fed up!!

Пауза.

Нет, я действительно не понимаю. Что не так? Что-то не так? Fuck you! Ты хоть пару слов сказать можешь? Ну?.. *(Словно с ребенком.)* Пару слов. Открой ротик и скажи. Ты пла-а-ачешь? Почему ты пла-а-ачешь? Что-то не та-а-ак? *(Меняя тон.)* Я сейчас не знаю что сделаю! Я сейчас... я не знаю... я... я... *(Задыхаясь.)* Пару слов... я... Пару слов, ну?!! *(Хватает с размаху кулаком в стену.)*

Полный свет.

Она. Я тебя люблю.

Только сейчас мы видим ее лицо. Никакой патетики в мизансцене. Может, наоборот. Как если бы один, допустим, спросил: «Сэр, вы не скажете, где здесь ближайший телефон?», а тот ему: «Как хороши, как свежи были розы».

Кстати, только сейчас мы можем разглядеть и саму комнату. В уютной ее тесноте очевидна соприродность и взаимосимпатия предметов: плаща,

что мы видели раньше, и чемодана под ним, пыльного зеркала в толстой раме, круглого столика, который накрыт однотонной вязаной скатертью, ну и, конечно, дивана. На столике вразброс мелкие атрибуты канцелярии и косметики. Драпировка черных гардин прикрывает скорее всего дверь куда-то наружу. Дверь эта из стекла: во время краткой паузы после слов героини мы слышим, как тихонько оно дребезжит: то вверх, то у самого пола... Обои дают догадаться, что когда-то здесь играли дети.

Он. Вот так всегда! Со мной всегда так! Когда надо, чтоб он включился, так он не включается, а когда не надо...

Звонки телефона.

Shit! (*Устремляется в коридор.*)

Путь отсюда совсем не похож на путь сюда. Видимо, теперь герой возвращается по возможности напрямую.

Не менее странные помещения. Это уже не коридор, а то ли запустелые цеха по производству игрушек, то ли залы давно покинутого почтамта. По крайней мере, мы однократно видим героя (откуда-то сверху) спускающимся вниз по металлическим ступеням ажурной и узкой винтовой лесенки. Она одиноко торчит в центре пустого гулкого зала — то ли бывшего банка, то ли телеграфа. Издалека, доносимые необычным, «техническим» эхом, продолжают слышаться звонки телефона. Огромные стрельчатые окна многослойной пылью смягчают уже по-дневному яркий свет.

Сцена 3. АВТООТВЕТЧИКИ

Мы в пустой кухне. По-прежнему звонит телефон. После очередного сигнала слышен сухой щелчок, и — пугающе неразличимый с живым — включается механический голос героя.

Механический голос героя. Здравствуйте! Как поживаете? Очень рад вас слышать! Вы позвонили по телефону (212) 8074341. Я с нетерпением ждал вашего звонка! Но, к сожалению, именно сейчас я занят. Буду счастлив, если вы оставите ваше сообщение! Я люблю вас! Еще раз: я люблю вас! Have a nice day!

Компьютерное пиликанье изнуряет нас «Лунной сонатой»... Би-и-и-ип!

Мужской автоответчик. Здравствуйте! Как поживаете? Очень рады вас слышать! «Галактика» счастлива иметь возможность контакта! Наша фирма приготовила для вас незаменимый сюрприз!

Женский автоответчик (*игриво*). Вы спросите — какой?

Мужской автоответчик. Это законный вопрос!

Женский автоответчик. И все же?

Мужской автоответчик. Внимание! Вы находитесь в вашем домашнем WC. С уже привычным, увы, чувством фрустрации вы беретесь за ручку водосливного бачка, и...

Слышится струение златострунных арф, где девственность аркадийских ручьев гармонически соотнесена с лучами, лужками и экологически благополучными овечками. Диалог автоответчиков продолжается на фоне этих пасторальных журчаний.

Женский автоответчик. О, я, кажется, угадала...

Мужской автоответчик. Да, дорогая! Это — «Беатриче», что значит...

Женский автоответчик. ...уникальная...

Мужской автоответчик. ...смысловая...

Женский автоответчик. ...вокально-инструментальная...

Мужской автоответчик. ...и, главное, оздоровительно-оптимальная...

Детский автоответчик (*напряженно сюсюкая*). ...насадка к вашему унитазу!

Женский автоответчик. Отныне с одной из ваших проблем будет покончено навсегда!

Мужской автоответчик. Приобретя «Компакт-Беатриче» — коробок, размером не превышающий набор зубочисток, — вы полностью распрощаетесь с канализационным шумом в вашей уборной!

Женский автоответчик. С шумом, вызывающим, по мнению специалистов, раннее наступление менопаузы у женщин...

Мужской автоответчик. ...тяжелые формы простатитов у мужчин...

Детский автоответчик (*напряженно сюсюкая*). ...расстройства нервной системы и энурез у детей!

Женский автоответчик. Приобретая «Беатриче», вы получаете заряд бодрости и положительных эмоций на целый день!

Мужской автоответчик. Отныне каждое ваше посещение туалета превратится в симфонию!

Детский автоответчик (*очень напряженно сюсюкая*). Mummy! Daddy! Купите мне «Беатриче»!

Автоответчики (*хором*). «Беатриче» — это любовь!

На протяжении данного взаимодействия голосов камера медленно обходит кухню. Ничего интересного. Это ведь только в племени йохи-мох на кухне обычно держат живого койота (от сглаза), а к потолку подвешивают кости собаки-абаку, запах которых отпугивает ядовитых мух куа-букуйам. Ну а тут-то что мы можем увидеть?

После уже знакомых мусорного бака и холодильника с телефоном с этой же стороны друг за другом следуют: четырехконфорочная газовая плита (с газовой на ней), прилавок с полками над ним, встроенная раковина с газовым водогреем, снова прилавок с полками. На прилавках: электропечка для тостов, электросоковыжималка, а также разная мелкая утварь в беспорядке спешного приготовления завтрака. К финалу общения автоответчиков камера тупо застывает над открытой кастрюлей, где в полном безучастии слиплись макароны. Скорее всего, они были выключены во время скандала, когда кастрюля кипела. Сейчас она, конечно, остыла совсем. Герой, вошедший, видимо, во время общения автоответчиков, усталый в одну точку, и точка, словно независимо от его воли, пришлось на разбухший комок белесоватых червей. Тьфу ты, черт!

Похоже, теперь герой готов к самым решительным действиям. И вот какковы они в своей неотвратимой последовательности: нажатие кнопки приемника (стоит на полке рядом с банкой «Макароны»); стягивание — рывком — джинсов и плавок; стягивание, более бережное, кондома; пуск воды и тщательная ее регулировка; наполнение кондома водой; завязывание его сверху узелком; скрупулезная (визуальная и тактильная) проверка кондома на герметичность; выброс кондома в мусорный бак. Затем: тщательная, с мылом, помывка гениталий; тщательная, с мылом, помывка рук. Затем: аккуратное осушение тех и других салфетками. Наступает черед макарон. Герой вываливает их из кастрюли в раковину, давая воде стечь. Ищет, куда бы их выбросить. Конечно, есть мусорный бак, но терпеть макароны в доме более невозможно. Роется в бумагах за мусорным баком. Достает плоскую картонную коробку (видимо, от набора CD: мельком — цветная фотография «Битлз»). Ложкой брезгливо выгребает макароны из раковины — они плюхаются в коробку. Закрывает коробку. И выходит в застекленную дверь.

Кстати сказать, на протяжении описанной сцены по радиоприемнику идет выпуск новостей.

Голос диктора. В штате Нью-Йорк муниципальными органами здравоохранения проводится массовый эксперимент. Накануне Дня Независимости каждый житель штата получил по почте опросный лист, где ему предлагалось стать добровольным донором для трансплантации здоровых органов реципиентам, которые могут быть жертвами различного рода аварий или тяжелых болезней.

Современная медицинская практика шаг за шагом расширяет комплект органов, годных для пересадки. В настоящее время в него входят: сердце, его клапаны, кровеносные сосуды, почки, гениталии, кожа, а также костная ткань, хрящ, сухожилия, роговица глаза и даже поджелудочная железа. Учеными США уже разрабатывается возможность замены некоторых зон коры головного мозга, ответственных за память, интеллект и положительные эмоции. Дело теперь только за человеколюбивым донором. Возвращаясь к эксперименту в штате Нью-Йорк: как распорядится каждый из его жителей судьбой своих органов на случай смерти?

Музычка.

Сцена 4. ЗАКАЗ ЗАВТРАКА

Герой возвращается в кухню. Тщательно моет и вытирает руки. Порядок наконец восстановлен. Самое время его укрепить. Берет телефонную трубку. Набирает номер.

Автоответчик обслуживания. Добрый день! Мы рады вас слышать! Вы позвонили по телефону (212) 3205519. Фирма «Р & Р» по приготовлению и рассылке пищи приветствует вас! Пожалуйста, сделайте ваш выбор. Если вы хотите заказать завтрак — скажите «один», ланч — «два», бранч — «три», обед — «четыре», ужин — «пять».

Герой. Один.

Автоответчик обслуживания. Завтрак с яйцами, маслом и ветчиной — «один», вегетарианский салат — «два», рогалик и фрукты — «три».

Герой. Три.

Автоответчик обслуживания. Фрукты: долька дыни и два персика — «раз», половинка груши и три абрикоса — «два», яблоко и банан — «три», апельсин и долька арбуза — «четыре».

Герой. Три.

Автоответчик обслуживания. Рогалик: с джемом — «один», с маслом — «два», с маслом и джемом — «три», с ветчиной — «четыре», с маслом и ветчиной — «пять», просто рогалик — «шесть».

Герой. Два.

Автоответчик обслуживания. Содержание холестерина в сливочном масле: обычное содержание — «один», один процент — «два», полпроцента — «три», бесхолестероловое масло — «четыре».

Герой. Четыре.

Автоответчик обслуживания. Назовите количество заказываемых завтраков.

Герой (*подумав*). Один.

Автоответчик обслуживания. Мы рады принять ваш заказ. Наша надбавка за доставку составляет десять процентов. Благодарим за сотрудничество! Have a nice day!

Сцена 5. НАКАНУНЕ ПТИЦЫ

Приободренный, герой достает из холодильника сетку зеленоватых апельсинов — специальный сорт для приготовления сока. Невольно его взор заст-

ревает на тюбике с пастой... Над холодильником висит круглое зеркало. Герой оскаливает зубы и долго, с любовной придирчивостью, их разглядывает.

Перекашивает рот к самому уху. Прищулив глаз, ногтем мизинца производит тонкие ювелирные действия в дальнем зубе. Алмазы в сказочной пещере его рта все, как один, учтены и находятся под неустанной охраной солидной страховой компании. Excellent! Теперь герой полностью в своей тарелке. День, начатый так тяжело и по отношению к нему несправедливо, наконец вошел в нормальное русло. Герой берет круглую деревянную доску. Быстро орудуя ножом, с явным удовольствием превращает плотные кожистые шары в аккуратные половинки. Включает соковыжималку. Fine!

Стакан сока готов. Это узкий, ровный, высокий цилиндр — ярко-оранжевый, наполненный до самого верха. Он похож на толстую свечу. Герой бережно берет этот прохладный, приятно потяжелевший предмет, неторопливо подносит к губам... Отпивает чуть-чуть, маленькими глотками, потом, подумав, вставляет соломинку и подходит к застекленной двери. Подергав шнурок, слегка расширяет щели жалюзи.

Глядя в щель на уровне глаз, приступает к соку. Вдруг, резко застыв, пресекает дыхание.

Крупно: арестантские полосы на его лице.

Вакуум (полное исчезновение) звука.

Долгие секунды беззвучия. Исчезновение света. (Выключение жизни.)

Зона выключенного времени.

.....

Сцена 6. ПТИЦА КАК ТАКОВАЯ

Резко: прорыв стука. Очень громко. «Close up» стука. Как если бы кто-то, причем с раздражающей нерегулярностью, вдруг заколотил в самую нашу барабанную перепонку.

Звук словно бы продалбливает полынью света. В ней напряженно светит чей-то расширенный глаз. Полынья также расширяется... И вот мы видим, что герой, оттянув пальцем металлическую планку, неотрывно смотрит в увеличенную щель жалюзи. Медленный отъезд камеры... Редкие, нерегулярные россыпи стука...

Мы наблюдаем героя с точки зрения кого-то невидимого. То есть мы, по сути, глядим на туловище и голову, скрытые за решеткой, — а также на белое яблоко человеческого глаза, предельно обнаженное ужасом, готовое вырваться, как из рогатки.

Внезапно нам виден орган зрения другого существа. Глаз, нацеленный в человека. Или это не глаз? Небесная голубизна с золотым, в самом центре, зраком летнего солнца. Или все-таки глаз? Можно предположить, что это — око неведомого исполина с точки зрения зоологизирующего муравья. И можно догадаться, что полотнище, застилающее весь экран (волокна полотнища толще бревна), — это часть трепещущего от дыхания подбрюшного перышка. Камера ползет по широким полосам, составляющим то ли узоры уже знакомых гобеленов, то ли поверхность... чего? рулевых перьев? крыла? а разве не жуток стократно умноженный коготь, шершавый и тусклый, будто хребет бронтозавра? эти колоссальные зубы? этот жадный, влажный, бесстыжий, очень плотский язык, который мы уж никак не ожидаем в птице?

Птица! Да, это птица! Потому что есть оптика человека, глядящего на мир сквозь щель в металлических жалюзи. И сквозь этот расширенный пальцем просвет — дыру в решетке (напоминающей человеку собственные ребра) — существо по ту сторону клетки видится птицей.

Для оператора это птица размером с фламинго, но человеку, застывшему за жалюзи, она кажется несоразмерно крупней — может быть, еще оттого, что пятачок земли, на котором птица выклеивает из коробки макароны, представляет собой замкнутое пространство.

Обычный закуток возле черного входа: потемневшая бочка под водосточной трубой, фанерная лопата для расчистки снега, метла, примятое жестяное ведро с остатками сизой золы. Поленица дров. Именно так: поленица березовых дров под шапкой слегка ноздреватого снега... Снег на тощих кустах малины... Доски некрашеного забора... Длинная сосулька под его перекладной...

Его ль это память? Не было с ним ничего подобного! Но так ли? Откуда же это тревожное «дежа вю»?..

Где он такое видел? Где он слышал такое, рассказанное голосом женщины, так смешно говорившей «each to other» вместо «to each other» — всегда только так, только так это было, сколько бы он ни поправлял ее! Она еще часто говорила «pillow» вместо «pill», когда просила таблетку, а вместо «pillow» могла сказать «armpit», а ведь он понимал, он всегда понимал с первого раза! Он говорил: это что у тебя, арабский? То есть он так шутил, в том смысле, что — это разве английский? А какая разница! Он тогда уже понимал: какая разница! Разве это важно? Она называла его на своем языке — и, как ни странно, он быстро запомнил добрую дюжину наименований своей персоны, улавливая связь звуков ее языка с оттенками ее настроений, и, несмотря на природную лень, так же быстро запомнил перевод, а все-таки любил с притворной озабоченностью в сотый раз спросить: what does it mean? И она, словно не чуя подвоха, в сотый же раз серьезно объясняла: это такой маленький (показывала размер пальцами) зверь с длинными ушами (энергично показывала на себе), а ты — это ребенок того зверя, они живут в лесу, они живут в поле...

Было ли это с ним? Где же та женщина? И что делает здесь эта птица — громадная, одиноко застывшая под пустым небом, на плоской, внезапно пустынной земле — неоглядной, не имеющей пределов, в зародыше истребляющей этим пустым пространством любые попытки зрения, разума, защиты... даже простого вдоха... Боже, как страшно!.. Значит, было там что-то, что он выплеснул вон, что-то же было там, было в этих дурацких макаронах — Господи, что? — опасное, исключительное, смертельно важное, что приманило Бог знает откуда этого археоптерикса, размахом крыл перекрывающего горизонт!..

Сцена 7. ОТЛЕТ

У всего есть конец — вот и птица взлетает, чтобы вздохом уйти в плотный ультрамарин. О, как тяжела она для ветви земного древа! Как невесома для безучастных небес!

Теперь, с точки зрения птицы, мы видим этих двоих, что стоят напротив друг друга, каждый за стеклом, чуть отшторив свою занавеску... В этом месте здание напоминает букву «П» — и вот в тех торцах, неожиданно близко друг к другу, против друг друга, стоят: женщина с библейски белым лицом возле чуть отведенного бархата черной портьеры — и мужчина, словно доспехами, скрытый ребрышками металлических жалюзи, — только забрало его поднято вверх: как мог, он расширил пальцами щель... Значит, оба они видели птицу во время ее гостевания на земле. Они смотрели на нее оба, одновременно, думая... о чем? Бог весть. Мы также не знаем, и уже не узнаем, видели ли они при этом друг друга. Но теперь их взгляды обязательно, неизбежно где-то пересекутся — высоко в лазури — в точке отлетающей птицы.

А мы — душа, Боже мой, отлетает все выше — мы наконец видим поляну, дерево с круглой кроной — выше! — да, теперь они очевидны:

стрельчатые окна с сияющими витражами, белые колоннады, победные в своем классическом ритме, галереи, утопленные в розовопенном цветении, и — выше! — витые балкончики, зависшие словно бы в невесомости, — выше! выше! — и вот мы видим каменные башенки с узкими бойницами и ярко-пестрыми полотнищами флажков... Дворец.

Да: мы видим дворец. Как раз тот, будто из Шарля Перро или братьев Гримм. Кто б не хотел там жить! А эти двое жили именно там, именно во дворце они жили (прочном, кстати сказать, как скала), — они жили, стало быть, во дворце, но не заметили этого. Бывает.

...Значит, мы жили с тобой в раю? вот что ты хочешь сказать? Конечно, моя единственная любовь. Оттого этот сад вокруг дворца? эти зеленые, розовые, нежно-лиловые — эти бесконечные в кипенье расцвета сады? Оттого, моя единственная любовь. Боже мой, сколь непостижима и всемогуща, сколь яростно-неистощима щедрость этого единственного, как ты, моя любовь, мира, — но отчего этот грозный, неумолимый, этот все нарастающий шум, этот ледяной нестихающий ветер? — мы отлетаем, моя любовь, мы отлетаем, — а там, а там мы будем собой? мной и тобой? — разве это имеет значение? не бойся, не надо бояться, взгляни назад с точки зрения птицы: все страхи сметаются в прах при виде этой исполинской, бессмертной, этой всепобеждающей красоты, — ты видишь: Земля густо покрыта садами и волшебными замками, ты видишь: везде, где Земля дала приют человеку, она покрыта волшебными замками и садами, Боже мой, ничего, кроме дворцов и райских садов, это так очевидно, — ты видишь: белые города североамериканского континента, поставленные на попа, как сигаретные пачки, как блоки недостижимых уже сигарет, — города, где, как отдельные сигареты, торчат водонапорные башни, — селения, состоящие также из средних и маленьких зданий, — все эти стоянки человека, в конечном итоге, слагаются из жилищ, которые так или иначе, неотъемлемо, содержат ростки, побеги, семена отцветающих и вновь прорастающих райских дворцов, — и вот обитаемые острова сливаются в единый сад обитания, в кровный сад земной радости и отрады, это так несомненно сейчас для твоих глаз, затопленных яростной благодарностью зверя, — и, уже сверх отпущенного тебе времени, вдруг включается пронзительный, призовой механизм отсрочки, — ты слышишь всем веществом своего сгоревшего сердца, что тебе дозволено даром сделать еще один, прощальный, круг — совсем близко к земле — как? — так: лишенной права приземления птиц (в ней горят уже солнца других измерений), — душа, все еще утяжеленная камнем памяти, жадно снижаясь, делает медленные горизонтальные круги. Пролетая у самых фронтонов зданий, ты видишь искаженные земными страстями лица каменных статуй: рты, разорванные криком любви и отчаянья, — перекошенные спазмом тысячелетнего гнева, — испепеленные несокрушимой волей противоборства, — всегда несытые рты рабовладельцев и рабов, — неукротимые рты любовников и полководцев, — сдержанные рты каннибалов и вдов, — подъятые к небу пустые глазницы человеческих существ, безъязыко мычащих в каменных своих капканах, в одиночных казематах времени, страха, забвения, — что же мне сделать для всех вас? и что я могу, не зная даже земного кода? — о, смотри зорче! включи же на полный удар всю оптику своей уходящей души, — что видишь ты? — душа взмывает все выше, — что видишь ты? — выше! — отсрочек больше не будет, — так что же ты видишь в последний миг своего безвозвратного зренья?

Я вижу счастье. Мы были счастливы, слышишь, мы были оглушительно счастливы! Как странно, как сладко, как больно — и некому рассказать об этом, — что все это мне показали лишь после, только потом, напоследок.

(Фильм второй в следующем номере.)

АРИАДНА ЭФРОН



...В НЕБЕ — СОХАТЫЙ БЬЕТ КОПЫТОМ...



Солдатским письмом треугольным
В небе стая.
Это гуси на сторону вольную
Улетают.

Шелком воздух рвется под крыльями.
Спасибо, что хоть погостили вы.
Летите, летите, милые!

На письме — сургучевой печатью
Солнце красное.
Унесете его на счастье вы —
Дело ясное.

Нам останется ночь полярная,
Изба черная, жизнь угарная,
Как клеймо на плече позорная,
Поселенская, поднадзорная.

На такую жизнь не позарюсь я,
Лучше трижды оземь ударюсь я,
Птицей серую обернусь,
Полечу — назад не вернуся —
Погодите, я с вами, гуси.

1949 г.

Публикация *Р. Б. ВАЛЬБЕ*.

Ариадна Эфрон никогда не публиковала своих стихов. Об их существовании не знали даже самые близкие ей люди. Шестнадцать стихотворений, предлагаемых нами вниманию читателей, хранятся в фонде М. И. Цветаевой в РГАЛИ (ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 306). Из них десять стихотворений датировано 1949 — 1952 годами. Это был один из самых трагических периодов трагической жизни дочери Марины Цветаевой. Отбыв лагерный срок (1939 — 1947 годы), Ариадна Эфрон в феврале 1949 года была повторно арестована и по этапу отправлена на пожизненное поселение в приполярное село Туруханск Красноярского края. Для точной датировки шести не датированных автором стихотворений публикатор не располагает достаточными основаниями.

В публикации воспроизведены орфография и пунктуация автографа.

* *
*

Енисей сливается с Тунгуской,
Старший брат встречается с сестрою.
Та течет полоской синей, узкой,
Тот — широкой полосой седою.

По груди широкой, богатырской
Стороны чужой, земли сибирской
Пролегают лентой орденскою.

Две реки идут одной рекою,
Две реки идут одной судьбою,
Так, как нам не велено с тобою.

И железные проходят зимы,
И чудесные проходят весны
Над моею жизнью нелюбимой,
Над чужой землей орденоносной.
Над чужбиною.

1950 г.

* *
*

В тайге прохладной
Ребячей радостью
Ребячей сладостью
Встречают ягоды.

Черничные заросли,
Брусничные россыпи.
Мол живите до старости,
Мол ешьте досыта!
Мол кушайте, други!
Мол счастливы будьте!
Мол только пригубьте!
Мол не обессудьте!

Не хочу вас, заросли!
Не желаю, россыпи!
Не хочу — до старости!
Не желаю — досыта!

Мне б яблочка российского разок куснуть,
В том доме, где я выросла, разок уснуть!

1950 г.

* *
*

— «Ночь — а звезды — рукой подать!
— Схватить, удержать в руке,
Ту, самую яркую, крепко сжать,
Как гривенник, в кулаке,

И в чум прилететь,
И всем показать —
Глядите, отец и мать!
Я сам ее взял — поглядите, горит в руке!
Довольно светить ей на небе —
 пусть светит у нас в потолке!
И мама задует светильник
 из мха и жира тюленя
И сына, лаская, посадит
 к себе на колени...»
...О детстве своем говорил, покуривая и хохоча,
Раскосый электромонтер из колхоза «Путем Ильича».

1950 г.

Весна

Не певунья и не красавица —
По медвежьи трудится, старается,
Напрягается тучами,
Кручами,
Всеми реками сонно-могучими,
Каждым корнем и каждой жилою,
Всей своей материнской силою,
Сердцевиной таежного дерева,
Всей упругостью мускула зверева,

Чтоб из треснувшей оболочки
Ледовитого, мертвого сна,
Появилась дрожащим комочком,
Необсохшим цыпленком — весна.

1951 г.

* *
*

Непростой мужик стоит у чума,
Старый, косолапый, косоглазый,
Не по-здешнему мужик угрюмый,
Раз взглянув — его узнала сразу.
Я об этом мужике читала в детстве,
А теперь живу с ним по соседству.
Он, как все, одет в оленье шкуры,
Только шерсть на том олене — волчья.
Он, как все, обут в унты оленье,
Да по-волчьему ступает, сволочь!
В веках прячет он глаза, как в ножнах,
Изредка блеснут неосторожно.
Непростой мужик стоит у чума,
Непростого ищет в небе чудном.
Непроста его ночная дума.
Непроста луна над ним — шаманским бубном.

1951 г.

* *
*

Первой страницей зимы
открывается день
Белой страницей.
Синькою в детских следах залегает глубокая тень,
Синяя лыжня по белому снегу стремится.
Птицы у нас не зимуют. Молчит за поселком тайга,
Стадом оленей оставила в небо рога.
День без событий, без почты, почти без забот.
— Хоть бы скорей красноярский пришел самолет!

1951 г.

Ночная молитва

Из дому выйдешь — тьма по глазам
Будто ножом.
Сразу ослепнешь — как из дому выйдешь.

Из дому выйдешь — вся тишина
В уши тебе —
Сразу оглохнешь, как из дому выйдешь.
Нету тебя.

Нет ни тебя, ни огня, ни земли, ни воды,
Из дому выйдешь.
Нету ни неба, ни звука, ни вдоха в груди —
Из дому выйдешь.

О, поскорей разберись в темноте,
Господи Боже!
Вновь, засучив рукава, твердь от земли оторви,
Господи Боже —
И первозданным кремнем первый высеки свет.

Глину покруче меси,
Крепче нащупай ребро,
Господи Боже!

В глиняный лоб мне вставь золотые глаза,
Чуткие уши из розовых раковин сделай.
Только души мне не надо. Возьми мою душу себе.
Будет твоя. Сам поживи с ней, попробуй!

1951 г.

* *
*

На избах — шапки набекрень
И пахнет снегом талым.
Вчера пуржило целый день,
Сегодня перестало.

Одну и ту же множит трель
Силенки пробуя капель.

А снег лежит на берегу
От детских лыж в полоску,
Как будто снятой на бегу
Тельняшкою матросской.

На солнце вспыхнула сосна
И замерла, сияя.
Вот и до нас дошла весна
В последних числах мая.

1952 г.

Праздник

Над хатой — дым столбом,
А в хате — коромыслом,
И речи за столом
Без никакого смысла.
Гуляют други милые
Со всей сибирской силою,
Глодают брагу сладкую
Со всей сибирской хваткою.
Октябрь ли, Май ли, Рождество,
У нас в деревне торжество —
Венчаем иль хороним —
Стакана не уроним!
Сосед мой дорогой,
Глотни еще глоточек,
Пирог непокупной —
Кусни еще кусочек!
Сама тесто жарила — сама пекла
Все что понаставила, съедим дотла,
Сама брагу ставила, сама пила,
Хотя баба старая, а весела.
— Хочешь сватай,
Хочешь лапай,
Хочешь — в голове царапай!
Пейте, работнички,
Рыбаки, охотнички,
Столяры да плотнички,
Пейте до ночки!
Пейте, соседушки,
Бабушки, дедушки,
Малые детушки,
Пейте до светушка!
Больше делать нечего
В эдаком селе,
Как с утра до вечера
Быть навеселе!
А выйдешь из хаты
Пьяный и сытый.
В небе — Сохатый
Бьет копытом.

8 ноября 1952 г.

* *
*

Ах, и белы моей земли
снега, моей зимы
снега...

Белы, как сахар, как мука,
что пароходы нам везут
весной, как только сбросит лед,
плечами поведя, река,
как сбросит лыжи самолет.
Белы, как сахар, что грызут
ребята наши круглый год,
ах, и белы моей земли
снега, моей зимы
снега...

Белы, как той тетради лист,
где пишет буквы младший внук.
Он ростом мал и не речист,
зато он знает много букв.
Белы, как той тетради лист,
как те тетрадные листы,
где пишет знаки старший внук.
Похожи знаки на следы
седых песцов и легких птиц —
и каждый знак, сказал мне внук,
не след, а нота, то есть звук.
Ах, и белы моей земли
снега, моей зимы
снега...

Под ними спит моя тайга,
в своей берлоге спит медведь,
метет метель, метет пурга,
и солнцу лень на нас глядеть...
Я стар и сед,
но старый ум
живуч, что рыба подо льдом.
Своих отцов я помню чум,
своих сынов я вижу дом,
в сыновнем доме вижу свет,
в отцовском чуме помню тьму,
и тяжек вес прошедших лет
доньне сердцу моему...

Я помню, как певала мать
и ветром вторил ей Таймыр
о том, как безысходна гладь,
о том, как безнадежна ширь
снегов, снегов зимы моей,
снегов, снегов земли моей —
снега, снега, везде снега,
ей ветром вторила тайга.

Из рыбьей косточки иглой
оленьи шкуры шила мать,
под ветра свист, под бури вой
оленьей жилой шила мать

из рыбьей косточки иглой.
 Кормилец наш, седой олень,
 нас в шкуру одевал свою —
 про это тоже пела мать,
 про это я сейчас пою,
 и внуки не ложатся спать
 и песню слушают мою.

«Кормилец наш, олень седой,
 твой легок шаг, твой чуток нюх,
 ты нарты наши мчишь стрелой
 и под копытом снег, что пух.
 Кормилец наш, седой олень,
 твой зорок глаз, ветвист твой рог,
 копыта светлые твои
 не знают езженных дорог...
 Ты нарты мчишь в тот край земли,
 где долог для охоты день,
 где зверь пушной в лесу кишит,
 а в реках — нельма и таймень.
 Туда, туда твой путь лежит,
 где круглый год охотник сыт,
 еда обильна и жирна,
 и сыты дети и жена...
 Где шкурки белки и песца
 и лисий искрящийся мех
 и соболя, что краше всех,
 положим мы к ногам купца,
 и не обманет нас купец».

Так пел охотник, мой отец,
 так пел отец, молчала мать,
 седой качая головой,
 а дети не ложились спать,
 и песню слушали его...

Где ж ты, обетованный край,
 охотника мечтанный рай,
 где сыт охотник, сыт олень,
 где бестревожен каждый день,
 где справедлив и щедр купец,
 где благородный труд ловца
 бесхитростно вознагражден?

Всю жизнь искал тот край отец,
 всю жизнь искал и пел о нем,
 пока настигла смерть отца.
 Ах, и белы моей земли
 снега, моей зимы
 снега!
 Для смерти жизнь недорого,
 и жалость незнакома ей.
 У смерти твердая рука,
 и что ей слезы матерей,
 шаманов пляс и крик детей?
 Смерть бьет всегда наверняка,
 она без промаха разит,

рукой незримого стрелка
стрелок поверженный лежит...

Я стар,
но память мне верна,
верна, как старая жена,
светла, как полымя костра,
как нож охотника, остра.
И в зимний хлад
и в летний зной
я ту весну ношу с собой,
в себе, души пресветлый клад.
Я ту весну ношу с собой
и в горя час,
и в счастья день.
Она в душе моей сейчас,
она ведет меня вперед
за часом час, за годом год,
от рук моих отводит лень,
и жизни пробивает путь
и старости отводит тень.

Где вы, земли моей снега?
где вы, зимы моей снега?
Лучами вымыты снега,
лучами выжаты снега,
в озера вылиты снега.

Необратима и горда
восставших рек кипит вода,
восстав от ледяного сна,
вся к солнцу тянется тайга —
конец снегам, пришла весна,
корнями выпиты снега.

* *
*

И вот, в саду старинном
Как в самом раннем детстве,
С лукошком за малиной
Пошла я по соседству.

Сияли в отдаленьи
Платки и платья женщин,
Таз медный для варенья,
И солнце — чуть поменьше.

Все было неизменно
Иль началось сначала,
И времени, как сцены,
Я чувство потеряла.

* *
*

Ветер вечерний дышит,
Каждый вздох — глубок.
Дремлет в нагретой нише
Грифельный голубок.

Рядом с живым — нарисованный
Дремлет дух святой,
Временем исполосованный,
Белый и золотой.

И прижимается к небу
Сонного купола грудь...
Думается: и мне бы
Также вот — уснуть!

* *
*

Мой первый шаг! Мой первый путь
Не зреньем узнаю, а сердцем.
Ты ждал меня! о, дай вздохнуть,
Приотвори мне детства дверцу!

И ты открылся, как ларец!
Нá! ничего наполовину!
Твой каждый мостовой торец
Вновь устлан пухом тополиным...

Первоисточник всех чудес
(Зачем они вошли в привычку!)
Как звезды доставал с небес
Снежинками на рукавичку
Ты помнишь? Все, чем был богат
Ты отдал, щедр и неоплачен,
Мой первый дом, мой первый сад,
И солнце первое в придачу.

Так, откровеньями маня,
Путем младенческих прогулок
Ты ввел когда-то в жизнь меня,
Борисоглебский переулок!

* *
*

Я искала тебя всю ночь,
И сегодня ищу опять,
Но опять ты уходишь прочь,
Не дозваться и не догнать.

Не остыли твои следы,
Звук шагов твоих слышу я,
Но идешь, не задев земли,
Но идешь, не смутив воды,
Ненастигнутая моя.

Веретёнами фонарей
Отражается ночь в реке,
Не сожму я твоей руки
В опустевшей своей руке.

Край одежды твоей ловлю,
Между пальцев — клочок зари.
Знаешь ты, как тебя люблю,
Хоть со мною — заговори!

Иль земная чужда печаль?
Но в какой же тогда тоске
Возвращаешься по ночам
К растоптавшей тебя Москве?

* *
*

Вправду? иль, может быть, снится,
Черная эта река?
Окон пустые глазницы,
Фонарей золотые ресницы,
Лунных домов бока?

Площадью темной, сонной,
Караул печатает шаг,
Плещется опаленный
В небе забытый флаг.

Если ты сон, то вещей.
Так я приду домой.
Смолоду мне обещан
Матерью мне завещан
Город — мой!

Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 — 1975) — дочь Марины Цветаевой, — именно это запомнила широкая публика. Мы благодарны Ариадне Сергеевне за то, с каким тщанием, с какой преданной любовью много лет (со времени возвращения из ссылки в 1955 году и до самой своей кончины) она занималась творческим наследием матери.

Однако несправедливо помнить о ней только как о замечательной, даже образцовой дочери. Ариадна Эфрон — наследница Марины Цветаевой, но этим далеко не исчерпывается ее роль в словесности, шире — в культуре нашего времени. Прежде всего она удивительная переводчица — главным образом французской поэзии XIX и XX веков. Ее Бодлер, Верлен, Теофиль Готье феноменальны. Мать перевела поэму Бодлера «Плавание», дочь — несколько знаменитых стихотворений из «Цветов зла», и ее переводы не уступают переводческому шедевр Цветаевой. Можно ли забыть ее стиховые формы? Ее Бодлер врезаются в память навсегда.

Горит сквозь тьму времен ненужною звездой
Бесплодной женщины величье ледяное.

(«В струении одежд...»)

Ты, Ненависть, живешь по пьяному закону:
Сколь в глотку ни вливай, а жажды не унять...
Как в сказке, где герой стоголовому дракону

Все головы срубил, глядишь — растут опять!
Но свалится под стол и захрапит пьянчуга,
Тебе же не уснуть, тебе не спиться с круга.

(«Бочка ненависти»)

Бодлер Ариадны Эфрон — многосторонний, многостильный при всей своей строгжайшей классичности поэт, способный соединить в идеальном по структуре сонете «бочку Данаид», «бездну бездн», «стоголового дракона» с «пьянчугой» и с таким оборотом, как «спиться с круга». Это, разумеется, богатство Бодлера; но оно по-русски впервые обнаружилось под пером Ариадны Эфрон.

А как талантлив в ее исполнении французский поэт-драматург XVII века Поль Скаррон! Почему театры не ставят «Жодле-дуэлянта» в искрометном переводе Эфрон? Переведенный ею Арагон риторичен, но и глубок, великолепен, убедителен — иногда он по-русски оказывается сильнее, чем в оригинале.

Когда читаешь туруханские стихотворения самой Ариадны Эфрон, трудно поверить, что эти народные русские песни, заклинания, присказки, каторжные напевы написаны той же рукою, которая вслед за Полем Верленом набросала портрет Пьерро:

Отверстия глазниц полны зеленой мути,
И белою мукой запудрено до жути
Бескровное лицо — и заостренный нос.

(«Пьерро»)

Ее Пьерро объединил в себе итальянское происхождение, французскую традицию и русский стих. И ведь та же самая рука запечатлела Сибирь — край многолетней муки этой без вины виноватой каторжанки:

На избах шапки набекрень,
И пахнет снегом талым.
Вчера пуржило целый день,
Сегодня перестало.

Родина, куда стремилась ее душа, оказалась злобной мачехой, обречшей возвращающуюся «блудную дочь» на тюрьму и полярную ссылку, на «вечное поселение». Страна убила ее отца, довела до петли ее мать, погубила всех, кого она любила и кто любил ее. Она могла бы вслед за Бодлером написать «Бочку ненависти», а писала она о красоте сибирской природы, о неотразимости народной песни и русской речи, о бессмертии неба и земли:

На солнце вспыхнула сосна
И замерла, сияя.
Вот и до нас дошла весна
В последних числах мая.

Е. Эткинд.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

БОРИС ЕКИМОВ

*

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Русский язык богатеет. Все на пользу ему, даже перемены в сельском хозяйстве. Когда-то Россию кормил просто мужик ли, крестьянин — позднее поделенный на «бедняка», «средняка», «кулака», «зажиточного». После революции появились «коммуны», ТОЗы, потом «колхозы», «совхозы», им помогали МТСы да РТСы. Стало привычным: «колхозные поля», «колхозный скот», «из семьи колхозника». После новых, относительно недавних перемен родились на свет мало кому понятные аббревиатуры СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив), АОЗТ, СППК, да еще «западом» попахивающий «фермер».

Нынче у нас объявились МУСПы (Муниципальное унитарное сельхозпредприятие): «Голубинское» (когда-то совхоз), «Калачевское», «Дон» и т. д. Коллективных хозяйств стало вдвое больше. МУСП «Дон» и СПК «Дон», МУСП «Варваровское» и СПК «Варваровский», МУСП «Нива» и колхоз «Нива»... На тех же землях, в тех же хуторах и селеньях. Зачем, почему?

Налицо новый шаг на пути преобразований. Не какой-нибудь, а в великую сажень. Без преувеличений — революционный.

Вспомним, как создавались колхозы: «Заявление. Прошу принять... Быков — 2 пары, лошади... плуг... борона... косилка...» Личное, свое, становилось общим, колхозным. Все это — с болью и с кровью. Кнутом, а то и штыком загоняли. Одним словом, *коллективизация*.

И вот теперь, полвека спустя, новые кипы заявлений: «Главе районной администрации... Прошу Вас принять мой имущественный пай в размере ... в муниципальную собственность безвозмездно», «...в размере 9866 рублей», «...в размере 15 605 рублей». Есть бумажки, писанные от руки, есть «под машинку». Но подписи — личные, потому как документ «юридический»: Жалнин, Уланов, Сегада, Силичев, Кравякин, Катайкин, Попадейкин... — корявые подписи, но разборчивые.

Объясню для несведущих: «имущественный пай» колхозника — это личная часть из общего колхозного нажитка, состоящего из коров, свиней, тракторов, комбайнов, помещений молочно-товарной фермы, механизированного тока, гаража, амбаров полных и пустых. Засеянных осенью и теперь зеленеющих полей озимки и прочего, прочего, чем жили, чем ныне работают, чем кормятся. Повторю: часть, лично принадлежащая члену коллектива. За долгие годы нажитое. А теперь отдают безвозмездно в «муниципальную собственность», а попросту — государству. Все вместе и разом.

«В связи с выходом членов кооператива из СПК „Варваровское” прошу Вас принять в муниципальную собственность имущественные паи бывших членов СПК на сумму ... и неделимый фонд на сумму ...».

Далее следует перечень имущества, с которым добровольно расстаются бывшие колхозники, и совхозники, и члены АО, СПК, СППК: «тракторы... комбайны... плуги... автомобили... коровы...». В числе прочего: «Бык-производитель. Балансовая стоимость 2291 рубль». «Памятник Ленину. Балансовая и остаточная стоимости последнего одинаковы: 90 292 рубля. Уценке не подлежит».

Передали государству, пусть владеет.

«Решение Комитета по управлению государственным имуществом Калачевского района:

1. Создать на базе бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива „Варваровский” муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие „Варваровское”.

2. Назначить директором МУСП „Варваровское” ... (фамилия, имя, отчество)».

Далее.

«Комитет по управлению государственным имуществом и МУСП „Варваровское” заключили договор:

1. Комитет по управлению государственным имуществом закрепляет за предприятием движимое и недвижимое имущество на праве хозяйственного владения».

И на этом пока поставлена точка. Все движимое и недвижимое имущество, отданное государству *«безвозмездно»*, государство тут же возвратило бывшему собственнику в *«хозяйственное владение»*.

Что это? Досужие забавы? Из рук в руки... Туда, а потом сюда. А свиарник на том же месте остался, вместе со всем хрюкающим поголовьем. На том же месте гараж с автомобилями, коровник и, конечно, озимая пшеница, что понемногу растет.

Что изменилось? Во-первых, руководитель бывшего колхоза, позднее СПК, а ныне МУСП, не избран, а назначен государством. И государство, в лице районной администрации, может его уволить. Во-вторых, бывшие колхозники, позднее «акционеры» и «кооперативщики», теперь владеют лишь землей, а все, что на земле растет, мычит, блеет, хрюкает, — это государственное. Все «движимое и недвижимое»: орудия труда, производственные помещения — все государственное. А бывший владелец остался лишь работником, правда, с земельным паем.

Согласитесь, что расстаться с собственностью, тебе принадлежащей, — шаг непростой. И так вот, запросто, отдать нажитое чужому дяде, то бишь государству... Тем более что живут на селе весьма не богато. И все-таки отдали. Почему?

Во-первых, так называемый имущественный пай колхозника — факт, конечно, неоспоримый, но не очень осязаемый. Корова ли, бычок, коза, даже курица, ржавый гвоздь на своем подворье — это уж точно «мое». И попробуй этот ржавый гвоздь, тем более курицу забрать. Такой поднимется вопль! На весь белый свет. С ружьем ли, с вилами встанет хозяин на защиту.

А «имущественный пай» — нечто воздушное, теоретическое, вроде чубайсовского «ваучера». Как бы оно и есть: коровы в колхозном стаде, тракторы, гараж, амбары — но... не ухватишь. И даже не больно поймешь: что тебе принадлежит? И в руки взять его трудно, почти невозможно, даже с помощью суда и прокуратуры. Потому и расставались относительно просто.

Тем более что было обещано большее: сохранение колхоза, а значит, привычной жизни.

«Быть бы живу!» — главная задача селянина.

Чтобы читатель имел представление о нынешней жизни на селе, дадим несколько картинок. Время: осень 1998 года, зима, весна 1999 года. Калачевский район. Хутор Овражный. Говорит управляющая отделением А. Н. Конева: «Поголовье скота вполнину сократили, осталось 500 голов, из них до конца зимы не все дотянут. Кормежка в этом году — просто слезы. Соломы нынешнего года нет, сено уже съели, есть в поле прошлогодняя солома, но она уже попрела. Силос имеется, но его мало, приходится экономить. Кормим коров просом, как кур...»

Среди бела дня, во время ее монолога, на глазах растаскивают последние корма. Вон он, поехал трактор, груженный силосом, и скрылся на хуторской улице.

Сообщает районная газета под заголовком: «Январь — пора сенокоса»:

«В связи с благоприятными погодными условиями и острой нехваткой грубых кормов для крупного рогатого скота в колхозе „Нива” приступили к заготовке сена. Заниматься сенокосом в конце января — дело непривычное,

но не от хорошей жизни колхозники вынуждены были на это пойти. На базе МТФ хутора Камыши осталось тонн 40 соломы и 15 тонн сена. А до конца зимовки 600 буренкам требуется 400 тонн грубых кормов. Ну, подвезти еще можно тонн 100 соломы с полей, а дальше что? Погибать голодной смертью?

Благо зима выдалась бесснежной, с легким морозцем, а в пойме Дона по пояс стоит высохший на корню чакан с луговыми травами. Вот оно, сено, готовое, только бери и коси. Попробовали пустить туда комбайн с одним из лучших колхозных механизаторов Петром Денисовым за штурвалом. За первый день он накосил пять тележек. Дали „зимнего сена” коровам на пробу — едят. С голодухи что только не съешь.

Последний раз зимним сенокосом у нас в районе занимались лет 15 назад, когда тоже были большие трудности с кормами. И вот снова сложилась подобная ситуация. Возможно, благодаря „зимнему сену” колхозному животноводству удастся выйти из зимовки без потерь. Остается только призвать всех тружеников сельхозпредприятий поддержать почин колхоза „Нива”.

А вот зимние новости из другого района: «По данным диспетчерской службы сельхозуправления, в начале ноября надой молока на фуражную корову составил в СПК „Фурмановское” 2 стакана, в СПК „Калининское” — 3 стакана».

Да что отдельные хозяйства. Целые районы прошлой зимой надаивали в среднем на корову за день по 3 стакана молока: Чернышковский, Котовский. Многотысячные стада... Некормленные! Вот в чем причина. И новая система мер удоя: *один стакан*.

СПК «Советский», я и прежде называл это хозяйство в числе лучших — таким оно и осталось. Руководит им энергичный неглупый человек, с большим опытом. Но тогда я предположил, что в нынешней обстановке даже лучшие хозяйства повторят судьбу худших, дело лишь во времени. Это горькое время, увы, оказалось не за горами. Апрель месяц, с полей везут черную позапрошлогдную озимую солому. Коровам деваться некуда, жуют и ее.

Еще одно хозяйство. За время зимовки колхозное поголовье скота сократилось на треть. Оставшихся 1100 коров из-за полного отсутствия кормов начали выгонять на пастбище, хотя весна выдалась холодная и травы, считай, нет. Но деваться некуда. Исхудавшие, полуживые коровы падают, не могут идти.

В тридцати километрах — другое хозяйство. Но картина — та же. Страшно глядеть на скотину.

Беды колхозного животноводства естественны. Края наши — засушливые. Вечнозеленых альпийских лугов нет и не предвидится. Вся кормовая база в руках полеводов и механизаторов, которые пашут, сеют, косят и везут корма к животноводческим фермам.

Но как нынче пашут и сеют?

«Очень тяжелое положение в наших ведущих хозяйствах. Опасность в том, что практически еще не пахали зябь в этом году, — говорит начальник сельхозуправления района. — Это небывалое. Даже в очень сложной ситуации прошлого года вспахали 92 тысячи га и считали это трагедией. А в этом году — 10 тысяч га» (газета «Рассвет»).

«В 1998 году 45% от общей площади пашни не используется (по колхозам). 63% пашни личных крестьянских хозяйств не используется. Под парами лишь 5% пашни» (газета «Коммуна»).

«Некогда преуспевавший в земледелии Калачевский район из 105,7 тысячи гектаров по состоянию на 10 октября сумел одолеть лишь 7,2 тысячи гектаров. А Быковский из 134,2 тысячи менее 10 тысяч» (газета «Волгоградская правда»).

«О чем мы будем говорить в будущем году, если только 30% зяби вспахано?» (из выступления председателя аграрного комитета Волгоградской областной думы).

«О чем говорить» в газетах ли, в «думах», мне кажется, невеликая проблема. А вот что уродит невспаханная, незасеянная земля и чем тогда жить крестьянину, области, всей стране?

О всей стране думают «наверху», в правительстве.

Очередной министр сельского хозяйства В. Семенов в марте 1999 года, забыв о своих прежних решительных намерениях «банкротить» нерадивцев, сообщил через газету «Комсомольская правда», что главная задача — наведение порядка на зерновом рынке, биржевая торговля. Если верить словам газеты и министра, то собственные успехи В. Семенова очевидны. Семь с половиной лет директорствуя в агрофирме «Белая дача», он сумел свой личный пакет акций увеличить с 0,25 процента до 20,5 процента. Этому я поверил.

Многим и многим нашим руководителям хватает ума и энергии лишь для того, чтобы себя обеспечить. Но это — не мое открытие.

Кроме лозунгов да общих слов, кроме «посещения регионов», всевозможных «облетов» для выявления «истинного положения дел на местах», кроме селекторных совещаний, от власти московской проку было мало. Ни тактики, ни тем более стратегии.

В краях и областях принялись вершить сельскую перестройку всяк по-своему.

В нашей области была создана Агропромышленная финансовая корпорация. Задумывалась она с благой целью — помочь селу: закупать у коллективных хозяйств и фермеров зерно, мясо, молоко, овощи и снабжать их горюче-смазочными материалами, техникой, удобрениями. Первоначальные оборотные средства должна была предоставить областная администрация и некоторые частные компании. Контрольный пакет акций у государства. Значит, контроль есть. Тогдашний губернатор и его помощники рисовали картины радужные: никаких «накруток», никаких «пенкоснимателей», честный бизнес для блага селян.

Агрокорпорация начала работать. Настораживало, что уже с первых шагов было много шику: белоснежный «линкольн» руководителя, покупка квартир, аренда огромного здания. А еще... эти самые «частные компании», которые вошли в корпорацию, «чтобы помочь селу».

Настораживал и печальный опыт лет прошлых, его нельзя было не заметить. Новая Агропромышленная финансовая корпорация разместилась в шикарном здании из стекла и бетона, а напротив высились вовсе уолл-стритовского пошиба колосс, только что возведенный конечно же иностранными строительными фирмами, — Агробанк. К этому сроку уже прогоревший. Но в свое время тоже основанный «сельхозпроизводителями» для целей тех же, благих: помочь селу.

Волгоградская агропромышленная финансовая корпорация продержалась более пяти лет, хотя нелады начались почти сразу. Селяне жаловались на «грабителей» из корпорации, которые поставляют горючее по цене завышенной, а за зерно платят мало и несвоевременно. Агрокорпорация предъявляла свои счета, главный из них — традиционный: селяне не расплачиваются по долгам.

К примеру, район Калачевский. В 1995 году корпорация кредитовала район на 10 миллиардов рублей, из которых ей вернули — 4. В 1996 году кредитовала на 21 миллиард рублей, вернули — лишь половину. Так «возвращали» долги все районы области.

В 1998 году из 520 коллективных хозяйств области, работавших с корпорацией, в должниках у нее были 500. В результате к 1999 году Агропромышленная корпорация оказалась банкротом, с огромными долгами перед своими кредиторами, причем весьма серьезными, такими, как «Лукойл». Видимо, как всегда, расплачиваться будет «общий карман» — бюджет, ведь контрольный пакет акций агрокорпорации — у государства, возврат кредитов гарантировала областная администрация. Значит, областной бюджет будет платить, да еще многие честные селяне, что отдали корпорации свою продукцию, денег за которую не дождутся.

Итак, очередная идея по спасению сельского хозяйства в нашей области рухнула. Но жизнь продолжается. А по части идей у нас, кажется, никогда недостатка не было...

Сугубый, казалось бы, практик, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию администрации области, предлагает, например, осуществить следующие экстренные меры:

разработать областную систему балансов производства и потребления продуктов питания;

довести государственные заказы, квоты на поставку продовольствия и сельскохозяйственного сырья до конкретных товаропроизводителей;

объявить государственную монополию внешней торговли на некоторые виды продовольствия (зерно, растительное масло и др.);

установить систему таможенных платежей, налогов, квот и других форм регулирования таким образом, чтобы исключить возможность продажи импортной продукции по ценам, подрывающим конкурентную способность наших товаропроизводителей.

Госзаказ, монополия и заслон на границе, чтобы не прорвались в наши пределы чужое мясо да молоко, подрывающие конкурентоспособность наших товаров.

Некоторые коллективные хозяйства нашей области уже довели себестоимость 1 кг мяса до 100 рублей. На калачевском, на волгоградском рынках цена сегодня в 3 раза меньше. Значит, и рынок надо разогнать. Иначе только сумасшедший будет покупать сторублевое колхозное мясо.

Еще одна идея. Тоже — мудрая. Автор — генеральный директор компании, имеющей прямое отношение к сельскому хозяйству. Он предлагает основать комиссию, в задачи которой входит:

1. Создание теории деструктивных трансформаций производительных сил и производственных отношений.

2. Оценка объемов потерь...

3. Отработка подходов...

5. Создание областной программы...

4. Организация персонализированного учета налогоплательщиков с созданием областного реестра населения.

Я позволил себе переставить пункты программы, чтобы выделить главный, основной, смысл которого точь-в-точь сказка про мужика и двух генералов, кои, попав в положение катастрофическое, правильно поняли: чтобы спастись, надо разыскать мужика; он обязательно где-то прячется и от работы отлынивает. Генералы мужика нашли и тем спаслись, даже телом поправились.

Так и у нас: во всем виноват «мужик, который отлынивает».

Вышеупомянутый гендиректор предлагает провести «производство на базе налоговой службы областного реестра населения».

В переводе на русский это означает: налоговая служба должна пересчитать кур нашей соседки (их примерно десятков) и обложить налогом, потому что соседка иногда продает яйца. Ее пенсия — 300 рублей. 4 тонны угля, необходимого для зимы, стоят 3 тысячи рублей. Поэтому она с ранней весны до поздней осени, не разгибаясь, ползает по огороду и порой продает десяток пучков редиски, лука, укропа, потом — огурцы, помидоры, чеснок... Какие-то копейки собираются. Конечно же надо ее «обложить».

«Надо обложить» и моих колхозных знакомцев, которые денежной зарплатой не видят уже пять лет, но живут, держа на подворье не только кур, но и коров, свиней, птицу.

Результаты попытки «учесть и обложить» для меня очевидны. Старуха пенсионерка поплачет и порубит головы своим курочкам, которые довели ее до новой беды. Колхозные знакомцы мои мудрее и навидались всякого, а уж «учетчиков» да «считальщиков» в былые годы хватало. С прежними совладали, управятся и с нынешними. «Реестра» на селе не получится. Кормильцы и поильцы — коровы Манька да Ночка, безымянные хавроньи да хряки Васьки со всем своим потомством — государственному учету не подлежат. Это, как ныне говорят, «коммерческая тайна». На всякий случай: мало ли что взбредет в голову какому-нибудь генеральному директору ООО «Волгоградмясопродукт».

А вдруг поверит ему губернатор? А поверив, начнет не с «создания теории деструктивных трансформаций» да с «оценки объемов потерь», а прямоком с пункта 4-го: «учесть и обложить». Генералы, они — мудры, твердо знают, что во всем виноват «мужичина», который ленится. Нужно лишь заставить его работать.

А «мужичина», он не ленится, а просто-напросто пытается спастись, прожить не только сегодняшний день, но и завтрашний у него на уме. Досыта накормленный реформами и преобразованиями последних десяти лет, от которых, кроме разорения, он ничего не увидел, крестьянин ко всяким очередным новациям относится с подозрительностью, боясь потерять последнюю соломинку, за которую еще держится.

Убеждать нынче колхозников, подвигая их на новые преобразования, довольно сложно — бояться потерять последнее. Наученные горьким опытом, всюду видят они обман, да ведь и правы, в конце концов.

Вот на собрании в колхозе «Тингутинский» выбирают нового председателя из четырех претендентов. Выбрали. По мнению районного руководства, не лучшего. Наиболее убедительный в своей программе был другой человек, но он, по тому же мнению, «слишком часто употреблял такие слова, как «маркетинг» и «бизнес». Потому и не выбрали, поостереглись.

Но в Алексеевском районе тамошний глава районной администрации нашел нужные слова — реорганизовались все, как один. Правда, не «по-нижегородски». По-своему, «по-алексеевски». Эта новая модель, поддержанная губернатором, а потом даже в Москве тогдашним вице-премьером Куликом, нашла последователей. Колхозные собрания проходили везде гладко, дружно голосовали «за». Хотя приходилось отдавать не просто «голос», но личный имущественный колхозный пай — отдавать безвозмездно районной администрации.

Какие же столь веские доводы были у районных начальников? Они не столь веские, сколь вечные.

Глава Алексеевской районной администрации О. В. Керсанов, победивший на последних выборах, заметно отличен от прочих районных «глав» области. Во-первых, молодостью и бородой. А во-вторых, тем, что прежде он не «секретарил» и не «председательствовал», как большинство народных избранников, не вознеся на «волне демократии», а успешно занимался в своем районе бизнесом, имея собственную торговую фирму.

Зачем успешливому предпринимателю нужна была должность главы самого отстающего в области района (по всем производственным и экономическим показателям район стоял на 33-м, последнем месте)? Ответ на этот вопрос весьма сложен, не о нем сейчас речь.

Но, став главой района, Керсанов через короткое время оказался зачинателем деприватизации колхозной собственности, а точнее — перехода этой собственности в руки государства в лице районной администрации.

Цитирую районную газету:

«О. В. Керсанов энергично осваивает все „закоулочки“ современного законодательства».

А «закоулочки» искать приходится по причине простой: коллективные хозяйства «по уши» погрязли в долгах. Должны всем: «Агрокорпорации» — за товарные кредиты (горючее, запчасти, удобрения), Агроснабу, энергетикам — за электричество, газовикам, в бюджет и во все внебюджетные фонды.

Все эти кредиторы уже не сидят сложа руки, а приступают к взысканию долгов, используя существующее законодательство и механизм исков через арбитраж, через суды. Аресты и торги с аукциона — теперь не новость. В селе Верхняя Добринка Жирновского района за полученный от частной фирмы кредит пришлось отдать все молочное стадо колхоза. Новые хозяева отвезли стадо на мясокомбинат. В Котельниках, совхоз «Путь Ильича», — та же история. Колхоз «Ольховский» Ольховского района полностью был продан с молотка, причем все ушло за бесценки и на сторону. Этот список легко можно пополнить.

Цитаты из районной газеты: «Глава райадминистрации еще раз подчеркнул, что проводимая в нашем районе деприватизация акционерных обществ преследует главную цель — спасти основное имущество хозяйств от ареста, описи и распродажи»; «ЗАО (те же колхозы, но именуемые „Закрытое акционерное общество“». — *Б. Е.*) начнут свою работу с чистого листа» (то есть: никому ничего не должны. — *Б. Е.*).

Такие «закоулочки» современного законодательства известны у нас не первый день. Но до села они не доходили. Правда, несколько лет назад поделился со мною новостью один из глав районных администраций:

— Пришел ко мне председатель рыболовецкого колхоза с хорошей идеей. Колхоз весь в долгах, как в репьях, счета арестованы. Он решил выделить отдельный кооператив, передать ему технику, оборудование, пусть ловит рыбу, продает.

— Долги оставить колхозу, — продолжил я. — А во главе нового кооператива поставить своего человека...

— Верно, он планирует зятя поставить. По-своему, по-родственному можно будет спросить. А вы откуда знаете?

— Как не знать, — посмеялся я.

«Кооператив с зятем» создали. Колхозных проблем он, конечно, не решил: те же долги, та же многолетняя, теперь, считай, вечная задолженность по зарплате. Но, видно, какие-то дела пошли, потому что вскоре при том же рыбколхозе создали уже «кооператив с сыном».

Этот способ в России используется еще с перестройки. На село он пришел с запозданием.

У Керсанова, главы Алексеевского района, кроме «деприватизации», а вернее, вместе с ней, немало других идей, некоторые понемногу осуществляются: «безналоговая зона»; государственное, районное агропромышленное объединение, которое ведет кредитование хозяйств под залог земли, занимается реализацией продукции, помогает пахать, сеять, убирать урожай, конечно, за плату... Но речь о другом: «алексеевский метод» в области был понят быстро и определенно. Вот как объяснил его своим землякам через районную газету глава соседнего района: «От долгов можно избавиться. Несколько крепких... трудяг отделяются от хозяйства (от колхоза, погрязшего в долгах. — *Б. Е.*), „отпочковываются“ со своей долей основных средств (то есть берут тракторы, комбайны, скот, а долги оставляют колхозу. — *Б. Е.*). Постепенно все основные средства переходят в частное владение. Хозяйство объявляют банкротом. Далее должна последовать процедура описи отчуждения имущества. А имущества-то нет... Арбитражный суд признает, что с хозяйства взять нечего. Все в рамках закона».

Гораздо проще это объяснили колхозникам на собраниях. Объяснили, как говорится, «на пальцах», очень конкретно.

Например. Колхоз имени... Чапаева. Долгов — 10 миллионов рублей. Счет в банке арестован, любые поступления на него тут же забираются за долги.

В колхозе числятся пайщиками триста человек. Триста человек пишут заявление о выходе из колхоза имени Чапаева и еще одно: о передаче имущественного пая районной администрации. Через несколько дней эти триста выходцев, в имущественных паях которых вся сельхозтехника, скот, производственные помещения, пишут заявление и организуют новый колхоз — предположим, имени Фурманова.

В колхозе имени Чапаева осталось пять пайщиков ли, работников, одного из которых поставили липовым председателем, другого — таким же бухгалтером. В этом колхозе остались и все долги, все 10 миллионов, да еще — давно разрушенная молочнотоварная ферма без окон, без дверей и, конечно, без скота. Все кредиторы, объединившись, могут забрать эту ферму. Колхоз имени Чапаева, как и сам легендарный герой, утонет. А вот колхоз имени Фурманова начал новую жизнь, что называется, «с чистого листа», без долгов, без картотек, его банковский счет никто не имеет права арестовать.

Такой вот «закоулочек» в законодательстве нашел мудрый Керсанов, его даже дефолтом не назовешь, а просто: я — не я, и хата — не моя. Все у нас теперь как в столице. Газета «Финансовые известия» (1999, № 36) сообщает: «Взять, к примеру, банк „СБС-Агро” или тот же „Менатеп”. У каждого из них давно готовы „запасные площадки”, названия которых всем известны... Все, что имеет социально-экономическое значение, успешно развивается в рамках банковской группы „Союз” и „Первого общества взаимного кредита”. В „Менатепе” перед отзывом лицензии тоже оставались только долги и несколько человек персонала».

«Алексеевский метод» одобрили, провели по нему областной семинар, на котором предъявляли неверующим козырную карту: переведя всю колхозную собственность в государственную, районную, Керсанов под залог этой собственности сумел взять кредит у каких-то банков и на эти деньги вспахать землю и посеять не в пример больше, чем его соседи. Это был веский довод — кредит и вспаханная земля. Той осенью 1998 года очень немногие в области сумели это сделать — не было денег на горючее.

К весне в моем родном Калачевском районе вместо прежних двенадцати коллективных хозяйств действовало уже двадцать. И только искушенные люди знали, что СПК «Приморский» — это вовсе не «Приморский» во главе с Нургалиевым, а что-то такое... неуловимое. А Нургалиев со всем хозяйством — это теперь «Мир». И всем известный колхоз «Нива» — фикция, а вот МУСП «Нива» — это колхоз настоящий. То же самое с «Голубинским», «Калачевским», «Варваровским»...

— Ну и что? — спрашивал я.

— Работают с «чистого листа», без картотеки, значит, пойдут платежи в бюджет, во внебюджетные фонды... — бодро докладывали мне.

— Но ведь не идут, — наобум возражал я и попадал в точку.

— Потому что сейчас — весна, посевная, столько не пахалось. Все на горючее идет. А вот чуть разгребутся...

— Не разгребутся, — вздыхал я.

Ящерица, когда схватят ее за хвост, оставляет его, а сама убегает, спасаясь. Хвост потом отрастет, пусть не такой казистый. Зато жива.

Наши «колхозы-совхозы» свои вековые долги время от времени отбрасывают, чтобы остаться живыми. Не буду о далеком, возьму лишь самое близкое — времена Агробанка, кредитовавшего колхозы. В последнюю пору жизни Агробанк давал деньги тоже под залог имущества. Составлялись серьезные бумаги; колхозы закладывали имущество с легким сердцем, зная, что никому не нужны эти коровники, свинарники, а тракторы да скот районные власти не позволят забрать. Представители банка ездили по полям, описывая за долги созревающий урожай. Над ними смеялись, потому что прежний опыт учил: «Все спишется...» Банк призвал даже какую-то московскую фирму, специализирующуюся на выбивании долгов. «Спеццы» прибыли, пожили в районах, поездили и убыли ни с чем. Все списалось.

Появилась «Агрокорпорация». Брали у нее займы, насколько мочи хватало. Отдавать не торопились. Все тот же опыт подсказывал: спишется... «Финансирование сельского хозяйства — рискованное занятие. Лишь благодаря тому, что контрольный пакет акций „Агрокорпорации” принадлежит администрации области, она то и дело отсрочивает сельхозпредприятиям платежи по долгам и продолжает их кредитование», — сообщала областная печать.

Год за годом продолжалась эта песня. «Корпорация», а вместе с ней администрация области уговаривали колхозы: «Долги надо возвращать», даже арбитражным судом, банкротством пугали. Но вместе с этим продолжали выделять кредиты всем хозяйствам: и тем, кто честно расплачивался, и тем, кто не собирался этого делать. Но сколько веревочке ни виться...

В году для «Агрокорпорации» последнем, 1998-м, в колхозах, на полях, на токах появились даже энергичные, крепкие (по всему виду, военные) люди

на новеньких «Нивах»: они требовали возврата долгов, намекая, что «в случае чего» вслед за ними придут их команды. В областной печати появились сигналы: «чрезвычайка», «рэкетиры», словно подтверждая давно уже ходившие слухи о том, что «Агрокорпорация» на руку не чиста, крестьян обижает, а теперь и вовсе...

— Подтверждаются ли факты выбиваний долгов у руководителей хозяйств с угрозами физической расправы? — спросили напрямую у генерального директора «Корпорации».

Он ответил, что «пока не располагает такими данными».

Областные начальники — губернатор и его заместители — мыкались по области, уговаривая, прося, требуя: «Отдавайте долги, будьте людьми! Мы ведь слово давали, и вы клялись! Нам теперь никто не поверит!» Все напрасно. Зерно да подсолнечник текли совсем в другую сторону. Иной раз по цене рыночной, но чаще — за бесценок, зато наличными деньгами, так называемым «черным налом», который никто не учтет, кроме Господа Бога.

Волгоградская агропромышленная корпорация — «мать родная» крестьянина — приказала долго жить, оставшись должна бюджету миллиард рублей. Селяне ей должны 600 миллионов.

Но ей это место недолго пустует. «Одну матушку похороним, другую создадим», — пошутил кто-то из участников очередного совещания.

Внедряя «алексеевский метод», идею Керсанова, в областном центре придумали и свое. Полгода шла работа подготовительная, в мае организационно оформилась Волгоградская областная агроассоциация. В нее вошли все районы. Поставили печати, сделали взносы. В тот день, когда ее создавали официально, было большое собрание, на котором постановили и проголосовали. Часом позднее у губернатора собрался узкий круг: главы администраций районов. Теперь уже один на один они напрямую спрашивали: «Что мы все-таки создали, куда „вошли“ и кто будет командовать всем этим? И кто будет отвечать?» Объяснения получили весьма туманные. С тем и разъехались.

Пытался и я, грешный, что-то понять. Областные власти толкуют сейчас про «холдинги»: «Создать отраслевые объединения на базе молочных заводов, мясокомбинатов, элеваторов». Но как создать эти «холдинги», если контрольные пакеты акций перерабатывающих предприятий у «переработчиков» или у таинственных «инвесторов», то ли московских, то ли греческих, то ли вовсе незнамо каких. Поставщиков сырья (молока да мяса) распугали низкими ценами да неплатежами.

Вот пример сегодня действующего «холдинга»: АО «Сарепта», который занимается горчицей. Говорит В. А. Хомутов, генеральный директор: «В группу „Сарепта“ входят 148 колхозов, совхозов и других хозяйств, которые владеют 68% акций завода. Колхозы-совхозы свои паи вносили масло-семенами. Мы финансировали их — до 18 млрд. рублей ежегодно. Невозврат долга составлял ровно половину. Наши кредиты не возвращались, а мы работали на банки под дикие проценты...»

Вот тебе и холдинг. А песня та же: дали колхозу кредит под будущую горчицу, а он, вырастив ее, тут же сбывает на сторону, и думать забыв про свой родной «холдинг». А весной снова к нему идет: давай новый кредит, иначе не буду сеять.

В конце 1998 года в области принят «Закон об областном продовольственном фонде» — еще одно новшество.

«Наличие „Продовольственного фонда“, — говорит первый заместитель губернатора по сельскому хозяйству, — позволит иметь на возвратной основе 300 миллионов рублей. Если такие деньги, скажем, весной авансом в виде госзаказа отдать селу, это ли не разрешение проблем?»

«Отдать авансом» дело не хитрое. Прибегут, встанут в очередь. Но вернут в лучшем случае половину. Через пару лет 300 миллионов истают.

— Та же Маша, но в другом плажке.

Эта реплика — не моя, она из зала областного заседания по «аграрному вопросу».

Вот горькое предсказание утопающей «Корпорации» устами одного из ее руководителей:

— Если мы не научимся выполнять договоры, то и следующая структура будет обречена на провал, и через два-три года хозяйства будут обвинять ее во всех грехах так же, как теперь корпорацию.

«Структура новая» появилась. По задумке она состоит из РАО (районных агропромышленных объединений), которые включают в себя коллективные хозяйства района, перерабатывающие предприятия. Называют их еще «товарищества по вере». «Товарищи» рядом работают, на одной земле живут, а начальство — не где-нибудь, а рядом, в райцентре. Словом, все свои, одна семья, и на одно дело работают: вылезти из нужды.

В Даниловском районе новая структура была создана в марте. Сразу же встал вопрос о горючем. Надо пахать, сеять. Деньги давал Михайловский маслосыркомбинат с условием: сдавайте молоко. «Товарищи по вере» — руководители колхозов, собравшись все вместе, подсчитали и решили: нам это по силам, обещаем, что 300 тонн молока к 10 мая отдадим.

Кредит получили, закупили горючее. К 10 мая вместо 300 тонн на маслокомбинат не поступило и половины. Коровы доятся, молоко течет, но совсем в другую сторону. Теперь уже не областное, а районное начальство уговаривает: «Мы же договор подписали... Товарищи по вере! Вы же обещали! За язык никто не тянул! Надо же выполнять».

Структуры-то новые, но колхозы, их руководители — те же, «братъ и не возвращать» привыкли. Вспомнить крыловский «Квартет», мне думается, нынче к месту. «Холдинг» ли, «Агрокорпорация», «Агропромышленное объединение», колхозы, СПК, ООО, «товарищества по вере», МУСП, РАО...

Какой же вывод? Неужели куда ни кинь, всюду — клин? «Колхозы-совхозы» — плохо. Пробовали «фермерствовать» — не пошло. И вроде не лежим на боку: каждый год что-нибудь у нас новенькое: вчера — «Агрокорпорация», сегодня — РАО да «холдинги», «Продовольственный фонд», «муниципализации». А проку нет. Какие еще нужны «структуры» и «фермы»?

Замечательная, скажу я вам, «форма производства» — колхоз, когда коллективно *работают*. Взять, например, «Кузьмичевский». Надои у коров — как в Европе, в среднем по 5 тыс. килограммов в год. Доходы от молока, лука, моркови. Платится вовремя зарплата, содержится детский сад, Дом культуры. «Конечно, — забурчат скептики из бывалых, — город рядом, чего не жить».

Еще один колхоз того же района — «Луч». Пашут, сеют, доят, получают зарплату.

Опять город рядом?

Колхоз имени Ленина. Полторы сотни верст от города. Молоко, мясо, коровы, свиньи, зерно, корма. Зарплата, детсад, прачечная, Дом культуры. Здесь каждый работник производит продукции в сопоставимых ценах ровно в 10 раз больше, чем в соседнем, тоже коллективном, хозяйстве. Та же земля, то же небо, у людей — те же две руки. Но не в 2 раза, а в 10 раз больше произвели. В 10 раз лучше сработали.

Еще один «имени Ленина», он — вовсе у черта на рогах. Самый далекий район, Нехаевский, всегда в хвосте всех сводок, потому что — «глубинка». А этот колхоз словно бельмо: вокруг — засуха, у него — 25 центнеров пшеницы с гектара, у него — коровы доятся, люди работают, нормально живут, даже балетную школу завели в Доме культуры, ни стыда ни совести...

А «фермерство», то есть самостоятельная работа на земле? Когда ни от кого не зависишь и сам своими руками...

Засуха 1998 года. Небывалая, 50 мм осадков за лето. Земля горит, трескается, а у Мельникова — пшеница дает до 26 центнеров с гектара, подсолнечник по 16 центнеров! У Штепо, у Миускова, у Колесниченко с Олейниковым — по 25 центнеров! А рядом — через межу, на колхозных полях — 3 центнера. Вот что такое «фермерство», когда ни от кого не зависеть, только своими руками и головой — для себя.

А какое хорошее дело — «Агрокомпания»! Например, в Серафимовичском районе она существует лишь второй год. Но сумели уйти из-под опеки «Агрокорпорации», сами продукцию реализовывали. Выгодно продав бахчевые культуры, колхозники купили 120 легковых автомобилей. И с местными бюджетами все сельхозпроизводители рассчитались. Разве не завидно?

Для меня сейчас совершенно очевидно, что колхоз, как бы он ни величался: имени Ленина, имени Калинина или просто «Луч»; где бы он ни находился: под боком у города ли, райцентра или у черта на куличках, — колхоз будет жить и работать при любых «суховеях», откуда бы они ни дули: из калмыцких степей или с кремлевских холмов; колхоз будет жить, пока во главе его стоит Иван Варфоломеевич Петров, Николай Иосифович Реуцков, Георгий Васильевич Яменсков. Но таких людей на постах председательских на всю область наберется десяток. А всего хозяйств 600 или более.

Личное, «фермерское» хозяйство будет эффективно работать лишь тогда, когда его хозяин — В. И. Штепо, В. Ф. Миусков, А. Г. Мельников, А. Г. Меркулов, братья Гришины, В. Н. Поляков... К великому сожалению, таких людей тоже можно на пальцах перечесать. Пусть их даже наберется сотня — из 12 800.

Искать надо не форму хозяйствования, не форму собственности на землю (здесь предложение к продаже в нашей области в 100 раз превышает спрос), искать надо человека, *хозяина*.

В начале 80-х годов в очерке «За дровами» писал я про свои же края: «Поселились тут люди издавна, веками жили и кормились и кормили других. Прощлой весной несчастные коровки ели прелую солому. Падеж. Удой по полтора литра „на круг“. Весь район в течение 5 лет не выполнял планы по продуктивности скота и птицы... с каждым годом все более желтых от сурепки полей... и пегих, седых от осота... бурьян и бурьян... Падеж скота стал явлением обычным... Как ни горько, надо признавать: на земле теперь работает не хозяин... Хозяина мы вывели. Это был путь долгий и с кровью. Десятилетиями убивался в крестьянине хозяин. Теперь же, не закрывая глаз, надо признать: крестьянин-хозяин на земле кончился».

Повторю это и сейчас с великой горечью. И если прежде от таких выводов шарахались, отказывались печатать, а уже набранное снимала цензура (из сборника «Холушино подворье» — «Советский писатель», 1984 год), то сейчас это понимают многие.

Крик души нашего губернатора Максюты:

— Хватит выбирать руководителей. Их надо ковать, обучать, назначать и снимать.

«Назначать и снимать» — это мы проходили. А вот «ковать» — посложней задача. Снова — Максюта: «Надо сделать так, чтобы в звене, в бригаде, хозяйстве, районе всем заправлял настоящий хозяин».

К этим словам можно лишь добавить: и в области, и в государстве.

Керсанов, глава Алексеевского района, зачинатель «деприватизации», объясняет, что колхозную собственность под свою государственную руку он забирает потому, что «преобразование бывших совхозов и колхозов в акционерные общества не изменило психологию тружеников полей». Он намечает «развернуть в нашем районе в течение двух лет экономический всеобуч. Цель: воспитывать в каждом труженике сельского хозяйства чувство хозяина, который относился бы бережно к собственности не только на личном подворье, но и на производстве». А потом, когда «вырастим, по крайней мере из большинства, настоящих хозяев, тогда можно вести речь о приватизации». Но процесс этот не так прост, «как кажется на первый взгляд», добавляет он.

В свое время колхозников учили парткомы, профкомы, комсомольские комитеты. Учеба шла непрерывная: экономическая, политическая, идеологическая. Каких только «кружков», «университетов», «курсов» и прочего не создавали. И все же... Помню, в прославленном «Волго-Доне», где все было: зарплата, премии, лечение, отдых, поощрения, награды, в ту «золотую» пору одна из лучших доярок не хотела прятать «бидончик» молока, который каждая

из ее товаров ежедневно тихонько уносила домой. Все прячут хотя бы для вида, «так положено», а она несет в открытую и заявляет: «Имею право». С ней бились долго: уговаривали, страшали, «обсуждали». А она свое: «Имею право». Там же, на собрании, в ту же далекую пору прозвучало откровенное: «Воровал и буду воровать».

А ведь «учили» полсотни лет. Тем более в «Волго-Доне».

Нынче там тащат, везут не трехлитровыми «бидончиками», а флягами по 200, по 300 литров. Даже у телят отбирают. «Нехай...» Нехай дохнут. «Имею право, я в колхозе сгорбатилась».

И киньте в таких людей камень — поднимется ли рука? Они ведь и вправду сгорбатились и продолжают горбатиться, не получая зарплаты. А жить как прикажете, чем детей кормить?

Тем более что только слепой да глухой не знает, как и кто разворовывает наше государство. Об этом с утра до ночи твердят газеты, радио, телевидение, называя и показывая людей отнюдь не «горбатыми», а лоснящихся от сытости, абсолютно бесстыжих, но по-прежнему алчущих, с горящими глазами и цепкими руками. Их называют, показывают, но вовсе не корят, а именуют «героями дня». Вот оно — самое действенное сегодняшнее «воспитание». Наш главный «герой дня» еще недавно негодовал, боролся с привилегиями. Теперь на глазах страны утопает в роскоши.

...Наш бывший губернатор поначалу твердил на каждом совещании, возмущаясь банкирами: «Придумали какую-то маржу, провели платеж, забрали 3 — 4 процента. За что? Что за наглость!» Твердил-твердил, а потом вдруг перестал. «Чего это он про маржу молчит?» — интересуюсь. «Дочь стала банкиром, возглавила», — объяснили мне. Маржа из наглости, видимо, перешла в благость.

И все это не стесняясь, в открытую, на каждом шагу. Начальники над селом возводят за домом дом, все выше, все шире.

Из писем: «Мы, рабочие, годами не получаем зарплату, а директор совхоза, не получая зарплату, построил два дома, купил новую „Ниву“».

«Управляющий построил 2 огромных дома, имеет 3 машины».

«...построил дом, купил две машины дочерям и еще строит дом».

Такой вот у нас «экономический всеобуч» снизу доверху.

Так что планы Керсанова воспитать «настоящих хозяев на производстве... в течение двух лет» — утопия. Думаю, что и сам он мыслит несколько по-другому.

Помнится, что когда «на заре приватизации» он стал хозяином районной сети бытового обслуживания населения, то сразу же закрыл все пошивочные мастерские, уволив людей. Потому что — убыточно.

Нынешние действия Керсанова энергичны и весьма отличаются от действий его коллег: «деприватизация», «безналоговая зона», значительные средства, как говорят, даже беспроцентные, которые он добывает «под имя», — эти средства идут в коллективные хозяйства под залог земли, которая оценивается «по кадастровой оценке в земельном комитете, и заверяется эта цена нотариусом». «Если товаропроизводитель не вернет взятые кредиты, тогда земля перейдет в собственность местной или районной администрации» — такой вот, тоже необычный, поворот. Имущественного пая у крестьян в районе уже нет, «деприватизирован». Могут лишиться и земельного пая. Выводы делать рано, а задуматься есть над чем.

Но если в Алексеевском районе происходят какие-то изменения, судить о которых положено «не в три дня, а в три года», то все наше сельское хозяйство движется в прежнем направлении — то есть к развалу.

Приведу слова, сказанные не отчаянным журналистом, не уличным оратором-горлохвостом, а заместителем председателя Волгоградского областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию: «Животноводства, можно сказать, уже нет, и даже при радикальных правительственных мерах его в ближайшие 20 лет не восстановить». Сказано это было весной 1998 года. После чего последовало засушливое лето, зимовка с запасом кормов в 50 процентов и

как следствие — зимняя пастьба: в январе и феврале коров уже начали выводить на выпас. Коровы красной степной породы выдержали и голод, и холод.

Животноводство поддержал и даже спас... августовский кризис 1998 года. Исчез импорт, выросли цены, даже тугодумы поняли: за молоко можно деньги получать. И потому зимой 1998/99 года не резали коров напраполаю, а старались сохранить живыми, хотя бы с помощью прелой соломы. Но снижение поголовья и продуктивности продолжается, в том числе и в частных хозяйствах, пуповиной связанных с колхозом.

В полеводстве та же картина: неуклонное, из года в год, уменьшение пашни, снижение урожайности. Если прежде приводил я какие-то цифры, то сейчас всякая отчетность стала трижды лукавой в зависимости от того, что требуется доказывать. Например, председатель нашего областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию В. В. Мелихов в докладе говорит: «...посеян 1 млн. га озимых культур... предстоит подготовить 4,7 млн. га зяби и черных паров»¹. Складываем — получаем 5,7 млн. гектаров. Но тот же Мелихов, как один из соавторов, сообщает, что «посевные площади сельскохозяйственных культур Волгоградской области в 1997 году составляли 3510 тыс. га»². Расхождение в 2,2 млн. гектаров, более чем на треть! Просто в первом случае нужно было показать: «энергично работаем», а во втором: «перестройка развалила аграрный сектор».

Московская же высокая власть с переменным успехом занимается чем угодно: Ираком, Балканами, Кавказом, с особенным энтузиазмом — выборами. Селянам же иногда будут что-то «прощать» и что-то «подбрасывать» — через «близкие сердцу» финансовые структуры.

Словом, дорога все та же: естественный развал, на руинах которого помаленьку начинает «созидаться» новый порядок, с новыми формами. Какими? Они уже есть сейчас.

Сумел же бывший министр сельского хозяйства Семенов в своем родном хозяйстве, которым руководил, превратить коллективную собственность в личную (напомню, за 7 лет от 0,25 процента акций до 20 процентов).

Вот он — новый хозяин. Свое, личное добро мы, слава Богу, умеем беречь и приумножать, не один Семенов такой умный.

Серьезные наши фермеры, пусть их немного, постепенно расширяют дело: кто-то мельницу завел, кто-то пекарню, кто-то торгует, но почти все стараются расширить земельные наделы: опыт и сноровка появились, с наемными работниками становится легче.

Вижу я и «проникновение капитала» в сельское хозяйство. Чей это капитал, не мне разбирать. Но кто-то ведь дал весьма немалые деньги тому же Керсанову. Причем, как он сказал, «беспроцентный кредит». Не медный грош на паперти кинули, а «вложили деньги».

В другом районе фирма с красивым заграничным названием сначала «дала товарный кредит» двум коллективным хозяйствам, «на проведение посевной и уборки». Кредит, конечно, колхозы не сумели вовремя вернуть, а он был оформлен юридически грамотно, под залог «движимого и недвижимого». Зимой не было ругни и споров, а «движимое и недвижимое» перешло в собственность фирмы, которая оказалась умнее «пенкоснимателей»: мясной и молочный скот на бойню не погнажи, автомобили и тракторы с аукциона по дешевке не распродали. Колхозы продолжали жить, но колхозники стали работниками у фирмы, правда сохраняя пока земельные паи. Но это, мне кажется, лишь дело времени. Законодательство позволяет, практика отработана, цена земли — копейки.

Сдуру, по прежней привычке, я хотел узнать: чья это фирма с таким красивым названием? Чьи деньги? Спрашивал у областных начальников высокого ранга, своих давних знакомых. Сначала они легкомысленно обещали:

¹ Газ. «Крестьянское слово», 1998, № 44, ноябрь.

² Мелихов В. В. и др. Становление рыночных отношений в аграрном секторе. Волгоград, «Станица-2», 1999, стр. 185, прил. 35.

«Узнаю. Позвони завтра». Но проходили «завтра» и «послезавтра», тон разговоров менялся: «Слушай, чего-то не получается. Говорят: а зачем? А кому это надо? В общем, частная какая-то фирма». Местная тележурналистка, певшая этой фирме гимны в эфире, на мой звонок ответила чуть ли не матерщиной: «А вы кто?! А вы что?! А вам это зачем?!»

И на самом деле, зачем? Так, любопытство, не более. А нотки в голосе «телеохранника» очень жесткие.

Позднее случайно узнал я, что официальным отцом основателем фирмы числится абсолютно разваленный колхоз, у которого давным-давно за душой копейки нет. Одним словом — *фирма*.

Но ведь «вкладывает» в сельское хозяйство. Уже владеет колхозами. Да и одна ли она такая. Думаю, что не одна. Вот он — еще один путь.

Что же нужно сегодня нашему селу? Новые деньги: кредиты, инвестиции, транши, товарные кредиты? Без этого не обойтись. Колхозный тришкин кафтан — один на всех. Под этим кафтаном и напрочь разваленный колхоз имени Дзержинского, и его сосед — имени Ленина, — который работает за весь район, работает достаточно рентабельно и эффективно. Все вместе они — «черная дыра», и этот тришкин кафтан необходимо латать постоянно: сев, косьба, молотьба, пахота... Заплаты на этот кафтан начали лепить не вчера и не сегодня, а с первого дня, как его силком натянули на крестьянские плечи. Колхозная история долга, ей уж семьдесят лет. За эти годы сам колхозник никогда не был богатым, недаром его, словно крепостного, приковывали к земле, чтобы не убежал.

Повторю давным-давно слышанное от Елены Федотьевны Макеевой, за плечами которой своя долгая колхозная жизнь и память отцов и дедов, работавших на земле:

— Крестьянская жизнь, сынок, — тяжелше нет.

Крестьянская Россия своим крепостным трудом осилила «индустриализацию», выиграла войну, а потом «подняла страну из руин», а сама лишь в конце 50-х наелась «чистого хлебушка».

Государство, вспомнив свои долги перед крестьянином, начало «вкладывать деньги» в село. Появилось новое жилье, асфальтированные дороги, удобрения, техника. Люди стали жить заметно лучше. В 10-й и 11-й пятилетках сельское хозяйство страны получило 416 миллиардов рублей. К сожалению, вложенные деньги «не сработали». По данным нашего волгоградского ЮжНИИгипрозема, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области так и не поднялась выше 11,8 центнера с гектара. А в период «интенсивных вложений» (1980 — 1986 годов) урожайность даже снизилась до 9,9 центнера.

Причина, на мой взгляд, единственная — «не мое».

Потом крестьянина «бросили в рынок». Колхозника, привыкшего лишь выполнять указания, словно человека, не умеющего плавать, столкнули с борта «корабля социализма» в океан мировой экономики. Дескать, акулы капитализма не тонут, значит, и ты спасешься. Метод, конечно, зверский. Результат — налицо: барахтаются и тонут.

В своих замечках о сельских делах в начале 90-х годов рассказывал я о начале реформ на хуторе Клейменовский:

— Пишите заявление! — требовал бригадир. — Образец на стенке висит!

Послушно писали и отдавали бригадиру, ничего не понимая.

— Хоть бы нам кто приехал да объяснил...

— Велят писать, я послушалась...

Почти десять лет минуло. Объем валовой продукции сельского хозяйства в нашей области, как и по всей стране, снизился вдвое. И снова, в который уже раз, приказывает бригадир: «Пишите заявления! Образец — на стене!»

СПК, АОЗТ, СППК, АООТ, КСП, КДХ, МУСП... А если понятней — все тот же колхоз, лишь разваленный.

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА

*

ЛЮДСКАЯ МОЛВЬ И КОНСКИЙ ТОП

Из записных книжек 1950 — 1990-х годов

Сороковые

От детства и отрочества старших братьев остался в углу их комнаты большой воздушный шар, аккуратнейшим образом склеенный из папиросной бумаги, натянутой на тонкие дранки; альбом «Но пасаран!» с перевернутым восклицательным знаком, книги про челюскинцев, авиацию и парашютный спорт (брат уходил на войну из авиационного техникума).

Грязная, черная, темная и крутая лестница на второй этаж Боевских бань. Очередь по всей лестнице. Мы ждем, когда часть людей помоеется и нас впустят.

...Маленькое серое плохо пахнущее мыло. Не ясно, как из этой лестницы и этого мыла рождается то чувство свежести, чистоты и легкости, с которым пойдем мы потом домой, обдуваемые теплым летним ветром.

Ошеломляет разница между предбанником — прохладная комната, скамейки, шкафчики; негромко переговариваясь, раздеваются женщины — и собственно баней: голые, мы открываем разбухшую (так помнится) дверь — и оглушающий, как грохот водопада, шум, пар, за которым ничего почти не видно, жар.

Захватывает ощущение *порядка*, который, как везде и всегда, ведом невесть откуда няне: взять две шайки, налить в одну — холодную, в другую — очень горячую воду. Вода, клубясь, хлещет из толстого крана. К нему мне нельзя подходить. Да и страшно подумать, что станет с тем, кто сунется под этот кран. И непонятно, как такая опасность может быть в такой близости от живых голых людей.

Женщины трут друг другу мыльными мочалками спину. И няня трет кому-то, и ей трут. И слышится: «Вот спасибо — уж как хорошо потерла!»

Много позже, когда все уже мылись в ванне, она говорила:

— Да разве это мытье? Бултыхайся в грязной воде. И спину потереть некому.

— Да я тебе потру!

— И-и-и, разве вы так потрете? Нет уж, я в бане помоюсь. Уж чего лучше!

Нет, дело было в чем-то ином, невысказываемом.

И лишь много позже проступил туманно, как сквозь банный пар, подспудный смысл действия: совлекшие с себя все одежды, оставшиеся лишь с нательным крестом (няня носила его не снимая) женщины — в распаренном, смывающем последние преграды между людьми банном духе.

В середине тридцатых годов Елену Николаевну Самойлову (1893 года рождения), не обзаведующую своей семьей, выписала из Вишенки Суздальского уезда (тогда уже района) в Москву младшая односельчанка, ожидавшая четвертого ребенка, — помогать с детьми; она и стала вскоре моей няней и тайной крестной (окрестила и год спустя призналась маме).

— Мать-то ваша спасла меня! Мы в колхозе уже с голоду пухли.

А в начале сего века крестьянская семья с семерыми детьми жила неплохо: два раза в год отец всем привозил с ярмарки обновы — козловые башмаки на шнуровке, юбки, а то и шубейки. Слушать ее рассказы про это в детстве было странно. Мне новое — не с плеча старших — пальто сшили только на втором курсе университета.

Пятидесятые

Записи

1952

15 февраля. Прочитала «Трое в серых шинелях».

21 декабря. Смотрела «Молодой Карузо».

1958

12 ноября. От прозы Паустовского остается иногда странное впечатление: она как будто уходит между пальцев, кажется бесплотной.

1959

4 февраля. Со вкусом одетые девицы несли авоськи из тончайшей пластмассовой паутинки, и все пристойное содержимое этих сумочек было выставлено для всеобщего обозрения: два лимона с тонкой кожицей, книжка стихов, шелковый шарфик и яркий иностранный журнал.

7 февраля. Жаль одного — множество имен сейчас уже при всем желании нельзя вернуть обществу. Да и каким образом? Поколение, знавшее их хорошо, стареет и умирает, а молодому и даже среднему поколению (30 — 35 лет) пришлось бы все объяснять с самого начала. Кто и как будет это делать? Никто и никак. Только историки сохраняют их имена — для историков же. А жаль! (Приписано: 23 февраля. Это неверно. Через десять лет школьники и студенты будут знать их наравне с другими.)

15 февраля. Стилистическая деталь: если в языке не закреплено сочетание имени и фамилии писателя (как Вера Инбер, Всеволод Иванов, Николай Островский), то такое употребление звучит на иностранный лад, европеизированно, претенциозно: Михаил Шолохов, Никита Хрущев, Иосиф Сталин (словоупотребление Горького).

25 февраля. В театре Маяковского — «Гостиница „Астория”».

Неужели у наших литераторов не было ко времени XX съезда своего сформировавшегося взгляда на жизнь? Почему, когда понадобились острые драмы, все пишут так вяло, беспомощно?

Странная смесь риторики и бытописательства; в патетических сценах — что-то от Погодина; но условность многозначительная; все силишься понять, что скрывается за странно-риторическими словами и поступками, — и наконец понимаешь, что ничего, кроме пустоты и безвкусицы.

25 сентября. Первое впечатление еще у кассы на Махачкалу — все мужчины похожи на моего отца.

Из окна вагона — волнистые горы с мягковылепленными складками, невысокие и полуголые. Саманные домики кажутся обезглавленными из-за того, что крыши — вровень со стенами и из того же самана. Окна очень маленькие — нет стекла или традиция.

В сетке купе тихо поют босые даргинки. Гречанка, когда-то красивая, весело отвечает за свою дочку: «А к папе едем. Он в тюрьме у нас».

Море появляется украдкой, тусклое и холодное.

Махачкала. Много детей и очень молодых беременных женщин. Вечером все сидят перед домами: маленькие дети чинно сидят у стен голыми задками на асфальте, женщины сидят на корточках, колени под длинной юбкой в разные стороны, седобородые же расположились на детских стульчиках с подушками на сиденьях. Опираясь на посохи, строго смотрят на прохожих из-под нависших бровей и тяжелых папах.

Мужчины спешат, вид у всех рабочих... Они не осматривают тебя с ног до головы и не высказываются вслух. Они молчаливы и деловиты.

В редакциях сидят дагестанки и в деле своем, видимо, разбираются неплохо. Спорят с мужчинами, говорят умные вещи — словом, разрушают мой традиционный ужас перед женской долей в Дагестане.

26 сентября. Сколько людей у нас работают для культуры! Большинство из них и не отдает себе в этом отчета, и не понимает часто значения своей деятельности. Ведь обычно только сотая часть их стремлений осуществляется... библиотечкарь устраивает выставки, любовно подбирает книги — но осязательных результатов этого никогда не увидит. ...И только редкие фейерверки вспыхивают на тусклом однообразном поле землешаев культуры. И все-таки все они сомкнутым строем, идя мерным однообразным шагом, очевидно, приносят большую пользу — но результаты являются в таком измененном, обобщенном виде, что им никогда не суждено узнать в них своих трудов.

В кумыкской семье моей однокурсницы Наиды — устоявшиеся, никого не тяготящие отношения. Дети, особенно девочки, подбегают к отцу по первому его слову, беспрекословно исполняют его приказания.

Мужчин — в том числе и четырнадцатилетнего мальчика — кормят в первую очередь; они ничего не делают для себя сами. Но они всегда защитят сестер от любого обидчика. Словом, сложные отношения любви, уважения, подчинения.

Жизнь в Махачкале дорогая, трудная. Поэтому матери семейства приходится вставать в четыре, полчетвертого.

Высший свет города отличается заносчивостью и бескультурьем. Высшее образование мало что дает им.

Отсутствие канализации в большей части города делает его зловонным. Ветры, ветры, пыль.

Шестидесятые

1963

5 апреля. Критик 1928 года, брызгая слюной, ругает «Египетскую марку», возмущается и недоумевает и не понимает, что это написано не ему, что его не спрашивают.

6 мая. Мы верим лишь такой фантастике, которой не противоречат наши личные наблюдения. О будущем можно плести что угодно — мы его не видели. Так же можно рассказывать о людях на луне — не знаем, может, они действительно там были. Может быть, они взлетели с соседнего двора. Но что луна распалась на куски («Союз пяти») — это уж извините. Вот она, целенькая. Алексей Толстой недооценил силы очевидности. Мы сразу теряем интерес к его роману, как только луна у всех на глазах *растрескивается на куски*.

7 мая. О Балтере.

Писатель дает нам ощущение правды, но нам будто мало ее одной. Будто правда, когда она действительно Правда, может нуждаться в каких-то принудительных компаньонах.

9 мая. Таинственность и притягательность «поезда», в отличие от электрички, была в похуже купе на комнату, в иллюзии «дома на колесах», вообще — в откровенном соединении двух противоречивых признаков. Кроме этого — напоминание о далеких расстояниях.

Б. Брайнина. Валентин Катаев. Детгиз, 1954. «Какой великолепный, полновзвучный заключительный аккорд...», «В повести „Белеет парус одинокий“ вещность, конкретность свободна от всякой искусственности, условности». И — набор фраз, показавшихся критику особенно красивыми, с обязательно выделенными курсивом уж самыми красивыми словами.

20 мая. «Тимур и его команда» — это наше детство, как оно нам снится. Это тринадцатилетний мальчик в твоём дворе, который казался тебе молодым человеком с чертами Печорина или даже Григория Мелихова.

«И люди тоже не забудут тебя». Это ведь как слово на могиле.

25 июля. *Махачкала.*

Фильм «Богатая невеста», 1937 год.

Весь набор мотивов и приемов эпохи.

...Любовь на глазах у людей. Примирение влюбленных совершается на фоне жирной улыбки бригадира. Главный герой страдает с кем-нибудь вдвоем (с товарищем, сочувственно глядящим в глаза). Он никогда не остается наедине с собой. Его внутренний мир беден. Он не находит в себе интересного собеседника.

Газетные заголовки

«Святая святых атеиста», «Новая эра прогресса (иностранные отклики на работу пленума ЦК КПСС)», «Прекратить варварство» (29 апреля 1965).

«Фронт — повсюду!», «Романтика больших дел» (28 июня 1966).

«Творцы стальных артерий» (8 июня 1967).

Газетные строки

«Иное дело в артели „Ударник“. Группа народного контроля здесь настоящий друг урожая» («Известия», 1966, № 61, март).

Подпись под фотографией в газете: «Израильская солдатня издевается над арабскими солдатами» (июнь 1967).

«Прослышав о собрании ветеранов-коммунистов Праги-8, сюда пришли гости из других районов» («Правда», 4 ноября 1968).

Разговоры

— Я ведь тоже в отпуске нахожусь, правда, Лена?.. — мужчина — женщине, увещательно.

Август 1967, на улице.

Семидесятые

1970

Июль. Рига.

Двое сидели за столиком. Один, толстый и черноволосый, с еще детски пухлым ртом, все время говорил. Другой, белокурый и в очках, сидел свободно, вытянув длинные ноги под стол, но не совсем, однако, свободно, а стараясь сидеть так, как будет сидеть он, взрослый мужчина, лет через пять, уже

без всяких стараний. Толстый говорил, белокурый слушал. Оба они тянули молочный коктейль через трубочки.

И было понятно тем, кто глядел на этих мальчиков, что вот оно — близкое уже будущее, что вот-вот прогудит гудок, по которому надо кончать работу. Поколение пятилось, выходило из игры, не успев сделать ходов. Все оставалось невостребованным — силы, надежды, темперамент, все их притязания. Даже святого права на усталость они были лишены. Они уходили не потратившись.

Осень. Москва.

Молодой парень с хорошим лицом, крутя баранку, рассказывал мультфильм:

— Тогда он ложит трояк, ему дают бутылку. Буль-буль-буль — и бутылка оказывается в животе...

Лицо его озарялось улыбкой, прекрасные серые глаза сияли. Невозможно было отделаться от ощущения, что он рассказывает о прекрасном концерте с замечательными исполнителями.

12 — 13 сентября. Под Суздалем (с мамой на ее родине).

В 6.20 утра — Гаврилов Посад.

Колокол на вокзальном здании — на изогнутом кронштейне. В расписании поездов приписано от руки: «Поезд *в ходу* по субботам и воскресеньям».

От маминого детства сохранился вокзал и рядом — дом железнодорожный: там у родственников останавливались, когда ехали куда-нибудь на поезде.

Двенадцать верст до села Кистыш. После часа-полтора пешего хода через поля подымается из-за горизонта купол: колокольня — это значит, что пройдено полпути.

Село Кистыш. Большая церковь, поповский дом.

Посредине села — памятник погибшим из двух сел, Кистыша и Вишенок (в полуверсте), на доске выбиты фамилии. Почти каждая повторяется несколько раз. Различаются только инициалы:

Агаревы — 2

Аристовы — 6

Быченковы — 2

Ганичевы — 2

Гориновы (трое)

Демины (четверо)

Демьяновы (двое)

Ермолаев

Евсеевы (двое)

Жильцовы (четверо, среди них — мой дядя Рома, муж единственной маминой сестры тети Лены, оставшейся с пятью детьми)

Зубаковы (двое)

Задворновы (двое)

Кошелёвы (двое)

Илларионовы (двое)

Муратовы — 6

Площадновы — 2

Садовников

Самойлов Н. Я. (племянник моей няни)

Сидорычевы — 8

Срывковы — 2

Талатёнковы — 2

Тарасовы — 9

Трусовы — 2

Туманов

Тяглецовы — 5

Федоровы
 Фроловы
 Хахалов
 Чесноков
 Чувашов
 Шибановский
 Якимовы — 5

Вишенки

Из всей деревни вернулись двое, ушли же бессечно.

За образами письмо: «...Благодарим Вас за Вашего мужа, за его бдительность и за его зоркое смотрение. Любите его так же, как мы любили».

Рассказы и разговоры

Лизаветы Чесноковой, Шуры Шибаносковой, Федора Малова и других жителей Вишенок

— Праздник — идем молиться — к *завтрене* (с 6 до 8). Помолимся; *завтрена* отойдет — идем одеваться в другую одёжу, получше, и сразу опять к обедне (к 9-ти). Утром-то тёмно — не видно.

От обедни придем, пообедаем (переоденемся в домашнее), потом одеваем *поддоброе* (похуже) до 12 часов. В 12 чаю попьём — и тогда уж одеваются в *доброе* — на гулянку.

— Сроду *дурой* не назывывал.

— Слова никогда не скажет, только поизморщится, и все, — (про сына).

— Была в Москве, ходила по доске,
 Упала в грязь и стала князь.

— Меня-то не изваракай.

— Сельско хозяйство штука трудная.

— Я был на финским фронте...

Они говорят:

— Ты куда?

— На фронт иду.

— Ну и мы с тобой.

— Я — старшина! — кричит. — Неуж, говорю, я не вижу, что ты старшина? Я говорю — ты на фронте был ли?

Баляба

— Шибаносков — он был один сынок у Андреяна. Он пришел с работы с гармонью и запел:

Ты секира, ты секира,
 Вострокоцный топор,
 Испеките, тятка с мамкой,
 Мне с карточкой пирозок.

Андреян говорит:

— Ну, прослезил ты меня, батюшка, этой песней.
Вот с тех пор его и прозвали *Баляба*.

Москва.

Они любили своих мужчин всегда, во все эпохи, во всех костюмах. Они любили их в картузах и толстовках начала 20-х годов, в мятых брюках и парусиновых туфлях времени второй пятилетки, в толстых свитерах грубой вязки и валенках или унтах уезжавших в Сибирь или на Север. Светловолосые, с небрежно откинутыми назад прядями, мужчины смеялись с киноафиш и с кадров кинохроники. Белозубые, широкоплечие, они обнимали своих подруг, и грубошерстный свитер был успокоительно мягок для нежных щек хрупких женщин этого времени. (Да, в те годы женщины вновь на глазах становились хрупкими!) Неужели шелестящая, скользкая, холодная поверхность коротких плащей, в которые оделись все мужчины 60-х годов, действовала так же успокоительно на их длинноногих женщин? ...Те, в свитерах, стояли широко расставив ноги, расплавав полушубки. Они заключали бегущих к ним женщин в свои непомерные объятия, и полы полушубков смыкались над узкими спинами.

Мужчины в свистящих куртках были плотно застегнуты, а горло их красиво задрапировано в мохеровые шарфы. Но если даже эти куртки и плащи были расстегнуты, все равно одеяния не подходили для того, чтобы их кургузые полы могли запахнуть женщин. И женщины жались к этим курткам, ткань свистела, холодила тело. Обида и горечь вползала в душу.

«...тут нужно говорить об исторических силах и стимулах. Сохранить силу жизни можно личными усилиями — сохранить творческую силу невозможно» (Б. Эйхенбаум).

Зияния были на улицах города. Черной дырой зиял дом, еще недавно одухотворенный веселой, счастливой, упоенной жизнью Еленой Сергеевной.

«Граждане пассажиры! Будьте организованны во время входа и выхода из вагонов. Этим вы способствуете соблюдению графика». Кровь кидается в голову и затмевает разум. Какого черта я должна способствовать *соблюдению графика*.

...*Им* в голову не приходит сформулировать иначе, повернуть от лика государства к лицу человеческому, сказать хотя бы что-нибудь вроде: «Тем вернее вы успеете на работу...»

Необходимость служения Графику предлагается как нечто само собой разумеющееся, и это-то и оскорбительно.

«Если вагоны переполнены, останьтесь на платформе, подождите следующего поезда». Какого же? Который доставит нас в царство свободы?

1971

8 марта в Москве.

Женщины с колючими сумками — плетеными из каких-то пластмассовых отходов.

Пуховые платки, высоко торчащие на голове, над сложными построениями из своих и не своих волос.

Розовые и голубые — химических цветов — вязаные шапки. Вязка ненормально редкая (из экономии), и под ней виден то какой-то чехол, а то волосы. Эти дорогие шапки нахлобучены почти на всех; молодая девушка, доставшая шерсть и связавшая себе такую шапку, чувствует себя обретшей достоинство.

Мужчины в шапках, с оживленно покрасневшими лицами, почему-то по двое, разного возраста — отец ли с сыном, тесть с зятем, связанные мужской солидарностью насчет предстоящей выпивки. Они хватают цветы без разбору

и на чей-то слабый голос: «А может, они мороженые?..» — озираются ошалело и бормочут:

— Все равно на один день.

10 марта. Ленинград.

Гостиница «Московская». Утро.

Администраторша с пухлыми губами Бабетты, с кошачьим круглым лицом.

— К вам вчера поступила такая-то...

— Это в больницу поступают.

— А к вам?

— К нам поселяются.

— Посмотрите, пожалуйста, — Николаба, вчера приехал из Сухуми.

Листая:

— Нет у нас ни одной грузинской фамилии.

— Это не грузинская... — тихо и обиженно бормочет абхазец.

Неуловимый, таинственный момент — когда из пустоты, из ничего, из шелестенья бумажек рождается вдруг МЕСТО, которого до сих пор не было.

Из чего оно соткалось?

Никто не знает.

Отсюда завороженность, с которой толпящиеся у стойки смотрят на администраторов, следят за отрывистыми разговорами на им одним ведомом наречии, сопровождаемыми ужимками, улыбками, долгими взглядами, которые они останавливают друг на друге, — следят за самими движениями, напряженно пытаясь уловить тот миг, когда из ничего рождается что-то.

11 марта. Ленинградцы делились на немногие разряды:

старые ленинградки с лицами цвета темного свинца, окаменевшими, спокойными лицами с глубоко провалившимися глазами;

тетки лет сорока в двубортных зимних пальто с цигейковым воротником, каких давно не носят в метрополии;

молодые люди с лицами актеров Цыбульского или Ольбрыхского — и только с такими лицами!

старики со слегка выкаченными глазами, опирающиеся на красивые палки;

молодые девушки — такие, какими бывают молодые девушки.

Людей среднего возраста в Ленинграде не замечалось. Бог знает куда они делись — те, кто должен был выражать кипение духовной жизни, буйство творческой энергии.

Разговоры

— Он меня с полуслова понимает, с одного звука! Я ему — «пр-р», и он — «пр-р». Если я сказал ему ждать меня на вокзале — он будет ждать меня до потери пульса.

— ...Меня все вы понимали, пока я пол-литра водки разливал на восемь стаканов.

Невский вечером, у автобусной остановки. Парень отчитывает девушку — в присутствии безмолвного друга.

13 марта.

Был март, март!

Снег сверкал везде — на крышах, на дорожках, на Неве. Каменный мост выгибался некруто, автобус, переваливаясь, въезжал на него.

Хлопала где-то внизу дверь, просачивался душный ресторанный запах, знакомый запах гостиничной тоски.

Вольные, кудрявые, голые деревья. Узорчат, затейлив был рисунок их голых ветвей, родственных кружевам литых решеток. Ничего в них не было от обкарнанности московских деревьев, отвратительно дачных летом и ничего не обещавших зимой.

По пути от Черной речки к каналу Грибоедова мост за мостом набирал силу, ширел и вытягивался, все круче выгибался, и наконец вылетала огромная дуга Кировского моста.

15 марта. Ленинградское метро.

Молодые слегка придурковатые отцы играют со своими разошедшимися детьми, и пожилые дамы смотрят на них тяжелым взглядом старых волчиц.

Дети хохочут, открывая свои остренькие зубки, перегибаются на пол — не так, как в твердых руках молодых матерей.

Голоса придурковатых отцов как голоса клоунов:

— А покажи, у тебя есть?.. Не-е-т, у тебя нет!..

Клоуны или вечно пьяные.

Ирина Николаевна и Лев Гумилев сидели у нее на кухне — два старых зубра, потрепанных-таки родной властью. Кровь в их жилах давно заместилась желчью. В комнате не слышно было слов, но доносились напоенные ядом модуляции их загубелых от невзгод голосов. Голоса были родственны, они купались во взаимопонимании ненависти. Серный дымок, ей-богу, курился из-под кухонной двери.

— ...И тут вдруг откуда-то берется необыкновенная нравственность, — пробился вдруг высокий голос Ирины Николаевны.

— Да-да, — послышалась радостная хрипотца, — нравственность!

В гостинице.

— В Ленинграде очень красивые здания. Старинные, конечно. А новые — это как везде, ничего особенного. Я особенно люблю Дворцовую площадь. Я историк по профессии, так у меня еще, знаете, связано с историческими событиями. С восстанием декабристов, например, как они тут стояли...

Из рассказов Веры Владимировны Зошенко:

— Кончили гимназию с золотой медалью Маруся Баранова (живет в этом же доме, всегда дружила со мной, сейчас лежит в параличе), сестры Чернышевские и Маруся Шалиско — в 1929 году преподавала в школе, была выслана за религию. Живет сейчас в Москве, пишет — «жила за *Москвой, в Черкизове*», а теперь пасынку дали в Москве — «ничего особенного, — как она пишет, — только Карл Иванович теплый». Это мы так в гимназии говорили — пойдем к Карл Ивановичу.

— Михаил говорил, что английская королева сказала о «Перед восходом солнца» — «это самое гениальное произведение эпохи».

— Когда Михаил за мной ухаживал, я ходила только в белом и черном. Мне казалось это очень тонным. В белой блузке и черной кофточке. «Шуршащая юбочка», как говорил Михаил.

16 марта. Таксист рассказывает о бурятах:

— Есть у них такой лошадь — виноходец. Он идет, как-то изгибается и не трясет — как в колыбели едешь. Так бурят как увидит виноходца — жить не может: продай!

...Они до 1936 года хлеба не ели. Ни овощей, ни хлеба — витаминов. До пятидесяти они еще ничего, а потом — рахитики. Их ноги не держат. Их в Забайкалье зовут — налим. Почему налим? Голова большая, а хвост узкий!

...по улице, по ее середине, по дорожке, едва протоптанной в снегу, где утонула скамейка, на которой любил сидеть Михаил Михайлович Зошенко —

когда он не ходил уже далеко от дома. И вдруг впереди замаячила пара, вывернувшаяся откуда-то из ворот слева.

Да, в горле могло зашипеть от этой пары.

Она — в каком-то светленьком, почти белом, не по сезону легком, изумительно коротком пальтишке, и тонкие детские ноги в белых чулочках задвигались легко и забавно по снегу.

Его она держала под руку невесомым каким-то жестом, и не девичьим, а детским, как бы слегка уцепившись.

А он тоже был забавен и мил до чрезвычайности. Он все склонялся к ней, поворачивался, и тогда видно было что-то вроде бачков, пробивавшихся на его еще не юношеских даже щеках. Он улыбался, бережно и твердо держал руку так, чтобы она могла невесомо обвисать на ней.

Конец марта — начало апреля 1971. Подмосковье.

Весна между тем наплывала на окрестные земли.

Воздух стал ясным, сияющим, а вечерами — зеленоватым.

Ели стояли в смеркающемся воздухе необыкновенно недвижимо, стройно — как свечи, что давно и не нами замечено.

Что же еще? Всем известна эта щемящая желтизна стерни, вдруг выступившей из-под снега на огромных — все еще огромных — пахотных землях моей родины.

Что нового можно сказать о том сжимающем горло ритме, в котором сиреневая, дымчатая голизна путаницы стволов и ветвей вдали, по всему краю поля, на горизонте чередовалась с синеватой зеленью хвои? Сиреневое, темно-зеленое, желтизна, убывающий снег. Сиреневое, темно-зеленое, желтое, снег. И сознание того, что сейчас это повсюду, на бесконечных российских пространствах, и это знание как-то добавлялось к цвету, свету, к тихому воздуху апрельских сумерек.

Время начинаний — было написано в самом этом воздухе.

Плотный снег уже почти не подается под шагом.

Понаблюдайте за собой. Вы увидите, как улыбка, раздвигающая ваши губы при виде тихого и быстрого ручья, зеленеющего в марте на дне неглубокого снежного оврага, не лишена лицемерия.

Бормочет, журчит, все уже сказано. Беги же, ручей! Склоняйтесь ниже, голые стволы и не ожившие еще ветки!

3 апреля, Москва.

Это был хорошо мне известный, неременный для любого городского скопления в несколько десятков человек тип молодой женщины — черноволосой, коротко постриженной и без следов завивки, в берете, в красивых очках — летом дымчатых, зимой обнажавших свое медицинское назначение. У этих женщин внимательные серьезные глаза и большой рот, в котором навсегда заключено легкое подобие насмешливой улыбки.

Садитесь вечером в любой московский троллейбус — и очень скоро вы почувствуете на себе этот полный живого внимания взгляд, умный и иронический, так отличный от обычного взгляда русской городской бабы — вперившейся в тебя с тупым, бесчувственным вниманием.

Ранняя весна.

Начальница была вполне добрая баба, явно порядочная — в том смысле, что не только сама не пошла бы доносить, но и из последних сил ума старалась бы не подвести никого, если бы ее стали расспрашивать где надо.

Но многолетняя двойная жизнь и атрофированный от нетренированности ум, отвычка от трезвого самоанализа, от логического отделения причин от следствий и т. д. привели к тому, что она в разговоре забывалась, и уже невозможно было понять, от имени какой своей половины она выступает.

И что есть силы расширив глаза, она кричала, прочитав заключение на предложенный Отделу рукописей архив:

— Что вы там развели про всякие ссылки? Кому это нужно? У нас за двадцать пять лет никто не писал такого заключения! Вы представляете, сколько людей будет это читать?

Да, подводил темперамент. Ведь здесь требовалась всего одна фраза: «Придется нам, пожалуй, убрать тут все указания на репрессии».

А она была в упоении. Близость опасных дорожек, на которые она, выученная, выдрессированная, не вступит, нет, шалишь! — ее возбуждала. Упоение мужеством ей было незнакомо. Она упивалась своей хитростью, политическим ясновидчеством.

Тяжело было слушать и Чайковского, если звуки его неслись из репродуктора, где канал был слишком прямой, прямо наставлен в ухо. В приемнике это ощущение слегка стусевывалось. Там был эфир, звуки проходили какое-то пространство, рассеивались, были обращены ко всем сразу. Не было, словом, этого ощущения рупора, просунутого в кухню из чьей-то рубки.

Репродуктор шелкнул, и звучный женский голос объявил: «Слушайте передачу „Трудовая вахта вологодских бумажников“». И сочный баритон зашлепал полными, наверно, и красными губами: «Ма-асковский поезд...»

Очередь сдавать бутылки. Сегодня берут и с этикетками, на другой день — не берут. Сегодня берут банки из-под импортных компотов, завтра — никак.

Стоят молодые женщины, интеллигентные мужчины.

У немой девушки не взяли несколько бутылок — и она *немо* зарыдала.

Усталые, берегущие свои нервы, брезгающие вступать в ссору с пьяным наши городские мужчины.

Наши женщины, острвенелые, истомленные жизнью с импотентами.

Страшный город Москва.

6 апреля. Смена сезонов — единственный род событий в жизни одиноких людей. С ними лично давно ничего не случается, но благодетельный полет земли вокруг солнца идет своим чередом — и вот зима убывает, появляются первые знаки весны. Как не принять с благодарностью это кем-то для них приготовленное и такое неоспоримое *происшествие*!?

Доклад Аверинцева в Институте истории искусств — о *золоте*.

Светоносность *славы* как библейская традиция: «Облако в славе лучей» (Ахматова).

По Проклу золото — это отвердевший в земле солнечный луч.

...Библейский образ — в горниле огнем очищаемого и испытываемого золота. Этот образ «был принят близко к сердцу» ранним христианством.

...Мудрость — свет — слава — пресуществование — нетленность — все суть свойства золота.

12 апреля. 50-е заседание Клуба книголюбов в ЦДЛ.

Неисповедимы пути психологии слушателя.

— Южаков в Швейцарии воспитывал племянников председателя Государственного совета Родзянко, — говорит Ираклий.

Слышится залиvistый женский смех. Кто объяснит его причины?

Впереди, в самом первом ряду, прямо под ногами президиума, сидел самый подлинный, настоящий герой «Скверного анекдота» — не повести, а фильма 1969 года. Каждая часть лица жила у него отдельно — и как жила!

13 апреля. Доклад Натана в Пушкинском музее. «Пиковая дама».

— ...Пушкин никогда не идет любовым путем. «Случай!» — говорит у него Германн, а казалось бы, он должен быть ближе к мистике...

...Полетели вдруг, побежали сухим горошком слова «необходимость», «случайность» — слова сорокалетних людей.

И робко поплыли слова, пятьдесят лет пролежавшие в памяти семидесятилетних, упрятанные от посторонних взоров: «мистический опыт», «прозрение».

16 апреля, Стромынка.

За темно-красным куполом диспансера открывалось голубое, яркое небо — той нарядной, слегка олеографической голубизны, какой бывает оно только в Москве и никогда не бывает в деревне, где нет городского резкого контраста между природой и неприродой, нет *рамы* для кусочков природы, как в городе.

27 мая. Отчетно-выборное собрание. Доклад Наровчатова:

...Если литература вызвала одобрение партии, значит, она его заслуживает.

...Первостепенные величины — Бунин, Куприн, Шмелев, Бальмонт.

...Необходимость антикапиталистического романа. Это самое уязвимое звено в нашей литературе (а Кочетов?..).

Иностранная комиссия разрабатывает практические меры для выполнения этой задачи.

...Рассказов мало, и эту прореху надо латать (почему?).

(Торжественно.) Перехожу к основным задачам организации.

2 июля. Опять статьи под названием «Бессмертие» прежде, чем замуровали, опять хотят уверить, что смерти нет, хотя, чтобы не успели расстроиться.

Похороны космонавтов

Келдыш — мягким, медовым голосом, интонации дьячка, обволакивание. Энергично, без реверансов, ни на кого не глядя (а Б. поглядывает на него — едва ли не подобоострастно) говорит Шаталов. Под конец только с жестковатой интонацией: «Заверяем... будем и дальше».

Терешкова стоит среди космонавтов как муза скорби, причесанная пышно, с проваленными глазами. ...Глаза двенадцатилетней дочери Добровольского.

Разговоры

9 июля. Взрослые женщины разговаривают как дети:

— Она меня *не поняла*. Люська и Нина — эти меня давно поняли, а она нет. ...Положит нога на ногу и говорит: «Я в этом году думаю строить курс совсем по-другому... Буду больше давать теории...» Люська и Нина ничего, а я, конечно, завелась. Я вообще от таких вещей сразу завожусь.

(Ей под сорок, обручальное кольцо на руке...)

13 июля. Во дворе Чистого переуллка, на скамеечке. Несколько женщин в серых вязаных платках, повязанных точно так, как тридцать — сорок и более лет назад.

— ...А махотки наставят — кто топленое, кто какое.

— А теперь — что ты! — чашку чаю-то не дадут.

— ...Вот помреть кто — один несет, другой несет. ...Корова-то яловая, а то не отелится. Так все несут. У нас был острог — тюрьма — не знаю, цел ли уж — трехэтажный. И к Рождеству, и к Пасхе — кто яичко, кто творожку — всегда носили. А сейчас! Бывало, скажет мама — пойдём, обязательно надо снести.

— ...Пойти чулки одеть — ногам-то холодно.

— ...Пока я не намажу — не усну.

— А у меня вроде ничего нет, нет ничего, а вот потянуться хоцца — так и сведет, как ремень сделается, я прямо заплачу.

— ...Вот так, дорогая моя.

— Лето... зима завьюжит — и не выйдешь.

Вы ныряли в длинную, как тоннель, прохладную и грязную подворотню — и в узком тесном дворе прямо на вас вылезали огромные, старые, высоченные, буйно облитые июньской листвой московские тополя и липы.

Петр-Павел день убавил (12 июля).

На одной скамейке, на круглом крохотном скверике сидели старушки, а с другого крыльца, в другом конце двора, слышался охальный гогот — будто задержавшийся здесь с двадцатых годов.

— ...Когда нас громить будут — не знаю. Когда наш дом-то громить станут?

А на уголке, у кирпичного — тюремного темно-красного кирпича — дома висело белье — большие белые простыни. Всему нашлось место.

Здесь всегда было тихо. Шум улицы не долетал сюда совсем. Букашки какие-то валились на голые руки. Розовели на просвет нежно-зеленые *носики* в гуще кроны.

14 июля. Вдовы цеплялись за меня своими хладующими руками; слабыми телами они старались прикрыть тени своих мужей, защитить их, недобравших славы при жизни, от бесстрастия исследовательского разума, потому что бесстрастию этому приличествовало появляться лишь *вслед* за славою, иной порядок был безнравственен.

15 июля. Коломенское.

С XIV века здесь князьи хоромы. Приказные палаты XVII века. Здесь судили за медный бунт.

Изразцы: «Восток и Запад» — два голубка летят друг от друга. «Дух мой будет сладок» — букет. Два горящих полена — «От многого потирания является огонь». Голубок летит от древа — «Не вскоре поймаюсь». Конь идет через игрушечный огонь — «Неробкая верность». Юноша и девица — в эллинско-русских одеяниях под деревом: «Любовь нас *рожигает*».

17 июля. Это был хорошо знакомый мне взгляд — неподвижный, вдумчивый, спокойный, лишенный зависти и любых других страстей и наполненный одним лишь привычным терпеливым вниманием. Так смотрят в вагонах поездов и метро, на длинных эскалаторах, в автобусах — везде, где люди поневоле оказываются на какое-то время друг перед другом, незамужние женщины на женщин с обручальным кольцом на худых и пухлых, на смуглых и розовых пальцах.

Они не ропщут, а терпеливо ищут и не находят разгадку.

[Когда-то в начале семидесятых.]

Старушка в троллейбусе — энергично пробивающемуся к выходу Грибанову, язвительно:

— В Израиль торописси?

...Вот бывают такие годы, помеченные не общественным каким-нибудь крупным событием, а так, мелочишкой, но очень заметной. Это, например, был тот год, когда все вдруг завели маленьких беленьких собачек — и лохматых, с короткими крутыми завитками, и совсем короткошерстно-плюшевых.

Когда ни выйти на улицу — утром, днем, в сумерках, — всегда можно было увидеть белого щеночка, почти неразличимого на белом снегу.

(Продолжение следует.)

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ

*

О ДУХЕ ВРЕМЕНИ И ЧУВСТВЕ ЮМОРА

Кто бывал в Вене, знает барочное здание в восточном уголке старого города, в старом университетском районе, наискосок от иезуитской церкви. Внутри — фрески XVIII века: аллегорические фигуры Наук и Добродетелей в облаках и лучах, мягкая такая фактура. Когда-то там была резиденция Университета, при Франце-Йозефе переехавшего на Ринг; сейчас там обретается австрийская Академия наук, устроившая в начале 1995 года трехдневные публичные чтения, из коих первый день был посвящен темам философским (в довольно расширительном смысле слова); второй — темам теологическим; третий — политическим. Должен сознаться, что для меня лично наиболее удавшимся оказался средний, теологический день (в основном за счет прекрасного доклада И. Б. Метца); но сам я был приглашен говорить в первый день. У меня были две причины принять приглашение. Во-первых, оно исходило от человека, своей редкостной добротой и теплой отзывчивостью заслужившего глубокое уважение: его звали Вольфганг Краус, он был автором ряда книг эссеистической прозы и возглавлял венскую писательскую организацию; за минувшее с тех пор время он, увы, оставил этот мир. Во-вторых, меня привлекала мысль говорить в барочном зале...

Когда кончилась моя речь, когда кончилась даже последовавшая за ней краткая дискуссия, в зал вошла профессиональная феминистка¹. Пройдя к микрофону, она заявила: «Я не была на докладе, он меня не интересует. Для меня важно только одно: в президиуме мужчин на одного больше, чем женщин». Не в микрофон, не на весь зал, но довольно громко я заметил: «О более подходящей иллюстрации к моему выступлению я не мог бы мечтать!» Те, кто сидели в ближних рядах, расслышали — и лица были позабавленные.

Речь опубликована в журнале: «Conturen. Das Magazin zur Zeit», 1997, № 1, S. 56 — 60. Читателям «Нового мира» я решаю предложить авторский перевод, который я старался сделать настолько точным, насколько это было возможно, за вычетом мелочей: скажем, строку из Катулла я предлагал по-немецки в несколько вольном, но чудесном переводе старого Эдуарда Мёрике — по-русски это не имело бы никакого смысла; подобным же образом снято несколько полуцитат из немецких классиков. Но я прошу читателя все время помнить, что целый ряд мелочей, в переводе сохраненных, рассчитан именно на венскую публику.

Как знает всякий, ни магнита, ни источника тока не бывает и не может быть без противоположности взаимосоотнесенных полюсов. Положительный полюс мгновенно перестает существовать, если отнять полюс отрицательный, и наоборот. Только из противоположности, из полярности, из напряжения возникает игра энергий. Этому когда-то учили нас Гераклит и Лао-цзы. Об этом говорят такие формулы мудрости, как $\rho\acute{o}\lambda\epsilon\mu\omicron\varsigma\ \pi\alpha\tau\eta\rho\ \pi'\alpha\upsilon\tau\omega$ ² и инь и ян.

Аверинцев Сергей Сергеевич (род. в 1937 году в Москве) — филолог, историк культуры, литературный переводчик, поэт; профессор МГУ и Венского университета. Постоянный автор «Нового мира», где одна из последних публикаций — «Гёте и Пушкин» (1999, № 6; см. там же более подробную биографическую справку).

¹ Просьба не понимать этого выражения метафорически: в Австрии они часто состоят на окладе (как «освобожденные» партработники во время оно у нас).

² Борьба — отец всего (греч.).

Я отнюдь не намерен предлагать новую — сотую или тысячную? — дефиницию юмора. Моя аргументация вращается не вокруг определения этого феномена, столь важного для природы человека как *животного смеющегося, animal ridens*, — но вокруг его предпосылки. Эта предпосылка точно так же необходима, как в случаях магнита и тока. Нет и не может быть юмора без противоположности взаимосоотнесенных полюсов, без контраста между консервативными ценностями — и мятежом, между правилом — и исключением, между нормой — и прагматикой, между стабильными табу унаследованной этики — и правами конкретного, единократного, действительного; и притом необходимо, чтобы эта противоположность воспринималась достаточно остро, чтобы она вправду доводила до слез — но и до смеха, иначе — какой уж юмор? А это значит, что человек способен к юмору в том случае и в той мере, в которой он остается способным к соблюдению заветов и запретов.

Неспроста к лучшим проявлениям человеческого юмора принадлежат **клерикальные анекдоты**. Ведь и Франсуа Рабле был персона духовного чина. Ощущая себя в самой непосредственной близости наиконсервативнейших табу, часто погружаясь в волны густого запаха святости, человек нередко получает особенно благоприятное расположение к юмору. И далеко не случайно обнаруживается, что качество клерикальных анекдотов состоит в прямой зависимости от реальной заинтересованности той или иной нации или группы в религиозных материях. В мире католическом особенно хороши клерикальные байки, скажем, у ирландцев, у поляков... (Вот ирландка спускается по ступеням церкви после исповеди и причастия, а на нее накидывается с бранью ее местная врагиня. Она отвечает: «Как нехорошо с твоей стороны нападать на меня сейчас, когда я в состоянии благодати. Но смотри, долго я в этом состоянии не пробуду!» Как важен для самой субстанции этого анекдота католический термин «состояние благодати!»)

Адогматическое христианство способно, пожалуй, на подлинную нравственную высоту. На что оно не способно, и притом по самой своей сути, так это на чувство юмора. Чтобы отыскать смех, парадокс, дерзновенную, вибрирующую на границе кощунства игру мыслей, придется направиться к какому-нибудь старомодному защитнику догмы: скажем, к проповедникам эпохи барокко вроде Абрахама а Санкта Клара или хотя бы поближе — к Леону Блуа, к Честертону. Самые отчаянные шутки во всей истории русской культуры обретаются у Владимира Соловьева — мистика из мистиков, визионера, аскета. Он был вправду способен заразительно, захватывающе смеяться именно потому, что был способен и к абсолютной серьезности. Чтобы дерзновение оставалось вправду дерзновением, а не симуляцией дерзновения, юмор должен постоянно ощущать себя в присутствии столь же подлинной, жесткой, непоблажливой серьезности.

Так обстоит дело с остроумием клерикальным и околоклерикальным. Дальше помянем хотя бы **еврейский юмор**. Разве этот отменный феномен мог существовать как целое без сакральной идеи народа Божия? Вот цитата из «Доктора Фаустуса»: «Я, как вы знаете, еврей. Фительберг — архиеврейская фамилия. У меня в крови Ветхий Завет — не менее серьезная штука, чем немецкая сущность», — так говорит этот персонаж Томаса Манна, только вот вместо «немецкой сущности» хочется в нашем контексте подставить что-нибудь вроде «клерикальной сущности». Что же, в библейской перспективе евреи как раз и суть народ священствующий; поэтому представляется не вовсе бессмысленным объединить в нашей классификации еврейский юмор с юмором клерикальным. Особенно остры шуточки, относящиеся к тяжбе между еврейством и христианством, скажем, когда еврей дразнит католического священника, приставая к нему с вопросом, правда ли, что тот ну никак не может подняться выше папского сана — а *один из наших*, знаете ли, уже Бог, вот оно что!

Суть всякого действительно острого **политического юмора** всегда прямо или косвенно соотнесена с противоположностью между конформизмом и протес-

том. Чтобы обосновать достаточно качественный юмор, эта противоположность должна быть достаточно убедительной, подлинной и серьезной. В любом тоталитарном обществе ее серьезность была в самом буквальном смысле смертельной серьезностью. В моей России, как и на всем пространстве государств-сателлитов, неуютное время сталинского и затем брежневского строя провоцировало удивительный подъем культуры политического анекдота. О, каким великим становится это искусство, когда оно дает индивиду последний шанс не погибнуть от удущья! Конечно, приходится пожелать, чтобы в нашей жизни больше не было таких факторов расцвета юмора. Но сегодняшняя ситуация как раз в демократических и «развитых» странах делает исходное распределение ролей между «филистером» и «бунтарем» весьма сомнительным, а то и вовсе мнимым. Новая ситуация пророчески предугадана в одном стихотворении русского поэта Вячеслава Иванова из 1944 года:

...Теперь один запас понятий,
Один разменочный язык
Равняют всех в гражданстве братий;
Обличья заменил ярлык.

Бьют тем же шаром те же кегли
Бунтарь, епископ и король...

Нигилист — нынче уж не бунтарь, едва ли даже циник в настоящем смысле слова, потому что он больше не стоит «против всех». Важнейшие приметы бунтарства, например, компоненты идеологии студенческих мятежей в Сорбонне 1968 года, сегодня превратились в господствующий trend, в условие political correctness. Отмена всех обязывающих табу, особенно в сексуальной сфере; вульгарный феминизм, de facto стремящийся отменить как раз творческое в женщине и разрушающий традиционное уважение к материнству; демонтаж всех культурных иерархий и знаменитый антиэлитистский принцип «ты не лучше меня»; принципиальное превосходство самодовольного невежества над «Пайдейя», — все это уже принадлежит, говоря по-флоберовски, сфере *idées reçues*, «прописных истин», аксиом, принимаемых автоматически и без всякой критики. Уж если что-нибудь и сегодня, посреди всеобщей отмены табу, вправду остается табуированным, так именно решимость поставить под вопрос какую-нибудь из этих аксиом. Разумеется, защитники вышеописанной идеологии нередко и сегодня по старой привычке принимают патетические позы, пытаются уверить, будто они всё еще обречены на скорбную участь бунтарей. Но в этом слезливом тоне выражает себя не серьезность господствующего *тренда*, а всего лишь присущее ему отсутствие юмора. Наш опыт советских лет, опыт реального риска, реальной опасности каждого решения быть не таким, как все, возбраняет нам играть в эту игру и пренебрегать различием между настоящей и деланной серьезностью.

Что касается шуток **эротических**, этого древнейшего и наиболее общечеловеческого рода юмора, старого, как само человечество, то они, эти шутки, обусловлены тем, что пол всегда был привилегированным объектом структурирующих табу. Русский священник и философ XX столетия о. Флоренский держался мнения, что строгость и многообразие запретов указывает никоим образом не на низшую, религиозно неполноценную природу пола, но, напротив, на его сакральное достоинство; ведь всему культовому приличествует быть огражденным строгими табу. Нынче провозглашают отмену всех табу. Для культуры эротического юмора это катастрофа. Может быть, сегодняшние сексуальная революция и «сексуальное просвещение» сделают невозможной на будущее высокоую поэзию целомудрия, — кто знает, кто знает, я лично не совсем в этом уверен, ибо всякая подлинная поэзия, как всякая подлинная христианская святость, есть по своей сути протест против духа времени, усилие освободиться от его власти, и осуществляет себя e contratio; но сейчас у меня иная тема. Я хотел бы подчеркнуть другое: что-нибудь вроде «Декамерона»

или «Гаргантюа», то есть шедевры бесцеремонной сексуальной шутки, в новом контексте, обусловленном сексуальной революцией, уж точно станут навсегда немислимыми и неповторимыми. Всякий юмор в этой области утрачивает основу и предмет. *Lugete o Veneres Cupidinesque!* «Плачьте вы, Купидоны и Венеры!» — как было сказано у великого Катутла.

Древняя традиция гениальной эротики пришла к концу. Сексуальная революция разоблачает себя как то, что она есть: как революция *против* прав Эроса. Мнимая вседозволенность — «запрещать запрещено!», как писали на стенах в Сорбонне 1968 года, — предполагает, однако, один скрытый запрет, и притом весьма важный: Эросу воспрещается что-то значить, иметь смысл. Но в абсолютной зависимости от смысла Эроса находится самая возможность относящегося к Эросу смеха.

Что уж там христианская или хотя бы языческая добродетель, если любая пристойность в грехе, *every decent sin*, как сказано у Честертона, в этой атмосфере становится немислимой.

Подведем итоги: если диалектическую предпосылку юмора и комического составляет неуступчивая, неподатливая серьезность, то, напротив, столь типичная для нынешнего времени вездесущая, монотонная, всеми принятая и никого больше не шокирующая, даже и не привлекающая к себе ничего внимания фривольность, в сфере которой уже ничто не бело и не черно, а только серо, означает конец юмора. Человеку дан роковой выбор между отсутствием юмора — и серьезностью; третьего не дано. Разумеется, серьезное отношение к идеалам и ценностям в любое время способно порождать проблемы, имеющее более или менее «травматическое» действие. Наши современники чересчур согласны рассматривать проблемы, что называется, экзистенциальные, проблемы души, как проблемы психики, соответственно улаживаемые методами психоанализа и психотерапии. Мое почтение великому венцу Зигмунду Фрейду — но, Бога ради, не будем давать его неисчислимым последователям последнего слова в экзистенциальных вопросах! Как сформулировал когда-то Райнер Мария Рильке свои резоны против того, чтобы даваться в руки психоаналитикам: *изгоняя моих бесов, они разгонят заодно моих ангелов*. Ах, в числе этих ангелов, чье присутствие с нами нынче под угрозой, оказался и достойный ангел юмора; это мы знаем по опыту. Чересчур удобная и беспроблемная, одним словом — чересчур обезболенная жизнь становится лишена значительности, и вот уже жить не стоит — по-гречески, на языке Аристотеля: Βίος οὐ βιωτός.



ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ

*

И ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУДЯТ

А совесть где ж теперь? — в Америке была,
Да и оттоль куда-то уплыла.

Федор Глинка.

Главным мировым событием 1999 года останется, вероятно, драма на Балканах. Можно предположить, что по свойству человечества забывать мивнувшие скорби, тем более чужие, она будет так же неинтересна потомкам, как сегодняшнему читателю «Анны Карениной» неинтересна сербская война, на которую отправляется Вронский, не знающий, куда еще себя девать. Но в нашей собственной истории она может оставить недобрую зарубку: в российское общество вернулись и могут задержаться в нем настроения «холодной войны», хотя бы и в значительно смягченном и отчасти скрытом виде.

Задача на сегодня — дать возможно более точную оценку действиям Запада, не глядя на то, чем окончилась война или, если угодно, «операция». Она ведь могла кончиться иначе. Будь сербы такими, какими они были еще лет сорок назад, они бы, наверное, зарылись в землю и выдержали любые бомбардировки (было бы это к лучшему или к худшему — слишком трудный вопрос, на который я не берусь ответить); и тогда натовские паладины надолго увязли бы в Югославии и «операцию» все чаще называли бы авантюрой. Но сербы расслабились под влиянием как раз западной культуры, а Западу позволили одержать эффектную победу его высочайшие технологии. И теперь мысль, что «победителей не судят», подспудно напоминает о себе, когда дело идет о Югославии. Тем более, что и х правда — весомая и даже несущая в себе долю бескорыстного альтруизма.

Перефразируя известное выражение, можно сказать, что дьявол здесь в оттенках, в полутонах и четвертьтонах.

Можно, правда, начать с того, что было явно нарушено международное право, и кем — как раз теми странами, которые его «выдумали». В данном случае Запад напоминает учителя, советующего всем поступать так, как он учит, а не так, как поступает он сам. Но главное, наверное, все-таки не в этом. В конце концов, правовой фетишизм тоже способен создавать тупиковые ситуации. И мировой форум, каковым является ООН, иной раз оказывается слишком «неповоротливым», когда надо принять какое-то определенное решение. Что, конечно, будет случаться и впредь. Более того, футурологи прогнозируют нарастание хаоса в международных отношениях в XXI веке (уже и сегодня в мусульманском мире крепнут голоса, отвергающие международное право как созданное Западом для себя и в своих интересах). Так что в принципе можно допустить такие ситуации, когда односторонние силовые акции, предпринятые какой-либо страной или группой стран, будут объективно оправданы.

Каграманов Юрий Михайлович (род. в 1934) — публицист, историк, культуролог. Постоянный автор и лауреат нашего журнала. Последние публикации на страницах «Нового мира»: «Черносотенство: прошлое и перспективы» (1999, № 6), «Америка далекая и близкая» (1999, № 12).

Случай с Югославией — явно не тот. Здесь бросается в глаза определенное несоответствие — между причиной и следствием, виной и наказанием. Постольку, поскольку Милошевича действительно необходимо было осадить (а он не всегда был не прав: я считаю, например, что он был прав, когда не хотел допустить референдума в Косове), надо было продолжать давить на него экономическими санкциями и некоторыми другими средствами, вместо того чтобы устраивать такой тарарам с почти апокалиптическими картинами разрушения и погублением тысяч людей.

На память приходит один старый вестерн (фильм называется «Перестрелка в Додж-Сити» или «Происшествие в Додж-Сити», точно не помню): там молодой, стеснительный поначалу шериф, однажды справившись с бандой злодеев, делается излишне самоуверенным, матерет и уже проверяет свою силу на людях скорее слабых, чем порочных. Что-то похожее произошло на Балканах.

Я недаром взял пример из американской мифологии: война в Югославии — преимущественно американская война. Большинство европейцев поддержало ее из соображений «атлантической солидарности», из укоренившейся привычки равняться на заокеанского партнера. Известный немецкий философ Ю. Хабермас утверждает, что в Европе многих из тех, кто сказал «да» натовской «операции», одолевали сильные сомнения в правильности сделанного ими выбора. Особенно это относится к консерваторам, которые, в отличие от левых, сторонников общих схем и единых шаблонов, глубже чувствуют исторические реальности. Думаю (и надеюсь), что сомнения такого рода с течением времени будут только крепнуть. Да и тех, кто прямо сказал «нет» войне, в Европе набралось немало, особенно в интеллектуальных кругах.

Положим, этнический конфликт между сербами и албанцами — борьба непросветленных тел в густом тумане (где на первый план, как обычно бывает в подобных ситуациях, с обеих сторон выступают ущербные в моральном отношении личности). Но так ли уж светносен судия, взявшийся их рассудить столь брутальным образом? Это в кино еще гарцуют такие рыцари, которые лучше справедливостью. Хотя, заметим, даже в кино они теперь нередко демонстрируют и жестокость (пусть в интересах правого дела, как они его понимают), и злорадство, и очень «современный» вкус к разрушению.

Но даже Идеальный Американский Герой, каким его в оны времена воплощали, скажем, Джон Уэйн или Гэри Купер, хорош, так сказать, на своем месте. Когда он появляется в каком-нибудь заштатном Додж-Сити, ему с ходу становится ясно, кто есть кто в этом городке; и значит, что надо делать. Но он легко может попасть впросак в палестинах Старого Света, где «проблемы» бывают с бородой и узловатыми корнями.

Исконное слабое чувство истории не дает американцам возможности заполнить некоторые существенные пустоты даже у себя дома; что уж тут говорить о других странах. Конечно, у них есть эксперты, которые неплохо разбираются в заморских делах, но их роль в проведении внешней политики остается, как правило, скромной. Все решает политическое руководство, при том, что значительное давление на принятие решений оказывает «фон» — человеческая масса, определяющая свои симпатии и антипатии исходя из той информации, которую дают СМИ (и которая структурирована соответственно с ее же запросами). О Югославии она знает только, что Милошевич — типичный злодей-диктатор (и это — сильно шаржированный Милошевич), с которым надо разделаться; другие аспекты косовского вопроса в ее сознании не фиксируются. Этнические конфликты американцы вообще склонны рассматривать как некое недоразумение; они считают, что людям надо просто разъяснить, как хорошо жить в условиях либеральной демократии, и тогда все брани улягутся сами собой.

Нельзя не признать, что и такая Америка делает во многих отношениях нужное дело. Это хорошо, что повсюду в мире она отстаивает «право права»; в частности, права человека и нацменьшинств. Но есть ведь и другие права, не всегда прописанные на бумаге, которые тоже надо брать в расчет.

Например, право народа на территорию, которой он владеет. Сразу оговорюсь, что его не следует понимать в каком-то абсолютном смысле (как нам внушали в советское время). Земля — Божья, и в Его власти даровать ее народам или, наоборот, отнимать ее у них. В Коране на сей счет прямо сказано (привожу по памяти): недостойные народы Аллах «заменяет» (на карте мира) другими. Но это, конечно, не значит, что их, достойных или недостойных, можно считать чем-то вроде постояльцев. Особенно у народов, имеющих долгую историю, складываются интимные, таинственные связи с той землей, на которой они обитают. Таковы у сербов связи с Косовым краем (взгляните на карту XIV века, последнего в сербской независимости: основную часть территории королевства составляет именно Косово). Что такого совершили албанцы, чтобы Аллах «заменял» ими сербов на этой земле? Разве что плодились быстрее, но эта заслуга не столь уж значительна. Скорее это один из случаев полусознательного применения «демографического оружия», по-своему коварного, «стреляющего» невинными младенцами. Так что нельзя было в данном вопросе целиком становиться на сторону албанцев (тем более — АОК, чья идеология представляет собою гремучую смесь из элементов сталинизма, гитлеризма и исламского фундаментализма). НАТО, правда, требовало и продолжает требовать от них оставаться в составе Сербии, но в случае албанизации Косова полное отделение его неизбежно совершится рано или поздно.

Было время, когда американцы свою глобальную миссию понимали несколько иначе. Отцы основатели республики учили: мы должны заражать другие народы своим примером, избегая вмешательства в их дела. Конечно, мир стал иным, чересчур «тесным», отчего в отдельных случаях вмешательство одних стран в дела других становится почти неизбежным. Но иными стали и американцы: они в значительной степени утратили чувство собственного несовершенства, некогда им не чуждое, как не чуждо оно вообще народам, исповедующим христианство. Их идеализм (как они сами его называют) в аспекте внешней политики стал более настойчивым, более «мускулистым»; заметнее стала аура собственной праведности, «покрывающая» и те составляющие их внешней политики, которые отнюдь не являются идеалистическими.

Идеализм в данном случае выражает, как сказал бы сэр Джон Фальстаф, лишь «освященный участок на лице». Есть и другие, неосвященные. Если не корысть выражают они (когда американцы говорят, что им «ничего не надо» в Косове, в материальном смысле это, наверное, правда), то, во всяком случае, заметное по некоторым подрагиваниям мышц упоение собственной силой, «волю к власти», желание устроить мир по-своему.

В самом идеализме их есть нюанс, передаваемый репликой одного не очень симпатичного персонажа из старого фильма об Айболите: «А кто не захочет, чтобы я делал добро, я того в бараний рог скручу». Нюанс далеко не случайный. Выдающийся американский теолог Рейнхольд Нибур (уделявший внимание также вопросам внешней политики) писал: «Без чувства всеобщей эгоцентрической испорченности страсть к универсальной человечности преобразуется в ненависть к тем, кто проявляет свою самость иначе, чем проявляет ее вы»¹. Что мы и наблюдаем на Балканах.

Лишь на первый взгляд сказанное противоречит такому психологическому качеству, отличающему современных американцев — впрочем, и европейцев тоже, но к американцам это относится в еще большей мере, — как терпимость (которую иногда хочется даже назвать чрезмерной). Ибо терпимость проявляется лишь в рамках определенных «правил игры», порою весьма жестких. Такое вот сочетание кротости и крутости.

Но вот что хотелось бы подчеркнуть: «место», откуда следует подвергнуть критике Америку и Запад в целом, не должно иметь ничего общего с совет-

¹ Niebuhr R. Christian Realism and Political Problems. L., 1955, p. 22.

ской традицией антизападничества и особенно антиамериканизма, увы, еще очень живучей, как это показал всплеск противоамериканских настроений на другой день после того, как начались бомбардировки в Югославии. Многие люди старших поколений по-прежнему смотрят на Америку глазами Кукрыниксов, принимая ее за средоточие едва ли не всех зол, какие есть на свете. К ним подстраиваются молодые люди, движимые, очевидно, иными мотивами. Они кое-что знают об Америке, отчасти даже «заражены» ею и досадуют лишь, что не по карману им калашный ряд; зависть толкает их клясть заокеанского гегемона, сумевшего проникнуть в их души. Кроме зависти тут есть, наверное, и чувство «своей команды», но это далеко не то же самое, что патриотизм.

Еще хуже, что духом «холодной войны» дышат «мужи совета» — многочисленные эксперты из разного рода научных учреждений и фондов (и дышали им еще до того, как НАТО сделало свой *faux pas*, ложный шаг на Балканах). Как пишет один из них, которому разговоры о «негативных» (так — в кавычках!) сторонах «холодной войны» успели «набить оскомину», «логика ее („холодной войны”. — Ю. К.) возникновения и развития была по сути своей традиционной и понятной» (я цитирую вполне научный по видимости сборник «США и внешний мир» /Издательство Московского университета, 1997/). Такой или близкой точки зрения придерживается подавляющее большинство экспертов; разница между ними в том, что одни из них вину за возникновение «холодной войны» целиком возлагают на Соединенные Штаты, а другие «великодушно» готовы признать, что и СССР несет свою долю ответственности за нее. Задача на будущее, с их точки зрения, — в возобновлении силового противостояния, хотя бы и в более «мягкой» форме и только после того, как удастся восстановить отошавшую плоть: «вымотанную лошадь... надо сначала откормить, дать отдохнуть», а потом еще раз выводить на скачки (цитирую «Литературную газету» от 4 ноября 1998 года). В свете последующих действий НАТО на Балканах такая позиция кому-то может показаться прозорливо «патриотической».

Считаю воистину патриотической задачей трезвую оценку той роли, какую СССР играл в мире на протяжении всего послевоенного периода, что в огромной степени предопределило нынешний расклад сил и прав (равно как и неправд).

Даже если взглянуть на дело с чисто эгоистической и прагматической точки зрения, то есть с точки зрения элементарного обеспечения безопасности страны, придется констатировать огулительный провал советской внешней и военной политики едва ли не «по всему фронту». На исходе Второй мировой войны положение СССР в мире (если отвлечься от внутренних процессов, которые тогда не разглядеть было со стороны) оказалось блестящим, и не только в военно-политическом, но и в моральном смысле (избавили мир от коричневой чумы!). И что же? Еще многие ветераны великой войны не утратили былой выправки, как весь первоначальный «капитал» был профукан. Вослед «перестройке» армия начала стремительно рассыпаться, и если бы не оружие запредельной мощи, пока еще сохраняющееся в арсеналах (специалисты говорят, что его хватит лет на десять — пятнадцать), трудно сказать, сумела бы она справиться хоть с мало-мальски серьезными супостатами, когда бы таковые случились. «Союзники» отложились при первой представившейся возможности и со всей допустимой скоростью устремились в объятия противной стороны. Даже родная Украина стала косить в сторону НАТО.

Если бы в сорок пятом спросились с умом, можно было бы, наверное, обеспечить безопасность страны на доброе столетие вперед. Всего-то надо было — не создавать себе врагов. Единственной страной, способной тогда противостоять СССР, оставалась Америка, но Америка не была врагом (и это не вопрос оценки, а вопрос элементарного знания исторических реальностей). Что бы ни думали американцы о советских порядках, они в этот момент в общем и целом были настроены в отношении СССР вполне миролюбиво, отчасти даже дружелюбно, и сквозь пальцы смотрели на бесцеремон-

ное поведение советских на вроде бы освобожденных ими землях. (По окончании войны некоторые руководящие деятели США, включая Д. Эйзенхауэра, даже допускали конъюнктурное блокирование с «Россией» против Англии как «империалистической» державы; кажется невероятным, учитывая тесные связи между двумя англосаксонскими «сестрами», но — факт.)

Каждый, кто «занимался» Америкой, знает, сколь сильно было в американцах традиционное отвращение к милитаризму и сколь устойчива была тяга к изоляционизму. После Первой мировой войны Соединенные Штаты сохранили сильный военный флот, но сухопутные войска сократили до ничтожных размеров и свое участие в мировой политике свели к минимуму. Судя по всему, к тому же дело шло и после Второй мировой войны; во всяком случае, разоружение, которое они провели, тот же Эйзенхауэр (отнюдь не милитарист) назвал «истерическим». Правда, у американцев, и только у них, была теперь атомная бомба. Но с одной атомной бомбой, тем более тогдашнего скромного калибра, невозможно было предпринять завоевательный поход, для этого нужны были сухопутные войска. А сухопутные войска в Соединенных Штатах после проведенного (к 1948 году) сокращения по своей численности вдесятеро уступали советским. При таком соотношении ни о какой агрессии с их стороны не могло быть и речи.

Чтобы сделать из Америки врага, надо было постоянно давить войсками по всему периметру новой советской империи, наступать сапогом на все хотя бы чуть-чуть непослушное или даже просто непохожее, шарить по всему земному шару в поисках очередного места, откуда можно было бы навредить вчерашним союзникам. Зачем это было нужно Кремлю или, точнее, советскому правящему слою, определявшему диапазон и основные направления внешней политики (далеко отошедшей от принципа, как его определил Карамзин, «умеренной державности», которому с большей или меньшей аккуратностью следовали русские цари)? Темна вода. Что-то осталось здесь от бесов, раздувавших пожар мировой революции (хотя смысл такого рода экспансионизма радикально поменялся). Угадывается и Фобос, сын Ареса: страх перед непонятным «большим миром», естественный у культурно неразвитых советских начальников, шагнувших из грязи в князи, находил выход в агрессивных действиях.

Методичное давление «по всем азимутам» давало свои плоды; посасывая трубку, Сталин «перевоспитывал» Америку: она научилась спать, так сказать, сжимая в руках оружие. Впервые за всю свою историю американцы вынуждены были в мирное время завести большую армию, поддерживать в рабочем состоянии гигантский ВПК и вырастить, в значительной мере по образцу КГБ, сильную разведку. То есть все те учреждения, что в итоге пересилили соответствующие советские учреждения и заставили их отступить. Подобно плохому волшебнику, Сталин вызвал к жизни целый сонм чудовищ, которые, не будучи в силах справиться с противной стороной, в конечном счете обратились против его собственного народа.

Все годы «холодной войны» у нас ловили агентов американского империализма, продавшихся врагу за тридцать сребреников. Но что могли сделать эти мелкие пакостники такой махине, как советская империя? (Пушкин считал, не без некоторого на то основания, что шпионы вообще так же мало нужны, как буква «ъ».) Другое дело, если употребить слово «агент» в более серьезном смысле объективно действующей посреднической силы. Вот агентов в таком смысле стоило найти и наказать, но их и не надо было искать — они были на виду и наверху. Псарь, утвердившийся на царстве, вознамерился «похоронить» Америку, но по неразумию своему все делал для того, чтобы ее-то как раз усилить и, наоборот, свою страну ослабить — как не назвать их агентами американского империализма? Частный случай проявления того, что называют иронией истории.

Я отнюдь не отождествляю американский империализм с Америкой. Это разные материи, более того, в оны времена — трудносовместимые. Мейнстрим

американской жизни всегда противился чрезмерному увлечению какими бы то ни было заморскими акциями, тем более что такого рода увлечения неизбежно вели к усилению относительно закрытых (поскольку это возможно в открытом обществе) институтов, всегда склонных вести свою собственную игру и руководствоваться собственной, спецификой дела диктуемой, логикой. Даже сегодня американцы — о чем можно судить хотя бы по их фильмам — косо смотрят на плотно запертые двери разных важных учреждений, где вершатся мировые дела: демократический инстинкт подсказывает им, что у людей, которые там сидят, могут быть какие-то «специальные интересы», отличные от интересов общества в целом.

Впрочем, не так уж давно даже те американцы, что подвизались на дипломатическом поприще, зачастую проявляли некоторое простодушие, не свойственное их заморским коллегам. Не далее как в 30-е годы один из руководителей госдепартамента наставлял подчиненных: имея дело с хитрыми европейцами, не давайте «обращаться с собою, как с сосунками» (to be played for a sucker). Уже цитированный мною Нибур, порицая американцев за чрезмерную самоуверенность и чувство собственной праведности, демонстрируемые ими на международной арене, с другой стороны, удерживал их и от чрезмерного простодушия. С такими людьми, как Гитлер или Сталин, надо разговаривать иначе, чем с соседской тетушкой Мэри, писал Нибур; с ними надо держать ухо остро и уметь прибегать к хитростям, не опускаясь, однако, до их коварства.

Разумеется, Гитлер и Сталин не были первыми, кто дал «яркие» образцы *punica fides* («пунической верности», то же, что вероломство) на международной арене; у них был длинный ряд предшественников. Вся европейская история являет собою в этом плане постоянные колебания между крайними полюсами — рыцарским благородством и макиавеллистической злокозненностью. Но макиавеллистическая злокозненность никогда не имела таких масштабных последствий, как в нашем веке.

К счастью, «дуэльный миметизм» (как называют его некоторые авторы, имея в виду взаимные подражательные действия) эпохи длительного противостояния СССР не до конца испортил Америку; и совесть оттол не вся уплыла. Американская внешняя политика пока еще сохраняет элементы идеализма, и если другой раз они выражают себя довольно неуклюжим образом, это еще не значит, что было бы лучше, если бы их не было вообще. Даже чувство собственной праведности, свидетельствующее об изъяне духовного зрения, имеет некоторую положительную сторону: тот, кто сам себя возводит на определенную высоту, не может себе позволить явно «некрасивые» поступки. Будем, наконец, помнить о том, что рядовые американцы, чье воздействие на внешнюю политику своей страны (гораздо более значительное, чем это обычно представляют бывшие советские люди) в целом трудно оценить однозначно, в одном по крайней мере проявляют завидное постоянство: в своей массе они не разделяют великодержавных амбиций и не одобряют «чрезмерное» вмешательство Соединенных Штатов в дела других стран².

Словом, надо стараться не перегибать палку ни в ту, ни в другую сторону. Безоглядно доверять Америке, как это особенно убедительно продемонстрировал косовский кризис, нельзя; о своих национальных интересах надо заботиться самим. Но это только половина задачи, психологически для наших соотечественников как раз простая. Другая половина несопоставимо сложнее: думать о собственном лице, так основательно попорченном за долгие советские десятилетия.

² По данным на 1997 год только 13 процентов американцев считали, что их страна должна быть мировым гегемоном; подавляющая часть, 74 процента, стояла за то, чтобы она «разделяла власть с другими странами» («Foreign Affairs», 1999, march-april, p. 39).

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ОТЕЦ БОРИС И МАТУШКА НАТАЛЬЯ

В 1992 — 1993 годах в Ярославле в доме семьи Старк были произведены несколько видеосъемок. Предлагаемый материал представляет расшифровку и обработку запечатленных бесед. Съемку производил телевизионный режиссер Н. С. Тихонов, текст подготовлен к печати Ю. В. Тихоновой.

Протоиерей Борис Старк вспоминает...

В моем метрическом свидетельстве написано: «Старк Борис, мужского пола, родился 2 (15 по новому стилю) июля 1909 года в семье старшего офицера крейсера „Аврора”».

Мой отец к моменту моего рождения был старшим офицером на «Авроре». Он на «Авроре» ходил восемь лет, в японскую войну во время Цусимского боя, когда капитан был убит, вступил в командование кораблем и вывел его из окружения. В плен они не сдались, а ушли на Филиппинские острова.

По иронии судьбы почти двадцать лет спустя папе пришлось отступить со своею Тихоокеанской флотилией уже перед Красной Армией. «Победили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход»... Вот одним из этих «атаманов» был мой отец. Это было в 1922 году. И он ушел на ту же Манилу, где он «отсиживался» до окончания японской войны.

Мама была тоже из морской семьи, ее отец тоже был адмирал, командовал Кронштадтской крепостью и был убит на этом посту уже в мирное время. И брат мамин был тоже адмирал, командовал Балтийским флотом, и тоже погиб трагически: был арестован после операции гнойного аппендицита, его, еще не пришедшего в сознание, взяли прямо с больничного операционного стола и отвезли в Крестовскую больницу, тюремный госпиталь. Там он почти год спустя умер. Так что я — «моряк в квадрате».

Жили мы в Кронштадте около трех лет, пока папа был на «Авроре». А в 1912 году папа получил назначение в минную дивизию, получил в самостоятельное командование миноносец. Потом командовал миноносцем более крупным, потом — дивизионным миноносцем, потом — дивизионом моряков и наконец стал командующим всей минной дивизией Балтийского флота в немецкую войну.

В семье нашей царили любовь и согласие: никогда никаких разногласий, никаких ссор ни между моими родителями, ни между тетями и дядями. У мамы было четыре сестры и брат. Всего нас было пять семейств под бабушкиным, так сказать, «верховным командованием». И тринадцать внуков моего поколения было. Мы жили как родные братья и сестры. Каждое лето снимали одну общую дачу, куда набивались «всем колхозом». Между всеми были полное взаимоуважение и взаимопонимание — и это была основа моего воспитания. Конечно, все были верующие, но сказать, что очень церковные, было бы неправильно. Как и большинство офицерских семей, по большим праздникам мы ходили в церковь, раз в году причащались, постов не соблюдали.

У папиного отца, который тоже был убит в мирное время (у меня оба деда в мирное время погибли, будучи убитыми разбойниками на Кавказе), была сестра, которая после смерти деда всех племянников взяла к себе на воспитание в Петербург. Бабушка дождалась рождения последней дочери, которая родилась уже после убийства ее мужа, и с ней уехала. Она устроилась экономкой в какой-то помещичий дом. А до этого она была очень богатой, поскольку мой

дед был человек очень состоятельный. (Он был нотариус, хозяин нотариальной конторы.)

Бабушка, оставшись без средств, с маленькой новорожденной девочкой на руках, взяла на воспитание старших пять человек. По рождению она была лютеранка, но в душе — православная: ходила в православную церковь, одевалась почти что как монахиня. Работала она главным библиотекарем в Публичной библиотеке в Петербурге (теперь она Салтыкова-Щедрина), интересовалась вопросами религии — не только православной, не только христианской: состояла в переписке с такими видными теософами, как Елена Блаватская, и другие...

Оставаясь лютеранкой «по паспорту» и православной по существу, она подарила мне мое первое Евангелие, мой первый молитвенник. И я считаю, что именно она дала мне первое религиозное воспитание, заложила первый кирпичик моей будущей церковной профессии. Она была к тому же вегетарианка, хотя это не обязательно было. Поэтому когда готовили творожную пасху, то для бабушки делали пасху без яиц, потому что яиц она тоже не ела. У нее было много икон, много картин на религиозные темы, портретов... Ее комната, как келья, была несколько монашеского стиля. Она всегда приезжала к нам два раза в году — на Рождество и на Пасху — и гостила по две недели. Остальное время проходило для нас без всякого религиозного воспитания.

Потом, когда мы переехали в Гельсингфорс в 1912 году, то, конечно, жизнь стала другой: Гельсингфорс (ныне Хельсинки) — Финляндия, там культура уже западная.

Мы жили близко от Большого Успенского собора, скоро началась война, папа с миноносцем всегда был на передовых позициях, и, конечно, мама чаще ходила в церковь и нас с собой брала. Так было до момента революции.

Обе революции мы пережили в Гельсингфорсе: и Февральскую, и Октябрьскую. Помню (это было в Феврале), шел Великий пост, мы с мамой пошли исповедоваться, а причаститься на другой день не смогли, потому что была такая стрельба, что из дома было выйти невозможно. К Гельсингфорсу корабли подошли вплотную, они стояли у самой пристани, мы жили в морском районе... поэтому революцию мы очень близко видели. Когда стреляли и снаряды по нашей улице шпарили вдоль дома, мы уходили в коридор, закрывали две двери и в коридоре отсиживались, пока кончится перестрелка. Тоже заставило немножечко повзрослеть...

Папу матросы очень любили. Когда началась знаменитая «варфоломеевская ночь» в Гельсингфорсе, матросы пришли и говорят: «Ваше превосходительство, разрешите, мы вас запрем в вашей каюте как бы формально и поставим часового. На нашем корабле все вас хорошо знают и любят, но сейчас шпана болтается, переодетая в морскую форму, ленточки перевернуты, чтобы не видно было, с какого корабля, мало ли кто зайдет...»

И вот я помню, был у нас вечером прием, папины сослуживцы у нас обедали. Шесть человек было офицеров и шесть их жен — двенадцать человек сидело за столом. А на другой день утром в обеденный перерыв они все сидели в кают-компании, кроме папы, который был «под арестом» в своей каюте. На корабль совершенно свободно вошел какой-то переодетый «джентльмен» с перевернутыми ленточками. (Тогда все по кораблям военным ходили «братушки» с пулеметами.) Вошел в кают-компанию, и в ту секунду, когда матрос пошел на камбуз, чтобы принести второе блюдо, он всех пятерых из пулемета... Так что папа пришел и говорит: «Из всех, кто у нас вчера ужинал, в живых не осталось никого».

Любовь команды к нему проявлялась и позднее, когда уже кончилась революция и Гражданская война и вся команда из Владивостока перебралась в Сан-Франциско. Папа был в то время в Париже, и, когда немцев выгнали из Франции, матросы стали посылать гуманитарную помощь своему адмиралу. Именно матросы, а не офицеры... посылки с продуктами... А когда они узнали, что у меня ожидается прибавление семейства, то прислали целую посылку

с детским приданым. Так что оба моих младших сына, которые сейчас священники, лежали в пеленках, присланных матросами своему адмиралу из Америки. И распашоночки, и подгузнички, и чепчики, и тапочки — все это было с любовью послано матросами.

В 1917 году немцы, воспользовавшиеся революцией, стали подходить к Гельсингфорсу. Мой отец командовал минной дивизией, дядя — Балтийским флотом, и попадать в лапы к немцам ни тому, ни другому было не с руки. Поэтому они оставили свои семьи в Гельсингфорсе, а сами на каком-то буксирчике вырвались в советский Петроград. А потом, через неделю, когда они уже немножечко обосновались, выписали маму и тетю со всеми их детьми. И вот эти две адмиральши и семь человек детей на маленьком буксирчике пробирались ночью по минным полям. Так что это была авантюра, в общем.

Папа нас устроил в доме, где жили сестры и брат, а сам уехал к Колчаку в Сибирь. Колчак был его начальником в минной дивизии, его предшественником. Он ушел вместе с Колчаком, а мы остались. Мама начала работать в Морской академии, но работала недолго — скоро у нее развился туберкулез... А я поступил в гимназию Мая, ту самую, в которой учился академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, учились все Бенуа, Рерихи, Добужинские, Успенский... в общем, это была самая передовая гимназия в Петербурге.

Гимназия Мая... «Майские жуки», ее воспитанники, были людьми особой породы. Там учились все мои двоюродные братья, сестры, почти что в каждом классе сидело по одному из наших. Там я проучился полтора года.

Потом мама вынуждена была уйти со службы. Сестренке было шесть лет, мне — девять. Я нанялся на работу в Морскую академию рассыльным. Получал морской паек, получал морское обмундирование и кое-какую зарплату... но тогда деньги были такие же «деревянные», как и сейчас. Получаю зарплату — и тут же вижу: мужик халву продает. Всю свою зарплату месячную — на халву. А мама: «Молодец, потому что завтра на эти деньги и коробки спичек не купишь!» Так что то, что сейчас творится, мне очень хорошо знакомо.

Итак, я поступил на работу в Морскую академию. Морская академия и Морской корпус — это, в общем, одно и то же учреждение, и я по внутренним переходам каждое утро ходил из здания академии в здание корпуса, приносил книгу приказов по академии начальнику кораблестроительного отдела Алексею Николаевичу Крылову, знаменитому кораблестроителю; потом поднимался наверх к Юлиану Михайловичу Шокальскому, профессору, который командовал гидрографическим отделом...

Я был очень удивлен и порадован, когда два года тому назад вдруг неожиданно получил заказной пакет из Ленинграда. Открываю его — и с удивлением нахожу вот такую грамоту:

«Награждается Борис Георгиевич Старк в ознаменование семидесятилетия начала его работы в Военно-морской академии и в Училище командного состава флота и его заслуг в патриотической деятельности на благо отечества.

Начальник Высшего Военно-морского училища им. Фрунзе контр-адмирал Ковальчук. Начальник политотдела капитан первого ранга Козлов».

Я очень горжусь и ценю эту грамоту. У меня церковных наград — все, какие только можно, включая вот этот крест (*батюшка взял в руки серебряный с голубой эмалью большой наперсный крест, который всегда носил*). Этот Патриарший крест за всю историю Ярославской епархии я только один имею. Вот здесь — П. П. — Патриарх Пимен. Ко всякой другой награде обычно представляют, а к этой награде не представляют — Патриарх лично, по собственной инициативе, награждает. Было это в 1968 году. Выше этого — только дубовый крест на могиле.

Потом вдруг я получаю еще один адрес, тоже из Ленинграда:

«Президиум Ленинградского областного правления Всесоюзного научно-технического общества радиотехники, электроники и связи им. Попова награждает протоиерея отца Бориса Старка в г. Ярославле за молитвенное по-

минование изобретателя радио Попова, учителя вашего отца по минному офицерскому классу».

Вот так... совершенно необычно... Награждается не за патриотические работы, а за молитвенное поминовение основателя института.

Итак, мы переехали в Петербург. Первое время, еще до того, как я начал учиться в гимназии Мая, мы жили на Девятой линии Васильевского острова, где прямо против нашего дома, в садике, была церковь. В Гельсингфорсе я был барчуком, у меня были гувернантки, которые меня водили гулять. Тут же гувернанток никаких не было, поэтому мне говорили: «Пойди погуляй!» Я шел один в сад и оттуда — в церковь. Так я начал самостоятельно вести церковную жизнь, вопреки домашним традициям.

Я помню, батюшка как-то сказал, что в день Ангела надо обязательно причащаться. Наступил мой день Ангела, и я маме говорю:

— Я пойду причащаться!

— Как, ты же в посту причащался...

— Так то — пост, а это — день Ангела...

— А разве можно два раза в году причащаться?

— По-видимому, можно, раз батюшка говорит.

Собрали семейный совет. Что за фантазия пришла — в посту причащался как полагается (а это было очень строго, поскольку Великим постом каждый год причащались все), прошло три месяца, а он опять: вынь да положь причаститься. Потом решили, что раз батюшка говорит, значит, по-видимому, можно.

Потом я нашел в помойке много книг. Кто-то избавился от «ненужного хлама» — Евангелие, Молитвенник, Жития святых, богослужебные какие-то книжки. Я все это подобрал, принес домой и стал углубляться в богослужебную жизнь, в церковь стал приходить не просто зрителем, а уже с понятием.

Мало того, я решил дома устроить подобие церкви. У меня был маленький медвежонок. Он и сейчас у меня существует... Я тогда для этого медвежонок сшил священническое облачение, устроил маленький престол, иконостас. И мой маленький медвежонок у меня служил, молился Богу, а я с ним вместе. *(Батюшка достал из ящика пластмассовую прозрачную коробочку, в которой лежал маленький плюшевый медвежонок, не больше ладони.)* Это был мой верный друг, который совершал за меня богослужения, пока я еще не имел права этого делать. Потом мы с ним вместе устраивались на работу (мне было очень страшно, все-таки мне было только девять с половиной лет). Я в один карман положил крест, а в другой — мишку. А когда мы уезжали и нам надо было визу оформлять, паспорта получать, я его взял в руки, держал его так, чтобы он тоже показался на фотографии, потому что боялся, что без фотографии его могут не пропустить. А теперь он на заслуженном отдыхе.

Вот так, в 1920 году, началась моя рабочая жизнь в академии. Во-первых, я получал махорку — моя мама курила. Когда ее первый муж умирал от чахотки, она ему папиросы делала и сама пристрастилась. В то время было не очень принято, чтобы женщины курили. Я маме делал сам гильзы (причем для этого выдираю в архиве папиросную бумагу из документов): маме набивал и себе набивал. Мама, конечно, была очень огорчена, что я в десять лет папиросы курю. С другой стороны, есть-то было нечего, голодуха была, хлеба давали пятьдесят граммов в день, кажется. Причем хлеб был такой, что ножом отрежешь — половина на ноже останется, и вторым ножом с этого ножа срезаешь. Мы больше года в глаза не видели ни мяса, ни масла, ни молока... очень тяжелые годы были.

Двадцатые годы в Петербурге... Это, конечно, не то что было в блокаду, но все-таки было очень тяжело... За мою жизнь тяжелее не было — ни во время оккупации во Франции, ни теперь. Вот сейчас стонут: «Плохо!» — вы в те годы в Петербурге не жили.

По вечерам я ходил на курсы. При корпусе были устроены вечерние курсы для мальчишек, которые, как и я, уже не могли учиться, потому что работали. Это, конечно, были кустарные курсы, которые мало что давали. Зато каждый понедельник в корпусе устраивался культпросвет: приезжали самые лучшие силы Мариинского театра и ставили в большой знаменитой зале оперы. Без декораций, без оркестра — под рояль. Но были самые лучшие силы — Пиотровский, Молчанов, Тартаков, Горская, Слободская. А потом, в конце, когда опера кончалась, шел балетный дивертисмент — там были заняты и Кшесинский, и Спесивцева, которая недавно умерла в Америке. Таким образом я познакомился с «Аидой», «Севильским цирюльником», «Риголетто», «Ромео и Джульеттой», «Травиатой», «Кармен»... Каждый понедельник мы прибегали в зал, ждали, когда любимые артисты приедут, бежали их встречать, приводили в гримировальные уборные, а потом в первом ряду сидели и смотрели. Это, конечно, было серьезное культурное образование, потому что в театры было ходить невозможно — не было денег, да и сил не было. Я за все время в Мариинском театре был один раз на «Коньке-горбунке» и один раз на «Демоне». А здесь я добрый десяток опер переслушал. Ну и балетные дивертисменты тоже — «Умирающий лебедь», Венгерский танец Брамса (Кшесинский танцевал, я помню).

Недавно меня неожиданно пригласили в Морской корпус. Я вошел в залу, куда мальчишкой прибегал, чтобы показать артистам, как и куда пройти. Когда я пришел, адмирал, начальник корпуса, вышел навстречу, встретил меня на лестнице, под ручки взял и повел в эту залу. Я сел за стол, стал с ними беседовать, вспоминал, как семьдесят лет назад я слушал здесь Тартакова и смотрел, как танцуют наши балетные корифеи.

Мама работала. У нее под началом был целый штат машинисток, все были очень интеллигентные, а некоторые и очень одаренные. У двух женщин (одна из них — баронесса) были очень хорошие голоса, а один из морских офицеров был великолепный пианист. Они стали собираться вечерами (раз в десять дней) у одной из маминих машинисток, у которой был хороший рояль и большая квартира. Здесь устраивали вечера самодеятельности. Приносили таблетки сахарина, приносили сухарики ржаные, кто мог что-нибудь испечь, приносил печенье — например, из моркови. Пели, играли на рояле, у нас был великолепный мелодекламатор — Алексей Ильич Холодняк. Я со всеми ними работал вместе в академии, а потому меня, конечно, вместе с мамой приглашали на эти вечера. Это было начало моего приобщения к русской культуре.

Потом мы переехали на Тринадцатую линию, и та церковь, которая на Девятой линии была, стала от меня дальше. Но у нас на углу Тринадцатой линии и Среднего проспекта была Александровская богадельня, устроенная покойной государыней Александрой Федоровной, с домовою церковью, куда мы и стали ходить. Там прислуживал мальчик без ноги, на костыле, звали его — Боря. Я ему жутко завидовал: что он надевает стихарь, прислуживает, перед батюшкой свечу несет, кадило подает. Я думал, что ему дано такое отличие, чтобы утешить его в том, что он без ноги. И мечтал, что я с удовольствием обе ноги бы отдал, только бы прислуживать в церкви. Это был следующий этап моего церковного становления. Я тогда не подозревал, что для того, чтобы служить в церкви, придется не одну ногу, не две ноги, а всего себя целиком отдать, полностью, без остатка. Каждая попытка что-то свое личное сделать становится уже укором совести.

Жить было очень трудно. Чтобы отапливать квартиру, нашему дому давали какую-нибудь баржу. Баржа стояла на Черной речке, весь дом устраивал суботник, шел эту баржу разламывать, на грузовиках вез домой, разгружал. А вечером это все надо было распределять на девяносто семь квартир нашего дома. Счастливы, у которых были погреба, спускали все это в подвал, а те, у кого погребов не было, складывали дрова штабелями на дворе с риском, что кто-нибудь ночью их у тебя утнет.

Конечно, баржу нам, мальчишкам, ломать не давали, этим занимались взрослые мужики. Но мы нагружали, уже разломанную, на грузовик, загружались сами, на грузовике совершали путешествие до дома. Там все разгружали и на пустом грузовике возвращались, где взрослые тем временем заготавливали уже новую партию дров. Это было наше развлечение.

О том, чтобы уехать, никто не думал, мы продолжали жить с мамой. Сначала мама работала, я работал, сестренка маленькая в школу ходила. Маму сократили, когда папа стал немного «шебуршить» на Востоке, потом и меня сократили. Я вернулся в гимназию Мая. Об отце мы восемь лет не имели никаких сведений, только то, что в газетах писали (не очень положительно, надо сказать).

Где-то в 1921 — 1922 годах Михаил Иванович Калинин направил к моему отцу послание с предложением «вернуть все корабли назад и вернуться всем офицерам, матросам». И чтобы передать это предложение, выбрал одного из бывших папиных сослуживцев (в свое время он был лейтенантом, а тогда стал контр-адмиралом и профессором Морской академии), Владимира Александровича Белле. Он сказал нам: «Меня посылают к Георгию Карловичу с секретной миссией, я его увижу. Может быть, что-нибудь передать, все же восемь лет он ничего не знает о семье». Мы с мамой сфотографировались — как три солдата, в полный рост, чтоб было понятно, какой мы величины стали за то время, что папа нас не видел.

Об их встрече папа мне рассказывал позже в Париже, а Владимир Александрович Белле — еще в Петрограде. И оба одно и то же сказали: «Мы оба не знали, захочет ли он мне руку протянуть или нет...» И папа не знал, захочет ли Белле с белогвардейцем общаться, и Белле боялся, захочет ли папа с представителем большевиков. Встретились они очень дружески. Папа сообщил матросам и офицерам, что такое предложение (от Калинина) поступило, но никто, кроме одного маленького кораблика, вернуться не пожелал. И вот этот кораблик один уплыл, а остальные все ушли во Владивосток, и там их на металлолом распродали. А из вырученных денег всем матросам и офицерам поровну подъемные деньги раздали.

Папа поехал в Париж. Мама была уже очень плоха в то время, но все же успела получить первые известия от папы. Однако положение ее было безнадежное, и вскоре она умерла.

Все наши друзья уезжали. Был нэп, и открыли границу. Передо мной встал вопрос: ехать или не ехать... С одной стороны, мы находились еще под страхом «военного коммунизма». С другой стороны, я уезжать не хотел никоим образом — от своей школы, где дружил со многими, был школьным старостой моего класса. (И остался им по сей день: когда я приезжаю в Петроград, весь класс собирается, и чуть что — ко мне за советом, за указаниями идут мои «школьники».)

Была среди всех моих школьных подруг одна, которую я выделял больше других... Это тоже был вопрос... мне казалось тогда, что уехать — значит сломать жизнь. И бабушки очень не хотели, чтобы мы уезжали. Мне они ничего не говорили, но втайне, наверное, они против папы зуб имели, потому что все мужья были с женами, а папа жену оставил — и теперь она от чахотки умирает, а дети в воздухе висят... Ей, бедной, конечно, очень тяжело пришлось, моей маме... Но сказать «не поезжай» никто не сказал: «На твое усмотрение, ты уже взрослый человек, ты глава семьи, решай сам».

И вот тут я мучился довольно долго... А с другой стороны, если я не поеду, папа, может быть, подумает, что мама на него обиделась за то, что он уехал. Они были настолько дружны, настолько любили друг друга, что мне не хотелось, чтобы у папы хотя бы мысль такая возникла. Мама гордилась его поступком, гордилась тем, что он выполняет свой долг офицера и служит за Веру, Царя и Отечество до конца.

И мы подали прошение в комиссариат, теперь это называется ОБИР.

— Вы что, к отцу едете?

— Нет.

Мы придумали такой трюк. Через какую-то оказию написали папиным друзьям, что надо найти какую-нибудь «инострannую тетку», которая бы нам написала, что, узнав, что дети остались здесь круглыми сиротами, хочет взять их к себе на воспитание. Такую «тетку» папа нашел, и мы получили письмо-приглашение от какой-то «здравствуйте, я ваша тетя!». Мы сразу поняли, что это папина тень и надо ехать... Бросать школу, бросать свою любовь, бросать кузин, бабушку... Не хочется, но, с другой стороны, папа есть папа... Тем более, что от Владимира Александровича Белле мы уже знали, как он переживает, что ничем помочь нам не может. Он, правда, стал через подставных лиц нам посылки АРА присылать (были такие американские посылки АРА). Причем сперва по одной, по две посылочки приходило, а потом в один прекрасный день получаем сразу десять посылок, причем не из Эстонии, как предыдущие приходили, а с Филиппинских островов, то есть оттуда, где он «шурует». Это было шито белыми нитками! Мы не знали, брать или не брать... А с другой стороны, как не брать — в каждой посылке по десять банок сгущенки, значит, в десяти посылках будет сто банок! Двенадцать мешков риса, консервы всевозможные, сахар...

У наших друзей был собственный дом напротив почтамта. Они нам сказали: «Вы домой это все не носите, а то люди увидят, что вы тащите домой такое количество продовольствия, вам это совсем не нужно. Жулики увидят... оставьте все у нас».

Когда мы пришли получать, нас спрашивают:

— От кого это?

— Не знаем, там у нас никого нет...

— А мы вам скажем. Это вам посылает мистер Крон.

— А, мистер Крон! — сказала мама. — Да, я такого знавала, но мне и в голову не могло прийти, что он мог нам послать посылку, мы с ним так мало знакомы...

В общем, выдали нам эти посылки, и мы отнесли их в дом на Варшавской улице, напротив почтамта. Конечно, материальная помощь была колоссальная. Вся комната была завалена пшеном, причем пшено было отборное, как крыжовник, как смородина... Я помню, к учительнице на именины я понес мешочек с пшеном в подарок... К батюшке на исповедь пришел — мешочек пшена принес... Это была своего рода разменная монета, как теперь пол-литра...

Пришли мы в этот «ОВИР».

— К отцу едете?

— Нет, мы об отце ничего не знаем, — нагло врем.

— Вы что, газет не читаете?

— Газеты читаем, но вы мало о нем пишете. Что он там делает, мы не знаем, восемь лет он нам никакой помощи не оказывал. Писать он нам не писал, ничего не знаем...

В общем, через три дня нам дали разрешение на выезд. Но папа, решив, что нас не выпускают, из Финляндии уже уехал. А второй раз он не имел права туда приехать, потому что эмигранты имели право только раз в году посещать Финляндию.

Вот мы сели и поехали. Мамина сестра довезла нас до границы (Белый остров, по-моему, был) и потом ушла. Мы с сестрой переехали через границу, на следующей станции вошла крупная тетенька: «Здравствуйте, я ваша тетя!» — «Очень приятно!» — «К папе едете?» Тут уж можно было открытым текстом говорить.

Приехали в Финляндию и пробыли там пятнадцать дней. За это время нам выхлопотали французские документы, где президент Французской республики «специально рекомендует всем французским властям оказывать особое внимание двум детям, которые едут в одиночестве». На пароходе у моей сестры сделалась морская болезнь, она трое суток лежала в каюте и не позволяла мне

выйти. Я отлучался только по очень «срочным» делам и сразу же возвращался назад. А обедать — нет... Мы ехали трое суток без еды... По классу «люкс» ехали — пароход был такой «показательный».

По счастью я, как выходец из советской России, был очень благоразумный. Я вспомнил свое детство и купил в дорогу хрустящие хлебцы и большую чайную колбасу. И еще нам принесли шоколаду на дорогу и конфет — всем этим мы питались. Никто не пришел поинтересоваться, как дети едут в одиночестве, почему они не приходят обедать, почему они не приходят ужинать...

Пароход наш задержался, мы приехали с опозданием на шесть часов. Вышел на палубу — тут и папа стоит!.. Узнал его... Сестра не узнала, а я узнал сразу, хотя впервые увидел его в штатском (всегда я видел его только в форме, а тут он — в пальто и шляпе). Я машу рукой. Слезли на берег, папа говорит: «Вы так сильно опоздали, что наш поезд на Берлин уже ушел. У меня билеты куплены на Берлин, а из Берлина — на Париж. Но раз такое дело, надо сейчас поесть».

Ну, раз мы приехали в Германию, будем есть кислую капусту, сосиски и пить пиво, естественно. Папа очень обрадовался, мы пошли в ресторанчик при вокзале. Взяли кислую капусту с сосисками, чудное мюнхенское пиво. А потом сели на какой-то следующий поезд, который нас довез до Берлина. Тут выяснилось, что и на наш парижский поезд мы тоже опоздали. Но в Берлине два вокзала — главный и маленький, около зоопарка, и мы сможем поймать наш поезд на маленьком. Сели в такси, погнали на тот вокзал — поезд уже двигался. Мы на ходу тюки покидали, вскочили и поехали.

В Париж мы благополучно приехали тринадцатого числа, во второй половине дня. Заехали в винный магазин, купили несколько бутылок шампанского, потом поехали к тете — она снимала маленькую меблированную двухкомнатную квартиру где-то за городом. Приехали — там полон дом народу: во-первых, двоюродные братья и сестры, а во-вторых, у тети было очень много родных, причем все очень «высокопоставленные» — я к такому обществу не очень привык. Нас все встречают, рады: «Вот, слава Богу, вырвались из советской России, приехали благополучно, живы-здоровы!»

Моя сестра осталась жить с тетей и ее дочками, а меня папа взял к себе. Он снимал комнату, где мы прожили недели две, наверное. А тем временем мы искали себе — и наконец нашли — пятикомнатную квартиру в доме около Венценского парка, на берегу озера. Этот дом начал строиться до войны 1914 года и был недостроен. Только после войны его стали достраивать. Лестницы были не установлены, полы не положены, каминны не поставлены... Когда мы въехали в эту квартиру, ее надо было срочно меблировать, а денег у тети было не очень много, у папы и того меньше. В общем, ходили по старьевщикам, покупали ocasionную мебель. Пять комнат: папе комната, тете комната, комната для девочек, комната для мальчиков и столовая. Ванная, кухня — все как полагается.

В один из вечеров папа меня спрашивает:

— Скажи, а что ты собираешься делать, кем ты собираешься быть?

Меня как-то никто об этом никогда не спрашивал, но мне мой путь казался уже указанным.

— Я больше всего хотел бы быть священником, я узнал, что в Париже открылся Богословский институт, я бы лучше всего поступил в этот институт.

Папа говорит:

— Ну знаешь... это у тебя детская болезнь... В твоём возрасте все хотят быть или балеринами, или пожарными, или монахами. Это несерьезно. Мне очень трудно содержать восемь человек, деньги подходят к концу... Я буду работать шофером такси — я учусь сейчас вождению и улещам, ремонту машины и всему прочему, но... содержать восемь человек мне очень трудно. Вот Санька, — (двоюродный брат), — будет поступать в Электромеханический институт, поступай с ним вместе. Тогда мы вдвоем всех как-то будем вытягивать.

Я говорю:

— Папа, Санька окончил русскую гимназию в Финляндии, у него законченное среднее образование. Кроме того, он владеет французским языком, но очень блестяще, но все-таки. Я французский не знаю, я вышел из второго класса второй ступени (а это седьмой класс), так что у меня в лучшем случае семилетка. Я никогда не изучал химии, никогда не изучал интегралы и дифференциалы — куда же я пойду в институт? Ну... раз надо, значит, надо...

Меня послали в деревню, в одну русскую семью, которая сразу встала на такие рельсы: «С Россией покончено, нечего детям портить карьеру, мы теперь французы, и все у нас французское, говорим только по-французски, общаемся по-французски, о России забудем, чтобы никакой ностальгии у нас не было». И вот я попал в эту атмосферу — в глухую провинцию... Это был сумасшедший дом, где наш доктор, бывший морской врач, занимал пост заместителя начальника по терапии. Я у них жил, говорил только по-французски, изучал французский язык и к лету приехал домой, в Париж.

Для меня Россия была Россия, а не «Совдепия», та самая Россия, в которой я жил, родился. Она видоизменялась постепенно, но ведь все меняется... для меня это была Россия, которую я потерял. Кроме того, мои близкие — моя бабушка, тети, кузины... И — моя церковная будущность... Папа не сочувствовал этому. Стали мы с братом поступать в институт.

Расскажу немного, как я учился. Институт был частный. Директор института был в плену у австрийцев в 1914 году, и русские войска его освободили. Поэтому он считал себя пожизненно обязанным русским и исключительно заботливо к ним относился. Система баллов была двадцатибалльная, но выше шестнадцати баллов никому не давали. Считалось, что на двадцать баллов знает Господь Бог, на девятнадцать — министр культуры, на восемнадцать — директор института, на семнадцать — преподаватели и только на шестнадцать может знать первый ученик. Учиться было очень трудно. Вступительные экзамены я кое-как «перевалил», потому что я был довольно силен в математике. Мы поступили, директор нас «подпихивал, подтягивал», мы учились. Я выезжал в основном на «моих» предметах: математика, алгебра, тригонометрия, электромеханика. В практических работах — в ателье, в мастерских, в лабораторных работах — мы старались изо всех сил. Двоюродный брат очень хорошо чертил, хорошо рисовал, он и для себя и для меня делал чертежи и схемы. За три года мы с ним институт закончили. По правде говоря, это только называлось — «институт», но это был скорее техникум, а не институт. Те, кто хотели дальше учиться, могли идти в государственный институт и еще год или два там учиться. Но с нас хватило и этого.

Как я из класса в класс перекачивался, я не знаю, потому что были предметы, где я не открывал учебник. (А там учебников и не было, кстати сказать.) Надо было слушать лекции, самому конспектировать и по этим конспектам потом учить. Но мы по вечерам брали у французов тетрадку, спешно переписывали на двоих, потом друг друга подтягивали.

Вот наступают выпускные экзамены. Я давлю-давлю на математику, на электромеханику, получаю неплохие отметки. Наконец наступают самые жуткие экзамены: термодинамика и курс вибрации. Я прихожу в класс, заранее зная, что ничего не отвечу — даже не знаю, что это за наука такая... Тут какой-то французик вытаскивает билет и бойко начинает на доске шелкать чисто алгебраическую задачу. А я к алгебраическим задачам имел тяготение, как к кроссвордам. Мне нравилось, как все логично получается, как сокращается, как переходит из плюса в минус, из одного уравнения в другое. Я смотрел-смотрел — и залюбовался. «Старк, ваш билет!» Только я ему дал билет, вдруг страшный грохот за дверью: бум!!! Что такое?! У меня была первая мысль, что внизу в ателье разорвалась какая-нибудь машина. Мы все выскакиваем из класса и видим: один из наших парней, русский (Сведерский, сын генерала Сведерского), лежит с простреленной грудью. Оказывается, накануне он держал экзамен, «засел» и не смог ответить. Тогда сын одного адмирала ему кинул шпартгалочку... А экзамен принимал инспектор — очень невоспитанный, очень необузданный

и очень горячий южанин. Он разорался: «А-а-а!!! Вот эти русские!!! Им ни в чем верить нельзя! Мы вложили свои деньги в их железные дороги, а они сделали революцию, мы вместе с ними пошли воевать, а они Брестский мир заключили. И вот теперь вместо того, чтобы честно сдавать экзамен, он не подготовился, а теперь — шпаргалки!.. Вот русские!.. Пошел вон!»

Свердский счел, что оскорблен не он, а оскорблена Россия. Там ощущение Родины было гораздо более острое, чем тут: он решил, что из-за него, из-за его персоны пострадала репутация России, пошел и пустил пулю в грудь себе. Но так как он почему-то думал, что сердце с правой стороны, то только задел легкое, а сердце осталось нетронутое. Я вызвал такси, в это такси его загрузил, отвез в больницу, в операционную. Он был весь в крови...

Возвращаюсь к инспектору. Он говорит: «Ой, знаете, Старк, идите домой! Вот вам лишняя неделя на подготовку. Я так взволнован, — (он был весь совершенно зеленый), — что не могу принимать экзамен, идите...»

Через неделю прихожу на экзамен. Он: «А, опять русский?.. Тяните билет». Тяну билет — и глазам не верю: та самая задача, которую тот французик так бойко на доске решал!!! Я беру эту задачу и спешно щелкаю, даже не глядя, потому что все легко и логично. С тригонометрией у меня было хорошо. Он говорит: «Великолепно! Идите, идите». Термодинамику он даже не стал спрашивать, и ставит мне девятнадцать (!). Все рот разинули. Такой отметки за всю историю существования института не было. Наш милейший директор, увидав такую историю, обвел «девятнадцать» красным карандашом и написал: «Вот прекрасный результат — всем пример!» Я почувствовал себя неловко: по сей день не знаю, что это за наука — термодинамика.

После окончания института наш милый директор даже направил меня на работу. Я ни одного дня без работы не был.

Раз в месяц мы все торжественно ездили в церковь. Папа подводил такси, все садились в это такси: дети, тетя, папа. Первый год мы ходили в кафедральный собор, исповедовались у отца Георгия Спасского — такой был крупный, видный духовник. Но мы по глупости, по неопытности выбирали самые нагруженные дни... Только когда я стал священником, я понял, как это глупо — исповедоваться в большие праздники, когда священник уже не видит, кто перед ним: мальчик или девочка, мужчина или женщина, взрослый или ребенок... Поэтому по духовной линии никакого контакта не получилось.

Тут мы с братом попали в орбиту Кружка русской дворянской молодежи, во главе которого стоял герцог Лихтенбергский Сергей Николаевич. Я помню, у меня сердце екнуло, когда меня познакомили с первым настоящим герцогом: все-таки герцог — это звучит... Он был очень милый человек, очень простой парень, симпатичный... никакой чванности. Потом, когда он уехал в Германию, его место занял великий князь Никита Александрович, один из сыновей великой княгини Екатерины Александровны. Он был более «важный», с ним была дистанция. Мы собирались с дворянской молодежью, но для души я здесь ничего не получил: устраивали балы, приглашали великих княгинь, танцевали. Великая княгиня Елена Владимировна (была замужем за принцем Николаем Греческим) взяла шефство над нашим балом. Как-то раз мы нанесли ей визит и оставили у привратницы свои визитные карточки. А она в благодарность за это пригласила нас на серебряную свадьбу в Сен-Жермен (она жила в этом аристократическом пригороде). Там был дом и детский приют для маленьких девочек. Мы все были приглашены туда, вся дворянская молодежь. Там были Миша Волковский, Саша Берг, очень много адмиральских детей: сын адмирала Развозова, сын адмирала Колчака, князя, графы — уж не помню, кто еще. Общение было интересное, на балах веселились, но... для души — ничего. Моя тоска по Родине, по Церкви не утолялась.

Тогда мы с Санькой, двоюродным братом, перебрались из кафедрального собора на Сергиевское подворье, где Владыка Евлогий купил немецкую кирху и устроил православный храм. Там же открыли Богословский институт. Мы

стали туда ходить. Я познакомился с отцом Сергием Булгаковым, известным философом, и стал ходить к нему исповедоваться. Но контакта опять не налажилось, потому что я был все-таки очень примитивен: семь классов школы, а он — профессор богословия, преподаватель Московского университета. И тут на нас обратил внимание один из его учеников — профессор Зандер Лев Александрович. Он был совершенно лысый, в больших очках, маленький, на лягушонка похож. Крал поклоны бесконечные...

От Сергиева подворья до нашего дома вела маленькая железная дорога, которая огибала весь Париж. Однажды он подошел к нам на станции в ожидании поезда:

— Разрешите с вами познакомиться. Я вижу, вы часто ходите в церковь, кто вы такие?

Выяснилось, что он знал моего отца по Владивостоку. И вот он ввел меня в орбиту Русского студенческого христианского движения. Для меня наступила новая эра. В Христианском движении я почувствовал, что там все — так же, как и я, — жили Россией, жили церковной жизнью. Каждый год Христианское движение устраивало съезд. Уезжали на неделю в глухую деревню, ежедневно утром и вечером — богослужения в походной церкви, устроенной в бараке. Приезжали профессора, видные священники. Всегда приезжал сам Владыка. Каждое утро профессора читали доклады: Булгаков, Бердяев, Ильин, Вышеславцев, Флоровский — самый «цимис» нашей богословской философской мысли. После обеда были собеседования, семинары. Вечером — службы, а потом, после службы, садились на лужайке и начинали петь «Как ныне собирается вещий Олег», «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром...» и другие русские песни.

Я вдруг почувствовал, что тут я — в России.

Вечером в пятницу все пошли на исповедь. Был большой барак, в котором были специальные комнатунечки для всех священников и Владыки. Я пошел к отцу Сергию Булгакову, посмотрел — очередь к нему гигантская, все профессора у него исповедуются, все студенты. Пошел к отцу Александру Ельчанинову, такой видный «молодежный священник», — у него тоже гигантская очередь. К кому же я пойду?.. Вдруг подходит ко мне одна девочка:

— А почему ты к Владыке не пойдешь?

Я говорю:

— Как, разве к Владыке можно? Разве Владыка исповедует?

— А как же?! Я всегда к нему хожу.

Мне как-то неловко было идти к Владыке... Ну, она пошла, а я стою, жду и все качаюсь — где очередь занять. Тут выходит барышня:

— Иди, Владыка тебя ждет.

Я пришел к Владыке. Он посадил меня у своих ног, прижал меня к своему животу (он был довольно грузный, такой же, как я)... И тут я рассказал ему все-все-все, что меня тяготит... И то, что моя любовь осталась в России, что семейная жизнь для меня уже больше не существует; и то, что без России живу, без русского народа; что папа не сочувствует моим церковным настроениям, считает это блажью; что кошки мяукают не по-русски, собаки лают не по-русски, птички чирикают не по-русски... и воздух — не русский! Я так не могу...

Должен сказать, что, будучи за рубежом, я ощущал себя вне родины, но никогда не ощущал себя оторванным от нее окончательно. Какие-то «присоски» на сердце оставались. И чем дальше меня тянули от родины условия жизни, тем больше было чувствовать, как эти «присоски» рвут грудь. Не было «специального случая», после которого мы решили возвращаться. Так же, как человек только временный пришелец на земле, так же и там я ощущал себя только временным пришельцем.

Владыка все это понял. Он сам ощущал абсолютно все то же самое (за исключением «амурных» дел, конечно). Он сразу принял меня в свои объятия и ответил на все мои вопросы. Он меня утешил:

— Не волнуйся, все будет: и Россия будет, и священство будет, и семья будет...

— Семьи не может быть. Единственная осталась там, и, когда я написал ей, что буду священником, она сказала: «Нет, женой священника я не буду никогда, так что к тебе не приеду».

— Ничего. Господь делает все так, как нужно.

С тех пор я стал ходить к нему на исповедь как можно чаще, следить за своей внутренней жизнью гораздо более внимательно. Он стал для меня всем.

На Сергиев день осенью 1927 года Лев Александрович Зандер (с которым мы очень подружились) ставится в чтецы, а чтец — это пономарь. Иерархически: архиерей, священник, дьякон, а на самом низу — чтец. Он читает, поет, кадило подает. Я говорю:

— Я тоже хочу.

Побежал к Владыке Евлогию и нахально говорю:

— Владыка, вы завтра Леву Зандера ставите в чтецы... я бы тоже хотел, как бы в залог будущего...

— Ну ладно, хорошо.

Я поисповедовался у него, и он меня назначил.

Но тут вышло недоразумение с отцом Сергием Булгаковым. Отец Сергей вспомнил, что я два раза исповедовался у него, и когда ему сказали, что завтра ставят четыре человека в чтецы: профессора Зандера, сына П. Л. Струве, Костю Струве (который умер архимандритом), Диму Клепинина (который потом вместе с матерью Марией был в немецком лагере и погиб там) и Бориса ставят... «Как?... Он же мой духовный сын! Как же я ничего не знаю?!»

Приходит Лева:

— Ты знаешь, отец Сергей очень удивлен: ты его духовный сын, а он ничего не знает. Как же ты мог — через его голову?..

Я почувствовал свою невоспитанность, почувствовал, что это некрасиво... Пошел к отцу Сергию извиняться, объяснять, как и что... и что я не такая персона, чтобы на меня обижаться.

На первый съезд с нами вместе ехали две девочки из Ниццы, дочки адмирала Пилкина, которых мы знали еще в Гельсингфорсе в дни нашего детства. На будущий год — новый съезд. Опять надо ехать. Мы пошли встречать этих девочек как старых знакомых. И с ними, смотрю, едет маленькая девочка, совсем молоденькая, я думал, ей лет четырнадцать — пятнадцать, не больше. Большая — с палочкой, хромает, нога болит... Я пожалел, что нога болит, подошел к ней, и пока мой кузен занимал девочек Пилкиных морскими разговорами, так сказать, занялся этой маленькой девочкой. Это был понедельник... А в пятницу, через четыре дня, мы пошли к Владыке: «Владыка, благословите нас на семейную жизнь».

И с тех пор шестьдесят четыре года мы вместе, и за шестьдесят четыре года у нас не было ни одного облачка, ни одной размолвки, ни одного грубого слова, ни одной обиды...

Но ни России, ни священства пока не было.

Когда я кончил институт, конечно, никакой работы инженерной не было. Я пошел работать в зоопарк, где работал мой тесть. За животными ухаживал, кормил диких зверей: медведей, крокодилов, обезьян, слонов, бегемотов, зебр, страусов — целая эпопея была... А потом вернулся в Париж и пошел работать токарем по дереву, стал вытачивать на деревянных станках вешалки, распялки для пальто, костюмов, для платьев. И вдруг получаю письмо от нашего директора института: «Хотите ли Вы работу получить? Сейчас же кризис, безработица... Но предупреждаю: работа в провинции». Конечно, какие разговоры! Я женюсь, я жду, что невеста приедет, а чтобы жениться, надо иметь какую-то платформу под ногами.

Так я нанялся на работу — помощником главного инженера по электрификации деревень. Там я проработал до 1939 года, до начала войны. С начала войны уже никаких деревень электрифицировать не приходилось.

Меня пригласила компания, которая продавала электричество. Они меня знали и пригласили коммерческим агентом. «Давайте пропагандировать электрические плиты, холодильники, водонагреватели, духовые шкафы, холодильные камеры для кондитеров, для колбасников и мясников». Я стал заниматься коммивояжерством. Это тоже была эпопея...

Когда все стало прикрываться, мне сказали: «Нам не хочется вас увольнять... Скажите, не согласитесь ли вы быть инкассатором?.. Мы понимаем, что для инженера это ступень вниз, но у нас все инкассаторы на фронте, и нам некому деньги собирать». Я говорю: «Конечно, если мои коллеги, французы, своею жизнью рискуют на фронте, я с удовольствием пойду собирать деньги».

Шло время. Я продолжал приходить в церковь, надевал стихарь, причащался уже как чтец, в стихаре, прислуживал в алтаре: кадило подавал, свечу носил. В 1937 году получаю телеграмму от Владыки: «Срочно приезжай ко мне».

Я поехал к нему в Париж. Он говорит:

— На Введение во Храм я тебя дьяконом ставлю.

— Как так? — Я испугался. — Я не готов.

— А вот я как раз и ждал, что ты поймешь, что не готов. Пока ты десять лет все бубнил, бубнил, я тебе ничего не говорил, но я чувствовал, что ты на меня зуб имеешь, что я тебя не рукополагаю. Всех по очереди рукополагаю, а тебя — нет. Я чувствовал, что ты не готов. А вот теперь, если будет плохо, моя вина, а не твоя будет.

И вот меня рукоположили (не на Введение в Воздвиженской церкви, а в кафедральном соборе Александра Невского), и Владыка дал мне приход. «С гражданской работы не уходи, потому что священники — самая низкооплачиваемая категория. Неизвестно, что будет завтра, поэтому пока оставайся на гражданской работе, а я подберу тебе такой приход, что ты, будучи неделю занят на гражданке, сможешь обслуживать приход по субботам и воскресеньям».

Я стал дьяконом в церкви Христианского движения, в Введенской церкви, — там я служил почти год. Потом на Духов День Владыка поставил меня в священники. И дал мне маленький приход в ближайшем пригороде Парижа. Прихожане — безработные, поденщики, все очень бедненькие... Так что я фактически не только с них ничего не брал, но со своей гражданской работы приносил им муку, вино... А все деньги целиком отдавал на требы, на панихиды, на молебны, на похороны — все в церковь отдавал. Жена в это время воспитывала детей, обшивала мужа — шила мне рясы, подрясники, облачения для церкви. Потом, когда умерла ее мама, чтобы немножко ее отвлечь, один батюшка пригласил ее воспитательницей в детскую колонию.

Я был инкассатором, получал такие книжки толстые — там на двести тысяч франков квитанций было... Поскольку это все в провинции происходило, а мы жили тогда в Париже, надо было бы снять комнату в гостинице: ведь если эти квитанции у меня украдут, я не смогу расплатиться — зарплата моя была две тысячи...

Решил поехать в Сен-Женевьев-де-Буа, в Русский дом. В четырех километрах оттуда был филиал Русского дома, специально для старушек. Княгиня Вера Кирилловна Мещерская была организатором всего этого дела. Приезжаю со своими книжками на велосипеде в Русский дом, смотрю: княгиня с двумя дамами разговаривает в саду. Я подошел:

— Княгиня, у меня к вам дело, можно на минуточку вас?..

— А что такое?

— Не найдется ли у вас в Русском доме какого-нибудь чуланчика, где я мог бы ночевать иногда, а главное, оставлять свои книги казенные с квитанциями и денежными документами?

— А где ваша жена?

— Она в детском доме работает...

— О, мы как раз организуем детскую колонию, и нам необходим воспитатель. Ваша жена не согласилась бы быть воспитателем в детском доме?

— Конечно.

— Может, и вы сможете священником? Мы церковь сделаем, вы будете служить для детей, это будет ваша помощь.

— С удовольствием.

— Тогда вам не надо будет чуланчика, у вас будет нормальная комната в большом доме.

Так мы и сделали.

На мне — гражданская работа (инкассаторство), на мне — работа с мальчиками и служба в детском доме. И по дороге еще в Сен-Женевьев надо на кладбище заезжать, потому что все время кто-то вызывает, кого-то из знакомых хоронят... Так что я ходил «с высунутым языком».

Таким образом, у нас появилась плотная база под ногами: мы имели квартиру, отопление, освещение, стирку, еду.

В 1938 году началась война с немцами, они уже подходили к Парижу и вот-вот должны были его занять. Хотя я служил как инкассатор, но числился инженером. Я сказал Владыке:

— Если немцы займут Париж, меня, как инженера, могут забрать для своих надобностей. А я все-таки русский, нахожусь с ними в состоянии войны и не хочу с ними общаться. Благословите — и я брошу «гражданку».

— Да-да, ты прав.

А через два года я отказался и от детского дома и целиком посвятил себя Русскому дому стариковскому и кладбищу. В Русском доме старики, все эти «бывшие», признавали меня своим: все-таки у меня и папа адмирал, и тетушки и дядюшки — графы, князья и бароны. Так что они считали, что я — свой. А отец Лев, настоятель, для них был разночинец, они его не признавали ни «белой костью», ни «голубой кровью». Поэтому ему одному очень трудно было бы справиться с Русским домом. А мы вдвоем удержали Русский дом в Московской Патриархии.

В феврале 1940 года у нас умер старший сын, его могила была № 441. Когда я уезжал в 1952 году, могил на кладбище уже было две с половиной тысячи. Сейчас там больше пятнадцати тысяч лежит наших. Очень большая работа была — попечительство о кладбище. Заботились о всех могилах, которые были бесхозные. Ухаживали, сажали цветы, деревья, кусты... Службы постоянно, панихиды каждый день. Служба кончается — я на кладбище, от могилы к могиле...

Умер Владыка Евлогий. На его похороны приехала делегация из Москвы: Владыка Григорий, Владыка Фотий Орловский и еще два гражданских работника Патриархии. После панихиды Владыка Григорий говорит:

— Пойдите осмотрите кладбище, осмотрите все могилы, а я тут посижу, я старей, — (ему уже восемьдесят лет было).

Отец Лев, настоятель, говорит мне:

— Я пойду показывать гостям наше кладбище, а ты посиди с Владыкой.

Мы вдвоем остались с глазу на глаз. А Владыка Григорий вместе с митрополитом Вениамином был приговорен к смертной казни. Из десяти человек, осужденных на смертную казнь, четверых расстреляли, а шестерым дали срок. Владыка этот срок отсидел, вышел, в войну потерял всю семью — жену и детей (погибли в блокаде). Он принял монашество, и его сделали архиереем — сперва был Псковским, а потом стал Ленинградским.

Вот он меня спрашивает:

— Отец Борис, вы монах, наверное? — (Длинные волосы, скуфья, четки на руках).

Я отвечаю:

— Нет, Владыка, я не монах — у меня жена и трое детей.

— Что вы собираетесь делать?

— Владыка, я уже принял советский паспорт, я — советский гражданин, по примеру моего духовного отца, Владыки Евлогия. Он тоже принял совет-

ский паспорт и умер советским гражданином. Я просил визу на въезд в Россию, но эту визу мне пока не дают. Владыка, теперь я к вам обращаюсь не как священник к священнику, а как отец к отцу. Я знаю всю вашу эпопею, знаю, что вы в блокаду похоронили жену и всех своих детей, остались одиноки... Скажите: у меня трое детей, я могу их везти на Родину? Могу я быть уверен, что буду их воспитывать так, как я хочу, что мне никто не помешает воспитывать их в церковном духе?

Владыка говорит:

— Отец Борис, я понимаю ваш вопрос... А вы в Бога верите?

— ????????

— Чего же вы меня спрашиваете? Вы ЕГО спросите.

— Я вас понял.

Это был 1948 год... В 1950 году папа умер, а в 1952 году я получил визу и приехал...

И вот благодаря его молитвам я приехал и прожил здесь уже сорок лет. Мне ни разу не пришлось кривить душой... никаких «компромиссов» не было, ничего такого, в чем мне стыдно было бы признаться. Я всем говорил в лицо все, что я думаю, поэтому я не боялся ЧК и ГПУ. Говорил им в лицо все: и уполномоченному, и милиции, и когда приходилось в горисполкоме встречаться с «товарищами» из органов.

Я занимал большое место — в Херсоне управлял всей Херсонской епархией. Восемьдесят семь церквей и сто двадцать священников — волей-неволей приходилось встречаться со всеми представителями властей. Но не было ни разу, чтобы меня заставили сделать что-то такое недостойное, в чем бы я стыдился признаться.

Все — Владыка Григорий, все — его молитвами...

Когда я вернулся, покойный Патриарх Алексей сказал:

— Вы знаете, мы вас пошлем в Кострому. Вам надо сначала обрусеть.

И это было очень мудро, потому что если бы я сразу попал в Ленинград, то был бы на виду у «товарищей» и точно бы попал под их надзор. А в Костроме было не так страшно. Там был архиерей, который умел защищать свое духовенство. Мы год прожили в Костроме. Довольно трудно жилось, бытовые условия были трудные, сложные. Жена очень тяжело болела...

Через год меня перевели в Херсон, сделали настоятелем собора, еще через полгода — благочинным городских церквей, еще через полгода — секретарем по всей области. Там я освятил двенадцать престолов — это во времена Никиты Сергеевича Хрущева. Слава ему и хвала, что он «оттепель» устроил, но все-таки по отношению к Церкви он был очень жестким. Он был и мудрым, и одновременно циничным, а по поводу Церкви говорил: «Попов надо брать не за горло, а за брюхо». И вот он стал «за брюхо» всеми силами мешать церковной жизни.

Сейчас я удивляюсь, что сегодняшние люди с возмущением пишут, что архиереи — кагэбисты, что они общались... Надо твердо понять, что в каждой епархии был уполномоченный Совета по делам Церкви. Был Совет по делам Церкви, то есть своего рода «министерство культов», причем во главе его стояли Карпов, Куроедов, Харчев... Они все были профессиональные кагэбисты. Их представители в каждой области, конечно, тоже были офицерами КГБ. Ни один священник не имел права начать служение (даже имея указ от архиерея), пока не получит регистрацию от уполномоченного. Каждый священник волей-неволей обязательно контактировал с ними, с уполномоченными по делам Церкви, а значит, с КГБ. Весь вопрос в том, как этими контактами пользовались, были ли эти контакты на благо или на вред Церкви. Если человек контактировал с уполномоченным и пытался отвоевать что-то для Церкви в тяжелые годы, когда Церковь находилась «под винтом», так это — положительный момент. Если же человек общался с этими органами для того, чтобы доносить, рассказывать, что он на исповеди узнал о каких-нибудь политических событи-

ях или еще что-нибудь, то, конечно, такое «стукачество» было прискорбно и преступно.

Все контакты — с уполномоченными, горисполкомом, облисполкомом — шли через меня. Когда я с уполномоченным разговаривал, я отлично понимал, кто он такой. Но мне удалось освятить двенадцать престолов и построить четыре новые церкви. В то время, при Хрущеве, я, конечно, не мог бы это сделать, не контактируя с уполномоченным. И я не считаю, что я как-то этим запачкал свои ризы.

Один раз была попытка послать меня в Киев, а я сказал: «Я не поеду. У меня здесь строится церковь, и мое присутствие необходимо здесь». Честно говоря, я боялся — что сейчас будет. Тем более, что один из наших парижских батюшек уже сидел, приговоренный к пожизненному заключению, а второй — тоже сидел в лагерях. Ничего... как Владыка Григорий сказал: «К Нему обращайся», так я к Нему и обращался... Слава Богу, Господь не выдал... «Бог не выдаст — свинья не съест!»

А в Ярославле я служил тридцать лет в кафедральном соборе, из них двадцать пять был настоятелем. Я, когда приехал, сразу сказал: «Только не делайте меня настоятелем». Как начальник, я должен был бы заниматься канцелярией, бумагами, писать рапорты, докладывать, принимать посетителей. А я хотел общаться с людьми, исповедовать, крестить, венчать, хоронить, утешать — помогать людям на их пути. И все-таки Владыка Сергей назначил меня председателем Епархиального совета.

Очень люблю стихотворение «Болотный попик» Блока:

«.. Душа моя рада
Всякому гаду
И всякому зверю
И о всякой вере».

И тихонько молится,
Приподняв свою шляпу,
За стебель, что клонится,
За большую звериную лапу
И за римского папу.

Не бойся пучины тряской —
Спасет тебя черная ряска.

Вся моя жизнь — сплошное Чудо. Казалось бы, я потерял все и остался у разбитого корыта, но получил там, где я меньше всего ожидал. И если бы мне сказали тогда, в Париже, что я буду священник, буду жить на родной земле и со мной будет рядышком друг всей моей жизни, с которым мы прожили шестьдесят три года без единой ссоры, я сказал бы: это Чудо. И то, что я в 1952 году приехал и ни руки, ни ноги, ни одного пальца не потерял, — Чудо. И то, что у меня семья, как «колхоз»: двадцать восемь душ — и все как-то живем, — сплошное Чудо!

...и размышляет

Надо как можно чаще быть в общении с Богом в молитве. И если присутствие Божие всегда ощущается, то Его Воля безусловно принимается как абсолют... Ошибки быть не может. А если человек пытается свою волю Богу навязать, вот это страшно. Даже в молитве Господней «Отче наш» — самой главной, самой первой молитве, которую человек узнает, — мы говорим: «Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя яко же на Небеси и на Земли». Мы это проглатываем и дальше идем. А на самом деле мы говорим: «Да будет воля Твоя, но попробуй, чтобы она с моей не совпала бы!»

Духовная жизнь человека — это есть постоянное ощущение бытия Божия и близость Его к нам. Что Он не только где-то там, в небесных обителях, находится и нам Его не увидеть, но что Он реально с нами.

Один святой отец изобразил весь мир как некий круг, в центре которого находится Бог. Чем ближе мы к Богу, тем ближе мы и друг к другу. И чем ближе человек старается быть к своим близким, тем сильнее он уменьшает этот круг и приближается к тому Богу, Который находится в центре всей вселенной.

Я по-братски отношусь и к католикам, и к протестантам. Общаясь с иноверцами, я нисколько не нарушаю своей ортодоксальности. Общаясь с ними, я сожалею, что они в чем-то заблуждаются, в чем-то не правы, и за них молюсь. Я был очень рад, когда Священный Синод разрешил нам причащать католиков в случае надобности. Правда, прихожане особо ортодоксальные шипели: «Надо теперь освящать церковь, они хуже собак». Я говорю: «За такие слова вас надо от Церкви отлучать — ведь это хула на Духа Святого». Они же крещены, и мы их крещение признаем. Мы взаимно признаем святость нашей хиротонии, и их Святые Тайны для меня такие же, как Святые Тайны наши. Я к ним с таким же пиететом отношусь. И то, что они приходят к нам, будучи католиками, и соглашаются причаститься у нас, а не чураются нас как еретиков, я это воспринимаю как положительный фактор.

Апостола Иоанна называют апостолом любви, и недаром нам, православным, его дали в патроны. Православие — это не религия разума, а религия любви, религия сердца. Православная вера — она «рада всякому гаду, всякому зверю и о всякой вере». Самое важное в христианстве — это любовь, потому что Христос есть любовь.

Бывали моменты, когда я чувствовал себя не «богооставленным», а «богооставляющим». В моменты глубокого раскаяния, готовясь к исповеди, я часто неожиданно вдруг вижу свою духовную наготу, и мне становится немножко страшно... Но все-таки если я страдаю от каждого чужого горя, то я твердо знаю, что Господь Бог все видит, все знает. Как говорит Иоанн Златоуст, «Господь и дела приемлет, и намерения видит». А намерения у меня самые хорошие, и потому Господь меня не оставит. Надо не только верить в Бога, но доверять ему.

Очень часто люди смешивают понятия духовная жизнь и душевная жизнь, принимают душевные порывы за дух. Влюбился — и думают, что это духовно... Это, знаете, надо опытно постигать, иметь постоянный контакт с очень опытным духовником. Вообще человеку, который намеревается жить духовной жизнью, нужно прежде всего найти духовника.

Пока мы жили при Владыке Евлогии, мы себя сиротами не ощущали, а когда Владыка умер, мы остались сиротами. Но довольно быстро нам Господь послал отца Софрония. С отцом Софронием у нас сразу же, у свежей могилы Владыки Евлогия, образовался контакт. А теперь мы себя чувствуем беспризорниками, потому что за сорок лет пребывания на родине я регулярно исповедуюсь, стараюсь выбирать батюшек наиболее авторитетных, но духовника так и не нашел.

К одному старцу пришел я в Печерский монастырь и говорю: «Батюшка, я „шпана, беспризорная шпана“, поэтому примите меня как такового. Не обращайтесь внимания на мои регалии, на то, что про меня говорят, что в кино снимают и прочее... Я — беспризорник, как у Макаренко Семен Карабанов был...» Жить духовной жизнью и не иметь духовного руководителя очень трудно. Потому что есть вопросы, которые сиюминутно рождаются, и если сразу не пойдешь и не поделишься ими с опытным человеком, то потом это забудется, останется переживание на душе, шрам останется, который ты, может быть, и не замечаешь, но он есть. Опытный духовник в духовной жизни — необходимое условие.

Очень часто человек не умеет видеть свои грехи. Люди считают, что стыдно покаяться в грехе прелюбодеяния, в плотских грехах, особенно в извращениях всяких... Вот они краснеют, бледнеют... Или — убить человека... А то, что ты можешь словом человека убить, это как-то в голову не приходит. Я всегда говорю: «Ты можешь быть не очень красивая, ты можешь быть не очень умная, не очень талантливая, но не можешь быть не очень честной». Или человек честный — или он нечестный.

Не имеет значения, за сколько ты продаешь Христа: за три миллиона, за тридцать сребреников или за тридцать копеек, не заплатив их в трамвае.

Люди, которые приходят, еще не имея духовного опыта, не столько свои грехи ощущают, сколько видят грехи своего брата. И даже если признают свой грех, то так: «Принужден иногда и чужое брать!..» Что значит принужден чужое брать? Кто меня может принудить брать чужое? Для меня чужую шишку украсть и отдать кому-то — такой же грех, как если бы я чужой кошелек взял бы... Люди не ощущают, что есть грех. Ко мне приходит в Посту человек во семьсот, я около часу с ними беседую, объясняю шаг за шагом каждую заповедь Господню, а после этого они уже подходят и индивидуально рассказывают, кто что у себя нашел. Но большинство не ощущают своей греховности, они не знают понятия «грех». И это — самое основное, с чем приходится считаться.

Александр Ельчанинов говорил, что случайных встреч не бывает. Если два человека встретились — или вы мне очень нужны, или я вам очень нужен, а чаще всего мы взаимно друг другу нужны.

«Страх Божий» — это не значит, что я боюсь кнута и палки. Я боюсь огорчить, обидеть Господа. Вот, помню, я присутствовал при одном браке, и один очень опытный духовник сказал: «Многих смущает фраза: „Жена да убойтса мужа“. Это не значит, что муж на нее руку поднимет или ухватом череп проломит. А жена должна бояться огорчить своего мужа, потому что этим нарушишь то внутреннее единение, которое между супругами должно существовать». Так и здесь по отношению к Богу...

Наша молитва действительно бывает часто не вполне искренна, не вполне стопроцентно горяча, а потому вроде бы превращается в «попугайный крик». Повторяет человек как попугай: «Господи, помилуй, Господи, помилуй...», а что толку, когда он этого не думает?.. Один афонский монах рассказал на эту тему такую притчу.

У одного батюшки был попугай, которого он научил говорить. И попугай, не понимая смысла слов, повторял их. Он любил говорить то, что слышал от этого батюшки. Батюшка, когда находился во взволнованном состоянии, часто говорил своим ученикам: «Не дерзай!» Попугай тоже очень любил кричать: «Не дерзай! Не дерзай!» И вот один раз, когда в комнате было открыто окно, влетел ястреб, поймал этого бедного попугая и поволок. Попугай в ужасе кричит: «Не дерзай!» Ястреб, услышав человеческий голос, испугался и отпустил его. Видите, птица, бессловесная тварь, не понимая, что значит слово, своим попугайным повторением отвела от себя такую опасность, спасла себе жизнь. А человек все же понимает, что значит «Господи, помилуй». Поэтому, даже если он повторяет это без достаточного жара и его молитва камни не расплавляет, то все равно и такая молитва перед лицом Божиим своей стоимости не теряет.

Всех, кого крестил, я беру на свою совесть, я за них молюсь, я их всех поминаю регулярно. Не каждую службу, конечно, потому что крещенных мною уже четырнадцать с половиной тысяч, я их всех на каждой службе помянуть не могу, но в родительские субботы четыре раза в году я их поминаю всех по-

именно — семь тысяч похороненных, около тысячи венчаных и четырнадцать тысяч крещеных. За каждой службой я говорю: «Господи, помяни всех тех, кого я крестил, кого я венчал, кого я отпевал». Так что я хоть и не индивидуально, но всех поминаю, потому что я за них отвечаю перед Богом. Они у меня все записаны. Когда я ехал из Франции, я не боялся, я ничего противозаконного не вез. Но на границе таможенники-кагэбисты подошли: «Что у вас там, дайте ваш портфель». Вот тут я испугался. Докажите, что семьдесят тысяч имен — это те люди, за которых я молюсь, что это не шифровка. А где ключ? А ключа нет, ключ — тут, в моем сердце. И Господь помог: у меня там два отделения было. Я совершенно не думая открыл портфель и держу так, что одно отделение оказалось зажато. В нем-то и были все мои покойники, мои крестники. Те посмотрели, но содержимое портфеля их не заинтересовало, и они меня спокойно пропустили. Восстановить это я уже не смог бы никогда!...

Для меня, как для пастыря, слишком очевидно то влияние, которое оказывают деятели культуры на толпу. Если человек, который всю жизнь был вне Бога, смог открыть этого Бога при помощи чьего-то таланта, так это — честь и слава. Только нужно, чтобы артист был бы артистом, а не торгашом, чтобы он не торговал своим Богом данным талантом, надо, чтобы он был — Деятель, чтобы он был действительно Творец. Артист должен быть артистом в Господе, тогда он — Апостол.

Поэтому лично я ко всем деятелям культуры, будь то писатели, художники, скульпторы, музыканты, композиторы, артисты балетные, оперные, отношусь с великим уважением, потому что я чувствую, что они помогают мне в моей пастырской деятельности. Сколько людей пришло к Богу, потому что их привел чей-то талант!

* * *

Первые похороны, в которых я принимал участие, были похороны Федора Ивановича Шалапина. Я был совсем молодой дьякон, а наши «киты», масляные протодьяконы, боялись, что мой слух может подвести, что я могу попасть «не в тон» хору. Шалапинские похороны, конечно, должны были быть «по камертону», чтобы никакой фальшивой ноты, никакой «бемоль» не проскользнул бы. Они мне не дали ни одной ектинии, и моя роль сводилась к тому, что я с кадиллом ходил вокруг гроба и молча совершал каждение. Но я принял участие в отпевании.

Потом я предпринял попытку перевезти его прах к нам на русское кладбище Сен-Женевьев, потому что он был похоронен на мало кому известном кладбище в пригороде Парижа и могила его была совершенно запущена, потому что с началом войны его вдова и дети уехали в Соединенные Штаты. Появлялись статьи в газетах: «Позор! Могила Шалапина забыта...» Приезжали люди: «Где могила Шалапина?» — никто не может сказать. Уже потом приезжали в Париж Андроников и Солоухин — хотели повидать могилу Шалапина. Но и им никто не мог сказать, где она находится.

Мы тогда обратились к его вдове Марии Валентиновне с предложением перенести захоронение на русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. На что Мария Валентиновна ответила: «Нет-нет! Он сам выбрал это место, и тревожить его не будем!» Так оно все и осталось.

А когда я приехал сюда, побывал в Новодевичьем монастыре и увидел могилы Собинова, Неждановой, Станиславского, понял, что могила Шалапина должна быть именно тут, а не где-нибудь в другом месте. И поднял эту кампа-

¹ Спустя примерно три года после этого разговора отец Борис возвращался со службы, почувствовал себя плохо и упал без сознания. А когда пришел в себя, обнаружил, что портфель с находящимися в нем синодиками исчез. Через несколько дней на соседней помойке нашли портфель — он был совершенно пуст. (Примеч. публикаторов.)

нию. Обратился за помощью к Ивану Семеновичу Козловскому, который сразу подхватил это дело. Но тут мы столкнулись с серьезной проблемой: по французским законам перевезти человека с одного кладбища на другое можно только при согласии всех потомков. Дети от первой жены, конечно, все были «за». Но вот из дочерей от второй жены две ничего против не имели, но третья, графиня Шувалова (об этом писал Зильберштейн в «Огоньке»), поставила условием своего согласия на перевоз тела отца частичную компенсацию того, что большевиками было реквизировано в имениях. Это было настолько неприлично...

Потом мне вдруг звонит Козловский: «Борис Георгиевич! На следующей неделе перевозим Шаляпина!» — «А как же Шувалова?» — «Она, слава Богу, вовремя умерла!» Она умерла, остальные дети были «за», и вот тогда состоялась перевозка.

Двадцать пять лет я бился за перевоз его тела. Дошли до Политбюро, дошли до Министерства культуры. Практические шаги меня не касались, я был инициатором этого, а дальше уже все сделал Иван Семенович.

* * *

Конечно, сказать: «Да будет воля Твоя!» — очень трудно, принять волю Божию очень трудно. И мало кто достаточно христиански велик, чтобы эту волю (даже если он скажет) искренно принять в глубине сердца. Но тот, кто эту Божию волю принимает, — тот велик. Одним людям посылается длительная болезнь, чтобы подготовить семью к неизбежной потере. Другие, наоборот, не выдержали бы такого длительного умирания, и для них посылается смерть моментальная. Бог никогда не дает креста более тяжелого, чем могут выдержать плечи. Все строго размерено. Отчаяние — это, конечно, признак маловерия.

Есть одна замечательная восточная легенда. К одному знатному вельможе прибежал раб, испуганный, заплаканный. Он говорит:

— Что с тобой?

— О, господин, я сейчас гулял в саду твоего дворца и встретил Смерть! Она хочет на меня покутиться! Позволь мне взять твоего самого быстрого коня, и я ускачу в Багдад.

— Пожалуйста, скачи.

А сам пошел посмотреть. И действительно, видит — Смерть ходит по саду. Он ей говорит:

— Что ты делаешь в моем саду? Зачем ты испугала так моего бедного раба, который так переполошился от твоего вида?

— Я не хотела причинить ему никакого вреда. Я не менее его была поражена, потому что, по моим расчетам, я его должна через полчаса взять в Багдаде.

Хочу рассказать очень хороший рассказ, который услышал по французскому радио семьдесят лет назад.

Жил один человек, у которого были большие духовные запросы. Он хотел духовной жизни, хотел культуры, хотел эстетики. А вынужден был жить в чрезвычайно мешанских условиях. На работе все его сослуживцы-чиновники никогда не забудут надеть сатиновые рукава, чтобы не портить своего пиджака, когда целый день сидишь и пишешь; не забудут подложить резиновую подушку на свое кресло, чтобы предохранить себя от появления геморроя; будут рассказывать, как они провели воскресный день, какие у них были легкие победы, как они веселились: кто напился, кто с девочками...

А дома жена открывает ему дверь и говорит:

— Вот хорошо, что ты пришел, снимай свои туфли — у нас только что полы натерли, снимай скорей рубашку — сейчас прачка придет, чтобы грязное

белье унести; и заодно посмотри: в духовке я поставила телятину, ты знаешь, твоя теща не любит, когда телятина перегорает.

Он — в ужасе:

— Я больше не могу!!! Моя душа жаждет эмоций — духовных... культурных... А тут — пошлятина и мещанство и на работе, и дома.

И он лезет в петлю.

Приходит на тот свет. Апостол Петр ему говорит:

— Голубчик мой, я не могу тебя пустить в рай. Ты сам избрал свою судьбу.

— Апостол, все, что хочешь! Я сознательно ушел, я просто не мог больше терпеть этой жизни. Если бы жизнь была другая, я никогда бы не дерзнул совершить такой грех. Но жизнь там была нестерпима для моей одаренной натуры.

— Как хочешь. Ты сам избрал свою судьбу.

Ведет его, открывает какую-то дверь, пихает его туда и закрывает за ним... Навстречу — жена:

— Сними ботинки, потому что полы только что натерли, сними рубашку — сейчас прачка придет, посмотри телятину...

Он стучит в дверь:

— Апостол!!! Что ты наделал!!! Я же не хочу в рай!!! Я хочу в ад! А куда ты меня послал, я же от этого ушел! Я не хочу домой! Я хочу в ад!

А апостол говорит:

— Голубчик, ты не захотел с этим мириться, когда это было временно, а теперь это уже навсегда.

Этот рассказ на меня очень сильное впечатление произвел, и при помощи этого рассказа я четырех человек из петли вынул... В нужную минуту рассказал, и это сыграло роль.

Какие рекомендации для тех, кто вступает на путь духовной жизни? Церковные рекомендации: «Ищите и обрящете, толщьте и отверзется вам...» — это духовные рекомендации. А житейские: «Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет».

Как можно любить своих врагов? Самая первая рекомендация — старайся, чтобы врагов у тебя не было, старайся, чтобы тот, кто делает тебе плохой поступок, не был бы твоим врагом, а был твоим заблуждающимся братом. Ощущай чужую ошибку так же болезненно, как будто это ошибка твоей дочери, твоего сына, твоего брата, твоей жены. Ощущай чужой грех как грех близкого человека. Болей за чужие ошибки, и тогда он не будет твоим врагом, а будет твоим заблудшим братом. Ты будешь страдать за него, будешь болеть, но ты постепенно будешь его любить.

Чем больше за человека молишься, даже чужого, даже противного, тем больше начинаешь его любить, со временем он становится тебе близким. Сила молитвы делает такое чудо.

Цель человека на земле — постараться жить так, чтобы не бояться перехода в настоящую жизнь. На одной гробнице я прочел: «Прохожий, остановись, ты еще в гостях, а я уже дома». В земной жизни надо чувствовать себя как в гостях, и тогда мы не будем бояться возвращения домой, в отчий дом, то есть на тот свет. Memento mori — помни о смерти. И это нисколько не ужасно. Некоторые говорят: «Это же уныло — помнить все время о смерти». Монахи, которые живут как преподобный Серафим, — они, наоборот, страшные оптимисты, они переполнены радостью именно потому, что они не боятся смерти. Смерть для них — не могила, не конец, а только начало. Мой сын говорил: «Как я счастлив идти к Богу. Мне жалко вас бросить, но я знаю, что с вами мы еще увидимся, а Бога я увижу уже сейчас». Он жаждал этой смерти в десять лет, потому что он прожил свою жизнь так, что смерть для него была избавлением и облегчением.

Каждый человек, каждый христианин должен прожить так — и сам прожить, и другим помочь. Смысл земной жизни: человек готовится всю свою жизнь, всю свою жизнь он умирает. Афонцы говорят, что первый шаг, который делает новорожденный младенец, он совершает в сторону могилы. И это не уныло, это не страшно, это не грустно, это, наоборот, — радостно, потому что это убивает смерть. Смерти нет! Есть только новое рождение. Я — не пессимист, я не такой мрачный какой-нибудь, я очень жизнерадостный, потому что я ползу, ползу — все в сторону могилы. Я искренно жалею, что Господь не дает мне так долго «визы» на тот свет. И хотя мне жалко оставлять своих детей, жену, своих пасомых, свое любимое дело, свое служение, мне жалко с этим расставаться, но я убежден, что там я получу все это в десять раз больше. Мне никто не будет мешать... Здесь меня все какие-то житейские, бытовые мелочи отвлекают, а там уже никто не будет мне мешать ни моему общению с Богом, ни моей любви к людям...

Наталья Дмитриевна Старк вспоминает

Когда мы только познакомились в 1928 году, сразу выяснилось, что у нас самые основные жизненные позиции совершенно совпадают, то есть отношение к семье, к Церкви и к Родине. Но когда он сказал, что хочет быть священником, я сказала: «Не хочу». Я понимала, что это довольно трудно — быть женой священника. Семья страдает очень. Праздники, дни рождения — а его нет. У него — то свадьба, то похороны, он задерживается на целый день. Так и у нас было. Он сказал: «Ну хорошо, давай через десять лет». — «Нет!» — «Давай тогда условимся — когда ты сама захочешь». На это я согласилась в полной уверенности, что я никогда не захочу.

Но прошло семь лет, и я ему сказала: «Знаешь что, бросай ты гражданскую работу, и... я согласна». Ну, вот так и получилось.

К вере я пришла с раннего-раннего детства... Потом год училась в католическом пансионе в Бельгии. Мы вставали в 6 утра, в 7 у нас уже была служба. Каждый день читала Евангелие, молитвенник. Там я стала больше интересоваться верой. А потом, когда отец Борис стал учиться, я читала все его книжки — пол натираешь, щетку привяжешь к ноге, а сама с книжкой в руках...

Жили мы дружно, его папа меня очень, по-моему, любил, я его тоже очень любила. С моей мамой они были очень дружны, она часто говорила: «Он мне ближе чем сын!» (потому что он правда замечательный). Хорошо было. Жизнь у меня, я считаю, просто исключительно счастливая. Можно каждому пожелать такой.

Всегда было мало денег. Я считаю, что это очень хорошо. Это и для детей полезнее: они более внимательно относятся тогда к родителям, когда видят, что родителям трудно... Трудности никогда не утяжеляли нашу жизнь: знаете, когда люди сами благожелательно относятся к другим, кругом все хорошо. Говорят, там, в Париже, где-то грызлись — не знаю... Я помню, к нам тогда священники приходили. Придет отец Софроний, спокойный, так выступает и просит: «Кипяток и сухарик». Приходит отец Силуан: «У вас кофейку и сыру не найдется?» Приходит отец Лев: «Наташенька, варенья нету?.. Чаю с вареньем». Он мог целую банку этого варенья съесть сразу. Но говорят только на духовные темы. Не говорили о том, что мало зарплаты, мало денег, — об этом никогда никто не говорил. А сейчас здесь все стонут, всем мало, всем плохо, все ругают правительство. Удивительно как-то...

Мы живем как-то по-хорошему. Если чего-то нет, ну что ж — можно обойтись. Я не считаю это драмой, что нельзя купить того или другого... Был бы мир между нами. Люди, когда приходят к нам в дом, говорят, что они чувствуют атмосферу благожелательности, любви. Все удивляются: у нас даже собаки и кошки дружно живут.

Как муж отец Борис — идеальный. Он никогда не сказал, что что-нибудь не так приготовлено; ему что ни дашь — подгорелое, недожаренное: «Ах, как

наша мама вкусно готовит!» Всегда ему все хорошо! Правда, и я в свою очередь за шестьдесят три года ни разу не сказала, что мне хочется купить то-то или то-то: платье или пальто... Никогда. Можно и нужно было — покупали, нет — обходилась так.

У меня есть одна только мечта. Не пережить отца Бориса. А умереть сейчас же, следом, если он уйдет первым... А больше — ничего... Так я всем довольна. Абсолютно?²...

Постепенно я вижу, что мой дом приходит в разрушение. Все не так чисто, как было раньше. Я же все делала сама: красила, прибывала, выкопала своими руками подвал, выложила кирпичом, зацементировала. А теперь я этого не могу, у меня поднимается давление, я лежу. Так что приходится себя как-то немножко беречь теперь. Потому что, если я умру раньше, кто будет за отцом Борисом ухаживать? А мы все время об этом думаем, к смерти все время готовимся... Я бы с удовольствием гроб купила, потому что они растут в цене, значит, будет очень дорого детям хоронить нас. А откуда они деньги возьмут?.. У нас отложены были деньги на похороны, но так все дорожает... не знаю, как они справятся с этим делом.

Любим свой домик, этот клочок земли. Я люблю тут возиться, цветы сажать, но постепенно трудно делается. Отец Борис даже редко выходит в садик посидеть, он не дышит воздухом совершенно. Он пишет, пишет, пишет письма... Я прошу: «Пиши свои воспоминания для детей!»

Теперь новое — пишет письма в колонии, где заключенные сидят. У него уже десять корреспондентов, молодые парни, не малолетние, но те, которые уже с восемнадцати лет... Он ездил туда, долго с ними разговаривал. Несколько человек попросили индивидуальную беседу и стали ему писать. Он посылает туда книги религиозного содержания, крестики, иконки. Вот сейчас ищет Библию. Стоит она очень дорого, нам никак не купить, а человек очень просит Библию ему прислать. Когда отец Борис напишет письмо, я бегу скорее на почту, чтобы те скорее получили. Почти все сидят за убийство... И все-таки они пишут такие хорошие письма. Есть такие, которые уже крестились там. Так что писать ему есть кому.

Когда мы уезжали из Парижа, мой папа возмутился: «Ты сумасшедшая, и твой муж сумасшедший». Я говорю: «Я не считаю, что мой муж сумасшедший, а мое место — рядом с ним быть». Всякие трудности — это ерунда все. Для меня это несущественно. О репрессиях не думали совершенно — доверие к Богу было.

Как только мы переехали границу, наш Михаил, которому было восемь лет, попросил проводника: «Можно мне спуститься потрогать землю?» (Это было на станции Чоп, уже на советской земле.) Дети были воспитаны патриотами... и, конечно, они сейчас огорчаются, им хочется, чтобы страна опять стала великой.

О своих детях трудно говорить. Я думаю, для матерей они — особенные, никому не понять...

Он такой чудный ребенок был... наш первый...

Наш сын умирал в больнице... Я никогда не плачу, не впадаю в истерику, я совершенно спокойна. Но внутри... А он говорил так нежно: «Радость моя, солнышко мое, ты только не плачь...» Вы знаете, это невыносимо слушать было.

После того как мы поздно вечером отвезли его в больницу, я вернулась, села на кровать, сижу, и вдруг — бам: что-то упало со стены... Его фотография. Я подняла. Потом — вторая. Потом еще... Отца Бориса не было — он уехал служить в Париж.

² Матушкиной мечте не суждено было сбыться: она пережила отца Бориса на полтора года и ушла в июле 1997 года. (Примеч. публикаторов.)

Я поехала к нему, пришла в церковь. Когда служба закончилась, мы пошли, взяли такси и поехали к Сереже. И по дороге я ему рассказываю про фотографии. А когда приехали в больницу, тот смотрит, смеется и говорит: «Мама, а когда фотографии падали, ты очень испугалась?» Как он мог знать? До нас никого не было у него!.. Никого... Это совершенно невероятно.

Его так полюбили все. Иной раз придешь — у дверей толпа монахинь стоит (там монашки обслуживали госпиталь). Стоят и плачут.

Тогда война была. Он очень переживал, что на фронте многих убивают, раненые на земле лежат, дождь: «А я лежу удобно». А умирал он тихо и спокойно и все говорил, говорил... Это невозможно было видеть...

Отец Никон, его духовник, приехал к нему, передал благословение от Владыки Евлогия и сказал: «Ты поправляйся, и когда ты поправишься, Владыка пострижет тебя в монахи с именем Серафим». Он воспринял это очень серьезно и говорит: «Попросите Владыку прислать мне монашеский крест». Владыка прислал ему маленький крест, на котором было написано «Элеон». Пытаясь, он решил, что это действительно будет «его Элеоном, он вознесется оттуда»... Бывало, когда ему очень плохо, он просил меня: «Подержи вместо меня». Я тогда держала этот крестик.

Он лежал с этим крестом и так его и не отпустил: умер, держа этот крест. Мы одели его с крестиком в руках... Так и похоронили. Хотели оставить крестик себе, но потом почувствовали, что нельзя вынуть из его руки — он с ним не расставался...

Восприняли мы эту смерть как должное: никакого протеста... Хотя, конечно, ужасно было...

Странно, вы знаете, всю его жизнь, когда мы переезжали на новую квартиру, я первым делом смотрела: а как выносить гроб отсюда? У меня всегда было чувство, что не сегодня-завтра он уйдет... Я говорила Владыке, а он мне не позволял об этом думать. Я говорю: «Я не думаю, но оно само приходит...» Почему — не знаю... какое-то предчувствие было, что он не будет жить.

Я помню, когда я его только ждала, меня поразило в житии преподобного Сергия, как одна женщина принесла своего сына и поручила ему. И сын этот умер. Она пришла к нему с негодованием и говорит: «Ведь я его тебе поручила, а ты его не уберег...» Он ее подвел к окну и говорит: «Посмотри, видишь того разбойника? Если бы Господь его не взял, видишь, во что бы он превратился?»

На меня это произвело очень большое впечатление. Я его действительно «поручила» преподобному Сергию. Мы его называли не потому, что «Сережа» нравится, а именно в честь преподобного и поручили ему.

Ему не было трех лет, когда он перестал есть мясо. Мы шли с ним в городок рядом, на базар, и он вдруг спрашивает меня: «Мама, что такое мясо?» Я же не могу ему соврать, я должна ему объяснить. Постаралась как можно мягче и деликатнее. Пришли домой, и он не стал есть мяса... Он еще довольно долго ел ветчину, а потом как-то спросил: «Мама, что такое ветчина?» — «Это тоже мясо». — «Как жаль, я ее так любил». Когда он умирал, наш сотрудник по детскому дому привез из Парижа замечательную ветчину, несколько ломтиков (это война была, ветчина была редкостью). Я говорю: «Вот видишь, Константин Иванович тебе привез ветчину». Он посмотрел и ничего не сказал. Через какое-то время вдруг говорит: «Мама, дай мне ветчины». Я удивилась, но дала. Он взял, подержал в зубах эту ветчину, потом вынул и сказал: «Скажи Константину Ивановичу, что она очень вкусная, я очень его благодарю». Он ее так и не съел.

Как-то раз сидел он на пороге дома и вдруг говорит: «Мама, посмотри, какая птичка!» И вдруг эта птичка прилетела и села к нему на палец. Пестренькая такая, красненькая, очень красивая, маленькая. Села ему на палец, сжала лапки и... умерла. Он удивился, и я вместе с ним. «Мама, не будем ее хоронить, подождем папу». У нас стоял букет полевых цветов, и мы птичку в эти цветы посадили, пока папа пришел, посмотрел. Потом он ее похоронил...

Это трудно, конечно, пережить. Он все время повторял: «Солнышко мое, радость моя, ты только не плачь...» А потом он просил без перерыва читать ему Акафист преподобному Серафиму. Дойдут до конца — опять с начала. Или Псалтирь... Он просил: «Папа, потри мои ножки, пока еще можно...» Повидимому, от долгого лежания у него кости болели... Тридцать два дня он лежал и ничего не ел. Температура ниже сорока не опускалась. Диагноза не было. Сначала нашли на шее опухоль — железа распухла. Потом она пропала. Пришел врач и говорит: «У него воспаление в легком, через два дня будем ждать кризиса». Приходит в следующий раз — у него в другом месте... Так они «скакали», эти воспаления в легких. Рентген ему сделать не могли — отопления не было, это были первые месяцы войны, рентгенкабинет был нетоплен, был лютый мороз... И только когда его уже повезли домой умирать, его смогли просветить. Один частный врач вернулся из армии, и у него дома был рентгеновский аппарат. Его просветили, и врач нашел этот очаг, мы сами видели большое черное пятно. Он наклеил пластырь и сказал, что ему сделают пункцию и выкачают гной, но для этого надо было еще переливать кровь. Но это оказалось слишком сильно для него, и сердце не выдержало.

Француз-доктор говорил отцу Борису: «Вы знаете, я вижу, с кем я имею дело, и могу говорить с вами вполне откровенно. С точки зрения медицины ничего не потеряно, терять надежды не нужно. Но я вам как старый врач говорю: я уже познакомился с вашим сыном — это ангел, а задерживать ангелов на земле мы не имеем права. Поэтому будьте готовы к худшему».

По счастью, Господь сделал так, что мы это восприняли не как худшее, а как лучшее. Он говорил: «Я так счастлив, что я ухожу к Богу. Вы только не плачьте. Потому что, если вы будете плакать, вы будете нарушать мою радость общения с Богом». И действительно, эти его слова помогли нам. Мы похоронили сына и ни разу не задали Богу вопрос: «Господи, зачем? За что? Почему?» Понимали: так должно быть.

Вот уже прошло пятьдесят два года со дня смерти нашего сына. Мы ни разу не говорили: «Почему мы пятьдесят два года без него живем?», но мы продолжаем благодарить Бога за то, что мы десять лет жили с ним. Десять лет он был с нами, и он нам дал силы на то, чтобы нам жить эти пятьдесят два года, а может быть, еще и больше...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

С того самого момента, как большевики захватили власть в России, они занялись своего рода селекционной работой. Им требовалось получить и повсеместно распространить особую породу священнослужителей — безответных, боязливых, услужливых, готовых на все. И надобно заметить, эту свою задачу (в отличие от почти всех прочих) коммунисты выполнили: к моменту падения советской власти в Московской Патриархии подобные личности не только что задавали тон, но и занимали решительно все важнейшие должности.

В конце шестидесятых годов я стал прихожанином Скорбященской церкви, что на Большой Ордынке в Москве. И уже в семидесятых у меня там появились обязанности: я стал помогать при богослужении и, таким образом, сблизился со священниками. Почти все они были людьми неплохими, но чрезвычайно пугливыми и осторожными: на них лежала печать отверженности от окружавшей нас «советской жизни», все они так или иначе страдали «комплексом неполноценности»...

Но вот однажды в Алтарь Скорбященского храма вошел священник, который выглядел среди своих собратьев белой вороной. Это был высокий, я бы даже сказал, величественный человек с красивым, приветливым, добрым лицом, на котором при всем желании нельзя было рассмотреть ни запуганности, ни сознания своей «второсортности». Это был протоиерей Борис Старк — настоятель кафедрального собора в Ярославле.

А через несколько лет, в восьмидесятом году, Бог судил мне принять священный сан в этом самом соборе, после чего я и сблизился с семейством Старков — с отцом Борисом и его женою Наталией Дмитриевной. Это была самая удивительная семейная пара из всех, с которыми мне довелось общаться в течение всей жизни. Через многие десятилетия своей отнюдь не легкой жизни они пронесли не только взаимную любовь и нежность, но и редчайшее единодушие.

Мы, почитатели отца Бориса, в восьмидесятых годах сожалели лишь об одном. Поскольку Церковь тогда представляла собою нечто вроде гетто, слишком узок был круг людей, которые знали этого священника, могли пользоваться его советами и духовным руководством. Это были лишь прихожане кафедрального собора да горстка ярославских интеллигентов.

Но — благодарение Богу! — Он продлил дни протоиерея Старка до тех времен, когда началась «перестройка», появилась «гласность» и был весьма торжественно отпразднован тысячелетний юбилей Христианства на Руси. Церковь стала выходить из своей долговременной изоляции, и журналисты буквально набросились на отца Бориса. И в местной, и в центральной печати публиковались его интервью, да и на телевизионном экране он то и дело появлялся...

Это нас и радовало, и печалило. Почти все публикации тех лет были определенной данью моде, ни одна из них не была полновесной, и читатель (зритель) при всем желании не мог себе представить, каким уникальным человеком был протоиерей Борис Старк.

Но — благодарение Богу! — в свое время нашлись люди, которые смогли сохранить для потомства и облик, и служение, и семью, и жилище, и, главное, речь отца Бориса. Это профессиональный телевизионный режиссер Никита Сергеевич Тихонов и его жена Юлия Владимировна. В течение 1992 — 1993 годов они регулярно приезжали в Ярославль и снимали, снимали, снимали...

Текст, предлагаемый читателям «Нового мира», отнюдь не исчерпывает того, что удалось запечатлеть Тихоновым, но этого вполне достаточно, чтобы любой человек мог получить ясное понятие о личности протоиерея Старка. А меня эти страницы привели в волнение, я испытал и радость, и грусть... Я как будто бы вернулся в прошлое, побывал на тихой ярославской улочке, в старом деревянном доме, где жили и окончили свой земной путь столь дорогие моему сердцу люди — батюшка Борис и его матушка Наталья.

Протоиерей Михаил АРДОВ.



О П Ы Т Ы

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН



ИСХОД

Выведите меня отсюда.

*Надпись, считанная с фонарного столба
у собора Василия Блаженного.*

Безысходность

«**В**осьмистах переулках этого города-путаницы есть Путинковский переулок, — говорит Сигизмунд Кржижановский и добавляет в скобках: — Не от него ли все пошло?»

С насмешкой смешанные, но золотые слова. «Путина, путинка, путинушка — путь, дорога, всякая поездка, путешествие, странствие», — разъясняет Даль, приводя еще значение «одного конца пути, особенно водою, от одной известной пристани к другой». Поблизости слова «распутье», «путать», «путы», «паутина». Так что, по Кржижановскому, московские Путинки — начало и путей, и путаницы, паутины московских переулков, их причина.

Глаз, положенный на карту города, не подтверждает этого, но подтверждает слух — слова, с которыми играет Кржижановский. Глаза согласны со свидетельствами слуха только в том, что если полагать Путинки центром, то не запутаться нельзя, ибо это не центр. Или сам Кржижановский что-то напутал? А если напутал, то не потому ли, что попал в Путинки?

Сеть паутины уловляет только чужака, сама она — прозрачной ясности чертеж, набросанный своим хозяином и служащий ему. Для горожанина эта домашняя понятность начинается на Красной площади, посередине чертежа; но и на всех узлах мы дома. Чужак, напротив, будет спутан на любом узле. Путинки, близкие к вершине Страстного холма и к соименной холму площади, и есть такой периферийный узел паутины, а что Страстные холм и площадь — узел города, не надо говорить.

Взгляд на карту утверждает центром уличной сети собор Василия Блаженного. Довольно трудно допустить возможность смысла в условном переносе этого центра на Страстную. Вектор переноса, невольно предлагаемого Кржижановским, — Тверская улица, идущая от Красной площади к Страстной и дальше. Но дальше нам следует принять правее, к началу Малой Дмитровки, как только и возможно было двигаться, когда Тверская (до XVII века) не имела нынешнего продолжения за Белым городом и не была тверской, но дмит-

Рахматуллин Рустам Эврикович (род. в 1966) — журналист, эссеист, москвовед. Обозреватель «Независимой газеты», куратор Эссе-клуба журнала «Новая Юность». Эссе Р. Рахматуллина из цикла, посвященного «метафизическому москвоведению», опубликовано в № 12 нашего журнала за 1998 год.

Настоящее эссе, приуроченное к 75-летию «Нового мира» и повествующее о его многозначительном местоположении, автор — не без юмора — снабдил следующим предупреждением: «*Даже переехав в 1967 году из знаменитого здания на углу Страстной площади и Малой Дмитровки, „Новый мир“ остался в Путинках — московской местности, которой посвящен ни-жеследующий текст. Путинки, утверждается иными, — центр московской путаницы. Забавно, что, когда автор нес рукопись в журнал, путь ему преградила решетка, только что установленная в Малом Путинковском переулке, и пришлось идти в обход — через Большой Путинковский.*»

ровской дорогой. И вот, едва ступив на мостовую Малой Дмитровки, мы видим церковь Рождества Богородицы, что в Путинках.

Другое определение или, так сказать, обстоятельство места Рождественской церкви — «на старом посольском дворе» — едва ли не единственное, что мы знаем о самом этом дворе, исчезнувшем так же давно, как и возник. Но удивительно: в этом воспоминании Путинки с новой силой узурпируют значение узла путей, которые как будто наставляются сюда искусственным усилием¹.

Дистанция, путина улицы Тверской отсюда и до Красной площади рискует схлопнуться в борьбе Страстного и Кремлевского холмов за обладание источником путей, как это и произошло у Кржижановского. Недаром знатоки находят на узорочных стенах путинковского храма декоративные окаменелости Василия Блаженного. Сложнее разглядеть за живописной и асимметричной композицией на Малой Дмитровке структуру координатной розы, в храме на Красной площади наглядную. Это тем более непросто, что храм Путинок на рубеже веков был заключен в мешок бестактного архитектурного соседства. Но мы попробуем увидеть...

Числа

Пятишатровая асимметричная композиция церкви Рождества Богородицы — одна из самых популярных у художников прошлого века и у наследующих им фотографов. Но, кажется, только один — неизвестный — художник предпочел заставочному и открытому донныне виду от начала Малой Дмитровки давно закрытый крупными домами вид из дальней части той же улицы. В этом пейзаже перед нами словно бы другая церковь: традиционно трехшатровая, с традиционно же повышенной центральной вертикалью. Но, приглядевшись, мы найдем центральный столп оригинальным: это колокольня, пропускающая свет и воздух в ярус звона. Справа от нее — придел под собственным шатром, а три шатра главного храма слева зрительно сливаются в один. Ясно, что этот вид издалека и долго представлялся ехавшим и шедшим в город по дмитровской дороге, с севера, и только поравнявшись с храмом, путники неожиданно наблюдали серию превращений. Троеверхий силуэт сперва сходился в единицу, и это удивительно тем более, что единица заключает, как мы знаем, пять верхов. Еще через минуту хода в лобовом, поперек улицы, взгляде на церковь единица снова рассыпалась тройкой — но то были другие три: на этот раз придел и колокольня составляли общий силуэт, вбиравший еще крайний шатер главного храма. А эта тройка распускалась через несколько шагов известным пятивершием.

Надо ли говорить, что и в изнанке каждого ракурса, на другом плече всякой идущей через храм оси, удерживались те же числовые значения. Не замыкая круга, чтобы не утомить себя алгоритмическим повтором (хотя сама архитектура церкви Рождества в Путинках утомить не может), мы подведем черту под этой математикой. Геометрию Василия Блаженного путинковская церковь превращает в алгебру, а геометрия и алгебра обоих храмов, кроме прочего, суть разные приемы означения розы ветров. Розы, восемь стрел которой напускаются на восемьсот, по счету Кржижановского, московских переулков. В Путинках основные страны света означаются троичной композицией шатров, четыре раза собранной из разных составляющих, а промежуточные страны...

Промежуточные страны света служат основными, градообразующими для Москвы. Дорога Новгород Великий — степь скрестилась при начале города с

¹ Такое наставление путей не одна лишь метафора. Древнейший из московских чертежей, «Петров», рисуя город на исходе XVI века, застает дорогу в Тверь еще на ложе Малой Бронной в Земляном городе, но для продолжения в Белом городе эта дорога ищет перейти с ложа Никитской улицы на ложе нынешней Тверской, для чего следует пунктиром мимо Белых стен, по плацу, где теперь Тверской бульвар. В следующем веке появление дальней части Тверской улицы стало другим способом того же перенаствливания. Это стяжательство вало путинковский узел.

дорогой киево-владимирской. В Путинках, узурпирующих роль координатного нуля, ордынско-новгородская диагональ дана под знаком силуэтной единицы, а в эту единицу свернута пятерка вертикалей, развернув которую мы попадаем на диагональ Владимир — Киев.

Но это алгоритм. Над ним можно соскучиться — а можно удивиться тайной несвободе столь явно свободной храмовой композиции. Можно удивиться также связи арифметики с градостроительной задачей, с уличными перспективами; но эта связь значит и новую, вторую несвободу композиции — и столь же плодотворную, как первая.

Но это, повторимся, числа.

Слово

А смысл путинковской архитектуры открывается за прикровенным, первоначальным посвящением церкви. Строилась она во имя Неопалимой Купины, в возобновление сгоревшей деревянной церкви того же посвящения. И, получив новое имя, передала старое приделу под отдельным шатром. Глядя на разнообразно узорочный, пластически заявленный вперед Неопалимовский придел, можно подумать даже, что он был первой очередью стройки и сколько-нибудь времени считался главным храмом. Но нет, единовременность и целокупность сложносоставного здания церкви доказаны — и в свою очередь существенны...

«Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста...» (Исх. 3: 1 — 4.)

Пожар былого деревянного Неопалимовского храма в 1648 году был столь кричащим нонсенсом, что и возобновление престола в камне стало говорящим жестом: храм возводился как неопалимый. Мало того: здешние слобожане, бывшие челом царю о средствах на кирпичную постройку, полагали ее первой на всей Руси каменной церковью во имя Неопалимой Купины. Такую челобитную поддерживал сам иерусалимский Патриарх, случившийся в то время на Москве. Деньги были отпущены, большие и не раз, и в 1652 году строительство закончено.

Сопрягая это знание и непосредственное впечатление, находим, что многоверхая и переменчивая, с мерцающим числом шатров Неопалимовская церковь есть образ Купины. Важны не ракурсы, а сумма, живое пламенеющее слитное движение, чтобы умные числа, способные передавать даже оттенки смысла, потеряли себе счет в огненном пламени самого Смысла, Слова.

Метафора, предложенная Кржижановским, продолжается, полнится этим смыслом, исполняется, и в этой полноте сгорает ее растерянно-насмешный пафос. Оказывается, в Путинках, из середины мнимой городской бессмыслицы говорит Бог, и путь, исход из путаницы начинается по Его слову, по Ему ведомому смыслу и во главе с Ним.

Let my people go

Веничка вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, на Каляевской еще стакан, но кориандровой, а на улице Чехова (то есть на нынешней и преждебывшей Малой Дмитровке) — два стакана охотничьей. И пошел в центр, потому что у него всегда было так: когда он искал Кремль, то попадал на Курский вокзал, а ему ведь, собственно, и надо-то было идти на Курский вокзал, а не в центр, а он все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думал, никакого Кремля не увидит, а упадет прямо на Курский вокзал.

Почему это так получалось у Венички, мы уже понимаем: он путался в Путинках, откуда в городе-путанице все и начинается. Наверное, во всякой точке умножения путей, а в нулевой тем более, подстерегает путешественника морок, зверем живущий под указательным камнем. Морок выбора — и морок ошибки — и морок позже, на ошибочном пути².

Но знаем мы и другое: когда статичный в дальних перспективах силуэт путинковского храма начинает свои стремительные превращения перед приблизившимся путником и все шатры, как языки огня, сливаются в язык, который снова разделяется на языки, — то это словно загорается в пустыне куст и заговаривает Бог из среды куста: «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал...»

Поэма о Москве и Петушках может быть дешифрована по-разному. (Так церковь Рождества в Путинках выглядит по-разному из разных улиц.) Здесь и теперь поэма смотрит тенью библейского исхода. От египетского рабства кабельных работ в Лобне и Шереметьеве Веничка бредет к Страстной горе, словно к горе Хорив, а удаляясь, объявляет сам себе цели пути. Сбивчиво объявляет сбивчивые цели — Кремль или вокзал. Вокзал на Петушки, где не умолкают птицы ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Вот почему в стакане «Ханаанского бальзама» есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек: мечтаемые Петушки становятся намеком Ханаана, прозрачным не в пример коктейлю, подменяющему ханаанские же молоко и мед.

Мы говорим, однако, не о Петушках, но о Москве. Впрочем, из заглавия поэмы явствует, что Москва — Петушки. А из названия предпоследней главы — «Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому» — что именно на Красной площади Москва и Петушки сходятся в точку. Но где они расходятся, чтоб так сойтись?

Двоение мечты на Кремль и Петушки подстерегает именно в Путинках, где поэма попадает в путаницу слов, распутье смыслов. А главное: морок Путинок, заставляющий забыть даже, что и где пил, во благо себе пил или во зло, — этот морок может вместить в себя и Курский вокзал, и целиком поездку в Петушки, пока...

Пока героя несет со Страстного холма по Тверской улице, к Кремлю.

Петушки точка Красная площадь

В долине Неглинной, у места, где спуск по Тверской со Страстного холма завершен, а подъем на Кремлевский, на Красную площадь, не начат, — стояла в старину церковь Моисея Боговидца, позднее монастырь. Можно заметить, что Тверская в Белом городе претворена между Неопалимовской и Моисеевской церквями в тему и путь исхода от Хорива к земле обетованной, в виду которой боговидец умер (не в таком ли смысле Моисеевская церковь стала предварением Кремля и Красной площади с ее собором?). Но это центростремительный исход, исход как вход, вхождение в Москву. Это, что называется в подземке, «выход в город». Поиск центра города, его святынь как знаков и ворот спасения. Именно этот выход-вход и не дается Веничке.

Собор Василия Блаженного интерпретируется бесконечно разном. В створе Тверской как улицы исхода он открывается обетованной ханаанскою землей. Собор — именно город-сад, почти по Веничке: неотцветающий, с неумолкающими птицами; петушиная архитектура. Но в замысле поэмы это невозможный сад, в ее исходе мечтаемая земля не открывается. И Веничка совсем не

² На русских распутьях были обыкновенны церкви и часовни во имя святого Николая — покровителя идущих, и в путинковской церкви есть безверхий Никольский придел.

видит храма, как не видел церкви Рождества в Путинках, и совсем отказывает Красной площади в Богоприсутствии.

Нет же, Бог часто ночевал там при свете костра. Из каменного костра Василия Блаженного, взаимно отраженного с костром в Путинках, Бог говорит к идущему, внушая смысл московской географии.

Василий Блаженный означен Веничке Мининым и Пожарским, стоящими в соборной огаде. Веничка смотрит на обоих, чтобы понять, в какую сторону бежать, и по взгляду Пожарского бежит на Курский вокзал. Тогда заметим, что по жесту Минина бежать пришлось бы на Тверскую, стало быть, на Дмитровку, Савеловский и Лобню, в кабельные работы. И наконец, Спас со щита Пожарского — единственный лик монумента, с которым можно встретиться глазами (а Веничка и его не видит), — Спас смотрит в поставленную точку Красной площади. Так выбор, данный Веничке и его поэме у путинковского храма, дан и на Красной площади, где Минин и Пожарский сличены с Василием Блаженным в его значении нуля координат. А значит, сличены опять и оба храма — на Страстной и Красной площадях. Нельзя не вспомнить в этом случае, что Минин и Пожарский предполагались поначалу на Страстную, где позже оказался Пушкин.

Ангелы встретят

Московская фольклорная традиция минутами согласна с Ерофеевым клубить над взлобьем Красной площади одолженный в Путинках морок. Но, в такт художественному высказыванию и посвятельному смыслу путинковского храма, как и храма Василия Блаженного, фольклор находит в этом мороке возможность смысла, промысла, исхода и спасения.

Вот одна такая история из «Московского приходского сборника», рассказанная неким Добровольским как воспоминание детства: «Я думал, мы только войдем в ворота и посмотрим на Кремль, а потом пойдем домой... Туда шло много народа, и мы вместе со всеми прошли через них. Я смотрел во все глаза. Где же сверкающие золотые соборы? Никакого Кремля не было. Была толкучка людей, что-то вроде нашей Устьинской толкучки, только в сто раз больше. Кругом сновали, двигались, переходили с места на место люди с разным товаром... Вдруг мне стало страшно. Я захотел назад, домой. Но тут я понял, что не знаю, где я, не знаю, как идти назад и где дом... И я начал молиться. Я все куда-то шел и все молился... И тут кто-то наклонился ко мне и сказал: „Дети, идите за мной!“ Это была женщина, старая, как моя бабушка... Она шла не рядом с нами, а впереди шага на четыре, но я все время ее видел... Она была точно выше всех, точно шла надо всеми...»

Сам Добровольский объясняет себе так: «Когда, заблудившись в переулках Китай-города, я остановился на углу Средних рядов, то, конечно, в своем испуге и смятении я не подозревал, что стою перед моим желанным Кремлем. Я не вошел в него, но туда вошла моя молитва. И в Вознесенском монастыре у Спасских ворот святая и преподобная Ефросиния великая [княгиня] московская встала из своей пречистой раки и явилась ребенку. И путеводила мне, и привела меня домой. Так я знаю. Так я верю».

И снова кажется, что Веничка с его поэмой никуда не выходили из Москвы, принадлежат ей целиком даже тогда, когда переворачивали с точностью изнанки коренные смыслы города.

«В каком же я был восторге, — заканчивает Добровольский, — что теперь кругом опять все свое, что я все могу узнавать и называть». Веничка, наоборот, не может ничего назвать уверенно: все названное ускользает из-под имени либо же именуется двояко и трояко; все узанное изменяется. В мороке ерофеевского города человек не может исполнять свое предназначение — раздавать имена.

Улица Койкого

Все знают, что Тверская улица с каких-то пор не радиальная, а кольцевая: «Словно вдоль по Питерской, Питерской / пронесся над Землей». Песенный космонавт превратил Тверскую улицу в орбиту кругосветки. Точнее, засвидетельствовал превращение.

Доля правды в этой шутке есть. В радиально-кольцевой Москве главная улица может быть только кольцевой — во всяком случае, в отсутствие такого тяготения извне, какое обеспечивал столичный Петербург. С падением былой столицы Тверская не могла остаться главной, если бы не возгонка этой главности искусственным приемом реконструкции в улицу Горького. Улица стала главной-главной, Питерской-Питерской, по смыслу песни огибающей всю Землю, радиально-кольцевой³.

В этом ухарском смысле механику взаимообращения Страстной и Красной площадей возможно описать метафорически не через схлопывание Тверской, но через закругление улицы Горького. Это она берет на круг Веничкин исход, кажущийся линейным. Это она не только замыкает храм Василия Блаженного на церковь Рождества в Путинках, но и дает понятие об inferнальном городе, где неуместны никакие церкви (недаром Веничка не видит их), ни знаки Промысла вообще. Тверская — улица исхода — сделалась горько безысходной.

Петербург давно не предпочтительное направление, и Москва опять самодостаточно кругла. Однако же за триста лет после Петра она привыкла выбирать из своих радиусов предпочтительные. И вот — миф путешествия из Петербурга в Москву и обратно, стоящий на промежуточном старте русской литературы, откликнулся на промежуточном ее финише мифом путешествия из Москвы в Петушки — и обратно же. (На это обратил внимание Геннадий Вдовин. Выбор Петушков теперь не кажется случайным, ни, между прочим, невинным, ибо это имя так откликается городу святого Петра, как самому Петру петух, ведущий счет его предательствам.)

Предпочитаемый в поэме Ерофеева восточный радиус Москвы — Покровская дорога, по взгляду Пожарского ведущая ныне на Курский вокзал, — уже бывал когда-то главным: когда вел в область «всея Язуы и Кокуя», в этот первоначальный, заокольный Петербург. Лефортово с Преображенским и Немецкой слободой — место исхода самого царя из морока Москвы, из ее путаницы, переживавшихся Петром по-ерофеевски чувствительно. Место, где царя ждала с любовью Анна Монс, как Веничку в чаемых Петушках ждали рыжие ресницы, опущенные ниц. Но вожделеннейший Кокуй был не важнее Петушков, покуда царь не взял туда с собой всю власть.

В этих смысловых координатах поэма об исходе в Петушки стала возможна только после возвращения столичности в Москву из Петербурга. Переполаясь возвращаемой столичностью, Москва припоминала задним ходом времени эпизодический исход верховной власти на Язу, наметив этот вектор в ерофеевской поэме; но с полдороги город возвратился вместе с Веничкой к Кремлю. Все это было судорогой мышцы, мышечной памяти Москвы.

А силой памяти целой страны столичность, возвратившаяся поездом в Москву из Петербурга, с Ерофеевым разведала дорогу в сторону домосковского своего вместилища — Владимира на Клязьме. Только разведала — ибо, отвергнув Петербург как новую Москву, столичность, видимо, готова признавать Москву новым Владимиром⁴.

Однако город Андрея Боголюбского был, в свою очередь, опытом бегства властителя — бегства из Киева. И если возвращение столичности не кончено,

³ По наблюдению Дениса Савенка, поэма Вен. Ерофеева не только начинается, но и завершается в Шереметьеве — указанием имени этого аэропорта как места написания.

⁴ Здесь важно, что в Шереметьеве, откуда стартует поэма, протекает верхняя Клязьма — водный путь на Владимир. В этом смысле путь Венички есть одновременно пеший, железный, воздушный и водный.

то новый мифотворец наставит путь на Киев, отмерив перегоны и поименовав станции на этом литературно анонимном и потому едва ли существующем пока пути.

Отворяя ворота Киеву

Киевские ворота мы против правил географии находим на Страстном холме. И перемена посвящения путинковского храма может оказаться ключом к этим воротам.

Ибо при митрополите Киевском Петре Могиле, умершем в 1647 году, празднование иконе Софии Киевской было установлено на день Рождества Богородицы. А в 1653 году царь Алексей Михайлович решился внять мольбам Хмельницкого и взять под руку Малороссию, что означало раньше всего польскую войну. Между этими годами и была отстроена путинковская церковь.

Здесь надо вспомнить, как почти двумя веками раньше новгородцы, предвидя власть Ивана III, установили празднование своей Софии на Успение Богородицы, престольный праздник города Москвы, так что строительство московского Успенского собора в те же годы стало символическим перенесением Софийского собора в столицу новой метрополии, слагаемой из двух, и запечатывало новое единство.

Решение Петра Могилы словно задавало Москве на будущее новую задачу: строительство на сильном месте соборной церкви Рождества Богородицы как иносказания Киево-Софийского собора. Эта задача едва ли была признана в Москве. Едва ли сознает и современная Москва связь между распадением страны и несуществованием такого храма. Единство Малой и Великой Руси не было запечатано, поскольку две столицы не совпали символически в одну⁵.

И лишь новопостроенная церковь, что в Путинках, вновь освященная как Богородицерождественская, ответила — сознательно ли, нет ли — таинственной храмостроительной задаче, запечатлев мечту о Киеве и царскую молитву об успехе киевского взятия. Своим соположением Софии Киевской путинковская церковь, возводившаяся в шаг с успехами и неудачами Хмельницкого, нечаянно возвысила свой статус — и значение Страстной горы. Путинковская церковь разворачивает взгляд Москвы на Киев и разворачивается на него сама — тем самым юго-западным заставочным пятишатровым ракурсом.

Отворяя ворота Киеву (окончание)

Едва мы соглашаемся на этот взгляд, как тема Киева расцветивает всю Страстную площадь. Старое посвящение путинковского храма, раз уподобив здешний холм Хориву, теперь заставит вспомнить имя киевской горы того же корня — Хоревица. Еще припомнится, что по диагонали через площадь, на углу Тверской и соименного бульвара, в XIV — XV веках располагалось Киево-Печерское подворье. Стоявшая на месте этого подворья до советских лет церковь Димитрия Солунского (где ныне магазин «Армения») в XVII столетии была многошатровой и асимметричной. Заставочным фасадом, развернутым на северо-восток, она встречала нас на въезде в Белый город, по другую от Путинок сторону стены и ворот Белого города. Путинковская церковь приходится Димитриевской младшей и, наверное, красивейшей сестрой. Развернутые друг на друга, словно отражения, они выстраивали площадь по диагонали, и память Киево-Печерского подворья передавалась этим зеркальным телеграфом Старому посольскому двору. Кажется, по этой же диагонали двигался и тем же раз-

⁵ Возможно, Никон с мастерами-малороссами оформил в Новом Иерусалиме эту не оформленную своевременно и своеместно надобность, подняв в монастыре за городом столь явно городской и слишком притязательный собор, собор уже другого посвящения и смысла.

воротом разворачивался памятник Пушкина. Это была также диагональ периметра Страстного монастыря, стоявшего между двумя церквями; монастыря, где память Киева проснулась почему-то в год столетней годовщины Пушкина, когда здесь освятили церковь преподобных Антония и Феодосия Печерских...

Но еще одна тема мощно задана этими храмами: на Рождество Богородицы Дмитрий Донской выиграл битву с Мамаем, а Дмитрий Солунский был ангел великого князя. Есть, однако же, что-то неуловимо знакомое в этом сличении киевской темы с донской: не так ли за «Задонщиной» слышно и проступает «Слово о полку Игореве»?

Вот первая поэма русского пути и морока, на нем подстерегающего. Именно этого морока нам ли не помнить? Лисицы брешут на червлёные щиты, поле незнаемо, четыре солнца, синие молнии (а Веничка думает, что весь в синих молниях говорит ему Бог), клик Карны, поскок Жли — «смагу людем мычючи в пламяне розе», седло кощиево и мутен сон Святослава, в котором соколы Игорь и Всеволод, слетевши с отчего стола, ища Тмутароканя, опутаны путинами железными. Еще два солнца, два багряные столпа, готские красные девы путают соколенка в гнезде, и Гзак с Кончаком ездят по следу...

Гзак и Кончак — вот от кого не ушел Веничка.

И только однажды в языческих этих путинках является Бог христианский: когда Игорю князю путь кажется из земли половецкой в землю русскую, к отчему злату столу, то есть в Киев. И вот уж Игорь едет по Боричеву ко святой Богородице Пирогощей. Страны рады, грады веселы.



Б Е С Е Д Ы

НА ПОРОГЕ НОВЫХ ДНЕЙ

Главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский беседует с Юрием Буртинным, Мариэттой Чудаковой и Михаилом Новиковым

«ВСЕ БЫЛИ СОЦИАЛИСТАМИ...»

Юрий Григорьевич Буртин родился в 1932 году в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ. С 1959 по 1970 год регулярно печатался в «Новом мире» как литературный критик. В 1967 — 1970 годах работал в журнале «Новый мир» в отделе публицистики. Долгие годы работал в издательстве «Советская энциклопедия». В начале перестройки напечатал в «Новом мире» (1987, № 6) статью «„Реальная критика“ вчера и сегодня». В 1991 году вместе с Игорем Клямкиным возглавлял газету «Демократическая Россия». Автор ряда публицистических статей (сб. «Новый строй. О номенклатурном капитализме», 1995). Последняя по времени большая публикация — «Другой социализм. Октябрь, нэп и „завещание“ Ленина в исторической перспективе» (альманах «Красные холмы», вып. 1, М., 1999).

Андрей Василевский. Мы договаривались с вами об этом интервью, и вы сказали, что не очень внимательно следили за журналом «Новый мир» после 1970 года, когда вы расстались с редакцией. Что ж, поговорим о «Новом мире» Твардовского. Вот что давно меня интересует. Когда исследователь пишет историю журналистики в свободном обществе, то не возникает методологической проблемы: а что, собственно, изучает история журналистики? Когда мы говорим о несвободном обществе, основанном на цензуре, лжи и двоемыслии, этот вопрос встает неизбежно. История русской журналистики советского периода, например 60-х годов, — это тексты или намерения? Это те тексты, которые прошли советскую цензуру, и в том виде, в каком они ее прошли? А все потаенные замыслы, неисполненные надежды, истинные мысли — это для мемуаров? Или в историю журналистики входит вся совокупность осуществленного и — неосуществленного, того, что в тех условиях и не могло осуществиться?

Юрий Буртин. 60-е годы — это было совершенно особое, уникальное в нашей советской истории время, когда общество, до той поры полностью поглощенное государством, и прежде всего интеллигенция, появились после продолжительного отсутствия. Интеллигенция у нас то выходит на поверхность, то пропадает, вот сейчас ее нет, интеллигенции, общественности, а 60-е годы — это был ренессанс интеллигенции, и литература этого времени, разумеется не вся, а наиболее смелая, народная ее часть, говорила то, что хотела сказать, более или менее полно. Конечно, тут приходилось соблюдать определенные ограничения, их накладывала цензура, в первую очередь редакторская цензура и, что еще важнее, внутренняя цензура тогдашнего писателя, знавшего, конечно, что можно сказать впрямую, а что — только художественными образами. Но в целом это все-таки был период, когда литература говорила почти полным голосом. Параллельно появлялся самиздат, потом он пошел еще гуще, но и литература печатная в очень большой степени была искренним самовыражением интеллигенции, а через нее — всей наиболее активной, мыслящей части общества. Я думаю, что в нашей советской истории, ну, может быть, за исключением первых перестроечных лет, не было такого счастливого времени, времени, когда литература, интеллигенция значили для жизни общества так много. Разумеется, и неосуществленных замыслов, и запрещенных цензурой произведений было сколько угодно. В «Новом мире» за один только 1963 год, по подсчетам редколлегии, их не прошло столько, что из них можно было бы составить три полных книжки журнала. «Новое назначение» Бека ЦК

запрещал несколько раз, из года в год. Фронтовые дневники Симонова были остановлены в номере, который типография уже начала печатать. Не прошли две отличные статьи известного экономиста В. Г. Венжера о роковой роли колхозного строя. В 1968 году дошло до того, что майский номер журнала вышел в конце августа в уменьшенном на треть объеме. Твардовского угнетало бессилие напечатать «Жизнь и судьбу» Гроссмана, «В круге первом», воспоминания Надежды Мандельштам и многое другое. Но все это не отменяет того, о чем я только что сказал.

А. В. Вы говорили о том, что приходилось соблюдать определенный идеологический этикет, делать реверансы в сторону официальной идеологии. В связи с этим таковой вопрос...

Ю. Б. Я бы не сказал — «реверансы», их делал только тот, кто хотел. А кто не хотел, тот и не делал...

А. В. И имел возможность их не делать — в 60-е годы?

Ю. Б. Кто не хотел, тот не делал, он просто знал ту черту, за которую перейти было... ну, прежде всего бесполезно, потому что какие-то слова все равно вылетели бы из текста, может быть, вместе с другими, более важными. А что касается ссылок на Брежнева, я думаю, в нашем журнале их было одна-две — за годы... На Хрущева, может быть, несколько больше, потому что с Хрущевым и разлад был меньше как с человеком XX съезда, отцом «оттепели». Что касается Ленина, то к нему отношение было уже более сложное...

А. В. Вот на этом остановимся подробнее. С генсеками все понятно. А вот до какой степени отношения публицистики и литературной критики с классиками марксизма-ленинизма — постольку, поскольку эти отношения проявлялись на страницах журнала, — были искренними, отражали истинный образ мыслей авторов и сотрудников и до какой степени они были вынужденными, тактическими шагами, чтобы, допустим, оборонить какое-то смелое рассуждение ссылкой на основоположников?

Ю. Б. Отчасти присутствовало и второе. Вот, например, была у меня статья «О частушках» (январь 1968 года). Четверть века спустя я увидел ее в числе публикаций, которыми, наряду с попыткой напечатать «Раковый корпус», в докладной идеологических отделов ЦК КПСС обосновывалось предложение заменить Твардовского Кожевниковым. Кстати, в июне того же года Секретариат ЦК, оказывается, вынес такое решение, но, видимо, хлопоты с Чехословакией заставили отложить его исполнение. Так вот, помню, что в этой статье я с удовольствием процитировал предостережение Ленина против нередкого в социологии тенденциозного просеивания фактов (на чем потом держалась вся советская пропаганда). В подходящем случае я привел бы этот пассаж и сейчас. А тогда это была норма нашей идеологической жизни. Если ты хочешь сказать что-то свое, тем более свежее, тем более острое, то ты должен поставить определенный щит перед собой. Так что и военные хитрости присутствовали, но главное, я думаю, было в другом. Прежде всего надо сказать о том, **чем** было в политическом и историческом смысле это умственное движение 60-х. Я полагаю, что это было начало поиска **альтернативы существующему порядку вещей** — то есть тоталитарному социализму. Общество понемногу начинало нащупывать эту альтернативу, которая не могла прийти сверху. Хрущев с его «оттепелью» не был альтернативой тоталитарному социализму, он лишь попытался перевести тоталитарный социализм в более мягкую, более эластичную форму. Он это сделал, эту работу продолжил и закрепил брежневский режим. А общество совершенно стихийно, неорганизованно начинало нащупывать демократическую альтернативу тоталитаризму. «Новый мир» Твардовского был органом этой пробуждающейся интеллигенции, выразителем ее критических уонастроений. Журнал ничего по-настоящему в этом смысле не сформулировал, но он повел наступление на давно и прочно сложившуюся официальную ложь. Наряду с «духом времени» тут особое значение имело то, что во главе журнала стоял поэт, для которого со времен «Василия Теркина» главным критерием в литературе был принцип «правды сушей, / Правды, пря-

мо в душу бьющей, / Да была б она погуще, / Как бы ни была горька». На том и стоял журнал, печатавший Виктора Некрасова, Бакланова, Гроссмана, Домбровского, Эренбурга, Семина, Каверина, Катаева, Василя Быкова, Айтматова, Искандера, Николая Воронова, Владимирова, Трифонова, многих прекрасных поэтов, критиков, публицистов, ученых... Инициированный правдивой литературой, шел чрезвычайно интенсивный процесс переоценки существующего строя, пересмотра всех сколько-нибудь важных звеньев официальной легенды о действительности и целого массива связанных с нею представлений, образов, авторитетов. Тем самым очень многое было сделано для расчистки поля, для того, чтобы потом на нем выросли позитивные идеи демократического (я говорю в своих писаниях — «конвергентного») социализма. В 70-е годы это первым сформулирует Сахаров, но сахаровская программа подготовлена 60-ми годами, процессом разносторонней критики тоталитарного строя. Какое место в этом процессе занимали обращения к основоположникам? Не слишком большое. Актуализировалось наследие раннего, революционно-демократического Маркса, его выпады против прусской цензуры и проч. А в Ленине преимущественно акцентировалось то начало, которое проявилось в теории и практике нэпа. Тут была определенная завязь альтернативы, о которой я говорю. Я потом специально занимался этими вопросами, наш нэп был предтечей нынешнего китайского варианта, когда тоталитарная политическая система сопрягалась с рыночной экономикой. К тому же Ленин был важен как антитеза Сталину. Особенно впечатлял тогда же впервые напечатанные в 5-м издании Собрания сочинений яростные ленинские заявления, что коммунисты стали бюрократами, что за бюрократизм надо вешать «Коммунистическое говно», «коммунистическая сволочь»... Ленин как нечто живое по сравнению со сталинской мертвечиной, с железобетонным, ледяным режимом — некий пламень революции, хотя и опасный, сжегший много жизней... Общество начинало втягиваться, ну, не буквально в предреволюционную ситуацию, но в смысле идейной подготовки — да. Вроде периода Руссо по отношению к Великой французской революции. Потом уже отношение к Ленину изменилось. Появился Солженицын, и хотя он еще ничего про Ленина не сказал, но он так сказал о сталинской действительности, что уже не оставалось возможности игнорировать вопросы: а откуда Сталин взялся, не из Ленина ли? Булат Окуджава в одной из ранних песен пел о комиссарах в пыльных шлемах, там героика Гражданской войны и революции — все это принималось как свое. С другой стороны, общество эволюционировало, все более близки становятся «солженицынские вопросы» (хотя, конечно, Солженицын — человек ответов, а не вопросов). Именно Солженицын становится центром общественного умонастроения. В этом критическом умонастроении еще мало позитивных идей, они рассыпаны и относятся в основном к экономической сфере. В это время у нас в «Новом мире» в статьях Лисичкина, Ханина рыночные идеи прорастали довольно активно, даже на теоретическом уровне, не говоря уже о критике советского хозяйствования... Может быть, я не отвечаю на вопрос...

А. В. Нет, продолжайте, очень интересно...

Ю. Б. Недооценено наше тогдашнее время... Не в том же дело, хорошие они были, 60-е годы, или плохие, а вот исторический смысл 60-х, поиск демократической альтернативы тоталитаризму, причем поиск, идущий снизу... Вот нэп был дарован сверху, все прочее в нашей истории было сверху, а тут начало прорасти низовое движение в пользу демократизации, оно проявлялось самым разнообразным образом — в отношении к религии, к этике. Этическими проблемами преимущественно была тогда занята литературная критика «Нового мира», в частности борьбой с иезуитским тезисом, что цель оправдывает средства... Зачастую эта борьба не осознавалась как борьба против строя, но работа, по существу, шла именно такая... К сожалению, эта работа была оборвана, она не ушла слишком далеко, поэтому мы оказались совер-

шенно не готовы к перестройке. Вот чехи были готовы, и поляки готовы, а мы нет, но шли мы в том же направлении.

А. В. Но полемика «Нового мира» шла еще по одному направлению, я имею в виду полемику с журналом «Молодая гвардия». Мне кажется, что сегодня, с исторической точки зрения, направление тогдашней «Молодой гвардии» оказывается своеобразной, но естественной частью все того же процесса размораживания, оживления общества и интеллигенции. Согласитесь, что мысли о ценности православной иконописи и церковной архитектуры, напоминание о том, что кроме революционных демократов есть еще и святоотеческое наследие, о том, что понятие «национального» может иметь более широкое толкование, чем ленинская «национальная гордость великороссов», — все это принято нашим сегодняшним обществом как вещи само собой разумеющиеся, о которых даже странно сегодня спорить. Между тем в свое время весь этот комплекс идей казался крамольным не только официальным идеологам, он вызывал явное неприятие авторов и сотрудников «Нового мира». В чем тут дело?

Ю. Б. Вот как я себе это представляю. Конечно, в этой линии — не столько «Молодой гвардии», сколько более основательного «Нашего современника» — были некоторые позитивные моменты и точки соприкосновения с нашим журналом. «Деревенская проза» «Нового мира» (Тендряков, Яшин, Залыгин, Можаяев, Абрамов, Шукшин, «Матрёнин двор» Солженицына, «Плотницкие рассказы» Белова, проникнутые состраданием к разрушающемуся крестьянскому укладу) была близка и «Нашему современнику», куда в 70-е годы и перекочевало большинство «деревенщиков». Не могло быть барьером и отношение «Нового мира» к религии. Вспомним «Деревенский дневник» Дороша и его же очерк о Загорске с жизнеописанием Сергия Радонежского. Правда, у нас высказывалось уважение не только к православию: была статья о Коране, не раз писали о новых веяниях в католицизме. За насмешки над антирелигиозной пропагандой (чего, по-моему, «молодогвардейцы» не делали) Институт научного атеизма послал специальный донос на «Новый мир» в ЦК... Но главное в другом. Было ощущение (и оно питалось определенными фактами), что брежневский режим ищет для себя вторую идеологическую опору. На одной марксистской ноге ему стоять было все труднее. Марксизм не давал ответов на актуальные вопросы, вся западная действительность выглядела живым опровержением марксистской доктрины. И вот умные люди в Центральном Комитете нащупывали вторую опору в патриотизме с более или менее националистическим отливом. Федор Абрамов как-то рассказывал, как его принимал Романов, ленинградский партийный вождь и член Политбюро. У Абрамова была репутация оппозиционера, особенно после «Вокруг да около». Не помню сейчас всех подробностей, но запомнилась одна фраза Романова, обращенная неоднократно к Абрамову: «Главное, что я прошу вас помнить — вы же русский писатель, вот в этом вся суть...» Так вот, «Молодая гвардия» и «Наш современник» представляли собой полуофициальный-полуоппозиционный ответ на эту идеологическую потребность...

А. В. Власти?..

Ю. Б. Да, власти. Поэтому власть их и журила, и любила. Поэтому не случайно известное «письмо одиннадцати» против «Нового мира» было подписано писателями и функционерами этого направления. Мы чувствовали, что они готовят почву, дополнительную опору для того же самого режима, отсюда это — наше к ним — недружелюбие, не говоря уже о том, что мы постоянно из этого лагеря получали оплеухи. Все тогда сливалось, их православие сливалось со сталинизмом, явным и неявным, и создавало такую идеологическую амальгаму, которая указывала на то, что это явление противоположное или почти противоположное нам... Они нашими союзниками быть не могли.

А. В. Можно сказать, что вы — да и другие авторы журнала — в те годы были социалистами, демократическими социалистами?

Ю. Б. Да, можно так сказать. Но этот самый социализм ни в коей мере — имейте в виду! — не был обращен против западного общества, а сочетался с признанием западных ценностей. Это было очень широкое умонастроение —

западническое, за что нашу интеллигенцию, и «Новый мир» в частности, начальство крепко жучило — за преклонение перед буржуазной идеологией. Вспомним хотя бы очерки Виктора Некрасова «По обе стороны океана», он сразу стал для начальства чуть ли не враг номер один, потому что хвалил Америку, с любовью писал о Франции и проч.

А «социалисты» — в смысле собственно отечественной перспективы. Я думаю, что у страны после десятилетий тоталитарного строя кроме демократического социализма реальной альтернативы не было. Можно было быть каким угодно западником, но других реальных путей из *этой* действительности в капитализм не было. Нет капитализма «вообще». Был старый, очень жестокий, от которого давно ушел цивилизованный мир, и есть современный, его часто называют постиндустриальным обществом. Возврат к старому невозможен, да и бессмыслен. А в новый не существовало иных путей, кроме последовательной и всеобъемлющей демократизации советского строя. В годы перестройки поступили иначе: попробовали обойтись суррогатами рынка и демократии, оставили власть и собственность в руках прежнего правящего слоя — в результате вместо капитализма мы получили то, что получили. А тогда все реальные политики были социалистами. И Дубчек был социалист, и Смирковский, и Валенса — все. Вовсе не потому, что они были недостаточно радикальны... Каким образом советскую экономику и все прочее можно сделать, так скажем, старокапиталистической? И зачем? А новый капитализм весь уже пропитан социализмом, собственно, он и есть демократический рыночный социализм, или демократический капитализм. Социализм с человеческим лицом и капитализм с человеческим лицом — это одно и то же.

А. В. *То есть вы и сейчас остаетесь социалистом?*

Ю. Б. В этом смысле — да.

А. В. *Я спрашиваю потому, что многие авторы и сотрудники «Нового мира» проделали достаточно сложную эволюцию в 70 — 90-е годы. Скажем, нынешний главный редактор «Континента» Игорь Виноградов... мне кажется, что его мировоззрение сегодня существенно отличается от того, что было в 60-е годы, когда он заведовал в «Новом мире» сначала отделом прозы, потом — отделом критики. У вас такого не было?*

Ю. Б. У меня очень существенные произошли изменения, очень существенные. Как раз в 60-е годы я был в гораздо большей степени отрицатель социализма. Когда в 1974 году я начал писать — «в стол» — книгу о социализме, ее общий смысл состоял в отрицании социализма. Это я считаю необходимым моментом своего развития, но это момент преходящий, потому что это было отталкивание от нашей действительности. Сейчас я вообще стою на той точке зрения, что нет и «социализма вообще» (это большая терминологическая беда), а есть два или даже три типа социализма, которые не то что имеют между собой мало общего, но два из них являются полными противоположностями. Один полюс — тоталитарный социализм сталинского (гитлеровского) или брежневского типа. Промежуточный «китайский» вариант — когда политическая система тоталитарная, а экономика — рыночная. Другой полюс — современное западное общество, в котором впервые в истории сблизилась ранее враждебные друг другу либерально-консервативная и социалистическая, социал-демократическая тенденции. Сегодня я сторонник этого современного демократического «социал-капитализма» или «капитал-социализма». Вслед за Сахаровым я говорю о конвергентности, в этом моя позиция.

А. В. *А вот что за эти три десятилетия изменилось в вашем отношении к «Новому миру» Твардовского? Давайте вспомним хотя бы тот момент, когда вы расстались с редакцией...*

Ю. Б. Вы понимаете, тогда это было просто родное, свое дело, горячая работа, поглощавшая полностью, с убеждением, что ты делаешь то, что тебе посчастливилось делать. Уход из «Нового мира» стал для меня катастрофой, на несколько лет жизнь потеряла смысл. Вскоре к этому прибавилась смерть Твардовского. Я тогда часто повторял его строчки: «Мне даже и смерти не страшно. / Она, как и жизнь, позади...» Не смотрю ли я сегодня на тот «Но-

вый мир» более критически? Да нет, наоборот! Я, пожалуй, еще больше убеждаюсь в исключительной ценности того умственного движения 60-х, которого «Новый мир» был представителем (объективно был, а субъективно — по-всякому...). Когда мы работали с Игорем [Виноградовым] в «Новом мире», у нас много было всяких претензий — то по поводу недостаточного радикализма того или иного сотрудника, тех или других публикаций, то, напротив, их неосмотрительной, дразнящей рискованности. Это, может, бывало и справедливо, но целое выступило в своем полном значении только на расстоянии. Да, те годы, когда я работал в «Новом мире», — счастливейшие годы моей жизни.

А. В. *Вы сказали, что сейчас нет общественности, нет интеллигенции в том смысле, как она была когда-то...*

Ю. Б. Видите ли, сейчас у нас такая тотальная грязь... В начале века было в Америке литературное течение «разгребатели грязи». А наша интеллигенция никак не фигурирует в этом качестве, безразлично она, в общем-то, отнеслась ко множеству событий и процессов, которые составили содержание народной жизни последних лет. Например, она с поразительной терпимостью относится к фантастической коррупции, которой пропитано все и вся. Любой человек, который сприкасается с нашей бюрократической сферой, знает, что на каждой ступеньке надо давать, давать, давать... Всегда отличавшие нашу интеллигенцию народолюбие и гражданственность, боль за свою страну как-то выветрились, сошли на нет, а значит, нет и интеллигенции. Многие именитые наши писатели обласканы властью, получили какие-то премии и ордена — и затихли, успокоились. Молодая поросль тоже не видна, не слышна. Была у нас в каком-то смысле интеллигенция в 20-е годы, отчасти благодаря нэпу, отчасти потому, что недобита была прежняя русская интеллигенция, была в 60-е годы. И всё. Вроде бы вскипела в первые перестроечные годы, чтобы исчезнуть в наиболее тяжкий, беспросветный период нашей истории. Ну, по-своему наиболее тяжкий и беспросветный... Сталинский период тоже был беспросветный, но по-другому. И в этом смысле Солженицын, который говорит: «Россия в обвале», — чуть ли не единственный у нас интеллигент.

А. В. *Как вы оцениваете нынешнюю роль литературного журнала?*

Ю. Б. Конечно, журналы могли бы много значить, но похоже, что сегодня они не значат почти ничего. Нашей прессе разрешено все, только звук убавлен, а если нет массового читателя, живого обмена мыслями... Власть уже поняла, что не нужно никакой цензуры, можно просто плевать на то, что кто-то где-то сказал.

А. В. *А может в будущем возродиться интеллигенция именно в том смысле, о котором вы говорили, или вам видится только безнадежное угасание?*

Ю. Б. Ну, в истории ничего совершенно безнадежного не бывает. Она течет, течет, эта река.

«ЗАДАЧА-ТО ГЛАВНАЯ НЕ ВЫПОЛНЕНА...»

Мариэтта Омаровна Чудакова родилась в Москве в 1937 году. В 1959 году окончила филологический факультет (русское отделение) МГУ; семинар Н. И. Либана был главной научной школой. Печатается с 1958 года, но началом серьезной литературной работы стали рецензии в «Новом мире» и «Вопросах литературы» (1960 — 1963) и первая статья (в соавторстве с Чудаковым) — в «Новом мире» (1963, № 2); последующие годы печатания в журнале, работа с редактором К. Н. Озеровой стали второй — после университета — школой. С 1965-го в течение 13 лет работала на ежедневной службе в Отделе рукописей Библиотеки имени Ленина; ночами писала книги. В 1980 году защитила докторскую диссертацию в ГБЛ, в 1984 году уволена из ГБЛ. С 1985 года преподает историю литературы советского времени в Литературном институте. С 1991-го выступает время от времени и со статьями на политические

темы. С 1994 года — член Президентского совета и Комиссии по вопросам помилования при президенте России. Автор книг о М. Зощенко, Ю. Олеше, М. Булгакове и других.

Андрей Василевский. *Мариэтта Омаровна, вы — тот человек, который был тесно связан с «Новым миром» на разных этапах существования журнала, и одновременно вы — исследователь русской литературы XX века, и не какого-то отдельного периода, а всего столетия. Как вам сегодня видятся 75 лет «Нового мира» в контексте 100 лет уходящего века?*

Мариэтта Чудакова. «Новый мир» появился в 1925 году, когда игра во многом была уже сделана, а правила литературной работы уже определены. Некоторые из рассказов середины 20-х годов (Пантелеймона Романова и других) могут играть роль документа, и они показывают, что все было определено. Журнал начал работу в предложенных обстоятельствах и старался делать вид, как и все, что идет свободное литературное развитие, тогда как им и не пахло. На примере этих семидесяти пяти лет видно, что отличает литературу от других сфер жизни. С обыденным сознанием советской власти во многом удалось справиться, люди в разговорах пользовались готовыми клише и зачастую верили, что американцы — лютые враги... А литература — гораздо более сложное явление, и как бы каток по ней ни шел, из-под катка не выходила однородная масса. Вот и «Новый мир» — при разных редакторах — лучшее доказательство того, как и через асфальт что-то пробивается.

А. В. *Я недавно листал двенадцатый номер «Нового мира» за 1934 год, в нем напечатаны поздравления писателей к 10-летию журнала. И интересно, что Пастернак, Пильняк, Алексей Толстой и другие авторы говорят, что «Новый мир» — не просто хороший журнал, но — главный журнал советской литературы. Видимо, тогда было заложено странное ощущение, что «Новый мир» — главный.*

М. Ч. Да, было ощущение, что «Новый мир» — это основной ствол. Как в шахте. Вячеслав Полонский его заложил — больше своей литературной политикой, чем статьями, которые и тогда-то, наверно, читать было тяжело. К 1934 году «Красная новь» была уже отодвинута. Она несколько лет продержалась в этой роли, потом «Новый мир» ее заместил, а дальше — все наслаивается. Когда не раз заявлено, что — «главный», время начинает работать на журнал.

А. В. *И вот традиция эта накапливается, перескакивая через пустоты конца 30-х годов, укрепляется в 60-е годы... Журнал оставался «главным» и в те десятилетия, когда не был лучшим. Но советская эпоха заканчивается, культурная ситуация переворачивается, и оказывается, что никакого главного журнала быть уже не может (ведь не спорим мы о том, какая сейчас главная газета и почему «Известия» больше не являются, как при Советах, второй главной газетой страны). Время перевернулось, а инерция восприятия у нескольких поколений читателей осталась. Сегодня одна из главных творческих проблем «Нового мира» — противоречие между вчерашними ожиданиями, накапливавшимися годами, и объективной невозможностью эти ожидания удовлетворить. Как вы думаете, чем эта коллизия может в дальнейшем разрешиться?*

М. Ч. Традицию невозможно вырвать из головы, это часть умонастроения, взгляда на вещи. А если вернуться в прошлое, то стремление определить главный журнал было стремлением определить пик литературоцентризма. Так как литература в силу разных обстоятельств выдвинулась в России с середины прошлого века на первое место и раз мы идем вдоль горного хребта, то, естественно, ищем, где же его пик. А идея единичности — один лучший поэт, один лучший писатель, один лучший журнал, — она из начала 30-х годов... Ну а сегодняшние психологические трудности в общении с читателями — это отражение тех самых трудностей, с которыми идет взросление людей в новое время, когда люди проснулись в своих домах, но в другой стране. Они видят, что журнал приходит в той же обложке, но помещен совершенно в иной контекст...

А. В. *Качество журнала при этом не ниже, чем в лучшие годы...*

М. Ч. ...но перестало быть событием. Раньше читатели знали, что если появился Войнович или Владимов, то вся мыслящая, вменяемая, просто образованная Россия об этом говорила. А сейчас — в отсутствие огромного общественного резонанса — все публикуемые вещи кажутся эстетически хуже. Как моя маленькая дочка говорила: вот у тебя, мама, книжка вышла, а ничего не изменилось, все также люди по улицам ходят... Я ей сказала: так это хорошо, а вот если книжка вышла и люди перестали ходить — это плохо... Да, вышел номер журнала, а люди не бросаются друг к другу с возгласом: «Читали?!», как мы когда-то после чтения Домбровского (о Солженицыне уж не говорю), и читателю кажется, что и щи стали пожиже.

А. В. *Вот вы сказали: «мы читали». А когда вы как читатель впервые соприкоснулись с «Новым миром»?*

М. Ч. В девятом и десятом классе я ходила в районную Сокольническую библиотеку, читала толстые журналы. Помню прекрасно, как читаю не отрываясь «Времена года» Пановой и жду не дождусь следующего номера с окончанием, а потом в нем же Померанцев — об искренности в литературе (1953, № 12). Да, «Новый мир» для меня выделился тогда — в 1953 — 1954 годах, и с той поры читаю журнал постоянно.

А. В. *А когда и как вы впервые напечатались в нашем журнале?*

М. Ч. Сначала начал печатать там короткие рецензии мой муж [Александр Чудаков], потом решил и меня втянуть, принес мою коротышку без подписи — на книгу А. Хайлова о Пришвине, еще что-то. А потом смешная была история в 1961 году, я собиралась рожать с недели на неделю и решила написать большую рецензию в «Новый мир», причем я совершенно не представляла, что надо сначала договариваться о рецензии, что ее должны заказать. Я написала рецензию на детскую книжку Галины Карпенко. Пришла — сидят, как потом выяснилось, Калерия Николаевна Озерова и Галина Павловна Койранская. И много лет спустя Калерия Николаевна говорила: «Я думала только о том, чтобы ты тут у нас не родила, скорее бы тебя спровадить». И хотя они в изумлении смотрели на меня: как же без заказа? — но рецензия им понравилась. А редколлегия потом ее отвергла — потому, как мне сказали, что сама Галина Карпенко показалась им недостаточно интересным явлением. А уж потом мне стали заказывать, и я написала важную для меня рецензию на книжку Веры Смирновой о Гайдаре. Я очень любила Гайдара и до сих пор люблю и хотела о нем писать, как и сейчас хочу. Я в эту рецензию довольно много вместила, что думала о Гайдаре. А в 1962 году мы написали с Чудаковым свою первую совместную статью и напечатали ее во втором номере 1963 года. Собственно, я вообще начала печататься именно в «Новом мире».

А. В. *Остановимся на 60-х годах, на «Новом мире» Твардовского. Все тогдашние сотрудники журнала были по отношению к вам людьми другого — более старшего — поколения.*

М. Ч. Бесконечно более старшего, я бы сказала...

А. В. *Замечали ли вы, что ваше тогдашнее мировоззрение и то умонастроение, которое царило в редакции, существенно различались? Может быть, это было связано именно с поколенческими различиями?*

М. Ч. Не просто поколенческими. Я очень хорошо это помню, мы бесконечно с Чудаковым об этом говорили. Это были годы самого интенсивного самоосознания, это не пропадает. Мой личный жизненный опыт был такой, что после 1956 года в течение двух лет встали все точки над «i». Веха была — чтение доклада Хрущева в Большой Коммунистической аудитории для так называемого актива — партийного и комсомольского. Я вошла одним человеком, через четыре часа вышла другим. Потом я бросилась читать собрание сочинений Ленина — всерьез, убедилась абсолютно, что все было заложено в Ленине и в этом октябрьском перевороте, в этой огромной утопии и в этом человеке, для которого не существовало никаких моральных ограничений. А мой муж еще раньше это понимал, потому что был из тех отдаленных мест, где у него

доценты ленинградские в школе преподавали и так далее. Он все это видел близко и гораздо раньше... И вот в «Новом мире» мы увидели левый по тогдашней терминологии (сегодня сказали бы — правый), левый край коммунистического мировоззрения. Идея была, если совсем уж идеологизировать: восстановление «ленинских норм социалистической законности», тут работал какой-то ограничитель, дальше этого ничего не подымалось. Когда пришел Лакшин (это было на наших глазах, в работе была наша первая с Чудаковым статья, а его мы знали как члена факультетского комсомольского бюро), он довольно раздражающе (не тем будь помянут) обозначил эти границы, и для него было совершенно естественно Сталина побивать Лениным. А для нас с мужем было ясно: если Ленина в каких бы то ни было целях уважительно — как авторитет — упоминает новомирский автор, то это оказывает на читателя, на общество разлагающее действие бесконечно большее, чем когда это же делает автор «Октября». И для нас это было абсолютно невозможно. Трения по этому поводу были...

А. В. *Как вам кажется, эти ссылки на Ленина носили в большей степени тактический характер, чтобы прикрыться как щитом для проведения каких-то своих важных мыслей, или отражали действительное умонастроение, были до какой-то степени искренними?*

М. Ч. Тут вещь очень тонкая. Надо ясно отдавать себе отчет, что в начале 60-х годов, после конца «оттепели», у всех практически работающих людей (за исключением анахоретов, которые сидели дома и размышляли) — у преподающих, делающих журнал и проч. — уже не заметно было серьезного размышления на эту тему. Это самое главное. Размышление было — в неомарксистских кружках на истфаке 1956 — 1957 годов. Я недавно встречала суждения, что, мол, мы не прошли в свое время через левое умонастроение (образца 1968 года в Европе), но это, конечно, не так. Мы столкнулись в «Новом мире» именно с уже таким закостеневшим в известном смысле результатом неомарксистских размышлений. А живой период был, и он окончился для тех, кто размышлял на эти отечественные (не европейские) темы. В 1962 — 1963 годах они уже приняли, что Октябрь был нужен, далее они уже просто не давали себе ясного отчета в ходе отечественной истории XX века — из самосохранения. После 1956 года отдать себе отчет в этом до конца было делом техники — не более, уверяю вас. Реликты этого окостенения я увидела в 1988 году, когда «Новый мир» печатал «Доктора Живаго». По просьбе самых тогда перестроечных «Московских новостей» я написала статью о романе, ее из верстки снял Фалин — глава АПН. Вернулся из отпуска Егор Яковлев, прочитал статью и замечательный вопрос задал заведующей отделом: «А что, ваш автор, она против Октябрьской революции, что ли?» Это, повторю, 1988 год. Они приняли еще в начале 60-х, что Октябрьская революция не подлежит сомнению, а бороться надо совсем с другим. Вы спрашиваете: искренне — не искренне? Но я всегда говорю своим студентам, что о слове «искренне» я могла бы написать целый том. Меньше чем на том, страниц на триста, не потянет ответ мой на вопрос, искренне или неискренне кто-то что-то делал или говорил в советское время.

А. В. *Но все-таки этот новомирский этап — с поисками «социализма с человеческим лицом», с возвратом к «ленинским нормам» как альтернативы сталинизму — этот процесс был в целом позитивным?*

М. Ч. (смеется). Ну, знаете... Допустим, у вас однокомнатная квартира, и вы понимаете, что ничего вместить в нее невозможно, ни книги, ни мебель, что это не жизнь, но вы в ней живете — и ремонтируете ее, убираете... Это позитивный процесс? Вы понимаете, что другой квартиры у вас не предвидится, и вы живете в той, что есть, — даже на кухне. Во время войны всей нашей семье приходилось в ванной жить трехметровой — это был позитивный процесс? Жили... Но пафос этих попыток выдохся довольно быстро, дальше все получило подкладку двусмысленности, потому что в 1962 году пришел Солженицын и своей повестью смахнул все со стола — как, между прочим, в поли-

тике Ельцин осенью 1991 года, также опередив всех! Как историк литературы, я делю литературу советского времени на два цикла, один закончился в начале 40-х годов, второй все время собирался начаться и начался только в 1962 году. Александр Исаевич воздвиг вежу, он слил то, что пишется «в стол», с тем, что печатается. Он то, что пишется «в стол», опубликовал, не сделал там никаких специальных цензурных вставок и проч. Этот случай остался единственным в своем роде, но это не уменьшило его значения. Я думаю, что большое было замешательство в журнале, хотя все это описывается в мемуарах иначе, но я думаю, что в душе у членов редколлегии, по крайней мере у нескольких, было большое замешательство — Лениным и какими-то нормами «социалистической законности» там и не пахло. Переменилась сразу вся карта. Вспомним название солженицынского рассказа «Для пользы дела». Вот все остальное и стало — *для пользы дела*. Все предстало в своем лицемерном виде, хотя... Вернемся к Вашему вопросу: позитивно — не позитивно? Я его себе неоднократно адресовала в таком виде: **надо ли было продолжать жить и работать в России, когда она была Советским Союзом?** После «Одного дня Ивана Денисовича» можно было бы ожидать, что ворота открылись — и другие за ним пойдут. А ворота не открылись, но многие люди поняли, особенно после суда над Даниэлем и Синявским, что они не могут врать для печати, что так писать, как писали до Солженицына — подцензурно, они не могут, не хотят, и тогда они стали передавать свои тексты в тамиздат. И для меня как для историка литературы тут вставал большой выбор. Мои коллеги посылали в заграничные журналы статьи, и любая такая «посылка» на Запад подразумевала в уме, что в случае чего они и сами уедут. Для меня и для моих близких такого варианта не существовало. Я для себя сделала выбор другой, я хотела жить только в России. Звучит патетически (а пафоса я хотела бы избежать), но я не хотела оставить российского читателя — учащегося, словесника, студента — только со взглядом на советскую литературу Выходцева, Щербины и проч. Я считала своим долгом, изо всех сил стараясь и все равно многое теряя по дороге, поскольку цензурные ограничения были очень серьезные, и очень много тратя времени, чтобы упаковать свои мысли в подцензурную форму, все равно печататься здесь. В этом смысле такой же выбор делала и редколлегия «Нового мира» (у меня, повторяю, с ними были серьезные расхождения, с «низовой» же редакцией их практически не было, но это другая проблема).

А. В. *Отношения тогдашнего «Нового мира» с официальными инстанциями понятны, с кочетовским «Октябрем» — тоже. А вот вопрос, который я уже задавал другому собеседнику, — как было дело с «Молодой гвардией»? Если смотреть сегодня с птичьего полета, то как бы ни были не похожи тогдашней «Новый мир» и тогдашняя «Молодая гвардия», они были частью одного общего процесса размораживания общества. В «Новом мире» оттаивали поиски социализма с человеческим лицом, в «Молодой гвардии» — другое. Но согласитесь, что мысли о ценности православной иконописи и церковной архитектуры, напоминание о том, что кроме революционных демократов есть еще и святоотеческое наследие, о том, что понятие «национального» может иметь более широкое толкование, чем ленинская «национальная гордость великороссов», — все это принято нашим сегодняшним обществом как вещи само собой разумеющиеся, о которых даже странно сегодня спорить. Между тем в свое время весь этот комплекс идей вызывал явное неприятие авторов и сотрудников «Нового мира». Почему же так крепко, так жестоко сцепились между собой эти две части единого движения к большей свободе?*

М. Ч. Узел абсолютно верно схвачен, на эту тему чувств и мыслей было потрачено много, и я это помню как сегодня. Вот здесь — в середине и конце 60-х — видно растление советского времени, повлиявшее на все общество в целом. Вот в этой схватке более всего проявилось, до какого состояния советская власть довела за несколько десятилетий общественную мысль и мысль людей вообще. И те и другие выступили, не продумав по-настоящему своей мысли, не составив целостного мировоззрения. Одно из самых тяжелых впечатлений — печатных — того времени, это статья А. Дементьева «О традициях

и народности» (весна 1969 года) против публикаций «Молодой гвардии». Но как я ни пыталась думать над тем, как я могла бы устно или печатно выступить — вопреки Дементьеву — в поддержку тех мыслей, которые были мне близки, это оказывалось для меня невозможно, потому что степень невежества, лукавства, близости к антисемитизму и такое, знаете ли, откровенное или прикровенное передергивание карт, которое происходило в молодогвардейском стане, эта осязаемая нечистоплотность... С одними я была не согласна: как вы можете выступать против тех, кто пишет о Церкви, если вы знаете, что они не могут ответить вам в полный голос (по известному отношению партии к Церкви). А с другими... Помню, пришли мы с Ирой Роднянской на дискуссию о кожиновских статьях в «Вопросах литературы» (1969 год, если не ошибаюсь) — о статьях, пересматривающих историю литературы XIX века. Я была гораздо больше на его стороне, чем на стороне его оппонентов, но столь очевидно было в его статьях, хотя бы на примере пассажа о Чаадаеве (я проверила перед тем, как пошла на дискуссию, — и была этим поражена), передергивание... Как можно было его поддерживать?.. А когда Ира выступила в его поддержку, то Палиевский ухитрился так ее похвалить: «Вот, видите, к нам *прикнула* Роднянская...» Да еще это постоянное кивание в сторону Сталина — при нем, мол, были великие писатели, не то что нынешнее племя... Соблазняли малых сих. Да и подспудная поддержка националистического крыла власти смутно ощущалась. Сегодня-то коммунисты все это обнажили. Все это было настолько мерзко... Вот настоящий русский фольклор: налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — голову сложишь. В молодогвардейском неославянофильстве так силен был к тому же дух дешевого прозелитизма... Я когда прочла Чалмаева, говорю, ну, как жаль, что *это, об этом* написал Чалмаев, а не Сережа Бочаров. Вот и все, что можно было сказать. Настоящие умы не писали об этом, потому что все равно приходилось бы какие-то экивоки делать, двусмысленности (печать-то была советская). Ведь после так называемого космополитизма никогда не была по-настоящему очищена политическая и умственная почва, и это гниение все время давало себя знать. Можно сказать так: ни в умах, выросших в советское время, ни тем более в советской печати не было условий для серьезного мировоззренческого спора, а следовательно, все пошло насмарку...

А. В. Вот представим себе, что в 60-е годы вам и редакции «Нового мира» краешком показали бы будущее — наше сегодняшнее настоящее. Я предполагаю, что вы и тогдашняя редакция по-разному бы к этому отнеслись. Видимо, редакция «Нового мира» увидела бы в таком будущем полный крах всего своего дела...

М. Ч. Конечно. Мы наблюдаем это и сегодня — статьи бывшего новомирца Юрия Буртина... да и у Лакшина в его последние годы (хотя он меньшим ленинцем стал) такой же был взгляд — как все плохо вышло... Сегодняшние позиции бывшей «прогрессивной интеллигенции» — это предмет моих постоянных размышлений, я все не могу понять, как они могли предать самую идею свободы. Ради чего можно было ее предать? Как писал Кушнер, «затем, что свобода одна — / Достойная жизни подкладка». Токвиль еще сказал: кто ищет в свободе что-либо, кроме свободы, обречен на рабство. А они все время ищут чего-то «другого». В 1990-м, кажется, году были мы на Тыняновских чтениях, и мои сотоварищи по этим чтениям затеяли спор и обратились ко мне с такими словами: «Вот везде сейчас печатают Бердяева и Сергея Булгакова, так не кажется ли вам, что люди, их начитавшиеся, возмутся в конце концов за топор?» Нет, говорю, не кажется. Статьи в «Правде» не опасно было читать десятилетиями, а русские философы — опасны! А это были собеседники, во многих отношениях мне близкие. В этом-то мы и разошлись очень сильно. Я думаю, что новомирцы 60-х тоже бы сказали: «Нет, Сергея Николаевича Булгакова нельзя широко печатать, как бы худо ни было...» Я уж никак не хочу сказать, что все у нас пошло хорошо, нет, конечно. Но интеллигенции-то импонировал «социализм с человеческим лицом». А если лицо — недостаточно человеческое, они будут в благородной оппозиции. Самой возможности хо-

теть, как писал Пастернак: «...в отличие от хлыща / В его существовании кратком, / Труда со всеми сообща / И заодно с правопорядком», — самой возможности этого хотения не допустили. А ведь бывают исторические моменты, когда только соединение усилий общества и власти может что-то дать — как в первое время в послефашистской Германии. Мы этот момент, кажется, пропустили. На этом так сильно обожглись, и не раз, что решили, что этого не может быть никогда. Тогда как, в общем-то, к этому стремиться надо — чтобы так жизнь в стране шла, чтобы можно было правопорядку помогать.

А. В. *В конце 80-х казалось, что традиции Твардовского журнал продолжает напрямую, но задним числом видно, что вектор был другой, что весь смысл новомирской перестроечной публицистики был в очень быстром изживании социалистических иллюзий...*

М. Ч. Да. Но и продолжение традиций — было. Оно было в **серьезном отношении к работе мысли**. Я только что с отрицательной стороны говорила о периоде 60-х, но все-таки это был единственный журнал, где хотя бы над литературой как таковой можно было серьезно поразмышлять. И была серьезная экономическая публицистика, насколько это было возможно. Журнал перенял из 60-х годов серьезность отношения к жизни, но только на другом этапе. Я эту традицию ощущала и ощущаю — не школьное, не залихватское, не циничное, не ироничное, не богемное, не разудалое, а серьезное отношение зрелого человека.

А. В. *Можно сказать, что в 60-е годы редакция журнала знала, «что делать» и «кто виноват». Не всегда удавалось высказать это прямо и вслух, но ощущение, что мы знаем, — было. Такое же ощущение было в период перестройки и гласности, только возможности для выражения существенно расширились. Сегодня ситуация изменилась. Заметили ли вы или нет, что в этом жанре статьи у нас практически исчезли? Пришло сознание, что учить никто никого не может...*

М. Ч. Вот с этим я решительно не согласна! Совсем не согласна! Я понимаю ваш ход мысли. Но задача-то главная не выполнена! У нас мыслящей частью российского общества не выполнена задача, которую, я бы сказала, мы перед всем миром обязаны выполнить. Германия после войны — усилиями и политиков, и писателей, и публицистов — сказала миру: мы поняли, что такое фашизм, и больше у нас этого не повторится. Мы, в России, этого в полной мере публично не сделали, не осознали и миру об этом не заявили. Отсюда — огромные последствия. Помимо мыслительных — и чисто практические. Мы будем в бесконечной тягбе с Западом, потому что мы не изъяли из мира образ опасности потенциальной, идущей от России/СССР, — от нас ждут буквально каждый день возвращения к прошлому. Это наш национальный позор, и преодоление этого — наша задача, душевная, интеллектуальная, философская, политическая. Скажу со всей прямоотой: я-то ждала именно от «Нового мира» выполнения этой задачи и с большим разочарованием вижу, что этого нет. Это должен делать именно «Новый мир» с огромной его наработанной (не люблю это слово, но уж не буду искать другого), — наработанной традицией мысли, энергией мысли. Все последние годы (в отличие от годов перестройки) сограждан стремятся убедить, что мы ничего не знаем о своем советском прошлом. Все заканчивается словами: ну вот будущий историк, может быть, скажет; что там было на самом деле. Уже дошло до того, что неизвестно, что произошло в августе 1991 года... То есть мысль людей ввергается вновь в бредовое неменяемое состояние советского времени. Людям внушили, что они ничего не знают. Вместо истории и свободного размышления о ней (а этим только бы сейчас и заниматься) существуют только «версии», все заменилось «версиями». «Новому миру» давно пора начать планомерную работу, единственную в своем роде (больше делать некому, я вижу) по серьезному осмыслению Катастрофы России XX века и **выхода из нее**. Я не могу, к сожалению, согласиться с Александром Исаевичем (я об этом и печатно высказывалась), что был избран наихудший путь выхода из социализма. Я написала, поздравляя его с 80-летием, что из выгребной ямы чистых путей не бывает.

Можно спорить, чья там и какая вина, но нужно большее — глубокий анализ жизни России в XX веке.

А. В. *В связи с этой сформулированной вами глобальной задачей, как вы думаете, толстый журнал, каким он пришел к концу века, имеет ли будущее, выходящее за пределы жизни тех нескольких поколений, для которых читать толстые журналы было привычно, естественно? Им на смену идут поколения, у которых привычки такой нет.*

М. Ч. У меня есть ответ на этот вопрос. Эпиграфом к одной из глав своей первой книги я взяла слова Шкловского: литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и настаивать, что это место самое важное. Если вы будете сами считать, что вы делаете важное и интересное для многих, то вы докажете это обществу, и общество это примет. Может быть, все журналы кончатся, а «Новый мир» останется, если только вы сами не будете сомневаться, имеете ли вы право на существование, а будете всеми силами, оглядываясь на живую жизнь общества, стремиться быть обществу полезными. Ту задачу, о которой я говорила, можно проводить только в рамках толстого журнала. Даже монография — не то, это мысль одного человека. А вот продолженная мысль многих лиц, вмняемых, номер за номером, под одним — антирелятивистским — углом зрения, мысль, говорящая обществу: да, мы многого не знаем и во многом сомневаемся, но давайте отделим то, в чем мы сомневаемся, от того, что несомненно, — она сегодня бесценна. Я уверена, что именно в «Новом мире» ей место.

«В РЕЖИМЕ ЗАПОВЕДНИКА...»

Михаил Сергеевич Новиков родился в 1957 году в Москве. Родители — научные работники. Перепробовал множество занятий и профессий, среди которых самая удручающая — слесарь-сборщик на телевизионном заводе, а самая приятная — горнолыжный инструктор. Окончил Литературный институт, выпустил две книги прозы. С 1996 года работает в газете «Коммерсантъ».

Андрей Василевский. *В ваших текстах в «Коммерсанте» просматривается явное неодобрение того, что происходит сегодня в толстых литературных журналах. Во всяком случае, пишете вы о них — если вообще пишете — без симпатии. Но как профессиональный литературный критик вы ведь следите за тем, что в них печатается?*

Михаил Новиков. Да, слежу. Я, может быть, читал бы их более подробно, если бы входил в «цех». Но не вхожу и поэтому очень внимательно не вчитываюсь. Произведения, на которые сразу обращают внимание другие критики, я, конечно, стараюсь читать.

А. В. *А вот собственной внутренней потребности читать толстые журналы — ее у вас совсем нет? И вы не ждете от толстого журнала, что там может появиться что-то важное, насыщенное для вас? Даже случайно не может появиться?*

М. Н. Боюсь, что я уже исчерпал свои внутренние ресурсы на такое чтение в 70-е и 80-е годы, особенно в конце 80-х, когда все такое читалось очень здорово. Случайно, конечно, может появиться все, что угодно. И в толстом журнале тоже. Вероятность появления в толстом журнале чего-то экстраординарного, такого, о чем по прочтении понимаешь, что прочел что-то необходимое, достаточно велика и даже выше, чем на каких-то других литературных площадках. Хотя бы потому, что в толстых журналах есть объем. Больше того: для человека, которому лет 20 — 25, который пишет беллетристику, занимается собственно художественной литературой, толстый журнал — едва ли не самый логичный дебютный ход. Особенно в случае стихов. Стихи — это то, что я читаю в толстых журналах внимательней, чем прозу. Русская поэзия находится, по-моему, в хорошей форме. Но при всем при том я вижу, что в толстых журналах сохраняется круг авторов, круг приоритетов, сохраняется некая,

видимо, интуитивно понимаемая стилистика, которая уже **была**. И это в целом отработанный кусок, что ли.

А. В. *То есть можно сказать, что литература толстых журналов и литература, существующая на других площадках, — это разные литературы?*

М. Н. Не сказал бы, что они разные. Пример, неудачный именно в силу тривиальности, — это Владимир Сорокин, который совершенно открыто альтернативен толстым журналам и который на вопрос о толстых журналах всегда найдет место могильный камушек пристроить. В то же время вся его проза, особенно поздняя, построена на отталкивании от тех литературных шаблонов, которые мне точно так же не нравятся в толстых журналах, как и ему. И новый его роман «Голубое сало» вряд ли мог бы существовать без этих пародийных кусков. Этого нельзя сказать о ранних его вещах, которые пародируют скорее советское обывательское мышление и советскую обывательскую речь, чем их литературные отражения. Пример не очень хороший, слишком поверхностный, но он работает, и поэтому можно им пользоваться. Нет никакой совсем уж альтернативной литературы. Отталкивание есть. Оно еще и поколенческого характера. Наша генерация — примерно от 35 до 45. Так уж получилось, что мы и своим сверстникам не верим, а тем более уж тем, кто старше. Толстые журналы делают ту культуру, которая прямо вытекает из культуры шестидесятников. Результат не слишком мне нравится. Все это архаично. Нельзя сказать, что это другая литература. Известный эффект: как только начинают говорить, что литература **другая**, сразу выясняется, что это какая-нибудь фикция. Вот концептуалисты — нельзя же их назвать такой уж другой литературой. В социальном контексте — при советской власти — да, можно было так говорить, потому что одних власти прижимали, других — поднимали. А сейчас нет, все-таки нет.

А. В. *У толстых журналов есть сегодня не только устоявшийся круг авторов, которые живут в пространстве толстых журналов, но и устоявшийся круг читателей. Как вы думаете, через некоторое время толстые журналы могут исчезнуть по причине исчезновения аудитории, как это многие нам пророчат?*

М. Н. Боюсь, что да. У толстых журналов есть род снобизма, и этому снобизму нелегко придется, если можно так выразиться. Есть снобизм глянцевого журналов, но они, так сказать, программно глуповаты и поэтому более защищены. А снобизм высокой культуры — хрупкий. И понятно, что без этого снобизма невозможно, иначе исчезнет ее приятная элитарность. Не только ведь по привычке читают «Новый мир», не только потому, что всю жизнь читали, а есть ощущение, что здесь — настоящее. Но это нынешнее существование в режиме заповедника не кажется мне прочным (несмотря на то что сегодня все выглядит более устойчиво, чем, скажем, пять лет назад). Через какое-то, может быть, очень непродолжительное время жизнь скажет этим авторам: здесь Родос, здесь и прыгай. А сегодняшняя иллюзия устойчивости есть следствие того, чего мы все не любим, — странной общественной системы, которая вдруг начала напоминать номенклатурную старую советскую систему, где как-то распределяются деньги и возможности и культуре что-то перепадает. Вспоминаю: я когда-то прочитал довольно много «Ньюйоркеров». Тоже не прибыльный журнал. Здесь пытались много раз что-то такое создать, ньюйоркероподобное... ничего не вышло, потому что, видимо, не очень органично для наших мест... Но факт, что Джон Апдайк или Курт Воннегут не презирали рецензии и писали их здорово. Там, кстати говоря, прекрасно платят — если ты пробился в «Ньюйоркер», тебя это кормит. Да и в советское время, если ты напечатался в «Новом мире», ты получал и деньги, и статус. «Я печатаюсь в „Новом мире“», — сказал себе, и можно спать спокойно. Понимаете, одно дело, когда толстые журналы — это очаг либерализма, другое — когда вся суть в эстетике. Поколение, для которого эстетика толстых журналов настолько важна, что они подпитываются ею, существует, конечно. Но я не могу себе представить, чтобы двадцатилетний широкий читатель вот так «в кайф»

читал Андрея Дмитриева. Он — мастер, очень хороший профессионал, но это автор, который литературно существует только в контексте толстых журналов.

А. В. Ну, поскольку толстые журналы все-таки существуют и все заинтересованные лица знают, что они существуют, то публикация в таком журнале дает литератору хороший шанс заявить о себе. Возьмем, например, Олега Павлова: напечатал у нас «Казенную сказку» (1994, № 7) — сразу в букеровский «шорт-лист», Максим Амелин не у нас дебютировал, но, напечатав две подборки у нас (1998, № 6, 11), получил — именно за две эти подборки — Антибукеровскую премию, весьма, кстати, весомую в денежном выражении.

М. Н. Да, это правда. Но что касается Максима Амелина, на нем как раз и видна, что называется, сила и слабость этой ситуации. Мне кажется, что его поэзия — очень сухая, очень филологическая... Я поразился такому его успеху в литературном кругу, потому что есть такое количество «горячих», гораздо более эмоционально затрагивающих читателя поэтов — и их вообще никто не знает. А он так удачно попал. Таких стихов, как он пишет, ведь довольно много — чуть ли не больше, чем читателей. Согласитесь, весьма специфическая аудитория у этой поэзии...

А. В. А того же Сорокина невозможно представить в современном толстом журнале — контекст его отторгает. Но пофантазируем. Можно ли вообразить такой особый и в то же время настоящий толстый журнал, чтобы в нем могли органично печататься такие авторы, как Сорокин? Или есть какая-то глубинная несовместимость «сорокиных» не с направлением, не с эстетикой, а с самой формой русского толстого журнала?

М. Н. Форма литературного журнала — вещь хитрая... Сравнительно малый успех новых литературных журналов типа «Золотого века» Владимира Салимона как раз говорит о том, что эксперименты с самой формой журнала возможны в каком-то очень небольшом пространстве... тут зазор между уже существующим и возможным не так велик, как в газетной периодике, где, как мне кажется, и десятой доли экспериментов еще не поставлено. В «Новом мире» Сорокина представить сложно, а в «Новом литературном обозрении» — пожалуйста. Потому что «Новое литературное обозрение» ориентировано не на интеллигента, а на интеллектуала (или на его формирование), а для интеллектуалов соседство академической критики и шокирующей прозы, выходящей за рамки мейнстрима, приемлемо вполне. Это вопрос о читателе, вопрос о том, как скоро образованные профессионалы заменят в обществе профессиональных... как бы их назвать?.. рефлексеров, людей, которые делают рефлексию несущей структурой своей жизни. Пелевин чудно печатался в журналах. Сейчас его раскрученность стала противоречить духу толстых журналов. На примере Пелевина можно ясно понять, что же мне не нравится в подходе толстых журналов... У вас я прочитал статью Роднянской?

А. В. ...«Этот мир придуман не нами» (1999, № 8)...

М. Н. Положительная статья. Но... ведь и так все ясно. Нет смысла разбирать вещь, сделанную по рецептам Макдональдса, если прямо говорить — методами, какими разбирался Юрий Трифонов. Или не Трифонову возьмем, а попроще пример — вот был спор о городской и деревенской прозе. Спорили, спорили, какие-то статьи бесконечно публиковали, и никто не называл вещи своими именами. Понятно почему — иначе это просто не вышло бы в печать. И с тех пор эта метода сохранилась. Она выглядит архаичной не потому, что человек пишет что-то неправильно, а потому, что человек как бы сидит в 1978 году...

А. В. Вот это очень интересно. В том, что касается статьи Ирины Роднянской о пелевинском «Generation 'П'», я с вами не согласен, но вопрос затронут очень интересный. Вы действительно считаете, что в толстых журналах еще жива та давняя недоговоренность, может быть, даже двоемыслие?

М. Н. Я не назвал бы это именно двоемыслием. Есть такой жанр — обзоры (одно время делали их Андрей Немзер, Александр Архангельский). Я как раз поклонник ваших обзоров в «Периодике»: короткая цитата, две фразы коммента-

рия — и все понятно сразу. А очень подробное и в то же время очень обтекаемое рассуждение наводит меня на мысль, что критик не хочет, то ли потому, что заденет писателя, то ли не может, потому что не привык, проговаривать вещи до конца, доводить свое мнение до состояния формулы. В устной речи этого как раз делать не стоит, не надо обижать собеседника визави или отсутствующего, но на письме мы это делать обязаны, потому что иначе теряется смысл письменного высказывания. Вокруг да около что крутиться, да скажи уж прямо!

А. В. Вернемся от вообще журналов к конкретному «Новому миру». Есть ли у вас ощущение, что он принципиально отличается от других аналогичных изданий — «Знамени», «Октября», «Звезды», «Дружбы народов», топчущихся, в общем-то, на одной площадке. Не будем брать во внимание «Наши современники» и проч., просто чтобы не уводить разговор в сторону. Так отличается?

М. Н. Особенно, конечно, близки «Новый мир» и «Знамя»...

А. В. ???..

М. Н. Ну да. «Дружба народов» сильно выигрывает оттого, что время от времени печатает тех, кого называли националами, из ближнего зарубежья... стоит это перелистать, чтобы вспомнить, что где-то неподалеку происходит тоже литературная жизнь, сильно похожая, по-видимому, на ту, что происходит здесь. Это их плюс. За счет чего держится «Октябрь», я понять не могу. За счет круга авторов, за счет инерции какой-то? Кенжеева прозу я там встречал, она оказалась намного слабее его стихов... Ну своего главного редактора они печатают, это такая литературная экзотика. В общем, впечатление необязательного издания, потому что «Новый мир» со «Знаменем» снимают ведь все сливки. Мне ужасно нравится из толстых журналов саратовская «Волга». Там тоже есть свои странности, вещи, не кажущиеся мне обязательными... но поэзия там вся замечательная, эссеистика бывает интересная... И «Волга» именно другая. И вот мы возвращаемся к «Знамени» и «Новому миру»... нет, я не могу найти разницы.

А. В. А если действительно нет разницы (я-то думаю, что она все-таки есть, и, вероятно, коллеги из «Знамени» тоже так думают), то в чем смысл существования двух одинаковых журналов? Когда на одной улице стоят друг против друга продовольственные магазины, принадлежащие конкурирующим фирмам, с одинаковым, в сущности, набором товаров, тут все понятно. Но два литературных журнала, работающие с одними и теми же авторами, обращающиеся к одной и той же аудитории, это нонсенс. Или нет?

М. Н. По-моему, я об этом и говорю. Поэтому я довольно скептически оцениваю перспективы. На самом деле было бы здорово, если бы нашлось несколько аудиторий читателей, авторов, достаточных и для одного, и для другого, и третьего издания, но оказывается, что профессия литератора далеко не массовая и приток талантливых людей не такой большой (я не знаю, сократился ли поток графомании?). Я не вижу, на чем можно было бы развести «Знамя» и «Новый мир».

А. В. Считается, что «Знамя» — журнал более светский, а «Новый мир» — более христианский, скажем. «Знамя» — более экспериментальный журнал, конечно, относительно «Нового мира», а «Новый мир» — журнал чуть более мейнстримный...

М. Н. Пожалуй. С этим я не буду спорить.

А. В. Или такие вещи: «Новый мир» напечатал полемическое письмо Вадима Кожина — не как единомышленника, а как оппонента. Кожин — совсем не наш автор, но шаг такой возможен, он — не взрывает контекст журнала. Не уверен, что на такой плюрализм способны издания, считающиеся у их сторонников более либеральными.

М. Н. В «Знамени» экспериментальная поэзия более раскованная, чем в «Новом мире». Но тот же Кожин, непредставимый там и представимый тут, — посмотрите, как он пишет. Я не говорю о том, что. Он пишет очень «по-толстожурнальному». Солидно вроде, но как-то не вполне актуально звучит. Я говорю об интонациях, о способе подачи своих мыслей.

А. В. *То есть говорит по существу другое, чем авторы «Нового мира», а стилистика — привычная для толстого журнала, поэтому и ложится в контекст?*

М. Н. Да, конечно. Есть такой рассказ Борхеса «Богословы». О богословах, которые спорили не на жизнь, а на смерть, один написал на другого донос, того сослали, одного в конце концов сожгли на костре, в жилище другого ударила молния, и он тоже сгорел. Они потом оказались в одном и том же месте ада, они не могли понять, что, с точки зрения Бога...

А. В. *Или Борхеса?..*

М. Н. ...они одно и то же лицо, потому что обсуждают одну проблему одними и теми же способами, и Бог не видит между ними разницы. Я хочу сказать, что, с точки зрения человека, не заинтересованного специально в том, чтобы выяснять оттенки различий... Боязно сказать, но разницы между знаменской Натальей Ивановой и новомирской Ириной Роднянской или между ними обеими и Вадимом Кожиновым — разницы не просматривается. Это я не к тому, чтобы кого-то обидеть, боже сохрани... Но поймите — общее сильнее, чем разница, которая тоже, конечно, имеется, но, чтобы увидеть эту разницу, надо совсем уж приблизиться, на что у большинства сегодня нет сил, времени и желания.

А. В. *«Новому миру» исполняется 75 лет. Это много для периодического издания?*

М. Н. Много.

А. В. *Журналы — страшно выговорить — должны умирать?*

М. Н. Да. Да, как предприятия, как фирмы, как газеты... конечно да. Но слово «смерть» обладает слишком серьезными коннотациями, чтобы его применять к какой бы то ни было форме культуры, потому что культура не умирает. Журнал как учреждение — да, умрет. Но не о мебели же жалеть... А как явление культуры — куда он денется.

А. В. *Чисто теоретически я могу и сам сказать — совершенно спокойно — что, мол, когда-то была культура, а толстых литературных журналов еще не было... Значит, логически рассуждая, можно предположить, что когда-нибудь культура будет, живая, богатая, а толстых литературных журналов — как формы — уже не будет, а будет что-то другое, нам еще неизвестное... Но я, новомирец во втором поколении, не могу представить, что это случится на моем веку.*

М. Н. Тут, пожалуй, и я скажу, что угасание (по-моему, неизбежное) таких изданий не через год-два будет происходить. Не все еще выработано. Всю классику напечатали, всю эмиграцию вернули. Сейчас, наверное, шестидесятилетние архивы на очереди — вы, скажем, печатаете дневники Дедкова. Это любопытно как минимум, хотя, конечно, впечатление какой-то особой извращенности мысли, чуть ли не кафкианской, у меня есть от этих дневников. Я все понимаю, жизнь была такая, что человек листа бумаги белого слегка побаивался — вдруг что-нибудь такое, не очень партийно-народное, напишется. Все-таки все равно — жуть. Я думаю, жуть таких свидетельств очень ценная и очень тонкая, гораздо тоньше, чем в тайных книгах сталинских времен. Словом, вы уже последний советский слой выбираете. Но дальше кто-то еще непременно появится, не может не появиться. Хуже всего для толстых журналов то, что этот кто-то новый никак не появляется, речь все идет о том, что было вчера и позавчера. Я понимаю, сложно принять, что журналы, вот, сидели за неким пиршественным столом, на них были направлены софиты и тысячи глаз, а потом все это развернулось куда-то, отвернулись все в разные стороны и никаких тысяч глаз нет. Славное время прошло, а место осталось тем же самым. Но это ведь не значит, что на этом месте уже ничего быть не может...

А. В. *И сейчас есть...*

М. Н. Хорошо, конечно, что нашелся Сорос. Но будут, будут и еще находиться меценаты... *(Раздумчиво.)* У нас в стране столько дурных денег...

(На этом месте пленка не выдерживает и кончается.)

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Ну вот перед нами три записанные, расшифрованные и обработанные вместе с авторами беседы о «Новом мире». Три поколения, три взгляда на «Новый мир». За каждым высказанным суждением стоит не только личное мнение собеседника, но и определенное умонастроение, достаточно распространенное мировоззрение. Сначала мне хотелось прокомментировать многие высказывания, но потом, когда все три беседы совокупились воедино, пришло понимание, что полезнее будет, не вступая в спор, сказать от имени главного редактора несколько слов о принципах, которыми руководствуется наш журнал сегодня — на пороге 2000 года от Рождества Христова.

«Новый мир» основывает свою деятельность на том, что у традиционного русского толстого журнала есть будущее.

«Новый мир» считает главной своей задачей давать читателям реальную картину развития современной литературы в лучших ее проявлениях.

Надеюсь, что, прочитав новомирский анонс на 2000 год (стр. 1 — 2), читатели поймут, насколько наши журнальные замыслы шире и неожиданней того, что предполагают о «Новом мире» наши уважаемые собеседники, которых мы с благодарностью выслушали.

Вместе с тем это обещанное нами разнообразие включено в определенную прочную раму, которую мы и в общественно-политическом, и в художественном отношении обозначили бы как вперёдсмотрящий консерватизм.

«Новый мир» считает, что консерватизм не есть застой, истинный консерватизм как раз подразумевает необходимость нереволуционных изменений, поскольку именно ради сохранения целого нужно постоянно приводить частности в соответствие с новыми «вызовами времени», да и просто с естественным ходом вещей.

«Новый мир» исходит из того, что толстый литературный журнал в России объективно не может находиться вне борьбы идей, но при этом важно не превратиться в узкотенденциозное, пошло «оппозиционное» издание.

«Новый мир» критически относится к социализму, не приемлет коммунизма и фашизма ни в каких формах — теоретических или практических, отечественных или зарубежных, архаичных или обновленных.

«Новый мир» хочет видеть Россию свободной европейской страной, избегнувшей и «евразийского соблазна», и любых — крайне опасных — попыток материализации призрака СССР.

На том, что у новой России есть будущее, «Новый мир» и основывает свою деятельность.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЙ НЕМЗЕР



ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

О русской прозе 90-х годов

Магия цифр притягательна — разговоры об итогах века и тысячелетия ныне в большой моде. В интересующей нас литературной сфере разговоры эти не кажутся — выразимся мягко — слишком содержательными. Сам факт тысячелетнего существования русской литературы по крайней мере проблематичен — страсть к разрывам и переменам у нас явно доминирует над континуальностью. («Культурная революция» Петра Первого — пример общепонятный, хотя и далеко не единственный. Для современного просвещенного и заинтересованного читателя сочинители допушкинских времен, включая безусловно великих писателей — Державина, Карамзина и даже Жуковского, отнюдь не «классики» в полном смысле слова.) Что же касается до XX столетия, то, при всех великих достижениях русской словесности уходящего века, развитие ее никак нельзя признать естественным: слишком сильно было воздействие «внелитературных факторов», слишком ощутимы постоянные катастрофические разрывы в историко-литературном ряду, слишком бедны (либо мифологичны) наши представления о своем столетии.

Между тем толки о тысячелетии и веке отвлекают от обсуждения куда более конкретное, обозримое и, как представляется, исторически значимого феномена — словесности последних лет, существовавшей и существующей в принципиально новом контексте — на свободе. Нельзя сказать, чтобы свободной русской литературе жилось особенно весело, но свобода и не подразумевает гарантированного благополучия. Нельзя сказать, что литература последних лет была встречена сочувственно: сокращение читательской аудитории видно невооруженным глазом (при этом бесспорно болезненный факт все меньше подвергается анализу; у нас либо поется осанна долгожданному освобождению от клятого литературоцентризма, либо раздается вселенский стон о «конце русской культуры»); критика — в изрядной своей части — предпочитает брезгливо-скептическую интонацию в разговорах о новых писательских работах, ностальгию по былому величию (как реальному — национальной классике, так и весьма сомнительному; от сказок о литературном расцвете, якобы имевшем место в 60 — 70-х годах, несколько подташников¹) и фантастические мечтания о прекрасном будущем, что, вероятно, само собой свалится с неба. Нельзя сказать, что новые времена освободили литераторов от возможности писать плохо (банально или вычурно, ориентируясь на невзыскательную аудиторию или самоназначившихся экспертов, вторично или просто бездарно).

Немзер Андрей Семенович — критик, историк литературы. Родился в 1957 году в Москве. В 1979 году окончил филологический факультет МГУ; кандидат филологических наук (1983). Обозреватель газеты «Время МН». Многочисленные публикации в журналах и газетах («Знамя», «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», «Литературное обозрение», «Сегодня» и др.), а также работы по истории русской литературы первой трети XIX века. Автор книги «Литературное сегодня» (1998).

¹ Я не отрицаю ни заслуг лучших писателей 60 — 70-х годов, ни их роли в становлении новейшей литературы. Неприятие вызывает идеализация «эпохи» и ее «процесса».

Наконец, но не в последнюю очередь, сегодняшний (осень 1999-го) общественно-политический климат мало располагает к оптимизму даже тех, кто, предвидя многочисленные сложности, конфликты и потери, почитал события начала 90-х прологом к формированию великой и свободной России, немислимой, в частности, без свободной и открытой будущему культуры. «Формалистическое» отделение литературы от политики, общественной жизни и элементарных проблем частного человеческого существования тут не срабатывает. То есть не может утешить. Искусство, покуда им не начинают манипулировать извне (а этого в 90-е, в общем, не было), развивается по своим внутренним законам, но взаимодействует с «предложенными обстоятельствами». В еще большей мере это относится к сфере восприятия современного искусства: если публика его игнорирует (и не только в силу недостатков «эстетического воспитания», но и по причинам внешнего характера — а дело обстоит именно так), то художник обречен учитывать этот неприятный опыт и делать из него какие-то выводы. Реакция может быть весьма разнообразной. (Многое, если не все, тут, как и всегда, зависит от личности писателя, от запаса его духовной прочности, веры в себя и свое предназначение.) Следует, однако, понимать, что писательские поражения 90-х (будь то «уход из литературы», эксплуатация наработанных приемов и подходов, сочинительство «на заказ» и т. п.) в изрядной мере обусловлены крушением привычных, действовавших десятилетиями, норм писательско-читательского союза.

Все это так — все это грустно. Не заметить череду печальных фактов нашей литературной жизни исхитрится разве что слепой. «Слепому» же в среде интеллигентной (и тем более — профессионально литературской) сегодня не сыщешь — всяк гордится своей проницательностью и готов с энтузиазмом исполнять роль Кассандры. Проницательность — качество похвальное. Закавыка в том, что злосчастная троянская царевна, во-первых, не восхищалась своей прозорливостью, но воспринимала провидческий дар как проклятье, а во-вторых, говорила она о грядущих бедствиях под веселый шум всеобщих ликований. Не резонно ли потому в дни тотального уныния поразмышлять о благах и обнадеживающих тенденциях, куда более важных, чем самоочевидные пошлости и гадости. Мы постоянно упускаем из виду две прописные истины: а) *плохой литературы всегда больше, чем хорошей*; б) *пристойного литературного бытия не бывает никогда*. Осознав непреложность этих огорчительных закономерностей, обуздав вполне понятное, ежедневно вспыхивающее раздражение от «новых» облиций всегдашней скверны, мы можем с чистой совестью признать: в 90-е годы литература не умерла и умирать не собирается. Отсюда название предлагаемой читателю статьи. Отсюда же авторская установка: избегать по мере возможности разговора о негативных тенденциях в новейшей словесности.

Конечно, вовсе уйти от неприятных материй не удастся, ибо они не просто существуют, но и сказываются в общелитературном раскладе, мешая читателям видеть реальные ценности, а писателям — делать свое дело. Но не в них суть. Свободный человек должен быть сильнее среды и исторических обстоятельств. К литераторам это тоже относится. Коли писатель полностью определен неблагоприятным для творчества контекстом, то возникает резонный вопрос: да впрямь ли перед нами писатель?

Между тем контекст начала 90-х был крайне неблагоприятным. Я не об упавших журнальных тиражах, читательских зарплатах и писательских гонорах (и без меня известно) — я о стартовых условиях освободившейся литературы, об условиях, крепко-накрепко связанных с господствующей тенденцией предыдущего — перестроечного — периода. Литературная политика перестройки имела ярко выраженный компенсаторный характер. Надо было наверстывать упущенное — догонять, возвращать, ликвидировать лакуны, встраиваться в мировой контекст. Задним умом все крепки, но я не склонен иронизировать над тогдашним публикаторским бумом. Это сейчас вопрос: «А стоило ли печатать в журналах „Доктора Живаго“, „Собачье сердце“, „Мы“,

„Чевенгур”, „Приглашение на казнь”, стихи Клюева, Мандельштама, Ахматовой, Кузмина, статьи Владимира Соловьева, Бердяева, Франка, Федотова и т. п.?» — звучит академически. Не у всех еще, слава Богу, память вовсе отшибло — кое-кто помнит нервную взвинченность горбачевских лет, когда еще как можно было предположить команду «поворот всем вдруг», оставляющую не только без текстов великих стихов и романов, но и без права свободного их упоминания. Нет, легализацию «подпольной» классики проводить было надо. И надо было печатать тоже давным-давно написанную (и кое-кем читаную-перечитаную) литературу куда меньшего масштаба. Кстати, не одной политики ради. Благодарность ушедшим и восстановление исторической справедливости — приметы цивилизованности. Другое дело, что републикационный процесс мог бы вестись грамотнее, с меньшей суетливостью и фанаберией, без такого упоения собственной «прогрессивностью» и восторга от эверестообразных тиражей. Но опять-таки: имели место своеобразие текущего момента (более чем непростого) и безусловно благие намерения. (Если подчас с душком конъюнктуры, то когда же и что без него обходилось?)

Самое любопытное, что «компенсаторная» стратегия обнаруживалась не только при работе с собственно «наследием». Современная словесность тоже должна была «наверстывать». Простейший случай — журнальная распечатка прозы 60 — 70-х, уже опубликованной на Западе и/или активно ходившей в самиздате. Так, к примеру, «Пушкинский дом», «Ожог», «Верный Руслан», «Москва — Петушки» или «Сандро из Чегема» становились фактами *современной* литературы. С подземной классикой дело обстояло иначе: Пастернак и Булгаков представлялись условно говоря, «за вечность», Битов и Искандер — «за современность». Одновременно происходила перетасовка литературной номенклатуры: «сомнительные» (в рамках прежней иерархии) и просто прежде гонимые писатели занимали места в новом президиуме (если не в прямом, то в переносном смысле слова). Следствием было «бронзовение» достаточно многих вчерашних властителей дум. По-человечески понятно: если мои достойные (а чаще всего так и было) сочинения пятнадцати-, двадцати-, тридцатилетней выдержки наконец-то заняли подобающее место в культурном раскладе, то зачем куда-то еще двигаться? Тем более погода на дворе слякотная. От добра добра не ищут — будем развивать успех. Переиздавая старые тексты. Строя по их чертежам новые. Выжимая последние соки из «проверенных» героев, анекдотов, приемов и интонаций. Рефлектируя над давними шедеврами. Рассказывая о том, как они создавались (а заодно и о том, как жилось их автору и его родным, близким и сочувственникам). Публикуя неопубликованное, недописанное, ненаписанное и незадуманное. Расплавляя остатки (или зерна?) неких художественных текстов в густом мемуарно-эссеистическом сиропе. Забегая вперед, замечу, что, к счастью, сие поветрие затронуло далеко не всех мастеров, а мемуарно-рефлексирующая проза приходила к читателю 90-х не только в шутовских кафтанах.

Впрочем, о конкретных текстах всегда можно спорить: там, где один читатель видит томительное повторение пройденного, другому открывается манящая новизна. Есть свои азартные поклонники и у Людмилы Петрушевской (имею в виду Петрушевскую *после* незабываемой повести «Время ночь», то есть автора «Диких животных сказок», изготовляемых конвейерным способом метафизических страшилок и самопародийного романа из жизни фей, кукол и ворон), и у Андрея Битова (начиная с «Ожидания обезьян» формирующего заключительные тома своего Академического собрания сочинений — черновики, дневники, письма, текстологические варианты; ждем Dubia), и у Василия Аксенова (при бросающейся в глаза неряшливости, тесно связанной с авторским самоупоеанием, «Московская сага» и «Новый сладостный стиль» мне лично кажутся книгами неровными, местами — аляповатыми, разумеется, вторичными по отношению к лучшей прозе Аксенова, но все же симпатичными и живыми), и у позднего Владимира Войновича, и у позднего Фазиля Искандера. Старая любовь не ржавеет, но боюсь, что нынешние предпочтения (что

лучше: «Неизбежность ненаписанного» Битова, «Поэт» Искандера или «Карамзин» Петрушевской?) обусловлены степенью давней приязни к тому или иному из мэтров. И самое главное: я нимало не удивлюсь, если завтра любой из этих писателей выдаст полноценный шедевр. Право на паузу (и на паузу, формально заполненную новыми текстами) есть у каждого — так уж получилось, что иные из мэтров пришли в новые времена не в лучшей форме. (Не в лучшей для них! столь сильно о себе заявивших прежде!)

«Компенсаторная» стратегия времен перестройки была чревата дурными последствиями. То, что она невольно мешала сложившимся писателям идти вперед, — наименьшее из зол. Куда хуже, что она сказывалась на редакторском отношении к писателям, коих в России принято называть «молодыми». (Это не обязательно дебютанты — в «молодых» у нас ходят долго. Между тем республика словесности все-таки не гастроном или трамвайная остановка, где так приятно услышать обращенное к тебе восклицание: «Молодой человек!» Если, печатаясь двадцать лет, некто, с чьей-то точки зрения, все еще слаб в коленках, то его следует называть не «молодым», а «бездарным» критиком, прозаиком, стихотворцем и т. п.) Во второй половине 80-х современного нераскрытого сочинителя рассматривали как бы «при свете вечности». «Вечность» при этом понималась несколько специфически; чаще всего речь шла о том, в силах ли добавить сей неведомый пришелец еще несколько тысяч (или десятков тысяч) подписчиков журналу, и без того уже парящему в тиражном запределе. Интонировалось это, конечно, иначе. Так в разговоре со мной (1987 год) влиятельный сотрудник одного из лучших журналов сетовал, что рядом с публикациями из наследия (так сказать, «живого и мертвого») и поставить-то нечего — дескать, десятилетия должны пройти, чтобы выветрился из нынешних молодых рабский советский дух. (Молчаливо и без всякого обсуждения предполагалось, что классические шестидесятники от духа этого совершенно свободны.) Другой еще более влиятельный сотрудник не менее славного журнала прямо говорил (не знакомому при случайной встрече, а на заседании редакционной коллегии; информация из заслуживающего доверия источника), что тексты молодых конечно же нужны, но они не должны уступать тому, что извлекается из столов и архивов. (До сей поры любопытно: чему именно? Пастернаку или Дудинцеву? Набокову или Шатрову? Платонову или Евтушенко?)

Понятно, что ответом на такое отношение должен был стать «поколенческий шовинизм», неприятно осложнивший литературную ситуацию 90-х. Однако сколь ни раздражали порой дурные нравы, сколь ни огорчало демонстративное небрежение традицией, это была мелочь по сравнению с другим следствием «компенсаторной» стратегии. В ее рамках современная словесность оценивалась с точки зрения все той же «ликвидации лакун» — нужно то, о чем прежде писать не дозволялось. Прежде, как известно, закрытых тем было больше чем достаточно: армия в натуральном виде (и афганская война), тюремно-лагерная система, социальное дно (бомжи, проститутки, алкоголики), жизнь номенклатуры, эротика, мистика. Следственно, теперь все это оказалось «востребованным». Безотносительно к качеству письма. Точно так же на повестку дня было поставлено «новаторство», то есть использование некоторого количества повествовательных приемов, почерпнутых из кладовых серебряного века, русских 20-х годов, относительно новой европейской, американской и латиноамериканской словесности. Если не было вчера, значит, должно быть сегодня. Реальная новизна письма (а главное — мера его выразительности и осмысленности) учитывались минимально. Важно было закрыть бреши — как тематические, так и формальные. Особенно хорош был вариант, когда «смелая тема» (к примеру, уголовщина или секс) оркестровалась «смелым приемом» (ремизовским или зощенковским сказом, разжиженным потоком сознания, аффектированной стилизацией Набокова и т. п.). Разумеется, такого рода словесность на самом деле не имела под собой никакого объединяющего начала (представляли ее в легальной печати люди разных возрастных групп и

уровня дарований — от опытейших мастеров вроде Петрушевской и Евгения Попова до малограмотных дебютантов) — зато ее удобно было мыслить анти-тезой чему-то то ли идеологически связанному с режимом, то ли просто устарелому: изобретатели крайне неудачного термина «другая проза» не потрудились объяснить, какую именно прозу они считают «не другой».

Частенько писатели, поднятые на щит в конце 80-х, не выдерживали свободного существования литературы, что пришло в 90-х. Касается это как «натуралистов» (тех, кто выносил на суд публики «суровую правду жизни», состоящую в основном из «свинцовых мерзостей» — в ходу было вполне бессмысленное словцо «чернуха»), так и «эстетов». Конечно, нет правил без исключений. Евгений Попов, пожив какое-то время самоповторами (чудаковатые или, используя поповское речение, «удаковатые» рассказы с установкой на устную речь и вялый анекдот) и не до конца продуманными экспериментами (роман-римейк «Накануне накануне», 1993), в 1998 году напечатал замечательную «Подлинную историю „Зеленых музыкантов”». Михаил Кураев продолжал свои опыты в духе «мягкого фантастического реализма», расцветивая скучновато-культурное письмо подробностями семейной хроники (теперь точно известно, что самая интеллигентная русская семья XX века есть семья, одарившая мир писателем Кураевым) и высокомерно-чистоплюйским морализаторством. Вячеслав Пьецух пишет как заведенный, и надо обладать недюжинной «способностью суждения», дабы понять, чем очередной его рассказ (повесть, эссе, передовая статья в «Дружбе народов», где автор несколько лет фигурировал в качестве главного редактора) отличается от всех прочих. (Когда самоповтор становится главным приемом Искандера или Войновича, Битова или Аксенова, Белова или Марка Харитоновна, это огорчительно, но в какой-то мере естественно: есть что воспроизводить. Случай Пьецуха, на мой взгляд, из другого ряда.) Примерно в таком же положении время от времени печатающийся Сергей Каледин.

Трудно признать успешной литературную работу Александра Терехова — синтез натурализма и поэтики стиливых излишеств, приправленный «самородными» философизмами, себя не оправдывает. В тереховском романе «Крысобои» (1995) были удачные фрагменты, живо прописанные диалоги, смешные шутки (не слишком много) и искреннее (хотя натужно выраженное) желание «размыкать русскую печаль». Сюжетно-композиционный хаос (довольно трудно понять, что все-таки в романе произошло) отражал не состояние сбрендившего мира (как, видимо, хотелось автору), а его растерянность — как перед лицом этого самого мира, так и перед собственным текстом. Когда не знаешь, что хочешь сказать, лучше промолчать. Так Терехов и поступил.

К несчастью, что-то похожее происходит с одним из самых перспективных «молодых» перестроечной эпохи — замечательно талантливым Олегом Ермаковым. Формально, впрочем, дело обстоит иначе. Ермаков пишет. После точных, жестких и вполне профессионально сделанных «афганских» рассказов (за них Ермакова полюбили писатели и читатели старшего поколения) прозаик двинулся дальше — в 1992 году появился роман «Знак зверя», тоже на афганском материале, тоже с большим количеством жестоких сцен, тоже глубоко антивоенный по духу. Роман был встречен приязненно либо даже с восхищением не слишком схожими критиками (к примеру, Ириной Роднянской, Александром Агеевым и автором этой статьи). И не случайно: в «Знаке зверя» страшная фактура органично обретала символическое значение, сложно организованный многоходовый и многофигурный загадочный сюжет нес серьезную смысловую нагрузку, последовательно проведенная тема человеческой ответственности, безнадежного поединка личности с тоталитарной системой, мирового злом, судьбой придавала «антивоенному» роману метафизическое измерение, лирическое покаянное начало не размывало повествовательной структуры (точнее, размывало ее не слишком). Не хотелось обращать внимание на наивные романтические черточки, на поэтизацию — в эскапистско-битловском духе — «простой и чистой жизни», на аффектированное отчаяние

(символика кольцевой композиции, обрекающей героя вновь и вновь на предательство и братоубийство), на некоторую внутреннюю невыверенность авторской позиции (блестки нищестанства, восторг наркотического кайфа, едва ли не романтическая мечта об абсолютной свободе). Все это казалось извинительными издержками, обусловленными как молодостью писателя, так и его страшным личным опытом. Вопреки надеждам критиков ни мечтательная сентиментальность, ни наивный эгоцентризм, ни тяга к многозначительности как таковой Ермакова не оставили. Долго и трудно писавшийся роман «Свирель вселенной» производит странное впечатление. На протяжении трех последних лет в «Знамени» опубликованы три его части — «Транссибирская пастораль», «Единорог», «Река». Конца пока не видно. Как и связи между частями. То есть связь-то есть — главный герой (сперва служитель заповедника, затем — солдат-дезертир, затем — то ли отпущенный армейскими властями на волю странник, то ли грезящий о вольном странствии обвиняемый). Есть какая-то смутная натурфилософия. Есть удачные пейзажи (хочется сказать — этюды), есть тривиальное мечтательное свободолюбие. Есть постоянно ощутимое желание автора выговорить что-то заветное. Непонятно только, что именно. Попытки как-то вычлнить ермаковскую мысль из марева снов, намеков, аллегорий и картин не приводят к сколько-нибудь внятному результату. Ермаков говорит с трудом, не может не говорить — и остается не расслышанным. Такая речь помимо воли автора оборачивается молчанием. Впрочем, вопрос о том, сколь странный итог соответствует писательским намерениям, не так уж прост. Возможно, романтически-глубокомысленная невнятность и есть цель Ермакова, стремящегося навсегда уйти из «мира-казармы» в некую очарованную даль.

Помянем — объективности ради — персонажей откровенно эстрадно-эпатажного плана. (Только без имен — таковы уж мои представления об объективности.) Кого-то из них забыли даже профессионалы. (Смешно вспоминать, как пылкие радетели «великого русского реализма» устраивали публичные истерики из-за относительной успешности одной откровенной графоманки. То-то страшно было. И долго же устраивали сочинительнице бесплатную рекламу. Даже в ту пору, когда все ее партизаны свелись к семейному кругу. И где она? И где ее «клака», наиболее эффективной частью которой были как раз ревностные обличители?) Другие до сих пор поминаются — с упорством, достойным лучшего применения, — в шибко ученых статьях, однако реального участия в литературной жизни 90-х они не принимают. Если и появляются их книги, то это факт исключительно для светской хроники.

Кстати, широко обсуждавшийся (и даже издававшийся) в России 90-х Владимир Сорокин писал в этот период куда меньше, чем прежде. Хорош Сорокин или плох, сюжет отдельный (по мне, так мастеровит, скучен и ограничен, но все же занятнее остальных клоунов-коммерсантов; все-таки какая-никакая страсть чувствуется); важно, что он писатель прошлого. Изданный в этом году — после большого интервала — роман «Голубое сало» прекрасно этот тезис подтверждает: в начале книги Сорокин пробует писать как бы по-новому (квазикитайский язык будущего, местами смешной, но быстро приедающийся), дальше переходит к любимому и многожды апробированному занятию — пародированию-низвержению «классических ценностей». Когда патентованный оруженосец Сорокина оповестил град и мир, что «Голубое сало» уничтожило русскую литературу, он тем самым признал, что, во-первых, его кумир повторяется, а во-вторых, что прежние сорокинские вещи (уже давно — коли верить обслуживающему персоналу — русскую литературу упразднившие) недорого стоят. Оно конечно — противоречие получается, а все приятно.

И наконец литературу оставили сильные писатели, что были справедливо примечены и привечены в конце 80-х (печати некоторые из них достигли в начале 90-х — достоялись в очереди). Хочется верить, что они покинули поле художественной словесности только на время. Татьяна Толстая учила уму-разуму заморских студентов, покоряла Америку, издавала (ближе к концу десяти-

тилетия) сборники старых рассказов, забавляла фельетонами и эссе журнально-газетных читателей (за что удостоилась многих — переходящих границу всякого приличия — похвальных од Вячеслава Курицына), но новой ее прозы мы не видели. Говорят (и даже пишут в анонсах «Знамени»), что Толстая завершает роман. Поживем — увидим, но 90-е прошли при блистательном отсутствии артистичной героини поздних 80-х (достававшей в ту пору иные рассказы из заглавника).

После прекрасной повести «Кабирия с Обводного канала» (1991) Марина Палей напечатала несколько (два? три?) экспериментальных — нервных, манерных и амбициозных — рассказов. Там была ее прихотливая словесная вязь, была зоркость психолога, смакующего поведенческие нюансы, был почти обязательный у Палей лирический надрыв, была пластика в описаниях. Не было только одного — внутренней задачи. Тайны, что превращала бытовую повесть о «правильнице и праведнице» в историю духовного становления героини, ее превращения из замордованной жизнью и собственными комплексами страдалицы — в писателя, то есть человека, чувствующего и способного передать скрытую гармонию мира («Евгеша и Аннушка»). Тайны, что оборачивала «чернушную» историю о нимфоманке из траченного молью еврейского мешанского семейства в поэтичнейшую апологию любви-души («Кабирия с Обводного канала»). А так культурные были рассказы — хоть в американской феминистской антологии печатай. Дальше — тишина. Хорошо, конечно, что проза Палей вышла книгой в питерском издательстве «Лимбус-Пресс», но читатели 90-х не услышали нового слова от редкостно одаренной писательницы. Говорят (и даже пишут в анонсах «Нового мира»), что Палей заканчивает новую книгу. Поживем — почитаем.

Протолкнув в журналы несколько прежде написанных холодновато-абстрактных романов («Парадный мундир кисти Малевича», 1992; «Спички», 1993), занялся откровенно лубочной словесностью Александр Бородин. Пишет исторические романы (про Тамерлана, про Ивана Третьего, про Карла Великого) Александр Сегень, самый даровитый из «младших» писателей, ориентирующихся на «Наш современник». Так себе романы — не лучше и не хуже других, что пестрым букетом украшают развалы и прилавки книжных магазинов. И не в том проблема, что Сегень монархист и националист (никакой педалированной идеологии в романах не просматривается), а в том, что «серийные» (для издательской серии сочиненные) тексты строятся по готовым шаблонам. Кто-то назовет их «коммерческими», кто-то — «просветительскими». (Я склоняюсь ко второму варианту: все-таки узнают из этих книжек люди занимательные факты, как-то научаются с уважением относиться к прошлому, может, иной читатель и перейдет от «серийных» изданий к качественной исторической литературе.) Но ведь суть не изменится — плодами свободного творчества складные байки про великих государей не станут². Бросил литературу Зуфар Гареев, чьи по-балаганному веселые, пестрые и жутковатые повести «Парк», «Мультипроза», «Аллергия Александра Петровича» и короткие загадочные рассказы вселяли очень большие надежды. Бросил не сразу. Вослед сочинениям успешным Гареев напечатал два-три рассказа, отдававшие растерянностью и вторичностью, привкус которых не могли отбить гомосексуальные или наркотические мотивы. Дальше — ступор. И недавние («Знамя», 1999, № 8) скучные рассуждения о бессмысленности литературы, о том, как она, клятая, жить мешает, о том, что писателем можно быть в молодости и, возможно, в старости. На которую Гареев, похоже, очень даже рассчитывает. С одной стороны, конечно, Бог помочь (стороннему читателю не важно, когда писатель пишет, — был бы результат), а с другой — прямо-таки стучит в голову сентенция Евгения Попова из «Подлинной истории „Зеленых музыкантов“»: «Кто литературу разлюбил, тот ее никогда и не любил».

² Недавний «серьезный» роман Сегеня «Общество сознания „Ч“» («Москва», 1999, № 3 — 4) тоже удачей не стал.

Вот и разгадка. Роман Попова стал ответом не только на те творческие трудности, с которыми пришлось столкнуться самому писателю, но и на главный вызов «постлитературного» времени. Как быть писателем, если журнальные тиражи скукожились, гонорары имеют символический характер, гранты и приглашения раздаются под вполне определенные тексты, коллеги подаются кто в халтурщики, кто — в политики, кто — в управдомы, никакой «темой» и никаким «приемом» никого не удивишь, телевизор кажет страсти, в книжных магазинах избытке философской, исторической, эзотерической, религиозной и прочей прежде неведомой литературы (включая Уголовный кодекс), у лучших потенциальных читателей в кармане вошь на аркане, наиболее продвинутые мыслители (как западного, так и отечественного производства) ежедневно сообщают о конце литературоцентризма (а также и всего прочего вообще), газеты предпочитают критике светскую хронику, новые «имена» делаются из ничего, «писателями» бодро-весело именуют газетных обозревателей (хоть политических, хоть ресторанных, хоть «общественных», хоть литературных — как же, демократия!), дети дома есть-пить просят, да и сам ты еще не научился питаться воздухом?

А вот так и быть. Просто. Потому что не быть писателем ты не можешь. И это не привычка (обрекающая на репродукцию наработанного) и не расчет (предполагающий коммерциализацию того или иного — к примеру, зело умственного — рода). Это, как ни странно, соответствие времени. Тому времени, которое ничего писателю не обещает, за исключением мелочи — возможности реализовать себя и быть услышанным. Литература 90-х стала свободной — «от частных и других долгов». Теперь не требовалось прошибать невиданные темы и изобретать неведомые звуки. Точнее, всякая тема стала снова неожиданной и таинственной, предстала собой, а не антитезой чему-то общепринятому и откуда-то навязанному. Точно так же «неведомость звука» (новизна выражения) перестала напрямую соотноситься с каким-то канонем. Ибо каноны исчезли — соцреалистические, либеральные, андеграундные. Если бодрые витязи постмодернизма и утверждают (скорее для публики, чем для себя), что на смену старым «нормам» «сама собой» пришла их глубоко деспотическая, пародирующая идею свободы догма догм, то это их проблемы. Не «сама собой» прибрела, а была раскручена и разрекламирована. И как всякая догма, вызывает мгновенное противодействие. Совсем не трудно предпочесть общеобязательному «плюрализму» свой глубоко личный монизм. Было бы что сказать.

Популярный (обусловленный исключительно экстралитературными факторами) тезис «литература никому не нужна» совершенно верен, но нуждается в уточнении: кроме тех, кто своего существования без нее не мыслит. Это в равной мере относится к писателям и читателям (некоторые из последних называются критиками). Писатель пишет, а читатель читает не ради чего-то, а потому что без письма или чтения ему жизнь не в жизнь. Ценность литературы в самой литературе. Это не значит, что словесность должна чураться общественных, политических, экологических или религиозных тем (словесность вообще никому ничего не должна, запрещать писателю быть проповедником такая же глупость, как запрещать ему описывать лютики-цветочки, девичью красу или вкус свежесваренного омара). Это значит, что любая «тема» и любой «прием» должны быть открытием писателя, желающего поведать свою тайну читателю. Не требуя наград за подвиг благородный. Это не значит, что литературе противопоказано общественное внимание или коммерческий успех. Во-первых, всяко бывает, во-вторых, в принципе лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Успех или неуспех писателя зависит от стечения массы разнородных причин, включая заведомо случайные. Коли глядеть рационально, дело писателя — безнадежное, ибо при любом общественном строе остаются в силе проклятые вопросы: «Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя?» Меж тем и писатели всегда писали, и сочувственники им всегда находились. Это-то и проговорил Попов в своем романе об органи-

ческой связи литературы и свободы, о вечной вражде творчества и «писания по расчету» — это-то и поняли те авторы, что сделали уходящее десятилетие замечательным. Те, кто выбрал свободу.

По-своему характерно, что среди ключевых фигур словесности 90-х так мало авторов, чей звездный час (счастливого дебюта или «второго рождения») пришелся на сутолоку перестройки, эпохи якобы резко выросшего писательского престижа, читательской ажитации и повсеместной жажды «нового слова». На самом деле — старого, но произнесенного наконец-то вслух. Конец 80-х вообще был временем, по преимуществу реставрационным. Апокалиптическая и антиутопическая проза тут не была исключением. Валентин Распутин («Пожар») и Василий Белов («Все впереди») твердо знали, что стоит удалить из нашей жизни (куда-нибудь и как-нибудь) всяких «пришельцев», и тут же все наладится. (Что не вычитывалось особо непонятливыми из романов, писатели договаривали с газетных и депутатских трибун.) Петрушевская в «Новых Робинзонах» имитировала актуальную общественную проблематику, доказывая свой любимый тезис о «хтоничности» человека, коему самое время возвращаться в лесное лоно: ее страшенькая антиутопия вскоре закономерно превратится в утопию простых сельских радостей — повествование в верлибрах «Карамзин». Александр Кабаков в «Невозвращенце» не столько открывал будущее, сколько боялся ближайшего прошлого, мысля самым главным и, кажется, вечным российским проклятьем вездесущую тайную полицию (КГБ).

Значимым исключением (и, похоже, одним из поворотных пунктов в движении литературы) стал «Лаз» Владимира Маканина, где были увидены и названы по имени едва ли не самые опасные тенденции «современности поздних 80-х». Маканин написал повесть о страхе как главной душевной эмоции современного человека. Не только «мыслящего», каким предстает главный герой, но и всякого вообще — безумство толпы вырастает из испуга составляющих ее статистов. Страшно «здесь» (на поверхности, в России), но страшно и «там» (в комфортабельном и безвоздушном подземелье, в эмиграции — «примитивно политизированное» прочтение маканинской пространственной антитезы так же необходимо, как и символическое). Всего же страшнее — в промежутке. Обдирающий кожу, сжимающийся «лаз» — метафора «промежуточного» состояния главного героя, что лишен возможности окончательно выбрать «темный верх» или «светлый низ». Герой, курсируя из одного мира в другой, изо всех сил стремится продлить это самое «промежуточное» существование, не замечая, что оно-то и подкармливает его страх. В финале повести герой «пробуждается» в верхнем — обыденно-кошмарном — мире, и пробуждение это двусмысленно: то ли прохожий, «добрый человек в сумерках», просто разбудил измучившегося «путешественника» (а дальше все пойдет по-прежнему), то ли встреча с анонимным (и явно отличным от остальных персонажей второго плана) доброжелателем подводит итог прежней жизни во сне, предполагает прорыв героя к новому духовному состоянию, к жизни, полной реальных опасностей, но свободной от всевластного страха. Даже сочтя верным первое («бытовое») прочтение финала, мы чувствуем пульсацию прочтения второго («метафизического»). Встреча и пробуждение намекают на Встречу и Пробуждение, в присутствии которых сама собой приходит на ум поговорка «У страха глаза велики».

В следующей крупной работе Маканина — повести «Стол, покрытый сукном и с графином посередине» — страх одерживает победу над человеком, логично доводя героя до смерти. Не важно, умирает ли он, действительно добравшись до места таинственного судилища, или последние эпизоды — продолжение ночного бреда, а дома маканинский мученик не покидал вовсе. В «Столе...» двусмысленность финала вырастает из общей двусмысленности повествования. «Внешнее» и «внутреннее», «сущее» и «мнящееся» постоянно меняются местами; зловещие судьи, что должны вновь учинить герою «спрос», — одновременно и вполне реальные персонажи, и «составляющие»

души «спрашиваемого», не зря сквозь их «социальные» маски просвечивают маски, так сказать, «психоаналитические». Вопрос «было или привиделось?» для поздней маканинской прозы попросту лишний. Потому-то полярные трактовки финала «Стола...» (и его сюжета в целом) приводят к одному и тому же выводу: страх заставил героя погибнуть. «Стол...» — негатив «Лаза»: если ты не проснешься, не разглядишь другого, не научишься видеть мир без обязательной призмы собственных комплексов, тревог и мрачных предчувствий, то ты тем самым усилишь энтропию, невольно послужишь и без того мощному злу, в конце концов, поддашься тобой же возвращенному страху — и сгинешь. Жизнь не есть сон, покуда человек сам не признает обратного. А когда признает, жизни не будет — будет смерть.

В последнем маканинском романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» сообщается о двух убийствах, совершенных главным героем. Сообщается весьма убедительно (с памятными мелкими физиологически конкретными деталями, особенно выразительными в контексте того откровенно фантастического колорита, что окутывает оба «смертельных» эпизода). Задача выполнена блестяще: критики принялись вовсю осуждать нераскаявшегося убийцу. Приятно, конечно, знать, что ты нравственнее героя (никого не убил), но, хоть и неловко, надобно напомнить коллегам, что самооговор не может служить основанием для приговора. Мы узнаем об убийствах Петровича и его отказе от раскаяния, как, впрочем, и обо всех остальных злоключениях писателя-бомжа, от него самого. Узнаем из его романа, который — вопреки заверениям того же Петровича — все-таки написан и нами читается.

В отличие от высокоморальных критиков Маканин (и его alter ego Петрович) знают не только о том, что нехорошо убивать живых людей, но и о том, что убийство присутствует в жизни. И — что всего важнее — в помыслах вполне обычных (и даже привлекательных) людей. Петровича легко принять за романтического индивидуалиста, резко противопоставленного толпе (общаге). Следующий шаг — констатация его кровного родства с этой самой толпой. Оба решения приближительны: Петрович — голос общаги; чужие и часто отталкивающие низменные, примитивные чувства, страдания, помыслы, грехи становятся его собственными, «мычание» социума (недаром писателю ходят исповедоваться) превращается в его «речь». Потому, кстати, невозможна исповедь Петровича внутри романного пространства. Несостоявшийся «диалог» Петровича с Натой (что должен был бы облегчить душу героя и спасти его от психушки-тюрьмы) — пародия на отношения Раскольникова и Сонечки Мармеладовой. Это было замечено критикой и — с легкостью необыкновенной — поставлено в укор не только герою, но и автору. Незамеченным осталось, что и о срыве исповеди тоже говорит сам Петрович. Его покаяние — весь роман, как его грехи — общие грехи «нашего времени». Здесь важна не только понятная ориентация на Лермонтова и Достоевского, но и принципиальная трансформация образов. Нам предъявлен не «журнал» (исповедь для себя) и не стороннее — с позиций всеведующего автора — свидетельство о преступлении и наказании, но «книга» (рассказ от первого лица в отчетливо литературной форме — с эпиграфами, названиями глав, изощренной композиционно-хронологической игрой). Чтобы написать такую книгу, должно осознать как «свое» то зло, что было уделом низменной толпы или одинокого больного героя. Петрович уверяет нас в своей преступности и немоте, но книга его самим фактом своего существования преодолевает немоту мира («все слова сказаны», «время литературы кончилось» и прочие благоглупости, ядовитое дыхание которых еще как ощутимо в творчестве Маканина 90-х; смотри в первую очередь эссе «Квази»).

Мир «общаги-андеграунда» (диффузность этих символов внятна любому внимательному читателю) темен, грешен и страшен. Герой (поэт) несет ответственность за этот мир. Усредненно «постмодернистская» доктрина предполагает все действительное виртуальным (и тем самым убаюкивает совесть — чего переживать, как, впрочем, и радоваться, коли на смену одному навязанному

сну придет другой?), Маканин, напротив, придает всему виртуальному (пomyслу, сну, бреду) статус реального. Вина Петровича не зависит от того, убивал ли он «на самом деле» кавказца и стукача (или «только» придумал убийства, просуществовал эти страшные мгновения мысленно). Осуди Маканин Петровича впрямую, ослабь внешне его «демоническую» аргументацию (а также избавь от бросающихся в глаза портретных и биографических уподоблений самому себе) — и все были бы довольны. Но Маканина занимает глубинная связь художника и обезьязычавшего, помраченного общества, их общие — вне зависимости от «бытового поведения» какого-либо «мастера культуры» — вина, беда и пути выхода из тьмы к свету.

В основе «Андеграунда...» лежит трагический парадокс (занимавший Маканина всегда): общественная жизнь безжалостно уничтожает, унижает, коверкает, приспособливает к себе личность, не оставляя ей, кажется, никаких шансов, а личность (увы, не всякая) — в какой-то предельной точке — все же остается свободной. Финальный проход залеченного до безумия художника («российский гений, забит, унижен, затолкан, в говне, а вот ведь не толкайте, дойду, я сам!») — это знак торжества не одного Венедикта Петровича (большая часть картин которого пропала, а сохранившиеся и составившие славу — сомнительны), но и его брата. Того, кто сумел — вопреки всему — запечатлеть боль нашего времени. Зная и о том, как росла она из боли времен вчерашних-позавчерашних, и о том, что боль не освобождает от ответственности за все случившееся, что художник не может существовать вне «общаги» (и истории) и что его (художника) дело — вбирать в себя вину мира, дабы выявить тот скрытый, но сущий свет, без которого нет ни личности, ни свободы, ни творчества. Сохранить словесность (проще говоря — написать книгу) в пору исчезающих рукописей, превращения былых творцов в членов бронзового пенклубовского президиума, романтизации «деловой жизни» — значит дать еще один шанс не только культуре, но и просто человеку.

Роман Маканина не в последнюю очередь повествует об одолении немоты (обратной стороной которой является залиvistое неостановимое косноязычное говорение). В «Андеграунде...» жестко связанными предстали проблема всех и каждого (как сохранить личность?) с проблемой, что мыслится узкоцеховой (как быть писателем?). Ответ один (потому как художник живет за всех, а личность не существует без свободного, творящего начала). Ответ прост — и немыслимо труден: проснуться, быть собой, видеть других, знать о своем родстве со всеми, что не исключает, а подразумевает твою отдельность, твое достоинство, твою трагедию, твою ценность.

Девяностые годы стали «замечательным десятилетием» потому, что это было время «отдельных» писателей. Работавших без оглядки на сложившуюся систему мод и групповые ценности. Знающих, что на вопрос: «Зачем ты пишешь?» — кроме прочих иногда очень важных ответов существует и наступательно-неуступчивый: «А затем!» С этой точки зрения «Андеграунд...» не только одна из лучших книг «замечательного десятилетия» (филигранная работа с «чужим словом», сложнейшая поэтика символов-ассоциаций, дразнящая «неточностями»-зазорами система персонажей-двойников, постоянная и прихотливая игра с категорией времени, изыск композиции и даже главная «обманка» — проблема «герой — повествователь — автор», обуславливающая статус и модус романного текста, — большинством критиков были оставлены без внимания и — тем паче — интерпретации), но и сочинение весьма характерное. Отдельное. Полнящееся литературной рефлексией (а значит, сложно соотношенное как с большой традицией, так и с прежними опытами автора). Подсвеченное автобиографически. Стоически утверждающее значимость личности и слова.

Здесь естественным образом приходят на память несколько книг, ни в малой степени не схожих с «Андеграундом...» стилистически или по материалу (на то и «отдельность»), но также не скрывающих (а в какой-то мере — афиширующих) свою «металитературную» природу. В уже поминавшемся романе

Евгения Попова «Подлинная история „Зеленых музыкантов”» под развеселый (а местами — лихорадочный, надрывный, близкий к истерике) перезвон шуток-прибауток, воспоминаний о паскудных, но, как всякая молодость, обаятельных и живых «годах учения и странствий» писателя из города К. (на реке Е.), энергичных проклятий всяческим дуракам, ханжам, циникам и пакостникам (старого, нового и новейшего разликов) настойчиво, но неназойливо (для того и нужны перебои ритма, кувыркания сюжета, простодушная игра в «постмодернизм» — 888 примечаний к неведомо когда сочиненному тексту с гулькин нос) движется мысль Попова о счастливой обреченности писателя. Обреченности — ибо всякое время не подходит для настоящей литературы: есть и в нашем разлюбезном сегодня действенные методы, посредством коих потенциальный литератор обращается в канатного плясуна. Счастливой — потому что счастливой (а кто с ходу не понимает, тому и 888, и 999, и 1111 примечаниями не растолкуешь), потому что 888 — это вам не 666, потому что «злые великаны ушли и больше никогда не вернуться». Не вернуться не потому, что уж больно обнадеживает современная общественно-политическая ситуация (чего нет, того, к сожалению, нет), а потому, что писатель может и должен прозреть сквозь прозу (злую, страшную, безжалостную) — поэзию и сказку. Проза прозой, история историей (не замечать их — значит лгать), а Гомер, строки которого стали эпиграфом к роману, Гомером останется: *«Я же скажу, что великая нашему сердцу утеха / Видеть, как целой страной обладает веселье, как всюду / Сладко пируют в домах, песнопевцам внимая, как гости / Рядом по чину сидят за столами, и хлебом и мясом / Пышно покрытыми, как из кратер животворный напиток / Льет виночерпий и в кубках его опененных разносит. / Думаю я, что для сердца ничто быть утешней не может».*

Поэзия противостоит не прозе или истории («правде»), а «неправде» — социально-политической, моральной, эстетической, той самой, что всегда хочет сожрать весь мир, а семьдесят лет правила Россией. Роман Анатолия Наймана, название которого («Поэзия и неправда») отсылает разом к автобиографии Гёте и стихам Мандельштама, как и тесно связанные с ним «Рассказы о Анне Ахматовой» (писались в предыдущую эпоху, но место свое обрели в 90-х) и цикл «Славный конец бесславных поколений», посвящены именно этой проблеме. Поэзия неотделима от внутренней свободы: в отсутствие внутренней свободы, «выпрямительного вздоха» могут существовать только «стихи» (лучшие или худшие), как в отсутствие поэзии (веры в скрытую власть гармонии, в неподвластное уму величие и осмысленность бытия) свобода обращается в свою противоположность — своеволие, то есть рабствование себе. Переходы эти тонки и опасны, а поэт, коли мы забываем о его внутреннем строе, часто рискует предстать монстром. (Как и получается в большей части новейшей «мемуарной» литературы — иногда помимо субъективных намерений не худших авторов. С другой стороны, слепая вера в «самодостаточность факта» и «искренность», якобы гарантирующие поэтичность и осмысленность любому высказыванию, провоцирует избыточное произрастание квазиавтобиографических опусов, главной задачей которых является не столько даже рассказ о «тернистом пути» автора, сколько автоапологетизация. По-моему, смешная и глупая. Многим нравится.) Иначе у Наймана, что умеет отделить «поэзию» от «неправды», разделить «обличье» и «смысл», нарушить очередную удобную конвенцию. В заглавном герое его романа «Б. Б. и др.» оппоненты писателя предпочли увидеть карикатуру на определенное лицо, не заметив, как страстно утверждается автором «поэтическая», то есть «свободная», природа этого персонажа, сколь решительно он — поэт в жизни, недаром сравненный с Франсуа Вийоном, — противопоставлен тем самым «др.», из числа которых Найман не исключает и свою романную ипостась. А что реальные люди, чьи отдельные поведенческие черты и словечки использованы романистом как материал и могут быть распознаны сравнительно узким кругом гуманитариев, что усопшие или здравствующие «прототипы» Наймановых персонажей «со-

всем не такие», так на то и роман, строящийся не по тем законам, что рекомендация в Союз писателей или послужной список. Уж если корить писателя, то за излишнюю поэтизацию-демонизацию Б. Б. Но и тут лучше бы поостеречься: об опасной связи творчества и демонизма Найман знает не хуже нашего, может быть, даже излишне — по-серебряновечному — ее педалирует, словно бы заклиная непреременный соблазн (некоторые рассказы «Славного конца...»), но с другой стороны, всерьез относится к трудно оспариваемой ахматовской формуле: *поэтам вообще не пристали грехи*.

Между прочим, сила и живучесть этого тезиса блестяще подтверждается в книге совсем иного рода — «Романе воспитания» Нины Горлановой и Вячеслава Букура. Там семья скромных, бедных и во всех отношениях достойных интеллигентов берет к себе в дом «дурную девочку» — холит ее, лелеет, учит уму-разуму, к искусству приобщает, — а в ответ получает хамство, неблагодарность, ложь и прочие гадости. И что же? Поскольку девочка Настя написана соавторами человеком художественно одаренным, все ее ужимки и прыжки (вплоть до бесчеловечного разрыва с приемными родителями) нас не только возмущают, но и чаруют. Страсть к украшениям? — Какой художник не любит роскошь? Лживость и приспособленчество? — Артистизм натуры. Грубость? — Самоутверждение таланта. Наплевательское отношение к всякого рода премудростям (астрономиям, географиям, литературам) и приличиям? — Захваченность своей страстью. Эгоцентризм? — А где вы других художников видали! Можно поверить, что прототип Насти — подлинное чудовище, но для этого надо совершить некоторое усилие, вырваться из достоверно и живо организованного романного мира, в котором маленькая разбойница вчистую переигрывает добропорядочных интеллигентов и их отпрысков. Это ни в коей мере не проблема прототипов — это проблема организации текста, который не может вынести двух героев (художников, творцов). Ни для кого не секрет, что горлановский эпос (множество романов, повестей, рассказов и микрорассказиков, написанных как единолично, так и в соавторстве с Букуром) строится на близлежащем материале, «новейшей» (в пределе — синхронной описанию) истории своей семьи — семьи творческой. Меняются протагонисты: если прежде доминировала мама-писательница (неведомо почему под разными именами), что не только мучилась, но и очень даже могла раздражать человека с обыденным сознанием (смотри в особенности роман «Его горький крепкий мед»), а в «Романе воспитания» — хулиганка-приемыш, то в недавней повести «Тургенев — сын Ахматовой» на авансцену выходит одна из дочерей, раньше глядевшаяся статисткой.

Хотя проза Горлановой должна вроде бы числиться по семейно-бытовому ведомству, на деле мы никуда не ушли от ключевой проблемы литературы 90-х — от ратоборствования с жизненной энтропией и верно служащей ей немотой. Да, у Горлановой проза растет из мелкого жизненного «сора». При этом не только «сор» преобразуется волей художника (непреременные условия всякого искусства), но постоянно — так или иначе — актуализируется сама тема творчества, стези художника, его долга, назначения и соблазнов. Еще отчетливее линия эта прослеживается в новеллистике Юрия Буйды, составившей книгу «Прусская невеста». Кёнигсбергско-калининградское послевоенное пространство, в котором разворачиваются невероятные сюжеты Буйды, должно было бы предстать адским кошмаром (ни страшных политических реалий, ни жутковато-грязной уличной фактуры писатель не прячет — более того, подает их агрессивно и наглядно), кабы не поэтическая оптика детства, не страсть различать в обыденности — фантазмагорию, не гротескный юмор, не вера в вещую природу снов, значимость примет, тайную правду диковинных слухов. Не переставая быть советским локусом, город Буйды оказывается и обителью сказок, где свои права сохраняют и любовь до гробовой доски, и почтение к заезжим волшебникам, и гордость неуловимым своеобразием знакомых улиц, забегаловок, учреждений. Здесь все «как в жизни» — и все не так. Средневековое германское прошлое может явить свою колдовскую силу потому, что его видит (мало что понимая, но все или почти все глубоко чув-

ствуя) мальчик, который станет писателем. То есть выдумщиком. В эпилоге «Прусской невесты» Буйда с удовольствием забавляется этимологией собственной фамилии: «буйда» — байка, выдумка, ложь, сказка. Без которой не может быть никакой правды. В том числе — очень печальной.

В принципе Буйда смотрит на жизнь довольно мрачно (это особенно ощутимо в романе «Борис и Глеб», где страшные и без спецпрививок сюжеты отечественной истории подаются, во-первых, в деформированном, нарочито выморочном виде, а во-вторых, в превышающем всякие нормы вкуса количестве), однако удовольствоваться констатацией не потребств писатель не может. Мешает, видимо, замороженность собственным делом — той самой сочинительской ложью. В «Ермо» — на мой взгляд, лучшем романе Буйды — немало сказано о писательском демонизме, о страшном деле претворения «жизни» в «историю», о возмездии, что караулит человека, рискнувшего жить в мире «как если бы», то есть заниматься всякого рода «буйдой». Но в главном герое — всемирно известном западном писателе-интеллектуале русского происхождения — Буйда постоянно заставляет видеть самого себя. Трагедии, преступления, отчаяния соименного своему автору Ермо — это жизнь самого Буйды «как если бы»: немецкое «als ob» — название последней заветной книги мэтра, сливающейся с той книгой о нем, которую сочинил выросший жених таинственной «прусской невесты». Только выдумывая (и в то же время разгадывая) себя и мир, мы можем избавиться от колючей неправды в себе и мире нас окружающем. Пессимизм Буйды уравновешен его приверженностью к поэзии. В целительную мощь которой можно верить и без оговорок.

Я имею в виду позднюю прозу Юрия Давыдова. Впрочем, Давыдов и в свой, так сказать, «классический» период знал высокую цену поэтического слова — не случайно один из лучших его давних романов назван строкой великого поэта. В «Инее» Пастернака «Глухая пора листопада» закономерно рифмуется с призывом «Расстраиваться не надо», а далее утверждается благая осмысленность мироздания: *«Порядок творенья обманчив, / Как сказка с хорошим концом»*. Давыдовский вкус к исторической реалии (в ее неповторимой осязательности), как и его всегдашнее восхищение человеческим мужеством, благородством, душевной статью, обусловлены доверием к изначальной красоте бытия. Резкая смена стилиевой манеры, когда давыдовская проза расцвела словно «хмельными» пятистопными ямбами, а шуточные и парадоксальные ассоциации подчинили себе суровую фактографию (подчинили, но не вытеснили вовсе!), не отменила сути долгих поисков автора. Он, как прежде, ищет смысл истории, превосходно зная ее каверзы, свирепость и — в какую-то пору — казалось бы, стопроцентную бессмысленность. Всякий исторический деятель в изрядной мере детерминирован «своеобразием текущего момента», а потому не застрахован от ошибок (подчас роковых). И в «Бестселлере» Давыдов устраивает смотр своим героям, возвращаясь к сюжетам, обработанным прежде столь тщательно и трепетно: снова Бурцев, снова Лопатин, снова Азеф, снова Тихомиров. Такие — и не такие. Конечно, симпатии и антипатии остаются в силе, но сколь существенно усложняется психологический рисунок. (Бурцев, прежде видевшийся едва ли не рыцарем без страха и упрека, теперь написан гораздо жестче; увы, выясняется, что борьба с провокацией — палка о двух концах.) Здесь проще простого сделать вывод: все одним миром мазаны, всякая политика — скверна. Но Давыдов, раскопавший столько тайн, обнаруживший столько скелетов в шкафах, далек от этой чистоплюйской пошлости. Как и от ее изнанки — благодушного всепрощения: «человеческие» черточки в портретах Азефа или Сталина лишь помогают осязательнее передать их внечеловеческую суть (потому и нужен здесь Давыдову гротеск).

История — конкретна: вникая в тот или иной эпизод, непременно увидишь его отражения в других — далеких или близких — событиях. Точность знания не помеха, а условие для разбега ассоциаций, установления причин и следствий (всегда не прямых), перехода к универсалиям. (Потому нужен Давыдову то бегло мелькающий, то наливающийся деталями сюжет Иудина пре-

ступления — это и предмет раздумий героев и антигероев «Бестселлера», и точка, от которой ведет свой счет автор.) И перехода к себе. К своей жизни — детству, войне, лагерю или недавним счастливым путешествиям. Летучие искорки пунктирной автобиографии по-новому освещают большую историю — в права вступает «личное измерение».

«Бестселлер» — книга, строящаяся на наших глазах. Как путевой дневник, автор которого занят внешним миром, но, естественно, пробалтывается о себе. Как исповедание творческого и жизненного credo. Как всякое подлинное лирическое стихотворение. История без воздуха, морского ветра, пьяноватых шуточек, духа стихотворства и колокола братства — короче говоря, история без человека-деятеля и человека-наблюдателя действительно мертва: в лучшем случае — свод глупостей, в худшем — каталог преступлений. Такой «истории» и противостоит поэзия. Всегда странная, неуместная, свободная. Давыдов перешел к откровенно поэтической (отнюдь не утратившей историзма) прозе в «Зоровавеле» — «поэме» о Вильгельме Кюхельбекере, чье имя давно стало синонимом как «неудачи», так и «поэтического избранничества». Выбор такого героя, кажется, определил безрассудную, многих поперву удивившую и безусловно счастливую стратегию Давыдова 90-х. Только так — «кюхельбекерно» — можно было добраться до ошеломляющей свежести и не менее ошеломляющей словесной виртуозности беззаконного «Бестселлера».

От разговора о Давыдове естественно перейти к проблемам исторической прозы. Здесь, коли судить по валу, радостей не много. Оно и понятно: исторический роман — жанр почтенный, инерционный и, естественно, дрейфующий в сторону «легкого чтения» и иллюстративности. Особенно — в посткоммунистической России, где с неизбежностью сказывается многолетнее существование идеологической системы умолчаний и фальсификаций. История была поставлена в повестку дня перестройкой, но спрос на ее «тайны» не удовлетворен до сих пор, хотя фабрика, штампующая жизнеописания царей, диктаторов, бандитов, куртизанок, революционеров и прочих «замечательных людей», работает с завидной четкостью. Написали (либо перевели) уже, кажется, про всех на свете. Руководствуясь спросом, то есть быстро. В таких условиях труднейший жанр как бы загодя исключает исследовательский азарт (превалирует компиляция — хорошо, коли грамотная), интеллектуальную энергию (ее имитации — обычно предсказуемо-ленизые — господствуют во всякого рода «альтернативных» сочинениях, маскирующихся под философскую беллетристику, квазинаучных или откровенно масскультовых; впрочем, сии «дискурсы» легко взаимодействуют, а то и сливаются воедино) и любой намек на «эстетическую функцию» (не принимать же за стиль дежурные «вотще», «понеже» и «доднесь» вкупе с «поневами» и «бердышами»). Тем значительнее и интереснее немногие исключения.

Два из них посвящены истории далекой — «Царица Смуты» Леонида Бородин — и совсем далекой — «Не мир, но меч» жительствовавшего в США Игоря Ефимова (в книжном издании «Терры» — «Пелагий Британец»; можно только пожалеть, что автор отказался от первоначального названия — «Невеста императора»). В обоих случаях превосходное знание далеких реалий (как материальных, так и духовных, не только «вкуса, аромата и цвета» далекой эпохи, но и ее страждущей мысли) и незаурядный такт в обращении со словом (стилизация дозирована и не срывается в пародию) сочетается с отчетливой идеологичностью (метафизические проблемы переживаются героями как личные; страдания исторических персонажей — проекции мыслительных и моральных мук современных авторов) и тонкой аллюзионностью (распад Римской империи в V веке по Рождеству Христову и московская Смута начала века XVII, конечно, проецируются на исторические катаклизмы наших дней и нашего Отечества). При этом книги Ефимова и Бородин не беллетризованные трактаты, а настоящие романы — с непростым сюжетом, сложной системой персонажей, наделенных отчетливыми характерами, мотивной вязью, неожиданными отыгрышами эпизодов, поначалу казавшихся проходными, и

сильными развязками. (Последнее острее ощущается у Ефимова, что понятно: все-таки про его героиню — императрицу Евдокию — средний читатель знает несопоставимо меньше, чем про Марину Мнишек.) И — наконец, но не в последнюю очередь — это книги незавуалированной человечности. Эпохи, избранные Бородиным и Ефимовым, могут ужаснуть и ко всему привычного человека нашего столетия, история совершенно безжалостна ко всем персонажам, нетерпимость не оставляет места самым простым чувствам, всякие слова о справедливости в тех контекстах звучат чудовищной фальшью, — а сердечная мягкость и тяга к добру авторов словно бы преодолевают их же знание, чреватое отчаянием. Леонид Бородин — вопреки недалеким ожиданиям — не только признает странную легитимность Царицы Смуты (Марина Мнишек верит в свое право на трон, она царица — вне зависимости от того, был ли ее муж самозванцем; ее торжественно встречали бояре, ее приветствовала толпа, ее звала и ждала Москва), но и просто любит ее — католичку, иноплеменницу, злую чаровницу русского фольклора, причину братоубийственной многолетней войны и запустения царства. Любит, ибо сострадает. И с ужасом думает о том, что пленение-заточение Марины и убийство ее сына-наследника станет не концом Смуты, но отражением ее начала — угличкого убийства. То есть вступает в полемику с мощнейшей традицией толкования русской истории — с едва ли не общепринятым национальным мифом. И конечно же не академического интереса ради, но протягивая нить от Смуты к тем событиям, что ознаменовали начало и конец русского XX века.

Другие удачи в исторической прозе связаны с «портретированием» времен сравнительно близких — военных и послевоенных. Здесь сильное открытие было совершено Анатолием Азольским, скрестившим в ряде повестей (всего колоритнее и резче — в «Клетке», «Облдрамтеатре», «Женитьбе по-балтийски») плотное бытописание с авантюрно-детективным сюжетом, готовым сорваться в анекдот. Сталинская эпоха не только коварна, бессовестна и безжалостна, но и похабна. Это золотое время уголовщины, неотличимой от якобы борющейся с ней (на деле — ее пестующей) власти. Зло разлито в воздухе, человек — либо жертва, либо насильник. (Не случайно в прозе Азольского почти обязателен сексуальный код.) Переиграть систему немыслимо, скрыться от нее можно, только похоронив себя (желательно — не метафорически; между прочим, сюжет «мнимой смерти» действительно характерен для сталинской эпохи), но чем прятаться или надеяться на авось, лучше погибнуть (суицид старших персонажей в «Клетке»), всякая уверенность в завтра — фикция. Никакой семьи, никакого творчества, никаких чувств. Железный гон сюжета — железная логика крепких умников, разгадавших волчью логику системы и ставших волками (главный герой «Клетки» Иван Баринов). И невероятный выигрыш лопухого лейтенантика, подарок раздухарившейся судьбы, что, нагромоздив одну паскудную нелепицу на другую, разрешила-таки русскому юнцу жениться на эстонской школьнице и увела обоих из-под карающей десницы бандитской власти («Женитьба по-балтийски»). И ненужное (навсегда оставшееся в памяти, а потому опасное) раскрытие полоумной (но естественной для страны страха) аферы («Облдрамтеатр»). И такая же ненужная память о том, чем в реальности была «война на море» (одноименная повесть). И такое же ненужное разоблачение из новых времен стародавнего грешника («Розыски абсолюта»). И истошная тоска железного Ивана Баринова, вопреки всему своему опыту надеющегося на «другую жизнь» — не для себя, для того младенца, что должен заменить сгинувших и одолеть «клеткой» любви «клетку» советского небытия. Глупости? Сантименты? Идеализм, что до добра не доведет? Но Азольский — изнутри взрывающая крепчайшую конструкцию своего жестокого мира — неизменно ухитряется напомнить читателю: и в «клетке» кто-то сохранял себя, надежду, любовь, представление о возможности другой жизни. Хотя чаще всего и терпел поражение.

Поражение неизбежно и особенно горько, если маскируется под победу. Если тебя, оплевав и обокрав, щадят и жалуют, а дело твое рушат, как это

происходит в романе Георгия Владимова «Генерал и его армия», где обреченный (ибо чуждый системе) генерал Кобрисов странным вмешательством судьбы (случая) остается жить, а гибнет его армия (во всех смыслах — и трое сопровождающих, накрытые «нашенским» снарядом, что должен был уничтожить генерала, и та армия, лишенная умного командира, что бездарно брошена в ненужный бой). Владимов видит советскую власть бесчеловечной, глупой (с нормальной точки зрения), бессознательной, но по-своему логичной системой. Иначе как кладя солдат в пять слоев здесь не воюют. Иначе как истребляя и уничтожая всякую личность здесь не государят. Человек системой не предполагается. Но почему-то не исчезает вовсе. Вероятно, потому, что Владимов (как и Азольский, как и Астафьев, о котором речь впереди) помнит о своем родстве с другими людьми и разумно полагает, что если ему (писателю) еще дороги фундаментальные ценности, то негоже отказывать в праве на душу живую и другим людям. В каком бы аду тем не довелось обретаться.

Замечательный роман Владимова обсуждался столь подробно и долго (в том числе и автором этой статьи), что должно лишь напомнить о его бесспорном классическом статусе. Стоит также заметить, что после «Генерала...» — сочинения эпического и объективного (Владимов, пожалуй, даже чуть бравировал своей традиционностью, отключенностью от новейших веяний, на поверку в его романе все же осязательным) — автор приступил к работе над повествованием с выраженным автобиографическим акцентом. Сколько можно судить по интервью писателя, в ожидаемом романе «Долго путь до Типперери» история второй половины века будет рассматриваться сквозь призму авторской судьбы. Конечно, мудрено судить о том, чего в глаза не видел, но жанровая трансформация (и соответствующие изменения в поэтике), похоже, сблизит Владимова, по крайней мере в некоторых пунктах, и с Юрием Давыдовым, и с уже совершившим резкий (и оправданный) жанровый эксперимент Виктором Астафьевым.

В 1998 году Астафьев завершил одну из своих трилогий повестью «Веселый солдат». Возникает странный вопрос: какую? С одной стороны, «Веселый солдат» естественно примыкает к повестям «Так хочется жить» (1995) и «Обертон» (1996). С другой же — все три сочинения связаны с большим романом «Прокляты и убиты» (первая часть — «Чертова яма», 1992; вторая — «Плацдарм», 1994), который то ли пока замер на второй части, то ли (и это, кажется, вероятнее) теперь не требует завершения. В трех новейших повестях на смену широкоохватному и многофигурному эпосу пришла исповедальная лирика, хотя тематика осталась прежней — военной.

Прежней осталась повествовательная фактура (кровь, грязь, смрад, голод, холод в самом что ни на есть прямом, физиологически осязательном, смысле этих «повыветрившихся» слов), прежней осталась лексическая яркость и ярость бешеного речевого потока, прежним остался пафос — горчайшее изумление от расчеловечивания человека, захлебывающееся проклятье, слитое с почти безнадежным истовым покаянием. Изменилась интонация (не менее пронзительно и надрывно, но чуть тоньше — скрипичнее, если так можно сказать), изменилась жанрово-композиционная установка — «я» потеснило «мы». Конечно, фронтовая, госпитальная, послевоенно-дембельская общность запечатлена и в новых повестях, напряженные мысли об этом судьбой устроенном единстве, кажется, никогда Астафьева не отпустят, но все же главным стало теперь другое.

В «Так хочется жить» и «Обертоне» крупным планом даны человеческие лица — Коляши Хахалина и Сергея Слюсарева, тупой писарской волей превращенного в Слесарева. Судьбы героев воспринимались как возможные, хоть и несостоявшиеся, ухудшенные варианты судьбы вышедшего в большие люди автора: ветром несомый шалопут-бедолага, сохранивший в душе поэтический строй (тут поневоле вспомнишь Маканина, что наградил маргинала Петровича своей внешностью и некоторыми деталями биографии), и скромный, обе-

санный жизнью (вот она, измененная буква!), обычнейший трудяга, как сквозь сон вспоминаящий давнюю невероятную — обертонную — любовь. И все-таки там речь шла о других. Автобиографизм «Веселого солдата» выдерживается с первой строки до последней.

Это не кто-нибудь, а «я» мыкался по госпиталям, женился (в одночасье и навсегда), чуть не потерял супругу в колготе московского метро, дрожал перед порогом дома ее родителей, скандалил, матерился, горе мыкал, жилье обустроивал, отчаивался, надрывался за копейку, кормил случайно тыркнувшегося в дом немца-военнопленного, учился в вечерней школе, хоронил малую дочь, годы спустя, приехав в давно оставленный город Чусовой, толковал стародавнему приятелю: «Я и ноне <...> хохотать не перестая, уж больно жизнь потешная». (В «Так хочется жить» — на мой взгляд, лучшей вещи позднего Астафьева — этот мотив уже прорабатывался.) А до всего этого — «Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. Немца. Фашиста. На войне».

Так начинается повесть о «потешной жизни», о свирепой и наглой силе зла, о привычке к существованию в аду, о тихом, придавленном, но неодолимом стремлении жить по-людски, о боли, грехе, расплате и сохраненном человеческом естестве. Так она и заканчивается: «...я убил человека. В Польше. На картофельном поле. Когда я нажимал на спуск карабина, палец был еще целый, не изуродованный, молодое мое сердце жаждало горячего кровотока и было преисполнено надежд».

Уходят на войну («Чертова яма») и сражаются («Плацдарм») — вместе. Вместе, несмотря на то что войну Отечественную вынужден вести народ, одновременно уничтожаемый войной гражданской (достаточно вспомнить о «показательном расстреле» ни в чем не виновных «дезертиров» в «Чертовой яме»; впрочем, примеры на каждой астафьевской странице). Возвращаются с войны и тем паче оплачивают ее счета — поодиночке. Потому, видимо, вместо финальной части трилогии обещанной (а что, как не возвращение, должно было стать ее предметом?) написалась трилогия новая, увенчанная максимально откровенной исповедью. Размышляя о том, как может выжить отдельный человек, Астафьев говорит о себе — о том, кто стал писателем. Потому и стал (и не перестает им быть), что помнит немца на картофельном поле и дорогу на фронт, неотличимую от дороги с фронта, свою послевоенную ненужность победившему государству и тогда же начавшуюся борьбу за собственную душу.

Таким образом, мы вновь пришли к уже не раз отмеченному правилу: серьезный русский писатель 90-х так или иначе — в большей или меньшей степени, сознательно или полусознательно — ориентирован на саморефлексию и утверждение значимого статуса литературы. Мысль о сохранении личности в ее противоборстве с силами зла (как внешними, так и проникающими в человеческую душу, как социально-политическими, так и метафизическими) неизбежно оборачивается апологией (выговоренной или подразумеваемой) словесного искусства. По всем «умным» раскладам, никакой литературы в сегодняшней России быть не должно, а она есть. Литература отдельных писателей, не схожих во всем, кроме твердой уверенности: словесность нужна мне, а значит, и кому-то еще. Именно — кому-то, далекому читателю, провиденциальному собеседнику, а не «самой читающей стране». Потому и писать можно по-разному — люди, слава Богу, не на одно лицо.

И что удивительно: наиболее виртуозные стилисты, авторы действительно сложно организованных текстов, прозаики, пишущие «по словам», прядущие изысканную паутину причудливых периодов, коллекционеры невиданных метафоров, подлинники изобретатели и новаторы, нередко попрекаемые за «сложность», «экстравагантность», «манерность» и «непонятность», никогда не пренебрегают человеческими чувствами, «наивным» поиском гармонии, расстановкой простых (недоброжелатель скажет — простейших) этических акцентов. По-настоящему новая, свободная и «хорошо сделанная» проза Александ-

ры Васильевой (певучая повесть «Моя Марусечка»), Марины Вишневецкой (большая часть ее вошла в сборник «Вагриуса» «Вышел месяц из тумана»), Ольги Славниковой (роман «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки»), Ирины Полянской (роман «Прохождение тени»), Сергея Солоуха (отвергнутый чуть ли не всеми журналами, изданный в Кемерово тиражом в 500 экземпляров, а потому мало кем замеченный роман «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева»; полный невероятной радости жизни цикл «Картинки»), Валерия Володина (повесть «Русский народ едет на шашлыки и обратно», романы «Паша Залепухин — друг ангелов» и «Время, жить!» — все печатались в саратовской «Волге» и не удостоились внимания критики) живет состраданием и любовью к обычному — часто несчастному, слабому, растерянному — человеку, уважением к чужой тайне и восхищением чужой душевной стойкостью, влюбленным вглядыванием в наш — безумный, больной, искореженный, а все-таки живой и прекрасный — мир, практически нескрываемым стремлением к далекому, но сущим истине, добру и красоте.

Цинизм и небрежение личностью, копеечное шуткование в рекламно-новорусском роде и высокомерный эгоцентризм, «чернуха» и инфантильный восторг от вчера усвоенной квазиистины — «жизнь подла, лжива и грязна», — идеологическая агрессивность и инерционное обличение «свинцовых мерзостей» сочетаются не с поисками живого и непривычного слова, а с лаковой гладкописью, имитацией готовых образцов, сбивающихся на пародию (в диапазоне от Зайцева до Платонова), и с заурядным графоманским неряшеством. Впрочем, удивляться тут нечему: красота не уживалась с душевной и интеллектуальной пошлостью никогда — не исключение и наше замечательное десятилетие отдельных писателей. Обогадивших, а потому и сохранивших живую и свободную русскую литературу. Ту самую, что и при Пушкине, и при Достоевском, и при Пастернаке жила не «общими идеями», на недостаток которых так злобуют жаловаться иные из моих коллег по цеху, и не направленческими задачами, а неповторимыми отдельными личностями.

Здесь бы надо поставить точку, но мешают три обстоятельства. Во-первых, я ничего не сказал о, на мой взгляд, лучших писателях «среднего» поколения — Андрее Дмитриеве («Повесть о потерянном», рассказ «Пролетарий Елистратов», диптих повестей «Воскобоев и Елизавета» и «Поворот реки», новейший роман «Закрытая книга») и Алексее Слаповском (романы «Я — не я», «Первое второе пришествие», «Анкета», новейший «День денег», повести «Пыльная зима», «Война балбесов», «Висельник», «Гибель гитариста», «Братья», «Галий» и много что еще). Конечно, я и так про них много писал. (Возможно, даже слишком много — временами кажется, что кое-кто из коллег бранит сочинения Слаповского и Дмитриева не ради их самих, а дабы поставить на место зарвавшегося комплиментщика и оживить родной литературный быт шибко острой полемикой.) Конечно, репутации Дмитриева и Слаповского вполне сложились, а их последние вещи требуют не беглых замечаний, а детального анализа семантики сюжетов, жанровых стратегий и особенностей слога. (Увы, на это удовольствие места в обзорной статье нет.) Но все-таки не назвать их вовсе было бы глупо и претенциозно. Так что констатирую. Да, лучшие. Да, оправдавшие наше — рожденное в конце 50-х — поколение. Да, выдержавшие испытание свободой. Да, сумевшие прочувствовать и выговорить боль, суетливость, жестокость, нелепицу нашего сегодня, «переходного периода», в котором бессильная ностальгия по якобы уютному минувшему запросто сочетается с лихорадочным желанием «словить свой момент и свой кайф». Увидевшие все это — и не испугавшиеся. Не отказавшиеся ни от уважения к тайне человека, ни от «вечных ценностей», ни от культуры, ни от свободы, ни от веры в будущее. Если написана «Закрытая книга», если угадана, распознана, придумана долгая сложная и таинственная история, что увела рассказчика так далеко от родного дома, если он, капитан корабля, намертво застрявшего в гамбургском порту, перестал быть «объектом», направляемым чужими волями, и незаметно превратился в писателя, то есть обрел дар пони-

мания, творчества и прощения, то корабль непременно вернется домой и дом будет домом, а не симбиозом музея мертвых чучел и воровской малины. Если три бывших одноклассника — безработный честняга алкоголик, ловкий идеологический чиновник и непризнанный писатель — сумели пережить «день денег» (как с неба свалившиеся на них тысячи долларов), не разругаться, не возненавидеть всех и вся вокруг и обрадоваться избавлению от бешеных денег, если замысленное героями «плутовского романа» бегство от постылой жизни обернулось глупой химерой, а на милой неприметной и родной саратовской улице развернулся «пир на весь мир», вдруг соединивший бухгалтеров, бомжей, службистов, гуляк, интеллигентов, прохиндеев и всех, всех, всех, то и у нас есть шанс вырваться из «дня денег» в большое время личной ответственности, любви к ближнему и доверия к себе.

Во-вторых, тенденции тенденциями, а «замечательное десятилетие» предполагает сумму текстов, своего рода рекомендательный список. Я попытался сформировать десятку лучших прозаических сочинений 90-х годов (предполагая, что писатель может быть представлен в ней лишь одним произведением) — и потерпел поражение. Не смог остановиться и на цифрах 15, 20, 25 — пришлось составить «тридцатку».

Привожу результаты в азбучном порядке: **Анатолий Азольский**, «Клетка»; **Виктор Астафьев**, «Так хочется жить»; **Петр Алешковский**, «Жизнеописание хорька»; **Леонид Бородин**, «Царица Смуты»; **Юрий Буйда**, «Прусская невеста»; **Михаил Бутов**, «Свобода»; **Светлана Василенко**, «Дурочка»; **Марина Вишневецкая** (тут я не могу сделать выбор: практически вся ее — сверхплотная, подразумевающая взаимосотнесенность текстов — проза; впрочем, у Буйды я ведь тоже назвал сборник рассказов); **Георгий Владимов**, «Генерал и его армия»; **Валерий Володин**, «Паша Залепухин — друг ангелов»; **Нина Горланова**, **Вячеслав Букур**, «Роман воспитания»; **Юрий Давыдов**, «Бестселлер»; **Андрей Дмитриев** (трудно, но все-таки — «Закрытая книга»); **Борис Екимов** (строгая и словно бы скромная проза Екимова совсем не похожа на наступательно-поэтичные опыты Вишневецкой, а случай тот же: все рассказы 90-х); **Олег Ермаков**, «Знак зверя»; **Игорь Ефимов**, «Не мир, но меч»; **Владимир Кравченко**, «Ужин с клоуном» (эта удивительная повесть, хоть и была опубликована в престижном «Знамени» — 1992, № 7, практически не получила отзывов; в который раз: «Мы ленивы и не любопытны»); **Владимир Маканин**, «Андеграунд, или Герой нашего времени» (и — вопреки собой же установленным правилам — рассказ «Кавказский пленный»); **Афанасий Мамедов**, «На круги Хазра»; **Анатолий Найман**, «Б. Б. и др.»; **Марина Палей**, «Кабирия с Обводного канала»; **Михаил Панин**, «Труп твоего врага»; **Людмила Петрушевская**, «Время ночь»; **Ирина Полянская**, «Прохождение тени»; **Евгений Попов**, «Подлинная история „Зеленых музыкантов“»; **Ольга Славникова**, «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки»; **Алексей Слаповский** (опять трудно, но все-таки «Первое второе пришествие» и «День денег»); **Сергей Солоух**, «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева»; **Михаил Успенский**, «Там, где нас нет» (кто сказал, что ориентированная на массового читателя проза не может быть умной, артистичной, трогательной? Веселые сказочные повести Успенского о подвигах богатыря Жихаря и его братьимов доказали: еще как может!); **Александр Хургин**, «Страна Австралия».

Список, разумеется, субъективный. У нас — в республике словесности — пока еще демократия. Кому не нравится, может составить другой — без моих любимых писателей и, к примеру, с Чингизом Айтматовым, Борисом Акуниным, Дмитрием Бакиным, Владимиром Березиным, Андреем Битовым, Алексеем Варламовым, Эргали Гером, Анастасией Гостевой, Михаилом Кураевым, Анатолием Королевым, Евгением Лапутиным, Дмитрием Липскеровым, Юрием Малецким, Александрой Марининой, Александром Мелиховым, Виктором Пелевиным, Олегом Павловым, Диной Рубиной, Владимиром Сорокиным, Андреем Столяровым, Викторией Токаревой, Людмилой Улицкой, Антоном Уткиным, Владимиром Шаровым, Михаилом Шишкиным... Называю имена писателей, имеющих своих пылких приверженцев, а у меня вызывающих весь

ма различные эмоции: от спокойного сочувствия, благодарности за прошлые свершения и надежды на будущее до убежденного неприятия. Но даже одно перечисление имен заставляет задуматься о разнообразии нашей словесности. И вновь повторить: замечательное десятилетие! А ведь еще не кончилось.

Пока не кончилось. И это уже действительно последний тезис. Я не о календаре, а о ждущих нас впереди (и ковавшихся все эти годы) опасностях. Мы прекрасно знаем, как скверно мы же обошлись со свободой, нами же завоеванной (кто-то хмыкнет, кто-то корректно уточнит: «Не без нашего участия»). Боюсь, что, когда увидит свет эта статья, то есть в январе 2000 года, после парламентских выборов, будем знать это еще осязаемей. Свободу мы проболтали и упустили, предпочтя разное: кто — сиюминутные выгоды, кто — снобизм, кто — безответственную оппозиционность, кто — поиски третьего пути и пятого угла, кто — чистоплюйское неучастие, одобренное всегдашним «от меня ничего не зависит». При этом плодами свободы — от относительного товарного изобилия до возможности «свое суждение иметь» и выражать его публично — мы пользовались вовсю. Кроме всего прочего, мы не хотели верить в собственные силы, в собственное творческое начало, в собственную большую традицию (отнюдь не равную «старым песням о главном» и церетелевским петро-медведям). Отсюда наше — читательское — небрежение живой словесностью. Отсюда легкость, с которой мы не просто усвоили слухи о конце литературоцентризма, но и перетолковали их в императив отрицания литературы как таковой. Спору нет: отдельный писатель может очень много (о том и статья). Может писать за символические гонорары, добывая хлеб насущный иными способами, может терпеть издательское равнодушие, может переносить нападки (не объективными же суждениями их считать!) критиков (к примеру, мои — и слабо утешает известный тезис: «Чать, не ногу отрезают»; да, власти и даже влияния на издательский процесс у критиков нет, но нервы авторам они, увы, портят, и по большей части не из-за скверного характера — просто это входит в их профессию, хоть и не приносит радости), может какое-то время рассчитывать только на «провиденциального собеседника». Но боль, обида, ощущение собственной заброшенности накапливаются; достигнув «критической массы», они в какой-то момент могут одержать победу над даром, превратить свободу творчества — в бессмыслицу, действительно обескровить русскую литературу. Высокомерно судя современную словесность, мы либо ее попросту в упор видеть не желаем, либо забавляемся и модничаем, не придавая значения своим словам. Ан как накликаем настоящую беду: сперва оторвав от писателя читателей, потом оставим потенциальных читателей без писателей. Не дай Бог.

И все же пока у нас на дворе замечательное десятилетие. Как очень серьезно пошутил в недавнем стихотворении Тимур Кибиров: *«Треплется язык бес-костный / славным флагом на „Варяге“»*. Может, потому и «Варяг» не сдается.



ПЛЮС К НАМ ПЕРФЕКТ

Юрий Малецкий. Проза поэта. Роман-завязка? — «Континент», № 99 (1999).

Нынешний германский житель Юрий Малецкий написал (а привычный уже для него журнал «Континент» напечатал) роман «Проза поэта» с трупом, «новым русским», матерщиной, «разборками», наемными убийцами и эмигрантскими страданиями. За Малецким отчего-то закрепилась слава «писателя про себя», каковую он, по первому взгляду, и оправдывает: повествователь — свежий эмигрант в Германию, и автор тоже, автор — этнический еврей и православный христианин, и повествователь всего этого не избежал, наконец, оба они литераторы, оба поэты.

Да и главная, насквозь через роман проходящая тема тоже весьма понятна в полудневниковой прозе недавнего иммигранта: «Что делают здесь пачки людей в возрасте, с семьями и высшим образованием, предполагающим высокий общественный статус, странных людей, въехавших в страну по линии еврейской эмиграции, но почему-то не ходящих в синагогу. Сколько их? Куда их гонит? Что ищут они в стране далекой... чего ради бросили все, чем жив человек в краю родном? Не могли же эти очень взрослые люди подумать, будто им в чужой стране предложат работу по специальности — врачами, инженерами, музыковедами, биологами...» Разумеется, вся история переложена краткими анекдотическими зарисовками из иммигрантской жизни (это называется «Аккомпанемент») и немецкой окружающей среды — в качестве ее полномочного представителя выбрана реклама презервативов, судя по описаниям, вездесущая и разнообразная.

Радости во всем этом не много. Рваный ритм прозаических фрагментов в романе перемежает текущую современность с несколькими пластами воспоминаний — немецко-обустройственные главки носят общий заголовок «Поэтапно». Не столько для обозначения последовательности и обстоятельности, сколько отыгрывая вековечное русское «по этапу». Как ни мало похоже, по сути, бесплатное общежитие для «контингента» на пересыльную тюрьму, а все же что-то есть: кровати двухэтажные, туалет на этаже, на социальные работы посылают... Словом, «нормальный человек на моем месте никак не оказался бы на моем месте».

И самоценности, если не считать восхитительного баечного языка Малецкого, пришивающего высокого класса треп к бумаге, не много. Ну, есть еще одна жертва советской пропаганды и контрпропаганды, которые, совокупно обрушиваясь на совграждан, формировали в каждом из них устойчивое представление, что прямо за Брестом (в крайнем случае — по ту сторону Стены) начинается кисельный берег великих молочных рек, поросший булочными деревьями и усыпанный палой листвою дензнаков. А отсюда уж было рукой подать до главного тезиса 70-х: «Я, ребята, не знаю, о чем вы тут говорите, но ехать надо!» В специальной главке Малецкий последовательно перечисляет все постоянные резоны, традиционно приводимые сразу же после: «дать детям европейское образование», «спасти старшего от армии», «заполучить европейский паспорт, чтобы без унижений и не дороже денег поездить по миру»... Ну и, конечно, повсегдашне горькая судьба поэта в своем отечестве. «15 лет, проведенных в шкуре российского стихотворца, т. е. 15 лет каторжного труда, эксплуатации и попыток урвать в месяц полдня для действительного творчества, а не литературной поденщины, принесли мне в результате сырой полуподвал на окраине города, обставленный мебелью с толкучего рынка, туберкулез позвоночника и непрестанную томительную тревогу только об одном: смогу ли я завтра работать? При всем том я считал себя „устроенным“». Это не герой Малецкого — это в том же номере «Континента» опубликованное письмо Ходасевича к Каменеву по поводу подселения в его квартиру дополнительных жильцов. Да много ли изменилось с тех пор? Не уплотняют потому разве, что плотней уже некуда — со всех сторон санитарная норма.

Перебрав все это и пообещав еще одну причину для таинственности, герой наконец признается: «Я здесь, может быть, из чисто эгоистического желания познать себя-из-другого. Потому что нельзя познать себя-из-себя. Я должен быть собой, но я должен отделиться от себя, чтобы себя — увидеть». И вот это уже совсем другой разговор. Хотя бы потому, что здесь причиной всему и предметом рассмотрения — не чуждая воля, не внешние обстоятельства, а сам герой. За пустыми lamentациями жертвы обстоятельств начинает брезжить что-то гораздо более серьезное. Русский интеллигент в охотку признает свое бессилие («среда заела») и ужасно неохотно — свою самостоятельность.

Да и всему роману это признание, это желание увидеть себя-как-другого и наоборот, самообозреться его, другого, глазами — всему роману это придает немного иное звучание, позволяет иначе его читать, словно поворачивает какой-то ключ, отмыкающий духовное его нутро.

Ключи и отмычки. Конечно, «Прозу поэта», по крайней мере первую ее часть, можно читать и безо всякого ключа — в лоб. Тогда получится то самое, с чего я начал: эмигрантский роман с «разборками». «Авторитет» «наехал» на поэта, некогда «заказавшего» неисправного должника (тут еще надобны слова «кинул на бабки», но складывание осмысленных фраз целиком на этом языке уже вышло из моды). Правда, потом начинается какая-то «туфта» и пьяное «гонево» под «бухло» в аэропорту.

Сперва в телефоне, а после в живой действительности поэта обнаруживается некий бизнесмен и дипломированный психолог Мухтар Чингизбаев, нуждающийся в провожатом по немецким городам. А затем тот же самый Мухтар вдруг невзначай, в перерыве между осмотром собора и жареными креветками, задает главному герою главный вопрос: а что, дескать, вы почувствовали, когда ваши люди убили Акопа Джагубяна. Этот самый Акоп, организатор чулочной фабрики на акционерных началах, не только не выплатил семейству главного героя причитающихся процентов прибыли, но и сами вложенные денежки (последние семейные сбережения, между прочим) куда-то заделал. Так что по первому размышлению убивать его никакого резону нет у поэта: с мертвого взятки гладки. Но обстоятельному и обаятельному Мухтару, который, оказывается, успевает соединять интеллектуальные упражнения и международный бизнес с криминальной деятельностью по поддержанию порядка в России, этого мало: вот поезжайте обратно в Москву, найдите настоящих убийц, тогда поверю, что не вы. Вот вам денег в достаточном количестве, а вот я, гляньте, уже и жену вашу уговорил не беспокоиться отсутствием, и даже — «говорили Вы, что если бы кто-то вложил тысяч 70, а лучше тысяч 100 марок на первый случай, Вы бы открыли русский ресторан и решили свои проблемы?». Все вам будет. А не будет — вам же хуже. «При всей симпатии к Вам я не могу позволить, чтобы моих людей убивали просто так».

Эк закручено! Не хватает только столь любимого народом «Я дам вам парабеллум». И откуда он только взялся, такой необыкновенно осведомленный и замечательный? Рассказчика, впрочем, томит и другой вопрос: «Но почему этот человек, совсем не похожий на меня, говорил как я?.. Он говорит как я или я — как он? Или в его лице я говорю с самим собой?» И впрямь все словесные игры, которые так любя поэтическому сознанию героя-повествователя, Мухтар не только поддерживает легко и изящно, но абсолютно в том же тоне. А вот так любимый современной литературой от Антона Уткина до Эргали Гера настоящий «новый русский» из него никак не получается, хоть и отведено ему вдоволь власти, денег и ума. «Да, подумал я, глядя на него, да: наши парни быстро учатся, они уже не ходят в малиновых и зеленых пиджаках, а одеты в новом европейском стиле — яркие, пестрые галстуки на фоне светло-цветных рубашек и сдержанно-цветных добротных пиджаков смотрятся почти на грани фола, но — хоть ты что — гармонично».

Говорящий заемным языком и всезнающий персонаж, развлекающий свою скуку организацией чужого счастья и наказанием чужих прегрешений, ужасно напоминает кого-то другого в русской литературе. Вот, например, такого: «Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет

уже не молодых, „qui frisait la cinquantaine”, как говорят французы, с не очень сильной проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженной бороде клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный; сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так что из светских достаточных людей таких уже два года никто не носил... Клетчатые панталоны гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить, равно как и мягкая белая пуховая шляпа, которую уже слишком не по сезону притащил с собою гость».

Или нет, это, наверное, просто показалось — и разница совершенно очевидна: Мухтар, в отличие от персонального черта Ивана Федоровича Карамазова, ни за что не стал бы ходить в потертом шарфе.

Впрочем, прямое обращение к Достоевскому есть не столько уже ключ, сколько отмычка. Попробуем еще повертеть нашу шкатулку с замочком, прежде чем набрасываться на нее с таким инструментом.

Новая Шехерезада. Сочинитель Малецкий — совершенная Шехерезада. Заводит убийственные (буквально) речи, дело пахнет не то что керосином, а прямо-таки кровавой юшкой — и в сторону. «Клянусь, — говорит себе читатель, — я не выброшу этого журнала в помойку, пока не узнаю, чем кончилась история про Мухтар-аль-Рашида и лживого армянина». Но в большой ларец вложен маленький ларчик, а в нем — совсем другая история.

В мюнхенском аэропорту герой-повествователь решает выпить перед вылетом — вполне естественно для человека, отправляющегося обратно к месту рождения, чтоб выяснить, не является ли оно и местом преступления. Об этом и повествует название первой главы второй части: «Перед посадкой можно выпить». Вторая будет называться «Можно и поговорить», а третья — «По душам». Резонно ожидать в ней разговора — и впрямь будет разговор со случайно нашедшимся в этом же баре американским профессором русской филологии родом из города на Неве. На всю почти вторую часть романа — что-то вроде девяноста страниц.

Хичкок был бы доволен этой беседой: почти что над мертвым телом человек, едущий в неизвестное под девизом «Грудь в крестах — или голова в кустах», человек, по всем правилам великого Альфреда сидящий на бомбе, бесконечно говорит о решительности не важных глупостях: вагнерах, фаустах, драконах, ласточках и преступлении абсолютного прошлого. «Беги! Двигайся! Сделай что-нибудь!» — во всю мочь вопит задавленный саспенсом читатель.

Но ничего не происходит. «Если бы было хоть полшанса не действовать, я бы застыл в ступоре», — говорит себе наш герой и почти справляется с поставленной задачей. Что слаще всего отвлечет русского поэта от необходимости действовать? Чужая история (с еще одним трупом) и треп о русских поэтах.

И то и другое случайный собеседник трактует в свете одной своей неотступной идеи — в свете предательства: и супружеские измены Мандельштама, и свою любовную историю, и сгоревшего (или им самим сожженного?) ученика. Потому что в предательстве видит идеальный образец греха — грех постыдный и гнусный.

Странная штука человеческая гордыня. Она сродни Мидасову дару — все может превратиться в драгоценность: праведность, греховность, пост, убийство, обладание, бедность... Но гордиться предательством — согласимся с профессором — все же труднее прочего. Убийца, тот порадуется своей силе, юрод — подвигу и послушанию, их дела станут им опорой в бескрайнем и беспочвенном этом мире; а что же делать предателю, который не может опереться даже на свой грех?

Жить с ним. Профессор, все еще погруженный в изобретение спасительного образа Мандельштама-предателя, вспоминает слова старца Силуана: «Держи свою душу во аде и не отчаивайся». Вот это-то, дескать, и рождает человека как нового, как окончательного. «Он стоит во аде, и даже если отчаивается, все равно стоит, и в точке отчаяния он все равно называет вещи своими именами, все равно не ищет утешения в самообольщении, он больше не движим *своим*, он и в отчаянии не заслоняется своим величием и безмерностью, которые на что-то там такое „дают право”, а, беспомощно улыбаясь, прислушивается к чему-то в себе *не своему*».

Потому и выбран для этого парадокса Мандельштам (а не Пастернак, к примеру, которому того же рода предательства было не занимать), что в предательстве профессор ищет не возможности для внешнего осуждения, а оселок для внутреннего исправления души. А для этого надобно уметь его осознать, принять в себя, найти себя — предателем, что предающим без зазрения совести недоступно.

А по ходу дела наш повествователь припоминает историю с Акопом, проваливавшаяся в нее из профессорских штудий. Как пытался договориться о возврате денег, которых, по всей вероятности, и впрямь не стало у фабриканта (не по воровству, а по непристроенной беспечности). Как под прикрытием крепкого телом товарища, бывшего монаха РПЦЗ, получал мелкие от той суммы куски. Как через него же приискал, озлобившись до состояния совершенно раскольнического, специалистов по возвращению денег. Как дал добро на отлов неисправного должника и содержание в подвале. Впрочем, все очень спокойно, в своем праве.

Смерть Акопа Джагубяна, то, что по воле героя испытал он в пыточном подвале, доколе два магических «специалиста» Владика не уверились в том, что денег нет и пытаться коммерсанта без толку, — все это происходит как бы нигде. В другом месте романа сказано о вероятности существования сказочных драконов: «Мы имеем дело с областью прошлого, а в „прошлом“, в отличие от „настоящего“, все бывает на правах равно возможного». Одно слово, «плюсквамперфект» (этим грамматическим термином поименованы все главы про Акопа, его фабрику и Владиков).

Смешное квакание — перфект плюс к вам. То есть — вот он ты, а к тебе (то есть к вам) еще перфект — совершенное совершенство. Если перевести в первое лицо, выйдет: я и мои свершения. Я и мной созданные обстоятельства.

Завлекательны шехерезадные сказки. И, однако, во времена менее просвещенных читателей-слушателей не сносить бы головы сочинителю Малецкому.

Русский человек на *entre nous*. На странице девяностой журнала (а следовательно, семьдесят седьмой читаемого романа) пропущено тире в диалоге. То, которым реплика отличается от абзаца в монологе.

Настоящим довожу до сведения проницательного читателя, что странная сшибка позиций спорщиков вплоть до полного обмена мнениями и биографиями — по всей вероятности, не преднамеренная. А еще точнее — спешу обратить его, просвещенного читателя, внимание. Потому что само по себе оно (внимание) может и мимо скользнуть. Слов нагнано, как слонов под Альпы, и в слоновьей этой чехарде отделить одного черта от другого, а всех их от бесноватого — та еще работенка что для экзегета, что для экзорциста.

И главное неудобство состоит в том, что все происходящее развивается на пространстве одного и того же неизменного языка. Вновь являются герою языковые двойники: «Я понял, что по мою душу откуда ни возьмись грядет еще один, непрощено говорящий со мною моими словами, только этот уже — совсем-совсем неотличимо от меня. Господи ты, Боже мой, с чего вдруг послал Ты в два последних дня такой урожай ягод одного со мною поля — после двух лет интеллектуального затворничества? Зачем? Будто бы это мне сейчас нужно, будто бы мне до интеллектуальной болтовни — накануне самых грозных действий».

Да ведь и приятель-монах, и оба Владика («двое из ларца, одинаковы с лица», а не с лица, так с имени) — все те же бесы, кружащиеся словно листья. Точнее сказать, все один и тот же клетчатый господин, бесконечно не ленящийся перемешивать обличья. И верная примета ему одна-единственная: говорить он в силах только одним языком — собственным языком героя-писателя-повествователя.

«Как там этот сказал тому, в декабре октября: „Ах, как славно мы умрем!“... Как их, не помнишь? кто кому? Бестужев Марлинскому или Азадовский Завадовскому?» А здесь, в нашем-то романе, это — кто кому? как их, не помнишь, читатель? различать, понятное дело, забыл?

Ну, голубчик, имеет полное право возразить поэт (это тот, что романист, а не персонаж), к чему ж кипятиться, к чему стулья ломать. Вам же и обещали с самого начала: записки сумасшедшего. Прямо во второй главке: «В Баварии есть король. Этот король — я, Людвиг О». А сумасшедшего отличает что же? — именно и

в первую очередь неспособность иметь другого собеседника кроме себя самого. Посмотрите вот хоть «О собеседнике» приснопоминаемого О. Э. Мандельштама.

Но это не то безумие, которое снимает с умалишенного любую вину и делает его неподсудным. Это та свидригайловская, раскольниковская, ивано-карамазовская расшатанность психической конституции, что позволяет прозревать иные пространства, видеть что-то кроме того, что всем видно. Позволяет — но ведь и заставляя.

Заставляет вместо того, чтобы «действовать» — видеть и думать. О грехе, раскаянии и предательстве. Что делать человеку согрешившему? Удавиться, как Иуде, или восплакать, как Петру? Прежде чем герой на этот вопрос ответит, ничего с места не тронется. А после того, как ответит, переменится в значении все, что говорилось прежде.

В этой перспективе великих предательств и раскаяния как способа жизни, а не точечного акта иначе выглядит и вся та жалобно-эмигрантская риторика, которой полны этапы приживания героя в Германии. Что, собственно, не дает переместившимся лицам чувствовать себя в чужой стране как в своей тарелке? — именно эти поиски кого-то «своего» в мире, а не себя одинокого. Это ведь тоже тема Достоевская: лежит юноша в каморке, и хочется ему всего капиталу сразу. Оттого и убийственные мысли бродят, что — сразу. А рядом где-то кого-то вразумляет приятель его Разумихин. Тот знает, что все возможно, как привыкнешь к маленьким-то шагам.

Разве не о том же и все страдания: на шпрахкурсы посылают (а не хочется), работать велят (а не буду), социалминимум урезают (а за что его дали-то вообще?). Метнувшись через границу на кисельные берега недалекой неметчины, русский герой и там все стремится устроить диванную раскольниковщину: лежа, весь мир ненавидеть.

Нашему повествователю все это невдомек (но, полагаю, — не автору!). Его голова пока занята тем ужасом, что предстоит: поисками убийц (свои выкинули мертвого Джагубяна в карьер в Подлипках? — страшно; не свои? — еще того хуже) и — не меньше ничуть — ужасным Мухтаром с его всевидящим оком.

Но с этим (и только с этим!) автор ему поможет. Все-таки если у поэта на стенке висит ружье, то это ружье Чехова — Станиславского. Если в роман вторгается властный персонаж по имени Мухтар, то будьте уверены: рано или поздно нам непременно изобразят живую картину «Смерть Вазир-Мухтара». В «Прозе поэта» сценическими подмостками сделана криминальная хроника по телевизору.

Романист в завязке. Отношения Малецкого с его героем — как между Олешей и Кавалеровым в «Зависти». Назвать их тождеством — глупость. Не признать этого тождества — еще глупее. Это выжигание из самого себя живого куска, который и любишь как родное, и ненавидишь в себе. Так русские в разговорах между собой костерят и Русь, и все русское, но зубами вцепятся в защиту национального духа в споре с кем угодно еще (об этом дословно есть у Розанова в «Уединенном»); так антисемитничают евреи, чтоб никому больше этого не позволить. Это свое-ненавистное юношу Вейннгера свело в могилу, Олешу сделало алкоголиком, а патера Брауна — детективом.

Да, собственно, и Достоевского со Ставрогиным отношения соединяют-разъединяют те же самые. Много есть любителей — мне, по совести говоря, никогда не было интересно, трахал Ф. М. кривую девочку в чулане или, только раз помысливши, потом от этой прежденабоковской грезы всю жизнь оттирался.

Но и отличие от Достоевского не менее значительно: не может быть при окончании века психологического романа в третьем лице. Любое высказывание о ком-нибудь, кроме себя самого, сделалось проблематичным. И это переключение в первое лицо значимо для всей структуры романа — и духовной, и художественной. Достоевский мог надеяться выжить из своего героя хоть какой-то ответ, некое положительное утверждение, потому и отшатнулся обратно от найденного в «Кроткой» внутреннего повествования обратно к классическому роману. В предисловии к той маленькой повести, названной фантастической, писатель задал себе вопрос: а кто слышит и передает читателю весь этот хнычущий, клопочущий и в послед-

ний раз несправедливый монолог? В том и состоит фантастичность, что кто-то подслушал, как муж безостановочно говорит у гроба жены, записал и выдал в печать. А потом, вероятно, отказался Федор Михайлович снова на такие вопросы отвечать, если сцена Ивана с чертом — не фантастическая. А это-то кто видит? Кто слышит? Чей взгляд в эпилоге «Преступления и наказания» напрягается, чтобы разглядеть в Сибири широкую полосу реки, на ней город, в нем острог, а в остроге каторжного Раскольникова, и откуда этот взгляд направлен?

В первом лице понятнее. Про себя самого что ни скажи — верить обязаны. Но невозможно завершить роман словами: «Я раскаялся и просветился истинным светом». Выйдет, как в телевизионном ролике против СПИДа: «Потом я умер. Очень жаль». Потому что нету больше никакого автора-бога, все в своем мирке знающего и пронцающего взглядом любую препону. Как и в случае с мухами в супе, две эти инстанции гораздо лучше смотрятся порознь, именно так, как это и есть у Малецкого: автор, чующий присутствие Бога. Потому-то и никакой развязки не может быть у «Прозы поэта», помеченной жанровым подзаголовком «роман-завязка». Малецкий уходит «в завязку», как алкоголики: с завтрашнего дня — ни-ни. Ни под каким. Не могу, мужики, я свое уже. Новую жизнь начинаю.

...Живой русский писатель Юрий Малецкий, обитающий ныне в Германии, написал роман «Проза поэта» о грехе и покаянии, о полноте духовной жизни современности, роман с чертами и ангелами о человеческой не-оставленности и повседневном чуде. О той прозе, которая и составляет поэта.

Александр ГАВРИЛОВ.



«ОНА, ДОЛЖНО БЫТЬ, ИЗ КИТАЯ»

Александр Леонтьев. Сад бабочек. Книга третья. Волгоград, «Перемена», 1998, 98 стр.
Александр Леонтьев. Зрение. Стихи. Волгоград, Комитет по печати и информации, 1999, 126 стр.

Поэт Александр Леонтьев — представитель нового литературного поколения, незаметно приходящего на смену пожиному ныне лавры постсоветскому авангарду и почивающему на лаврах поколению шестидесятников. Именно «незаметно», я не оговорился. Это поколение, формировавшееся в перестроечную эпоху, оказалось как бы выбитым из литературного контекста, с одной стороны, застав разгар боев за неподцензурное слово в середине — конце 80-х, но едва ли успев в них поучаствовать, и, с другой стороны, будучи по большей части чуждым весьма активной ныне неоавангардистской литклубной молодежи, для которой и те бои, и тем более предшествующий идеологический прессинг — далекая история. И вот несмотря на то что произведения, так сказать, «двадцатипяти-тридцатипятилетних» уже с конца 80-х — начала 90-х стали появляться в центральных изданиях, а со второй половины 90-х представлены в них достаточно широко (так что его можно было бы назвать и «поколением 95-х»), должной оценки данный факт (понимая под ним не набор имен, так или иначе критикой зафиксированный, а то новое и особенное, свойственное именно генерации в целом) не получил, если вообще был всерьез кем-то обсуждаем. Так что можно говорить о поколении, «незамеченном» в целом, каковым у него есть все шансы и остаться несмотря на некоторую известность отдельных его представителей, обычно подверстываемых к их предшественникам. «Незамеченное поколение» — это те, кто застал, хотя бы в школе, и жвачку соцреализма, и запретные плоды сам- и тамиздата, и, наконец, лавину «возвращенной» литературы. Тогда одновременно современным стало все ранее недоступное — от интеллектуальной примитивистской зауми какого-нибудь концептуалиста до тончайших стилистико-психологических изысков «парижской ноты», прежде всего — в полном объеме весь «серебряный век» и, разумеется, И. Бродский! Естественный ход литературной преемственности оказался нарушен. В этом отличие «неизвестных» и от предшественников, и от генерации новейших

молодых, «естественных» последователей постсоветского авангарда, для которых история литературы предстала уже в восстановленной непрерывной целостности. Поколение Леонтьева оказалось прямым наследником всего XX века, с правом выбора себе предшественников по собственному вкусу и разумению, то есть явилось, по существу, после (пост-) авангардным и после (пост-) модернистским.

Очевидно, Леонтьев оказался почти равнодушен к новейшему авангарду, выбрав себе в качестве ориентиров анненскую психологическую утонченность, раннеакмеистическую предметную точность и прозрачность и элегический изошренный синтаксис современной «петербургской школы». Все это, при природной импровизационной легкости и внятности слога с установкой на просветленность любого поэтически-созерцаемого объекта, позволило Леонтьеву почти стопроцентно «попасть» в десятку ожиданий нынешних литературных Державиных, наследником которых он себя, по всей видимости, ощущает. Цитата из частного письма, набранная мелким шрифтом на обложке последней книги Леонтьева «Зрение», не навязчиво уведомит читателя, знающего по-английски, что молодого поэта успел заметить Бродский. А из предисловия к предыдущей книге, «Сад бабочек», которое написал А. Кушнер, узнаём, что Александр Леонтьев «являет собой убедительный пример раннего и яркого поэтического становления», каковым он «посрамляет» представления о позднем (после тридцати) становлении современных поэтов и тем самым возвращает к пушкинской норме, когда уже в тридцать «лета шалуню рифму гонят».

Но перевернем открытый было на предисловии «Сад бабочек» и начнем рассмотрение книги с начала, то есть с обложки. Книга в ее предметно-смысловом единстве — действительно *сад бабочек*. Узорчатые створки его ворот, они же причудливого рисунка крылья бабочки, они же разворот обложки, — это половинки известного диптиха Ци Байши «Глицинии и цветы мэйхуа». Импровизационная легкость и точность кисти великого китайца, иероглифическая связность и цельность рисунка, канонические жанр и темы в свободной трактовке изошренного мастера — пожалуй, Леонтьев подобрал наилучшую изобразительную проекцию своих эстетических устремлений: «Воздухоплаванию, эфирыколыханию / Мышей летучих, бабочек ночных, / Скользящих бытия как бы за смертной гранью, / Завидует к листу прижатый стих».

Но я опять забегаю вперед и пытаюсь разглядеть что-то через решетку, тогда как перед входом в сад ждет авторитетный экскурсовод (или, может быть, привратник) с краткой лекцией о бабочках в литературе и месте в ней леонтьевского Сада. Взглянув ему через плечо (ибо кто же начинает читать поэтическую книгу с предисловия?), увидим эпитафию к книге, он же — девиз над входом в Сад и одновременно, благодаря чисто графическому приему, барочная эмблема: перевод из Рильке и оригинал, разделенные вертикальной чертой, образуют перепончатостишные половинки графического мотылька. Вот как звучит (трепещет) русское крылышко:

От нас не ускользнет размах угла
на циферблате, стрелки и крыла
едва заметный взмах; векам должны мы
движеньем век — о, бабочки часов! —
ответить и цветком прийти на зов
цветка, с которым мы нерасторжимы.

В рисунке эпитафии как бы зашифрованы все основные темы (время, смерть, любовь, жизнь, мировая культура) и поэтика книги. Синтаксис вычерчивает сколько угодно длинный маршрут, не теряя логической связи, ускоряясь на каждом зигзаге-анжанбмане, замирая мгновенно на рифмах, словно подражая все тому же беспечному насекомому, готовому в конце невообразимого пути сесть на тот же цветок, с которого и взлетело. Характерно, что это перевод: чужое в поэтике Леонтьева (будь то размер, стиль, интонация, цитата) осознается как одно из крыльев, к нему — симметричное свое, и вот он, полет!

Если продолжить следить за основной линией полета книжки-мотылька, то не только «бабочки — замечательный повод к разговору о душе», как говорит Кушнер

у входа в Сад, но и, наоборот, душа — повод для разговора о бабочках: «Душа, не стоит нам задумываться, — мрак / Нахлынет, обесмысливая жизнь... Я про египтян / Читал — у Розанова, кажется, — они... / Душеподобным бабочкам сродни: / Так гусеница прячется в покров / Хитиновый, — как в саван, в саркофаг — / Умерший фараон... пока его душа / Готовится, крылатая, вспорхнуть». Точнее сказать, бабочка через аллегорическую метафору, метонимию, ассоциацию, цитату, наконец, — повод поговорить о чем угодно, она, в рамках «Сада бабочек» Леонтьева, — универсальный символ, такой же, как *книга* у Борхеса, являясь также и книгой (вот этой самой), и стихами в ней, и целым миром (так — через «и» десятиричное — пишет это слово Леонтьев): «...она / Себя осуществляет, оболочку / Меняя, целый мир: и явь от сна / Неотделима, перерождена / В крылатую строфу, в живую строчку». Не сказать, что для старинного сюжета тут найдены какие-то «новые слова» (сравните из предисловия: «...был бы талант, а новые слова найдутся»), но способ зрения — фасеточный в порхающем полете, где все подмеченное, чужое и свое, старое и новое связывается в целое самóй целеустремленной непрерывностью движения.

И так же, как полет бабочки, причудливы пути внутри прихотливо спланированного сада-книги. Пять симметрически расположенных частей сборника очерчивают в виртуальном ландшафте тельце (середину) и четыре крылышка. «Штрихи на шелке», первая часть, — вход в сад. Здесь преимущественно пейзажные элегии, картины осени и зимы: «Туман, затишье, снежная ограда / Деревьев — как бы впавших в забытие», — традиционно параллельные не слишком веселым переживаниям: «Вертоград — это осень и ветер в саду, / Осыпавшийся мой рай. / Я в него как в блистающий сон войду: / Продолжайся, не умирай!» Но не только. Ведь осень по традиции еще и время прозрачной ясности, почти радости: «Причесаны гребнем Ван Гога, / Пестреют лоскутно поля... / Попутна любая дорога, / И жизнелюбива земля...» Это нерегулярная и местами «ботаническая» часть сада: русские «сады нескушные» и «в стекле венецейском увязшие вязы», пейзажные аллюзии из Ван Гога и Моне и библейские ассоциации. И, разумеется, находим здесь стилизованный китайский «Садик мой, где под звуки циня / Я пою стихи...», который дал название части. Если тут чего-то и недостает до идеала, то именно настоящего огорода с грядками, про который А. Блок где-то писал, что «такой сад прекраснее красивого парка».

Первая нерегулярная часть сада плавно переходит в темные аллеи второй. «Жалобы любовников» — полный роман в стихах от первой встречи, любования и утех к охлаждению, непониманию, размолвке, разлуке, ожиданию встречи, безутешным мысленным попыткам объясниться и безнадежным чаяниям понять: «Когда-нибудь мы все узнаем / О смертных маяньях души / За той чертой, обрывом, краем...»

Второй части Сада симметрична четвертая, также любовная. Здесь Сад выходит к морю, где под звук «морского прибоя» ведут стихотворный диалог Алкей и Сапфо. Стилизация античная перекрестно соответствует китайской из первой части. Но здесь это как бы парковая скульптурная композиция, только что реставрированная и свежеевыкрашенная, без каких-либо обломков, отбитых носов и черных ран, увы, чуть ли не типовое литье: «Речь твоя пьянит — словно сердце хмелем / Ты увил мне... Слаще Вахова поцелуя...» — однако милая и, в общем, к месту.

«Зеркало» — третья, центральная, часть, которую действительно можно назвать «тельцем» бабочки, поскольку здесь лирическое «я», искавшее на крылышках свои отражения в любви, природе и запредельном уповании, обращено в первую очередь к самому себе, точнее, к отличию себя от отражений в предельно близких зеркалах как интимно-личного плана («Кто тут форма и кто тут слепок? / Неужели Создатель слеп?! ... Совпасть / Невозможно: стена — сквозная...»), так и культурно-значимого (подразумевающего самонаблюдение и саморефлексию автора по поводу себя как пишущего). Просмотр мировой культуры, где и Мисима с его «Золотым Храмом», и Георгий Иванов (которого «как человека — вряд ли я пойму»), и Дебюсси, и Рембрандт с Вермеером, и «много-много другого», завершается ни много ни мало своим собственным «Ехегі...»: «Не гипс, не мрамор, не гранит, а

только эти звуки любви... О строфы нежности, обид и счастья, знающего стыд. / Пойми: я — *памятник себе*... И тот, кто снизойдет ко мне, — быть может, с Ним соединится, / Мои привязанности, лица любимые в блаженном сне / Вдруг различив: на мутном дне зеркал... И тем, а вовсе не тропой народной я любезен буду / Ему...» Увы, реминисценций и скрытых цитат у Леонтьева бывает столько, что тут можно предположить своеобразный комплекс Мидаса: к чему ни притронется — все кажется золотом, то есть «своим». К примеру, в другом из зеркал, «В эти дни — помещиком Шеншиным / Я хотел бы стать...», — эмоциональный, но все же пересказ в двадцати с лишним строчках хрестоматийных фактов биографии Фета лишь в конце блеснет пронзительным: «На вопрос „кто умер? тот самый Фет?“ / Чей-то жаркий шепот — „Шеншин, Шеншин“».

Но в таком подходе к предмету есть и другая сторона. Леонтьев — отчетливый традиционалист, даже интонационно он почти целиком вписывается в сектор «пиртерской школы», задаваемый векторами «Бродский — Кушнер», однако это — сходство наследуемой формы. Собственно, на ровном и привычном фоне легче всего заметить отличие: «Зренье что-нибудь побледней / Ищет: белую, например, / Штукатурку, с трещинами на ней...» При такой установке, насколько интересен узор, этими трещинками образуемый, зависит от масштаба личности и силы воображения пишущего, но иногда коэффициент фона оказывается слишком высок. Тем не менее Леонтьеву порой удаются замысловатые фигуры фантазии, возникающие буквально из ничего — например, путем метаморфоз, в духе картин Дали:

Так невидимка пудрится, в шепот
Сложивши пальцы, бабочка в которых
Трепещет, обозначивая плоть
Бесцветную, пыльцу сухую в порах
Воздушных оставляя... Все цвета
Переберет жестокая, — ей мало
Оттенков только с этого куста
И с этого... Так бабочка порхала
На пудреницах летних — чуть жива —
По прихоти красавицы незримой,
Которая намечена едва —
Лишь для того, чтоб не казаться мнимой...

Это стихотворение из последней части книги, парной и симметричной части начальной, но если там — поиск идеального сада: «Райского сада видна ограда / Только при жизни. И ад потом», — то здесь, как кажется, происходит его обретение в небольшой поэме, одноименной всему ансамблю, — «Сад бабочек» (кстати, отсылающей к блоковскому «соловьиному»), являющей собой самый сокровенный и дальний его уголок и итог пути: «Да будет многоярусным их сад, / И флот их — многопарусным, — какому / Мир многогрустный, я надеюсь, рад...» На такой ноте заканчивается книга, но Надежда пришла чуть раньше, в пятой (центральной!) главке поэмы символ отозвался на пристальное взглядывание («Я думаю, у бабочки внутри / Находится — как в коконе — другая, / А в той — еще одна...»). Сад из природного и культурного измерений приоткрыл потайную калитку в иное.

Ведь что-то там, в груди у нас, дает
Надежду, что и мы не одиноки,
Но совершаем гибельный полет
Внутри Кого-то большего, Кто сроки
Отпущенные нам продлит вот-вот.

Что ж, сроки продлены, и в этом году вышел в свет сборник Леонтьева «Зренье», в котором если не очередной творческий этап, то определенно новая глава пути предыдущего. Книга симметричной пятчастной композицией, где «Бессоннику» отвечает «Беседа», «Голубиной почте» отвечает «Обратный адрес», а в середине культурно-исторические «Тени», повторяет строение «Сада бабочек», однако если по форме это тоже бабочка, то скорее ночная, с узором неярким и более жесткого рисунка. Прекрасный сад, казалось, вбирающий в себя весь мир любимых чувств, дум, лиц и книг, — при ставшем уже традиционным замахе на «большой стиль» (от

Японии до Италии и т. д.), столь кропотливо созданный и обихожанный, оказался вдруг утерян. Новая книга — по большей части «скорбные» элегии и письма, попытки вновь обрести внутреннее единство утраченного сада-рая. Что был тот сад, как не красивая иллюзия, возникшая из-за того, что в какую-то минуту взгляд развлекся причудливым пилотажем бабочки-однодневки? Теперь же возобладало «зрение» неизбежного финала всякого полета: «Рожденный умереть, что у тебя в душе, / В такой же, как моя, в такой же непохожей? / Что слово — то вранье, что правда — то клише... / Захлопываешь том, сходя с ума под кожей». Новое видение, стояние «с вечностью наедине» требует известного мужества и сил (как хорошо суммировано у Леонтьева: «Веришь, томишься ли, тайные силы / Копишь на мужество»), поскольку «так страшно смотреть в эту тьму» и так трудно не отвернуться. Впрочем, у того, кто «от последних так устал вопросов», есть по крайней мере одно средство забыться: «Словами / не скажешь так, как общим тоном строк, / Пьянящим, заводящим нас все дальше — / Туда, где вовсе ты не одинок / И весел, это главное, без фальши!» Но все же неправильно было бы понимать здесь поэзию как забвение. Она — стояние в бытии и вглядывание в его первоисточки, усилие за «ужасом» и «тьмой» не проглядеть что-то важное: «Гибельный час — только ли тесная пропасть могилы? / Мысль — неотзывчивой тьмы пересказ? / Разве всегда мы угрюмы, унылы? / Есть ведь мгновения!.. Спросится с нас».

Новое «зрение» — это еще и попытка объединить видение «последних вопросов» с желанием «славить жизнь» и «быть живым». Дабы убедить нас, что обретение радости наступило, в заключительной части книги собраны стихи преимущественно мажорной тональности. Однако в них высока степень стилизованности, условности, и по пронзительности и поэтической убедительности вывода они вряд ли перевешивают «жалобы» из «Бессонника»: «После ничтожно-пустого дня, / С тяжестью пошлой в глухой душе... / Кажется, — если возьмет меня / Смерть, то почти что нашла уже... Был бы я весел, да вышел весь. / Если б не радость минут, когда / Воли — моя и Того, Кто здесь / Дышит, — едины... Прилив стыда!» «Зрение» — еще не обретение нового качества, но, может быть, только к нему переход. «Одна жизнь кончилась, другая не настала, — / Вот так и маюсь между этими двумя... / Зачем — не музыка, но мука идеала / Меня преследует, болезненно прямя?»

Хотя Леонтьев — поэт вполне сложившийся, часто даже кокетничающий своим умением, важно отметить эту цитатную «муку идеала», за которой, как хочется надеяться, нацеленность на постоянный творческий рост и поиск. Закономерно возникает вопрос — «куда ж нам плыть?», особенно проблематичный для поэтики с установками на традиционность, принадлежность «школе», стилизацию и цитатность. Тут опять-таки вспомнишь китайцев. Леонтьев, наверное, как никто другой сейчас, знает, что поэзия сама — одна великолепная цитата, и пишет так, будто русской поэзии не триста лет, а три тысячи, будто уже по многу раз использованы все возможные выигрышные сочетания слов и лишь легкая варьация интонации отличает хорошего поэта от лучшего, а малейшее приращение смысла указывает на выдающегося. Недаром в его обращении «К стихам» находим признание: «Насколько вы лучше, богаче, бесстрашней меня, / Мудрей, целокупней...», — предполагается, что говорит через него русская поэзия. Однако ей всего триста, причем круг (точнее, временной отрезок) предпочтений Леонтьева и того уже, отсюда и неровный, часто провисающий полет его бабочки-Музы. Леонтьев — поэт по преимуществу тогда, когда на первом плане стиль, дыхание, совокупность поэтических качеств, «общий тон строк» — все, что уже сейчас у него настолько отточено, что в дальнейшем можно ожидать прогресса разве что только в области пота и опыта.

Если нынешние «околотридцатилетние» не останутся «незамеченным поколением», заслоненным как предшественниками, так и племенем молодым и незнакомым, то, по очевидной логике событий, их следовало бы счесть не последним поколением XX века, а первым в веке наступающем. Поводов для подобного «оптимизма» немного, но вот, к примеру, — все-таки эти две книжки.

Дмитрий ПОЛИЩУК.



О ЧУДЕСАХ, КОТОРЫЕ НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ

Адо́льфо Биой Каса́рес. Изобретение Мореля. Дневник войны со свиньями. Романы. Рассказы. Составление, предисловие и примечания В. Андреева. СПб., «Симпозиум», 1999, 512 стр.

За каждым углом нас поджидает несколько направлений.

Ежи Лец, «Непричесанные мысли».

История появления аргентинского писателя Адо́льфо Биоя Каса́реса в России похожа на сюжет для его рассказа: долгое время имя существовало отдельно от книг. «Порою, когда меня одолевает зуд рассказа, этот тайный, все нарастающий зов... и вот тогда-то я бы желал быть Адо́льфо Биоем Каса́ресом... Биой сумел бы рассказать об Анабел так, как я не способен, показал бы ее вблизи и изнутри, сохраняя одновременно отстраненность, какую он намеренно сохраняет (я и мысли не допускаю, что это происходит ненамеренно) между некоторыми своими персонажами и автором», — пишет Хулио Кортасар в «Дневниковых записях для рассказа». Адо́льфо Биой Каса́рес живет и на страницах Хорхе Луиса Борхеса («Человек на пороге», «Тлён, Укбар, Orbis Tertius»). То есть для специалистов он — писатель, один из основоположников аргентинской фантастической литературы, многолетний друг, а иногда и соавтор Борхеса, а для читателей — вымышленный приятель-энциклопедист того же самого Борхеса. А еще — один из создателей Онорио Бустоса Домека, от имени которого Борхес и Биой Каса́рес издали несколько антологий («Антология фантастической литературы», «Книга небес и преисподней»), серию детективных рассказов и сборник эссе, посвященный авторам, которых никогда не было.

Эта книга — наиболее полное и, что еще важнее, отдельное русское издание писателя. Правда, все опубликованное в этом томе уже печаталось ранее. Несколько его рассказов, объединенных под заголовком «Теневая сторона», вышли в серии «Библиотека „Иностранной литературы“» (1987 год), роман «Изобретение Мореля» был опубликован в 1990 году в сборнике «Книга песчинок: фантастическая проза Латинской Америки», а «Дневник войны со свиньями» — в 1996 году на страницах все той же «Иностранной литературы». И все же не будет преувеличением сказать, что писатель Биой Каса́рес почти неизвестен отечественной публике. Когда говорят «великая аргентинская литература XX века», то, как правило, имеют в виду Хорхе Луиса Борхеса и его ученика Хулио Кортасара. В самом деле эти авторы стали в России по-настоящему культовыми. Но для западной критики есть и «третий великий» аргентинец — Адо́льфо Биой Каса́рес, о котором французский литературовед Юбер Жюэн сказал: «Борхес завораживает, Кортасар убеждает, Биой Каса́рес тревожит», с поразительной точностью определив литературный «горизонт» писателя.

Он родился в Буэнос-Айресе в 1914 году. Писать начал в юности, в 30-х годах, будучи уже автором нескольких сборников рассказов, познакомился с Борхесом. Но первой своей серьезной книгой считал роман «Изобретение Мореля» (1940 год). Имя Мореля взято из рассказов Борхеса о жестоком завоевателе Лазарусе Мореле, но, с другой стороны, отсылает читателя и к классическому фантастическому роману Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». «Оно — совершенно», — говорит Борхес в предисловии к этому произведению, и надо сказать, что его оценка не выглядит риторической. Даже в этом первом романе виден настоящий Биой Каса́рес, удивляющий своим умением видеть необыкновенное в расхожей ситуации, казалось бы, давно «отработанной» литературой. Так, герой «Изобретения Мореля» бежит из Венесуэлы по политическим, как потом выясняется, причинам и попадает на необитаемый остров. Читатель ждет приключений нового Робинзона Крузо, но получает историю об изобретателе, который так стремился победить необратимость жизни, что убил и любимую женщину, и себя, сохранив в вечности лишь своеобразный фильм о нескольких счастливых днях на острове. Трагедия Мореля не в том, что он

пожертвовал всем ради науки, а в непонимании того, что реальный мир всегда богаче и неожиданнее выдумки.

При в высшей степени серьезной проблематике проза Биоя Касареса по-настоящему увлекательна. Его романы, а в особенности рассказы, интригующие, как детектив, и причудливые, как фантастика, переплавляют в себе оба жанра, выводя просто хорошо рассказанную историю на метафизический уровень. В эссе «Вавилонская башня», рассуждая о природе фантастики как архетипического жанра современной массовой культуры, Александр Генис заметил, что главная проблема фантастической литературы — диалог с другим, дающий возможность человеку взглянуть на самого себя со стороны. Для этого необходимо найти этого другого и наладить контакт с ним. Хотя фантастика Биоя Касареса слишком индивидуальна, чтобы причислять ее к массовой, его герои постоянно пребывают на стыке с другим миром, расположенным рядом с нашим. Этот параллельный мир Биой Касарес определяет по-разному. «Нам интересно обнаружить щель в реальности, казавшейся столь монолитной» («Герой женщин»); «Бывают моменты, когда возможно все... Моменты эти неповторимы, ибо тотчас уходят в прошлое. Но они реальные и образуют особый мир, недостижимый для естественных законов» («Чудеса не повторяются»); «Несколько лет назад я переступил через... край и с тех пор блуждаю по неведомой земле. Каждому человеку суждено заглянуть сюда однажды — через край судьбы... а я здесь живу» («Теневая сторона»). Но ведь и массовая фантастическая литература часто эксплуатирует идею путешествий в параллельные миры. С той только разницей, что человек, попадающий в прошлое, будущее или альтернативное настоящее, как правило, играет там роль либо всеведущего бога, либо «простодушного», то есть носителя (чаще всего «истинных») нравственных ценностей. В более широком смысле можно сказать, что фантастический герой, так или иначе разочаровавшийся в обыденности своего мира, подобно конкистадорам, покидает Старый Свет, чтобы в Новом изменить судьбу человечества. А Биой Касарес именно в «Старом Свете», иначе говоря, в самом человеке, видит немало неисследованного. Не покорять новую вселенную, но внимательно взглянуть в свою.

Если попытаться подобрать метафору для описания его мира, пожалуй, лучше всего подойдет слово «город». Не какой-нибудь город, а большой, разрастающийся, где теряется счет времени и жители которого и сами толком не знают всех его закоулков. А если еще точнее — Буэнос-Айрес, место действия нескольких произведений Биоя Касареса. Автор предисловия к настоящему изданию, Виктор Андреев, сравнивает этот Буэнос-Айрес с Петербургом Достоевского. В самом деле, полуреальный Буэнос-Айрес, который может, например, оказаться Карфагеном («Козни небесные»), похож на «умышленный город» Достоевского, а иногда — на фантастический Петербург Гоголя. Или на тот же призрачный Буэнос-Айрес Кортасара. Этот город уже сам по себе стал символическим, в том числе и для русского читателя. Один из исследователей фантастики как-то заметил, что город в романе А. Беляева «Человек-амфибия» — тоже Буэнос-Айрес.

Реальность Биоя Касареса, которая, «подобно большим городам, в последние годы разрослась и разветвилась» («Коварный снег»), всегда оказывается сильнее и хитрее человека именно потому, что в ней царствует случай. Герой Биоя Касареса — не герой, а скорее жертва. Он сродни Гулливеру: средний человек, считающий себя достаточно здравомыслящим, не ожидающий от жизни ничего сверхъестественного, по чистой случайности сталкивается с непредсказуемым, живущим по иным законам миром. В новых для себя условиях он пытается восстановить утраченную предсказуемость, не желая смириться с непонятным. Он — жертва не обстоятельств, а рокового убеждения в превосходстве человеческого разума над живой переменчивой жизнью. Нерушимая вера в то, что окружающий мир поддается если не диктату, то по крайней мере предвидению, неизбежно приводит героя к катастрофе. Так, чтобы уберечь свою дочь от смерти, Фермерен («Коварный снег») делает все, чтобы остановить время в своем доме. Но вот в его дом проникает другой человек — и реальность вырывается из-под контроля, девушка умирает. Так же и Фауст Биоя Касареса («Последняя ночь Фауста») проводит предсмертные минуты в лихорадочных поисках способа повернуть время вспять и избежать «роковой полночи», но в последнее мгновение понимает, что «жизнь, а не смерть несет, по-

добно потаенным водам, покой» и предоставляет решение самой жизни. Таким образом, финал остается открытым: «Часы пробили...»

Об этом, в сущности, и роман «Дневник войны со свиньями». По жанру — это антиутопия, которую можно вписать в ряд известных латиноамериканских «романов о диктаторах»: «Я, Верховный» Роа Бастоса, «Сеньор Президент» Мигеля Астуриаса, «Осень патриарха» Гарсия Маркеса. Но Биой Касарес пишет не о колоссе на глиняных ногах, которого народ непостижимым образом обожествляет. «Дневник...» — «будничная» история о том, как однажды в Буэнос-Айресе молодежь внезапно объявила старикам войну, которая продлилась чуть больше недели. Старики, не считающие себя старыми, пытаются понять причины происходящих событий. И приходят к здравому выводу: молодые убивают стариков потому, что те олицетворяют прошлое, потому, что они безобразны («сколько мерзости таится в немощах стариков»). Но на самом деле все наоборот: «В ходе этой войны они (молодые. — Н. М.) поняли... что каждый старик — это будущее кого-то молодого, возможно их самих!.. Убить старика — все равно что совершить самоубийство». Что в данном случае и совершается, как ни пытаются молодые остановить время, сделать обратимым процесс собственного умирания.

Человеку дается шанс признать свою слабость и несовершенство и довериться времени — главному, по сути, герою Бюя Касареса. Стоит поддаться искушению любопытства, как в будничном и объяснимом обнаруживается прореха, «щель в реальности», сквозь которую просвечивает иное, необыкновенное магическое бытие, где человек может стать счастливым. Но если из-за слабости, трусости или опрометчивости возможность упущена — обязательно приходит чья-то смерть («Теневая сторона», «Коварный снег», «Юных манит неизведанное», «Память о Паулине», «Чудеса не повторяются»). С этого момента герой только и существует в ожидании возвращения на «теневую сторону», где можно вернуть утраченное. Но суть в том, что содеянное однажды исправить уже нельзя. Квинтэссенция этого положения — стихи Агафона, процитированные в «Последней ночи Фауста»: «Не в силах сам Зевс того изменить, что было однажды». Например, в рассказе «О форме мира» герой из любопытства прошел по туннелю (своего рода «гиперпространству»), по которому за пять минут можно было попасть в Уругвай. Там он встречает женщину, но по малодушию и тщеславию не решается с ней остаться. А потому — теряет навсегда возможность вернуться к ней, «чудеса не повторяются».

У времени своя правда, не всегда постижимая человеком, ее нельзя предугадать ни в жизни, ни в литературе. Так случилось, что время выхода этой книги совпало со смертью ее автора. Адольфо Биой Касарес скончался 10 марта 1999 года, и, таким образом, его первое русское отдельное издание стало уже посмертным.

Наталья МАРШАЛКОВИЧ.

I. ТОМАС ВЕНЦЛОВА. Свобода и правда. Сборник статей. [Перевод с разных языков]. М., Издательская группа «Прогресс», 1999, 216 стр.

В этой книге собраны статьи литовского поэта, публициста, филолога, переводчика, члена Литовской Хельсинкской группы, борца за права человека, эмигранта «третьей волны» Томаса Венцловы. Статьи публицистические и литературно-критические, посвященные анализу поэзии Чеслава Милоша и Иосифа Бродского, переводу «Чумы» Камю на литовский язык и переводу

«Августа Четырнадцатого» Солженицына на английский язык, культурологическому разбору «Несвоевременных мыслей» Горького. И все же большая часть статей (в том числе — и перечисленных выше) так или иначе посвящена национальному вопросу, точнее — проблеме межнациональных отношений, межнационального общения, проблеме национальной идентификации, проблеме национализма нации (особенно малой нации) в период национального угнетения и на пути к национальной свободе.

Сохраняя верность избранной шкале ценностей, на которой личность, чело-

век всегда выше нации (причем Венцлова спокойно и доходчиво показывает, как это может быть обосновано и с христианской, и с либерально-гуманистической позиции), автор на редкость здраво описывает желательную модель национального поведения в самых разных условиях. Характерно, что в предлагаемой им модели оказывается совершенно неуместным (хотя для него и понятным) столь свойственное малым нациям стремление извинять и оправдывать *свой* национализм — в противоположность национализму больших наций. Главное, что хотел бы видеть в национальной личности, как и в личности человеческой, Томас Венцлова, — это спокойное и уверенное чувство собственного достоинства, неразлучное с ответственностью за свои действия и свои решения, не склонное к самооправданию, тем более — за счет других наций, несовместимое с национальными комплексами и желанием прежде всего пожалеть себя. В статье «Ответ А. Жувинтасу» он пишет:

«Видите ли, любовь к родине и своему народу бывает разной. Чаше всего люди безоговорочно хвалят и оправдывают все свое. Такая любовь понятна и бывает даже привлекательной, особенно у малых и много перенесших народов, как наш.

Однако я предпочитаю другую любовь и считаю ее более достойной. Это любовь, которая не отменяет чувство ответственности и критического отношения к себе. Если уж говорить о „своих” и „чужих” (с некоторой высокой точки зрения нет ни своих, ни чужих, „несть эллина, ни иудея”), то именно к своим надо предъявлять особо строгие требования.

Ответственность не обрывается, не кончается на границе своего племени — на этом зиждется европейская демократия. Но свой народ, свое племя человек ощущает как бы изнутри, как органическое целое. Мы вправе гордиться лучшими представителями нашего народа, однако недостойные дела каждого соотечественника причиняют всегда особую боль. Если француз или испанец совершили нечто замечательное — это одно, но если литовец — для меня это другое, потому что я к этому как-то слегка причастен. Если провинились еврей или англичанин, то виноваты ЭТОТ еврей и ЭТОТ англичанин, а не все евреи и англичане. Однако если провинился литовец, то в какой-то

мере и Я САМ провинился. Только так я понимаю разделение на своих и чужих. И мне кажется, что только такой взгляд может способствовать урегулированию исторических споров, „закрытию” исторических счетов».

В сущности, то, к чему призывает (прежде всего — своих соотечественников, ибо, как видно из только что процитированного текста, Венцлова отнюдь не космополит, но очень даже националист — только совсем другого толка и разбора: однако националист может говорить о грехах и долгах своей нации как положено — с болью и любовью, принимая их на свой счет, а не трусливо отделяясь от них; с уважением к национальной личности — ибо он помнит, что грехи — не черты этой личности, а лишь ее искажения), — так вот, то, к чему призывает нации автор, — это по меньшей мере усвоить *привычки порядочного человека*. Действительно, если ты, будучи очень большим или, наоборот, совсем низкорослым, сосредоточиваешься на своей исключительной величине или малости и по причине этого комплекса ведешь себя недостойно и неадекватно, к тебе и будут относиться как к игре природы, этнографическому феномену, который лишь по недоразумению оказался в гостинице, а вообще-то его лучше показывать в специально отведенном для этого месте. Но, конечно, вслух этого не скажут. Если ты помнишь, что ты прежде всего достойный человек, тогда и другие будут не снисходить к тебе (и не трепетать перед неадекватными проявлениями твоих комплексов), но уважать твое достоинство.

«Мне кажется, — отвечает Венцлова одной своей корреспондентке, — что Ваша метафора об измученной Литве как притесняемом „карлике-горбуне” отвечает представлениям многих наших патриотов. Это очень грустно. Жалок тот народ, который сам себя считает несчастным уродцем. По Вашим словам, этому „горбуну” никогда не давали распрямиться его соседи; говорить в его адрес критические слова — это все равно что бить лежачего. Другими словами, он родился уродом и таким останется навечно. Жалеть его можно и даже нужно, но нельзя предъявлять ему требования, которые допустимы только в отношении нормально развитого человека. К счастью, это не так. Литов-

ский народ — не лежащий урод: слава Богу, он поднялся. Для меня он не „карлик-горбун“; он нормален и даже прекрасен, не хуже любого из своих соседей... Выпрямившемуся, нормальному, живому народу не только можно, но и должно говорить всю правду, даже если она будет не очень приятной. Если же постоянно напоминать ему только о его несчастьях, считать его бедняжкой, применять к нему заниженный тариф — ведь он такой слабенький, бедненький, вечно униженный, всеми поруганный! — то он таким и станет, униженным и поруганным. Я этого не хочу. Полагаю, что не хотите и Вы».

Говоря в одной из своих статей о том, что он прежде всего думает об ошибках и комплексах своих земляков, а о том, что происходит в этом смысле с другой стороны, пусть думает интеллигенция той стороны, Венцлова определяет идеал всяческих отношений — и национальных, и человеческих. Как человек должен помнить о своих долгах, а не о том, кто и что ему должен, так и нация должна помнить и думать о своих ошибках, о своих преступлениях — и прощать и забывать чужие, в надежде, что так же простится и ей. Но это действительно идеал, о котором, впрочем, не следует забывать. А вот *привычки порядочного человека* — спокойное и ответственное уважительное поведение (основанное хоть и не на забвении чужих грехов, но на памяти о том, что и сами не без греха, что ни одна нация в XX веке не может назвать себя невиновной), ожидающее и требующее *встречного* уважения (именно *встречного*, взаимного, а не такого, какое описано в романе Достоевского «Идиот»: «Нам все почтения отдавай, каких и не бывает-то даже, а тебя мы хуже чем последнего лакея третировать будем!»), — такие привычки очень бы не повредили, тем более что они могут спасти и личность, и нацию от большого позора — хотя и не спасут от возможного метафизического крушения.

II. MESEMBRIA. Българо-руски сборник в чест на Сергей Аверинцев. Изданието е подготвено от Емил Димитров. София, «Славика», 1999, 482 стр.

Mesembria. Полдень. Высшая точка восхождения и полное обладание всеми

силами. Солнце. Личность. Сборник не к юбилею, не потому, что подошла дата, пришло время. Как пишет составитель и вдохновитель этого труда Эмил Димитров: «Честь воздаётся *имени*, а не возрасту». А время — полдень.

В этой книге есть все: прекрасное, полезное, трогательное, назидательное, глубокое, раздражающее. Прекрасное — это стихи С. С. Аверинцева, которыми открывается сборник. Не очень уместно смотревшиеся под обложками журналов, как обломки вечности в буйном и бурном (а потому неизбежно и мутном) потоке времени, они здесь обретают свое место. Полезное — очень полезное! — это впервые составленная Э. Димитровым практически полная библиография трудов С. С. Аверинцева: научных, переводческих, поэтических, переводов его работ, состоящая из 788 позиций. Отдельные разделы со своей нумерацией: дискография; участие в обсуждениях; коллективные письма, заявления, некрологи; статьи об Аверинцеве. Полезное, трогательное, назидательное, глубокое — это и публицистические статьи ученого (в большинстве своем впервые опубликованные на русском языке), и замечательное «Слово о слове» — академическая речь Аверинцева при вручении почетной степени *doctor honoris causa* Софийского университета им. Св. Климента Охридского. Это и статьи о Сергее Сергеевиче, написанные его друзьями и старшими коллегами (как, например, опубликованный здесь отзыв Д. С. Лихачева на докторскую диссертацию Аверинцева), которым присущи, кроме перечисленных качеств, глубокий юмор и иногда являющая себя тайная нежность. Эти статьи хочется цитировать: ясную и последовательную в своем опыте понимания Ренату Гальцеву, остроумного и философичного Михаила Гаспарова — но они, к счастью, были опубликованы и в России (Гаспаров — «Новое литературное обозрение», 1997, № 27; Гальцева — «Литературная учеба», 1997, № 5-6).

Впервые опубликовано написанное специально для этого сборника эссе Александра Михайлова, сокурсника (хотя и с другого отделения) и сверстника Сергея Аверинцева, не дожившего до его шестидесятилетнего юбилея, в связи с которым и вышли статьи Гаспарова и Гальцевой. Как не поблагодарить Эмила Димитрова, еще в

1991 году, вдали от всяческих юбилеев, задумавшего свой сборник и успевшего (!) подвигнуть на этот радостный труд одного из старейших друзей Сергея Сергеевича. А для Александра Викторовича это был поистине радостный труд: он всегда именно *с радостью* говорил о Сергее Сергеевиче, с той радостью, с которой говорит любящий человек о том, кого любит, — с радостью просто от его вызванного словами присутствия.

Эта радость — уже во вторую очередь — была связана и с тем, что Аверинцев воспринимал Михайловым как человек, создающий вокруг себя (способный создавать вокруг себя, ибо носит в себе) правильно организованное пространство, с которым ничего не могут поделаться силы внешнего хаоса, внешней тьмы. Он виделся как человек, эффективно противостоящий всеокушающей разрухе, ощущение которой ныло в Михайлове незаживающей раной, причем противостоящий легко и естественно — самым фактом своего бытия.

«Смерч этот, градоразрушительный, — пытается описать Михайлов разруху для болгарского читателя, — он произведен волей людей без места, сознанием людей, лишенных своих мест. Никто ведь в нашей стране не живет уже, и давно не живет, на своем месте. Все изгнаны, все совлечены со своих мест, кто-то соблазнен уехать со своих мест. Если же люди в случае удачи живут там, где родились, или живут там, где чувствуют себя на месте, — само их местопребывание осквернено и подвергнуто надругательству. Еще остались контуры мест; там, где они остались, они дороги сердцу русского. Остались контуры русских деревень, русских домов, — а десятки тысяч из них исчезли с лица земли и были преданы потопу и гниению. Мировая история не знала подобных масштабов глумления над человеком и над всем человеческим. У советского человека нет родины; лишь немногие могут еще отправиться туда, где они родились, а там, где они живут, они чувствуют себя случайными поселенцами. Очень трудно или совсем невозможно советскому безместному человеку, изгнаннику и беженцу, хранить в себе образ человека русского.

Сергей Сергеевич Аверинцев — из числа тех совсем немногих, кто спосо-

бен носить свое место с собой. А это значит — определять пространство вокруг себя, духовно и материально, налаживать на него печать своего миропонимания. Такого человека уже не согнать с его места, не изгнать с родины, — ее, претворенную духовно, он содержит в себе.

Когда кто-либо обладает способностью определять пространство вокруг себя, определять самый дух его, в это пространство, как бы нечаянно и случайно, втягивается много разных обстоятельств, на которые воля человека не может иметь никакого влияния. Но не в воле и не в замысле дело... Всякий раз пространство вокруг Сергея Сергеевича организуется почти в его интересах, *для* него (сколько бы неблагого и неблагостного ни оставалось вокруг него). Можно возразить на это, что ведь это не он сам активно организует его, — это так и не так, если только мы знаем, что ясное самому себе начало в человеке — лишь частица его существа. Активность сознающей себя воли — малая часть проходящего сквозь человека общего порыва.

В итоге же Сергей Сергеевич относится к тем не слишком многочисленным людям, которых *невозможно отнять у них самих*.

Несколько слов — с сожалением, ибо составителю хотелось бы выражать лишь любовь и благодарность, — о том, что раздражает в сборнике. Это послесловие, в котором Эмил Димитров как бы занимает позицию всеведущего автора, символически интерпретируя структуру сборника. Конечно, кому, как не составителю, знать о замысле, заложенном в расположении частей труда, но, с другой стороны, такой замысел стоило бы оставить читателю для самостоятельного истолкования. А та интерпретационная экспансия, которая имеет место в данном случае, во-первых, вносит не совсем уместный здесь игровой элемент, во-вторых, как бы делает остальных авторов сборника героями супертекста Эмила Димитрова; они на какой-то миг теряют объем, жизнь, плоть, переставляемые суперавтором как картонные фигурки в игре структурных элементов.

Но стоит только вернуться к их текстам, и все вновь становится на свои места. Ведь все они (как и главный автор и герой книги) относятся к тем лю-

дам, *которых невозможно отнять у них самих.*

Хочу закончить рецензию еще одной цитатой из текста Михайлова, в которой — и *пожелание*, может быть, самое важное пожелание С. С. Аверинцеву от уже ушедшего друга:

«Сергей Сергеевич создан своим трудом. Лишь благодаря этому очень много давалось ему без труда...

Говоря, что Сергей Сергеевич создан своим трудом, я имею в виду далеко не только одни его ученые занятия. Не такая редкость труд целенаправленный, но несравненно бóльшая — труд по внутреннему призванию, такой труд, который заполняет личность и не дает человеку проводить время в бездеятельности просто потому, что всякий свободный миг используется для дела, которое стало мыслью и сделалось потребностью, не только духовной, но и всего организма. Тело — это только внешнее пространство, тюрьма души. Надо ведь благоустроить и тюрьмы, а если ты — единственный пленник своей тюрьмы и она находится в твоём распоряжении, то можно в большой мере согласовать условия ее с нуждами души и духа. Это значит стать настоящим тюремщиком в тюрьме своего духа — тогда дух зависит уже не от самой тюрьмы, но только от тюремщика, который сам же есть часть твоего существа. Можно восхищаться подвигом духа нашего Алексея Федоровича Лосе-

ва, который немного не дожил до своего девяностопятилетия, — жизнь его была непрерывным трудом мысли, он и заболел впервые серьезно лишь незадолго до своей смерти и все еще сопротивлялся как болезни, так и сильным лекарствам. Труд мысли не допускал болезни до тела, чтобы не страдал дух. Зато Алексея Федоровича мучила бессонница, которая была скорее не недугом, но таким состоянием мысли, с каким бессильна была бороться она сама, — мысль, непрестанная и нескончаемая, и служила первопричиной бессонницы, как бы вступая в противоречие с самой собой. Должен вечно бдить тюремщик хорошо устроенной тюрьмы своего тела!

В этом же смысле и здоровье Сергея Сергеевича всегда было в его руках — в ведении устраивающейся в его теле мысли. Совсем некрепкий здоровьем в детстве и юности, он победил свои недуги в годы возмужания. Я всегда радовался за него, видя, что с годами, пока другие стареют, он молодеет и в его лице проявляются черты молодости, — в сущности, пока продолжалась борьба с недугами, не в полную меру испытанной и пережитой. Человек с изумительно четкой дикцией, Сергей Сергеевич даже и ее воспитал в себе большим трудом.

Мысль держит тело в повиновении. Пусть так это и будет впредь».

Татьяна КАСАТКИНА.



КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА

+7

Добычин Л. Полное собрание сочинений и писем. СПб., «Журнал „Звезда”», 1999, 542 стр.

Наконец-то вышло самое полное собрание одного из самых немногословных русских писателей нашего столетия. Маргинал в кубе, бледной тенью прошедший по задворкам советской литературы 20 — 30-х, он тем не менее оказался востребованным в 60 — 80-е годы, став одним из виртуальных основателей «ленинградской прозаической школы». Выпускник этой школы, Довлатов уроки Добычина выучил «на отлично»; например, в добычинском рассказе «Сиделка» читаем совершенно довлатовскую фразу: «Захотелось небывалого — куда-нибудь уехать, быть кинематографическим актером или летчиком». Добычина считают абсолютно «а-культурным» автором вроде Беккета, на него ссылаются нынче всевозможные любители «нулевых степеней письма» и «анонимных бормотаний в эпоху смерти автора». Один модный писатель противопоставляет «настоящего» Добычина кривляке Набокову. Что же, теперь у всех них есть толстая библия, на которую можно налагать руку, клянясь в ненависти к «умышленной литературе». Не надо только забывать, что «естественность» и «анонимность» Добычина — такая же умышленность, достаточно сравнить две пародии на Эренбурга: в «Даре» и рассказе Добычина «Савкина». На фоне несомненных достоинств изданного журналом «Звезда» тома довольно странным выглядит наивное негодование автора предисловия (В. С. Бахтина) по поводу советских гонений на автора «Города Эн». По головке его надо было, что ли, гладить за такие, к примеру, фразы: «Сзади было кладбище, справа — исправдом, впереди — казармы»?

Жолковский А. К. Михаил Зощенко: поэтика недоверия. М., Школа «Языки русской культуры», 1999, 392 стр.

Увлекательный путеводитель по, как выясняется, пугливой и недоверчивой поэтике зощенковского творчества. По разнообразным комплексам автора «Аристократки» — тоже. Конечно, психоаналитической отмычкой можно вскрыть любой чемоданчик (как сделал биограф А. И. Корейко — Бендер и получил за это миллион), но не всегда исследователь может справиться с тем, что получил (опять напрашивается параллель с О. Бендером). А Жолковский знает, что делать с явленными под беспощадный свет анализа комплексами; сортировка, классификация, интерпретация — все на высшем уровне. Полностью отсутствует и занудство классического структурализма. Несколько жовиальная и благодушная интонация автора убеждает больше строгих псевдонаучных построений.

Особенно любопытной кажется попытка Жолковского «счистить» налет временного советского контекста с общечеловеческой (экзистенциальной, невротической) сути зощенковского творчества. Осуществив эту процедуру, автор совершает неожиданный кульбит, и... «экзистенциальное», «невротическое» вновь обрачивается «социальным», «социалистическим», «советским»: «Зощенко оказался подлинным классиком советской литературы, но не столько как сатирик-бытописатель советских нравов, сколько как поэт страха, недоверия и амбивалентной любви к порядку».

Автограф Пушкина. Исследование А. Л. Соболева. М., Издание П. А. Дружинина, 1998, 84 стр.

Спешу поделиться с читателем удовольствием от этой книги; тем более, что читатель (за крайне редким исключением) ее никогда не увидит. Ибо «настоящее

издание отпечатано в количестве 325 экземпляров, из коих двадцать пять именных на бумаге Rives verge, пятьдесят экземпляров не для продажи на бумаге Kaschmir (нумерованные от 1 до 50) и двести пятьдесят экземпляров на простой бумаге верже (нумерованные от 51 до 300)». Сразу сниму все подозрения: номер моего экземпляра — 151.

Мы уже привыкли к роскошным изданиям и изданиям пижонским, но книга Соболева — совсем другое. Это очень значимый жест как в социокультурном, так и в литературном смысле. Выпустить в год пушкиномании сверхизящную брошюрку на сверхспециальную тему (настолько «сверх» и настолько «специальную», что тема как бы и растворяется) — это выглядит революционным «подрывом основ» известного чего. Написать историко-литературную работу о пушкинском автографе, которая состоит из а) перечня всех дарственных надписей поэта, б) воспроизведения автографа, в) избыточно подробной биографии адресата, — значит остроумно продемонстрировать конец того пушкиноведения, которое мы знали. Чудовищная по объему отрасль филологии сведена к объему брошюрки. Алеф пушкинистики.

Пятигорский А. Вспомнишь странного человека... Роман. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 399 стр.

С легкой руки Набокова у нас разлюбили философские романы. Тем более сейчас, когда под «философией» подразумевают безответственное плетение словес покруче лесковского, только вместо «аболонов» там «симулякры». Между тем несколько истинных мыслителей физически пребывают в окружающем нас мире; Александр Моисеевич Пятигорский — один из них. Это уже второй его роман. Как и первый («Философия одного переулка», а не «Хроника одного переулка», как написано в книжной аннотации), так и второй повествуют на самом деле об истории и Истории, о том, как человек может соотноситься с Историей, попадать в историю, пытаться от Истории ускользнуть, пытаться рефлексировать как над Историей, так и над историями, в которые он попадает и не попадает. Собственно говоря, это и есть темы многих работ Пятигорского-философа.

В романе завораживает неторопливая интонация рассказчика, восхищает тонкая игра с эпиграфами, интригует сложная система имен персонажей. Бессмысленно пересказывать его сюжет. Местами «Вспомнишь странного человека» напоминает обстоятельно записанное сновидение, иногда — авантюрный роман в духе Честертона. Философия истории, воплощенная в романе А. М. Пятигорского, может показаться несколько мистической, но эта мистика скорее сведенборговская. Быть может, прав юный Альбер Камю, записавший в дневнике: «Хочешь быть философом — пиши роман»?

Поэзия русского футуризма. Вступительная статья В. Н. Альфонсова, составление и подготовка текста В. Н. Альфонсова и С. Р. Красицкого, персональные справки-портреты и примечания С. Р. Красицкого. СПб., «Академический проект», 1999, 752 стр.

Как ни странно, этот объемистый том должен понравиться истинному эстету. Извращенным способом в нем царит гегелевская диалектика превращения «количества» в «качество»: десятки удивительно плохих виршей, чуть разбавленные гениальными стихами, будучи объединены под одной обложкой, дают совершенно новое — и бесспорное — качество. Богатейшая энциклопедия графомании, подробнейший свод неврозов, страхов и комплексов, восхитительная в своей бессмысленности метафора литературы вообще — вот что такое эта книга. Где еще считаешь стихи Шкловского или Катаняна? А текст оперы Крученых «Победа над солнцем»? Но дело не только в историко-литературных причудливостях. Перечитывая в десятый раз «Зверинец» Хлебникова, вдруг обнаруживаешь содержащиеся там личинки сюжетов и мотивов самых модных фильмов последних десятилетий. Сад, где «красотки ходят продавать тело», — это лондонский зоопарк в «Зоо» Питера Гринуэя. А фраза Велимира: «Где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг» — в «Arizona Dream» Эмира Кустурицы звучит так: «Рыба не ворит. Рыба не мыслит. Она нема. Рыба знает все».

Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., «Художественный журнал», 1999, 238 стр.

Мы являемся свидетелями удивительного события. В известной части текстов слово «Жижек» стали употреблять чаще, чем слово «Деррида». Это означает не что иное, как всемирно-историческую славу. Тем более, что и самого Жижека зовут созвучно со «славой» — Славой (только ударение на последний слог).

Теперь и русскоязычный читатель может приобщиться к мысли модного словенско-французского философа. Автор того стоит. Кажется, это первый мыслитель, попытавшийся артикулировать в философских терминах «усталость» нынешней культуры от тотальной иронии, бесконечного релятивизма, эклектизма и цинизма; короче говоря, от того, что называют заветным словом «постмодернизм». Остроумному (и конструктивному!) анализу подвергнуты соображения Маркса о «прибавочной стоимости» и «товарном фетишизме»: есть повод воспрять экс-советским преподавателям исторического материализма и политэкономии капитализма. Маркса опять можно (и модно) цитировать!

И еще одно соображение. Что бы там ни говорили, советский, социалистический опыт не вовсе бессмыслен. Опыт жизни в социалистической Югославии позволил Жижеку весьма тонко проанализировать особенности «идеологии» в (якобы) «постидеологическую эпоху». Этому посвящено несколько главок «Возвышенного объекта идеологии», в частности «Тоталитарный смех» и «Цинизм как форма идеологии». Но на самом деле «Тоталитарный смех» — теоретическая возгонка сталинского контекста, перемешанного с бахтинским текстом, а «Цинизм как форма идеологии» будто написан по мотивам основных тем интеллигентской культуры эпохи позднего совка. Очередной раз становится ясно: «постмодернизм» мы учили не по учебникам Дерриды, а по «Малой земле» Брежнева.

Нейхоф Мартинус. Стихотворения / Nijhoff Martinus. Gedichten. СПб., АО «Журнал „Звезда“», 1999, 40 стр.

Иосиф Бродский называл Мартинуса Нейхофа (1894 — 1953) «голландским Мандельштамом». Не думаю, что имеет смысл раздавать шубы с барского плеча имперской культуры. Родной (для культуры маленькой страны) университетский пиджак ничем не хуже. Впервые в России вышло мини-избранное этого выдающегося поэта; издание, будем надеяться, «пилотное», за которым последует уже полновесная книга.

Он — настоящий голландец: с прицельным взглядом, с врожденной точностью детали, с тончайше рассчитанной мизансценой. Есть знаменитое высказывание о том, что поэзия Ахматовой выросла из русского психологического романа. Так вот, поэзия Нейхофа будто сошла с полотен голландских художников. Я, конечно, имею в виду лучшие стихотворения этого маленького избранного — цикл сонетов «Ни свет, ни заря» и предшествующий им шедевр «Impasse»¹. Читая такого поэта, как Нейхоф, понимаешь, что истинный протестантизм — это когда описание первого предутреннего рейса трамвая заканчивается так: «Рази нас, бей — без меры, без причины; / разрушь, Господь, становища — пускай / здесь для овец цветёт безлюдный рай», — а налаженный европейский быт предстает настоящим чудом, неизвестно как возникшим, чудом, окруженным враждебным хаосом (снаружи и внутри), а потому хрупким: «Трамвай — это звезда, полицейский — это звезда, хотя звезды эти и ведомы по своим орбитам силой, созданной самими людьми...» Поэт великой европейской городской культуры, поэт Буржуазности (с большой буквы и не в флюберовском смысле), он в конце концов стал тем, кем, быть может, хотел стать Мандельштам, с которым история распорядилась по-иному. Возможно, в этом смысле Бродский был прав.

¹ См. также перевод «Impasse», выполненный Мариной Палей («Новый мир», 1997, № 7). (Примеч. ред.)

-3

Марко Поло. Книга о разнообразии мира. Серия «Личная библиотека Борхеса». Предисловие Х.-Л. Борхеса. Перевод со старофранцузского И. Минаева. СПб., «Амфора», 1999, 381 стр.

Что делать в год столетнего юбилея Борхеса, когда все основные сочинения великого слепца уже надежно изданы, как не затеять серию под названием «Личная библиотека Борхеса»? Тем более, что автор «Вавилонской библиотеки» сам ее и составил. Шаг вполне логичный и достойный уважения. В издании головокружительного травелога Марко Поло все сделано правильно и со вкусом: удобный формат, хорошая полиграфия, обложку украшает фрагмент замечательной карты. Все как положено. Превосходно и предисловие самого «владельца библиотеки», где мое внимание привлек типичный для Борхеса парадоксальный пассаж: «Тюрьмы всегда покровительствовали литературе: вспомним Верлена и Сервантеса. То, что текст диктовали по-латыни, а не на местном наречии, означало, что автор обращался к широкому читателю». Для вящей парадоксальности утверждения о благотворном влиянии пенитенциарных заведений на изящную словесность к славным именам Верлена и Сервантеса добавлю Н. Г. Чернышевского. Но сейчас не об этом. Дело в том, что как раз на этом развороте, на предыдущей странице, напротив высказывания о «тексте, продиктованном по-латыни», почти на той же самой линии в выходных данных книги читаем: «Перевод со старофранцузского И. Минаева». Так на каком же языке написано (продиктовано) сочинение Марко Поло? Ответ можно обнаружить в любой энциклопедии — разновидности книг, неоднократно воспетой Борхесом. Изначальный текст сочинения Поло был записан на старофранцузском его союзником. Переложения на прочие языки (в том числе на латынь) появились позже! Ученик Х.-Л. Борхес получает двойку по любимому предмету. Не знаю, что поставить редактору книги: маленькая сноска под предисловием мэтра предотвратила бы конфуз и сделала издание безупречным.

Мамлеев Ю. Черное зеркало (циклы). М., «Вагриус», 1999, 304 стр.

Недавно я с удивлением обнаружил на обложке какого-то глянцевого журнала (то ли «ОМ», то ли «Playboy») странную надпись: «Писатели поколения П. Юрий Мамлеев». Каким образом известный шестидесятивосьмилетний прозаик попал в компанию с наевшейся мухоморов молодежью — не знаю. Известно только, что Владимир Сорокин, которого, по слухам, «поколение П» весьма почитает (но, видимо, не читает), в свою очередь считает Мамлеева чуть ли не своим учителем.

Что же, может быть. Только, если иметь в виду «Черное зеркало», ученик в бесчисленное количество раз талантливее учителя. Сорокин — прозаик с почти гениальным стилистическим нюхом. Влияние Мамлеева на него если не выдуманно вовсе, то сильно преувеличено. «Черное зеркало» — сборник слабых полуграфоманских страшилок, написанных скучно, без страсти и энергии. Вялый модернизм в результате превращается в банальную беллетристику; скажем, рассказ «Вечерние думы» (с соответствующей правкой бытовых деталей) мог бы быть напечатан в какой-нибудь «Ниве» столетней давности. Эксплуатация одного и того же «мистического» приема не спасает эту прозу от интонационной и лексической серости, а читателя — от скуки, мгновенно возникающей от такого, например, совписовского пассажа: «Майкл был, как почти все американцы, непробиваемый прагматик. Несмотря на все свои миллионы он, например, никогда — даже в мечтах — не предполагал войти в тот круг финансовой олигархии, которая правит западным миром»².

² Об этих тенденциях прозы Ю. Мамлеева вы можете прочитать и в статье Никиты Елисеева «Мыслить лучше всего в тупике» («Новый мир», 1999, № 12). (Примеч. ред.)

Нанси Ж.-Л. *Corpus*. Составление, общая редакция и вступительная статья Е. Петровской. М., «Ad marginem», 1999, 256 стр.

В этой книге тема всевозможных «предисловий» и «послесловий», а также тема «латинского языка» получает неожиданное продолжение. Составитель, общий редактор и автор вступительной статьи Елена Петровская весьма трепетно относится к автору «*Corpus*'а». Казалось бы, в мире нынешней (по преимуществу франкоговорящей) философии все обычные чувства давно уже «деконструированы», сведены к «фантазмам» и проинтерпретированы с помощью соответствующих животрепещущих примеров из несравненных де Сада с Батаем. Ан нет. Постструктуралист тоже подвержен простейшим сантиментам, не хуже он обычных граждан. Достаточно прочитать в «Предисловии» умильное описание быта философа Жан-Люка Нанси: и лекции он читает, и кино с телевизором смотрит, и «кус-кус» ест. «Так живет Жан-Люк Нанси. Так он мыслит». Возникает вопрос: чем тогда «*Ad marginem*» отличается от изданий типа «Профиль» или «Elle»?

Теперь о латыни. В пояснениях к «Примечаниям» комментатор «*Corpus*'а» Елена Гальцева пишет: «Дело в том, что Нанси не только обращается к латинским крылатым выражениям, но и сам сочиняет по-латыни (может быть, „Философское Евангелие“?)». Вах-вах. Неужели высокообразованный автор этих строк не знает, что Евангелия сочинялись вовсе не на латыни? Что латинский перевод Библии назывался так: «Вульгата»? И что тогда подобострастные благоглупости оборачиваются противоположной стороной: «...сам сочиняет по-латыни (может быть, „Философскую Вульгату“?)». Впрочем, быть может, вообще все послевоенное галльское любомудрие есть не что иное, как «Философская Вульгата»? И потом: играть с латинской основой французского языка — вовсе не значит «сочинять по-латыни». Иначе получается, что, к примеру, Ремизов сочинял по-древнерусски.

Что же до содержания этой книги, то современный французский философ Жан-Люк Нанси написал очередное современное французское философское сочинение — туманное, претенциозное, обо всем на свете. Только нет в нем бартовской страсти, эрудиции Фуко, остроумия Дерриды.



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ



Н. Я. Агнивцев. Собрание сочинений. В 3-х томах. Том 1. Составитель Н. Ф. Куприянов. СПб., Издание Н. Куприянова, при участии АОЗТ ФПК «Запад-Восток», 1998, 314 стр., 500 экз.

Григорий Бакланов. Собрание сочинений. В 3-х томах. Том 2. Пядь земли. Южнее главного удара. Рассказы. М., «Русская книга», 1999, 427 стр., 3000 экз.

Е. Бачурин. Я Ваша тень. Стихи и песни. М., «Книжный сад», 1999, 368 стр.

Чарльз Буковски. История обыкновенного безумия. Рассказы. Перевод с английского В. Когана. М., «Глагол», 1999, 256 стр.

Чарльз Буковски. Юг без признаков севера. Рассказы. Перевод с английского В. Когана. М., «Глагол», 1999, 352 стр.

Двухтомное издание избранных рассказов знаменитого (отчасти скандально знаменитого) американского писателя из поколения шестидесятников Чарльза Буковски (1920 — 1994) с предисловием Александра Шаталова.

Юрий Давыдов. Жемчужины Филда. Историческая проза. М., «Вагриус», 1999, 348 стр., 5000 экз.

Роман «Синие тюльпаны», повести «Зоровавель», «Заговор, родивший мышь», рассказы «Мальчишки», «Дорога на Голодай», «Жемчужины Филда».

Леонид Зорин. Зеленые тетради. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 496 стр.

Дневниковая проза с 50-х по 90-е годы.

А. Кабаков. Кафе «Юность». Проза разных лет. М., «Вагриус», 1999, 463 стр., 5000 экз.

Чеслав Милош. Личные обязательства. Избранные эссе о литературе, религии и морали. Составление и комментарии Б. Дубина. М., «Дом интеллектуальной книги», 1999, 345 стр., 2000 экз.

Нобуко Киносита. Душа дерева. Стихи. Переводы И. Фоякова, Г. Гампер. СПб., «Четверг», 1999, 31 стр.

Виктор Соснора. Камни Negerep. СПб., «Пушкинский фонд», 1999, 144 стр. Эссеистика, проза, стихи 80 — 90-х годов.

Татьяна Толстая. Река Оккервиль. Рассказы. М., «Подкова», 1999, 348 стр. 5000 экз.

Рассказы в авторской редакции, как обозначено в выходных данных. Основу нового сборника составило содержание первой книги Толстой «На золотом крыльце сидели», с добавлением рассказа «Сомнамбула в тумане» и некоторых других новых текстов.

Четыре современных испанских поэта в Ясной Поляне. Рикардо Бельвесер, Педро Х. Де ла Пенья, Антонио Порпетта, Мануэль Кирога Клеруго. Поэтическая библиотечка «Яснополянских писательских встреч», 1999, 64 стр., 500 экз.

Граф Дмитрий Иванович Хвостов. Сочинения. Составители О. Л. Довгий, А. Е. Махов. М., «INTRADA», 1999, 224 стр., 2000 экз.

Развернутую вступительную статью, названную «Это веселое имя: Хвостов» написал О. Л. Довгий. Кроме стихов издание содержит выдержки «Из иных прозаических сочинений», а также раздел «Анекдоты» и «Из „хвостинианы”».



Т. Архипова, М. Румянцева, М. Сенин. История государственной службы в России. XVIII — XX века. Учебное пособие. М., РГГУ, 1999, 230 стр., 1000 экз.

История институтов государственной службы в России с XVIII века, социально-экономическое и политическое положение российского чиновничества в различные исторические эпохи.

Зинаида Гиппиус. Дневники. В 2-х книгах. Вступительная статья и составление А. Н. Николоюкина. М., «Интелвак», 1999, 5000 экз. Книга 1. Contes d'amour. (Дневник любовных историй). О Бывшем. Литературный дневник. Синяя книга. Петербургский дневник. 736 стр. Книга 2. Черные тетради. Воображаемое. Черная книжка. Серый блокнот. Варшавский дневник. Коричневая тетрадь. Дневник 1933 года. Дневник 1934 года. Итальянский дневник. Год войны. Серое с красным. Записная книжка 1908 года. 720 стр.

Впервые в полном объеме все известные дневниковые записи Зинаиды Гиппиус.

Аполлон Григорьев. Письма. Подготовили Р. Витагер, Б. Егоров. М., «Наука», 1999, 474 стр., 1150 экз.

Самое полное (и без купюр) издание эпистолярного наследия Аполлона Григорьева.

Б. Ф. Егоров. Жизнь и творчество Лотмана. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 384 стр.

Монография известного литературоведа, многолетнего сотрудника Лотмана по Тартускому университету. «Ученые будущих поколений, вероятно, смогут с высоты XXI века написать яркие и перспективные исследования научных заслуг Лотмана, но считаю — может быть, самонадеянно, — что никто не соединит так тщательно анализ его творческой эволюции с реальной человеческой биографией, с конкретными, нигде не зафиксированными высказываниями и с конкретными чертами биографии» (из авторского «Вступления»).

И. А. Ильин. Собрание сочинений. Письма. Мемуары (1939 — 1954). Составление, комментарии Ю. Т. Лисицы. М., «Русская книга», 1999, 507 стр., 3770 экз.

Э. Б. Кригер-Войновский. Записки инженера. Воспоминания, впечатления, мысли о революции. В. Э. Спроге. Записки инженера. М., «Русский путь», 1999, 520 стр., 2000 экз.

Мемуары последнего министра путей сообщения царской России Эдуарда Брониславовича Кригер-Войновского и советского инженера-энергетика, участвовавшего в реализации широкомасштабных хозяйственных строек предвоенных десятилетий, Василия Эмильевича Спроге.

Полю де Ман. Аллегии чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Перевод с английского Сергея Никитина. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 1999, 368 стр., 2000 экз.

Книга американского литературного критика Поля де Мана (1919 — 1983) о «теории чтения», точнее, «риторике чтения» — о чтении классических текстов, «в ходе которого риторика предстает борьбой тропов с убеждением или — что не одно и то же — когнитивного языка с перформативным».

Москва и «Москва» Андрея Белого. Сборник статей. Ответственный редактор М. Л. Гаспаров. Составители М. Л. Спивак, Т. В. Цивьян. М., Издательство РГГУ, 1999, 512 стр., 2000 экз.

Сборник составлен по материалам научной конференции «Москва и „Москва” Андрея Белого», проходившей в «Мемориальной квартире Андрея Белого на Арбате» 18 — 20 декабря 1995 года. Среди авторов Вяч. Вс. Иванов, Ю. Б. Орлицкий, В. Н. Топоров, К. М. Поливанов. Издание содержит публикации ранее неизвестных текстов Андрея Белого, воспоминаний С. М. Соловьева, выдержек из дневников П. Н. Зайцева 1922 — 1933 годов.

Константин Мочульский. Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. Томск, Издательство «Водолей», 1999, 416 стр., 1000 экз.

Довольно объемистый том статей и эссе одного из самых известных литературных критиков русского зарубежья Василия Николаевича Мочульского (1892 — 1948), печатавшихся в различных периодических изданиях и впервые собранных в книгу.

Граф В. А. Соллогуб. Воспоминания. Комментарий и текстология И. С. Чистовой. Предисловие А. С. Немзера. М., «СЛОВО/SLOVO», 1998, 384 стр.

Самое «репрезентативное» из существующих издание мемуаров Владимира Алексеевича Соллогуба.

Татьяна Чередниченко. Россия 1990-х в слоганах, рейтингах, имиджах. Актуальный лексикон культуры. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 416 стр.

Новая книга постоянного автора «Нового мира», музыковеда и культуролога Татьяны Чередниченко. «Помимо актуальных очерков автора, интерпретирующего „случаи из повседневности” так, чтобы они вплотную „придвинулись” к большому историческому времени, в книге собраны диалоги с известными экспертами-культурологами, политологами, психологами, философами, экономистами, представителями фундаментальной науки, с художниками и музыкантами, деятелями кино и телевидения, обсуждающими тот или иной ракурс, в котором предстает связь нынешнего порядка (или беспорядка) вещей с состоявшимися культурно-историческими сюжетами» (из издательской аннотации).

А. Л. Чижевский. Аэроины и жизнь. Беседы с Циолковским. Составление, вступительная статья, комментарий, подбор иллюстраций Л. В. Голованова. М., «Мысль», 1999, 716 стр., 3000 экз.

Мирча Элиаде. Очерки сравнительного религиоведения. М., «Ладомир», 1999, 488 стр., 2200 экз.

«Я жил и пел когда-то...». Воспоминания о поэте Арсение Тарковском. Составитель М. Тарковская. Томск, Издательство «Водолей», 1999, 352 стр., 1000 экз.

О Тарковском вспоминают Юрий Коваль, Инна Лиснянская, Вениамин Блаженный, Лариса Миллер и другие.

Роман Яacobсон. Тексты. Документы. Исследования. Ответственный редактор Х. Баран, С. И. Гиндин. М., РГГУ, 1999, 916 стр., 2000 экз.

Книга является результатом и продолжением работы Международного конгресса (Москва, 1996) в честь 100-летия со дня рождения выдающегося лингвиста и слависта Р. О. Яacobсона. Открывается «Вступительным словом на открытии Международного конгресса „100 лет Р. О. Яacobсону”» В. Н. Топорова. Содержит восемь статей Яacobсона, переписку Яacobсона с Виктором Шкловским, Х. Мак-Лейном, С. И. Карцевским, А. В. Лавровым; воспоминания Вяч. Вс. Иванова, А. К. Жолковского и другие материалы. Основной объем издания составили работы исследователей научного наследия Яacobсона.

Составитель Сергей Костырко.

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

Роман Яacobсон. Тексты. Документы. Исследования.

Татьяна Чередниченко. Россия 1990-х в слоганах, рейтингах, имиджах. Актуальный лексикон культуры.

ПЕРИОДИКА



«Альфа и Омега», «Витрина читающей России», «Вьшгород», «День и ночь»,
«День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Знамя»,
«Известия», «Индекс/Досье на цензуру», «Книжное обозрение»,
«Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости»,
«НГ-Наука», «НГ-Религии», «Нева», «Независимая газета», «Новая газета»,
«Новая Польша», «Новая Юность», «Новое время», «Общая газета», «Огонек»,
«Октябрь»

Валерий Абрамкин. Гуманистический проект национальной тюрьмы. Беседу вела Елена Ознобкина. — «Индекс/Досье на цензуру», 1999, № 7-8. Электронная версия: <http://www.polit.ru/index-dossier.html>

За реформу, в частности, за децентрализацию (по регионам) тюремной системы. Валерий Абрамкин — известный правозащитник, директор Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия (неправительственная организация, основанная в 1988 году).

См. в этом же номере «Индекса» — Вивьен Стерн, «Западная традиция тюремного заключения» (перевод К. Старосельской) — это глава из книги *Vivien Stern. A sin against the future. Imprisonment in the world. Penguin Book, 1998.*

Александр Агеев. Город на «третьем пути». Анти«народная» статья. — «Знамя», 1999, № 9. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>

О своей, как раньше говорили, «малой родине» (г. Иваново). Без иллюзий, без ностальгии, без «народолюбства». Poleмика с Т. Чередниченко о «третьем пути» и «шести сотках».

Василий Аксенов. В защиту «Ё». О букве русского ёрничества. — «Независимая газета», 1999, № 182, 30 сентября. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«Ё — это культурная ценность, достояние нашей орфографии и фонетики». Тут же Игорь Сид напоминает, что русской литере Ё, введённой в употребление Карамзиным в 1797 году, недавно исполнилось 200 лет.

Б. Акунин. Пиковый валет. Предисловие И. Захарова. — «Новая Юность», № 36 (1999, № 3).

Из популярной серии романов о сыщике Эрасте Фандорине. Журнальный вариант.

Светлана Алексиевич. Человек слишком обнажился. Беседу вел Роман Мамчиц. — «Новая газета», 1999, № 35, 20 — 26 сентября.

«Это хорошо, что народ не выходит на улицы. Нет ничего страшнее, чем народ на улице. Нечего искать на улице в конце XX века».

Юз Алешковский. Шляпа. Рассказ. — «Огонек», 1999, № 25, 6 сентября. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

Как нужно просить милостыню в Нью-Йорке. Полный текст рассказа — в Сети, в бумажной версии «Огонька» — сокращенный.

Николай Амосов. Будущего бояться не нужно. — «Литературная газета», 1999, № 15, 15 — 21 сентября.

Очерки материалистического оптимизма.

Митрополит Антоний Сурожский. Три проповеди. Подготовка к печати Е. Майданович. — «Альфа и Омега». Ученые записки Общества для распространения Священного писания в России. 1999, № 1 (19). Электронная версия: <http://www.clecp.co.ru/A&O>

См. также его Пасхальные проповеди («Альфа и Омега», 1999, № 20). В «Новом мире» (1991, № 1) печатались воспоминания митрополита Антония Сурожского «Без записок».

Белла Ахмадулина. Нечаяние. Дневник. — «Знамя», 1999, № 9.

Проза со стихами. Очень много новых стихов Беллы Ахмадулиной см. в журнале «Знамя» (1999, № 7).

Ирина Безладнова. Дитя века. Повесть. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 8.

Наша стерва в США.

Светлана Беляева. Дороги в никуда. — «Нева», Санкт-Петербург, 1999, № 8.

Воспоминания дочери известного советского фантаста А. Р. Беляева: война, немецкий лагерь для перемещенных лиц, алтайская ссылка.

Уэнделл Берри. Плоды местной культуры. Перевод с английского Ирины Гришиной и Татьяны Пешковой. — «Москва», 1999, № 9. Электронная версия: <http://www.moskva.cdru.com>

Эссе 1988 года американского фермера и писателя Уэнделла Берри (род. в 1934) об исчезновении местной — в первую очередь сельской — экономики, местной культуры, местной жизни вообще. Враги: города, корпорации, бюрократия.

Владимир Бондаренко. Черемховский подкидыш. (Нетрадиционное прочтение Вампилова). — «Завтра», 1999, № 34, 24 августа. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«Вампилов сегодня есть в русской литературе, но он из нее никуда и не исчезал. А в театре — Вампилова как не было при жизни, так нет и сегодня». См. эту же статью в октябрьском номере журнала «Москва» за 1999 год.

Владимир Бондаренко. Средиземноморский почвенник Аверинцев. — «День литературы», 1999, № 9 (27), сентябрь.

Аверинцев — *хороший*. Само написание «Моей ностальгии» («Новый мир», 1996, № 1) — *историческое деяние*.

Сергей Бочаров. Возможные сюжеты Пушкина. — «Москва», 1999, № 9.

«Возможность как тоже реальность особого рода и ее сильнейшее присутствие в мире Пушкина — вот тема». Отправным пунктом автор берет известную пушкинскую заметку о «Графе Нулине», а заканчивает солженицынской статьей о «русском вопросе» к концу XX века.

Иосиф Бродский. Нескромное предложение. Перевод с английского Дмитрия Чекалова. — «Знамя», 1999, № 9.

Знаменитая лекция 1991 года о том, что поэтические антологии должны лежать в каждом гостиничном номере рядом с Библией.

Георгий Владимов. «Из меня хотели сделать волчонка Берии». Беседу вел Леонид Бахнов. — «Известия», 1999, № 173, 16 сентября. Электронная версия: <http://www.izvestia.ru>

«Хотите спросить: не желал бы я изменить свое (диссидентское. — А. В.) прошлое, видя нынешнюю Россию? Нас, конечно, есть в чем упрекнуть. Но — нет, не желал бы».

Эдуард Володарский. «А я все помню, я был не пьяный». Расспрашивала Татьяна Романова. — «Огонек», 1999, № 25, 6 сентября.

Воспоминания о московской богеме. «В ночь Володиной смерти его жутко ломало, а уколоться было нечем. И Высоцкий все рвался на улицу — „друзья“ его чуть ли не связали, вроде даже драка началась: соседи слышали шум и крики. А дело в том, что КГБ тогда открыл пункты скорой наркологической помощи, которые работали в ночное время. Наркоман являлся туда в полном отчаянии и страшных муках, а ему говорили: сейчас уколем, только скажи, где брал раньше. То есть Володькино гнилое окружение боялось, что он пойдет и за инъекцию их всех продаст...» А также — об Олеге Ефрёмове, Виктории Федоровой и других.

Екатерина Гениева. Эти большие надежды. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-публицистический журнал. Таллинн, 1999, № 4-5.

Запись беседы — специально для «Вышгорода» — о так называемом «диккенсовском» стихотворном цикле С. М. Соловьева (1885 — 1942). Тут же — этот цикл 1928 — 1930 годов (публикация Е. Гениевой).

Владимир Гурболик, Владимир Легойда. Путь к пониманию Бога. Беседа в редакции. — «Альфа и Омега». Ученые записки Общества для распространения Священного писания в России. 1999, № 1 (19).

Беседа с редакторами журнала «Фома», *православного журнала для сомневающихся* (издается в Москве с 1996 года) — для людей, скептически настроенных по отношению

к Православию. «Одно из самых печальных явлений (и мы в этом все время пытаемся переубедить людей) — то, что Православие воспринимается как религия русских... Мы пытаемся доказать и рассказать, что Православие — вселенская, мировая религия» (В. Легойда). Электронная версия журнала «Фома»: <http://www.trimo.com/foma>

Юрий Давыдов. Бестселлер. Роман. Книга вторая. — «Знамя», 1999, № 8.

Первую книгу исторического романа, уже удостоенную премии имени Аполлона Григорьева, см. в № 11, 12 журнала «Знамя» за 1998 год.

А. Дворкин. «Общество сознания Кришны» как секта «Нью Эйдж». К использованию христианских образов и концепций. — «Альфа и Омега». Ученые записки Общества для распространения Священного писания в России. 1999, № 2 (20).

О том, что псевдоиндуистское «Общество сознания Кришны» есть «типичный для постмодернистской эпохи эклектизм оккультно-теософского толка, вписывающийся в парадигму New Age».

Михаил Деягин. Кто сеет ветер — пожнет бурю. — «Москва», 1999, № 9.

«В сегодняшних условиях России антиамериканизм объективно обусловлен (даже без учета агрессии против Югославии), но деструктивен по сути и губителен для исповедующего его, так как отвлекает ресурсы от созидания на разрушение и тем ведет к их расточению. Как и любое стремление к конфронтации со стороны слабых, он не исправляет, но лишь усугубляет негативные причины своего появления». А посему «нельзя уступать никаким призывам бороться против США любым видимым образом», условие выживания страны — *смирение и скромность*.

Чарлз Джонсон (Даниель Дефо). Всеобщая история пиратов. Перевод с английского, предисловие, примечания, приложения И. С. Мальского. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1999, № 3, май — июль. «Пиастр-ры! Пиастр-ры!..»

Александр Дугин. Дом. — «Завтра», 1999, № 37, 14 сентября.

«Русские должны отныне „думать, отправляясь от ДОМА в Печатниках“, так же, как послевоенная либеральная интеллигенция принялась „думать от Аушвица“...»

Елена Егерова. Павич, нарисованный за чаем. — «Новое время», 1999, № 36, 12 сентября.

Шестидесятидевятилетний серб Милорад Павич, называющий себя самым знаменитым писателем самого ненавидимого в мире народа, опубликовал новый роман «Письменный прибор». На вопрос, любит ли он работать в Интернете, прозаик отвечает: «Это неправильный вопрос. Правильный вопрос: любит ли Интернет и компьютер то, что я пишу? Любит».

Олег Ермаков. Река. Роман. — «Знамя», 1999, № 9.

Третья книга романа «Свирель вселенной». Первую книгу — «Транссибирская пастораль» — см. в № 8 «Знамени» за 1997 год; вторую книгу — «Единорог» — см. в № 2 «Знамени» за 1998 год. О первой части романа см. рецензию Дмитрия Бавильского «Более странно, чем рай» («Новый мир», 1998, № 5).

Григорий Заславский. «Бумажная» драматургия: авангард, арьергард или андеграунд современного театра? — «Знамя», 1999, № 9.

«Бумажная» драматургия (по аналогии с «бумажной» архитектурой): пьесы, которые пишутся, но не ставятся.

Сергей Земляной. Религия, теология и философия как отрасли фантастики. — «НГ-Религии», 1999, № 17 (40), 8 сентября.

100-летие Хорхе Луиса Борхеса.

Александр Зиновьев. «Положение безнадежно, поэтому буду сражаться до конца!». Беседу вела Людмила Лаврова. — «Книжное обозрение», 1999, № 35, 30 августа.

«Нет, я не завишаю собственную самооценку. Я есть точка роста. Вот что надо поддерживать, а не рыться в пыльном хламе веков». См. об Александре Зиновьеве полемическую статью Дмитрия Юрьева «Сияющая бездна» («Новый мир», 1999, № 11).

Андрей Иванен. Ткань их подвигов. «Дубровский»: опыт нового прочтения. — «Вышгород», Таллинн, 1999, № 4–5.

Кирила Петрович Троекуров не так дурен, а Дубровские (отец и сын) не так хороши, как этому традиционно учат в школе. Роман, оставленный автором без названия («Дубровским» его поименовали издатели), мог бы с полным правом называться «Ма-

рия». Под влиянием христианского смирения Маши Троекуровой, обвенчанной с Верейским, молодой Дубровский преодолевает в себе ветхозаветное «око за око».

Владислав Иванов. От судьбы не убежишь. — «Литературная Россия», 1999, № 38, 1 октября.

История неоконченного романа Олега Куваева (1934 — 1975) «Правила бегства» — о магаданских *бичах*.

Иван Иванов. Неотосланное письмо. — «Вышгород», Таллинн, 1999, № 4-5. Давид Самойлов в Пярну.

Юрий Клейнер. «Здесь говорят по-русски». (Комментарий к комментарию). — «Нева», Санкт-Петербург, 1999, № 8.

Полемический отклик филолога на публикацию А. С. Либермана «Жаргонавты» («Нева», 1998, № 12) — о специфическом языке обитателей Брайтон-Бич.

Михаил Ковров. Мистик русской победы. — «Завтра», 1999, № 35, 1 сентября.

Приношение от патриотов к юбилею великого писателя: «Коммунизм Платонова был полной противоположностью семитическому коммунизму, как сочувствие противоположно борьбе».

Михаил Козаков. Без литературы — просто... конец света. — «Литературная газета», 1999, № 36, 8 — 14 сентября.

«Перечитываю часто Толстого, читаю мемуары, литературоведческие работы, которые мне по силам. В этом году на меня огромное впечатление произвела книга Соломона Волкова „Беседы с Бродским“. Еще — совершенно в другом жанре... это книга Марии Рива, дочери Марлен Дитрих, „Моя мать Марлен“. Это увлекательнейшее чтение, и это роман, сделанный на фактической основе и очень талантливо. И третье произведение, о котором хотелось бы сказать подробнее, потому что это для меня уникальная вещь: проза Инны Лиснянской в седьмом номере „Знамени“, называется „Величина и функция“. Это чрезвычайный случай за последнее время, когда современная русская проза произвела на меня такое сильное впечатление...»

Лешек Колаковский. Право на правду. — «Новая Польша». Общественно-политический и литературный ежемесячник. Варшава, 1999, № 1, сентябрь.

«Свобода слова — это благо настолько ценное и его так легко утратить, что следует избегать формулировок, говорящих о злоупотреблении свободой... Я даже против преследования законом лжи столь отвратительной, как отрицание факта существования газовых камер и геноцида евреев, проводимого гитлеровцами (кроме, пожалуй, особого случая, когда это происходит в Германии)...» Речь известного польского философа на открытии 56 Всемирного конгресса ПЕН-клуба (Варшава, 1999).

Наталья Корниенко. Невозвращение Платонова. — «Литературная газета», 1999, № 35, 1 — 7 сентября.

К 100-летию великого писателя. В частности — о необходимости *единого источниковедческого центра наследия* Андрея Платонова. См. также интервью члена-корреспондента РАН Н. Корниенко «Для него именины были важнее дня рождения...» («Ex libris НГ», 1999, № 34, сентябрь). В частности — о том, что Пушкинский дом намерен выпустить *динамическую транскрипцию* повести «Котлован»: «Это что-то невероятное!..»

См. статьи Сергея Федякина «Слово Андрея Платонова» («Ex libris НГ», 1999, № 34, сентябрь) и Александра Вяльцева «Живущие без помощи» («Независимая газета», 1999, № 161, 1 сентября).

А также — статьи Михаила Золотоносова «Уязвленная душа» («Московские новости», 1999, № 33, 30 августа — 6 сентября), Андрея Немзера «Путешествие из Петербурга в Чевенгур и обратно» («Время МН», 1999, № 159, 1 сентября) и Александра Архангельского «Существо веществования» («Известия», 1999, № 162, 1 сентября), все три автора убедительно сопрягают 100-летие Платонова с 250-летием Александра Радищева.

Борис Крячко. Корни. — «Вышгород», Таллинн, 1999, № 4-5.

Казачья родня. Хорошая проза недавно умершего писателя.

Александр Левинтов. Чуть позже светопредставления. — «НГ-Наука», 1999, № 8, (23), 15 сентября.

Большая беседа с математиком и психологом Владимиром Лефевром о его недавней книге — «Космический субъект» (М., «Ин-кварти», 1996). Ученый, живущий в Калифорнии, положил в основу своей работы *сильный антропный принцип*, согласно которому законы Вселенной устроены так, что человек является не только возможным, но

и совершенно *необходимым* ее элементом. Вселенная — по В. Лефевру — стремится просуществовать как можно дольше, и человек оказывается орудием достижения ее физического бессмертия.

Лев Лосев. Тот самый Юз. — «Литературная газета», 1999, № 38, 22 — 28 сентября.

К 70-летию Юза Алешковского. Жанр: дружеская апология. Среди прочего Лосев указывает на некоторое сходство сюжетов пелевинского «Generation 'П'» и ранней повести Юза Алешковского «Маскировка».

Алла Марченко. «И тени их качались на пороге...». — «Литературная газета», 1999, № 39, 29 сентября — 5 октября.

О повести екатеринбуржца Игоря Сахновского «Насушные нужды умерших» («Новый мир», 1999, № 9): «Самый придирчивый и привередливый читатель... не найдет на страницах уральской хроники ни одной оплошки супротив правды чувств и правдоподобия обстоятельств».

Чеслав Милош. Поэтический трактат. Перевод с польского, примечания и послесловие Натальи Горбаневской. — «Новая Польша». Общественно-политический и литературный ежемесячник. Варшава, 1999, № 1, сентябрь.

Фрагменты большой поэмы, датированной 1956 годом. Русский перевод, впервые вышедший крохотным тиражом в издательстве «Ардис» (Анн-Арбор, США, 1982), а также примечания уточнены и исправлены переводчиком.

См. также тематический выпуск «Литературного обозрения» (1999, № 3), посвященный творчеству двух поэтов — поляка Чеслава Милоша и литовца Томаса Венцловы (их стихи, их эссе друг о друге, статьи о творчестве, библиография).

Дмитрий Минин. Тайное послание великого писателя. Джордж Оруэлл и расширение НАТО на Восток. — «Москва», 1999, № 9.

О том, что Джордж Оруэлл (Эрик Блэр) в своей знаменитой антиутопии «1984» будто бы имел в виду новый тоталитаризм в лице... только что созданной тогда (4 апреля 1949 года) организации НАТО.

Анатолий Найман. Неприятный человек. Роман Фрагмент Романа. — «Октябрь», 1999, № 9. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/October>
«Мне жить — нравится, а жизнь — нет».

Валерия Новодворская. Налог на наследство. — «Новое время», 1999, № 33, 22 августа.

«Гайдар — это наша Корделия».

Борис Парамонов. Триптих о ЛЕФе. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 8.

Три части: «Левый, или Траурный марш», «Барды и барты: Михаил Левидов», «Веселые вдовы ЛЕФа». Философские комментарии Бориса Парамонова, регулярно зачитываемые им по радио «Свобода», можно найти в Сети по адресу: <http://www.svoboda.org>

Константин Паскаль. Эффект проникновения. — «Литературная Россия», 1999, № 38, 1 октября.

О поэзии в «Новом мире»: «Нет и у них Моцарта в колоде!» А в роли литературно-критического Моцарта выступает у К. Паскаля... Н. Славянский с его антикушнеровской статьей «Театр теней» («Москва», 1999, № 5).

Ответ И. Роднянской на статью Н. Славянского см. в октябрьском номере «Нового мира» за 1999 год.

Андрей Платонов. Неопубликованное. Публикация и вступительная статья Елены Колесниковой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 8.

Не публиковавшиеся ранее короткие тексты — «Земля», «Инженер», «Теченье времени», «Черноногая девчонка», «Московская скрипка» — будут приведены во втором томе готовящегося ИРЛИ (Пушкинский дом) сборника «Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы».

Андрей Платонов. Мученье вещества. Из записных книжек. Вступительное слово Георгия Елина. — «Огонек», 1999, № 26, 20 сентября.

«О животных, о животных <надо писать> — целый мир свободы и счастья втуне лежит» (30 — 40-е годы). Тексты публикуются по машинописной копии записных книжек, подготовленной при участии вдовы писателя М. А. Платоновой в 1980 — 1981 годах (ЦГАЛИ).

Михаил Подгородников. Слабый позвоночник. Глазами литературного клерка. — «Знамя», 1999, № 9.

Метаморфозы «Литературной газеты»: взгляд изнутри.

Валерий Подорога. ГУЛag в уме. наброски и размышления. — «Индекс/Досье на цензуру», 1999, № 7-8.

О том, что тюрьма должна быть *открытым институтом* гражданского правового общества, а также о том, что лагерь — не тюрьма, а ГУЛag — не просто лагерь.

Владимир Порудоминский. Педагогическое путешествие. — «Октябрь», 1999, № 9.

79 дней Льва Толстого в Германии (в июле 1857, летом 1860 и весной 1861 года).

Александр Привалов. Кто и как в России ворует. Положительный опыт уголовно-производственного романа. — «Известия», 1999, № 176, 21 сентября.

О новой книге Юлии Латыниной «Охота на изюбря» (М., 1999) — удачном опыте *экономического детектива и одновременно историко-приключенческого романа в духе Дюма-отца*. «Я бы рискнул предсказать этому жанру большое будущее, — пишет рецензент, — если бы знал, кто, кроме Юлии Латыниной, способен в нем работать». См. также отзывы Ирины Роднянской «Свято место правее Чубайса?» («Новый мир», 1999, № 12).

См. также статью Юлии Латыниной «Скандал в загородной прачечной» («Известия», 1999, № 168, 9 сентября) — о глубинной несовместимости рыночной экономики Запада, живущей по законам, и квазифеодальной экономики России, живущей «по понятиям». Скандала об отмывании денег никто не заказывал, это типичный пример *конфликта культур* — «вроде как у эллинов с древними персами. Смотрит эллин на перса и говорит: „Какие варвары! Они даже голыми не ходят!“ Смотрит перс на эллина и говорит: „Какие варвары! Даже не стесняются прилюдно раздеваться!“...»

Александр Проханов. Пророк русской победы. — «День литературы», 1999, № 9 (27), сентябрь.

«Если Платонов осваивал ангелов, то Набоков осваивал демонов».

Ксения Рагозина. Полое внутри и бесполое снаружи. — «Ex libris НГ», 1999, № 35 (107), 9 сентября.

Женские романы — пища *одинокой души*. Как их переводят. Как их издают. Как их читают.

Мария Ремизова. Покой, гнев и радость. — «Независимая газета», 1999, № 173, 17 сентября.

О том, что Виктор Астафьев, «оставаясь личностью совершенно самобытной, в творчестве ни от кого не зависимой, является тем не менее выразителем очень массового, собственно *народного* мировоззрения, которое проявляется у него совершенно спонтанно, поскольку сам он это мировоззрение носит в себе». Критик обращает внимание на некоторые противоречия этого народного мировоззрения, как оно проявляется в книге Астафьева «Затеси. Новая тетрадь» («Новый мир», 1999, № 8).

См. также рецензию М. Ремизовой («Новая жизнь Карима Бухоро» — «Независимая газета», 1999, № 183, 1 октября) на повесть Андрея Волоса «Сирийские розы» («Новый мир», 1999, № 9) из его «хуррамабадского» цикла: «В прозе Волоса реализм выступает в своих традиционных формах — и доказывает свою неиссякаемую жизнеспособность».

Рерих и НКВД: битва за Гималаи. Беседовал Александр Сирота. — «Витрина читающей России». Официальный печатный орган Союза распространителей печатной продукции. 1999, № 9.

Беседа с журналистом Олегом Шишкиным, автором книги «Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж» (М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999): «Для меня он (Николай Рерих. — А. В.) — российский Индиана Джонс и одновременно Джеймс Бонд, потому что все ему доступно». Автор предполагает написать еще две книги: о Распутине и о Гурджиеве.

Инна Ростовцева. Андрей Платонов и Алексей Прасолов. К проблеме сокровенного человека. — «Литературная Россия», 1999, № 36, 17 сентября.

Поэт Алексей Прасолов как *сокровенный герой* Платонова.

Русские в Интернете. — «Дружба народов», 1999, № 9. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhiba>

Две статьи: С-НООК, «Я люблю мир, которого вообще нет»; Elena NOW, «Что оно с нами делает».

Давид Самойлов. Дневник счастливого мальчика. Вступление, подготовка к печати и публикация Г. Медведевой. — «Знамя», 1999, № 8.

Отроческий дневник Давида Кауфмана 1935 — 1936 годов. Семья и школа. Есть ли Бог? «О, как хорошо быть хорошим!»

Карен Степанян. Кризис слова на пороге свободы. — «Знамя», 1999, № 8.

Два недавно опубликованных романа являются — по мысли критика — классическими образцами *русского* постмодернизма и одновременно знаменуют новый этап в отечественной прозе: Владимир Маканин, «Андеграунд, или Герой нашего времени» («Знамя», 1998, № 1, 2, 3, 4); Михаил Бутов, «Свобода» («Новый мир», 1999, № 1, 2).

Игорь Сухих. Русские странники в поисках Китежа. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 8.

Авторская рубрика «Книги XX века». О романе Андрея Платонова «Чевенгур».

Татьяна Толстая. Архангел. — «Общая газета», 1999, № 36, 9 — 15 сентября.

Электронная версия: <http://www.og.ru>

Фрагмент незаконченного романа.

Юрий Трифонов: долгое прощание или новая встреча? — «Знамя», 1999, № 8.

Из материалов первой Международной конференции «Мир прозы Юрия Трифонова» (РГУ, журнал «Знамя», Академия Русской Современной Слоvesности). Участники «круглого стола»: Леонид Бахнов, Татьяна Бек, Наталья Иванова, Александр Кабаков, Анатолий Королев, Алевтина Кузичева, Андрей Немзер, Александр Нилин, Владимир Новиков и Ольга Трифонова.

Яан Ундуск. Камешек на зубах. Перевод с эстонского С. Семененко. — «Дружба народов», 1999, № 9.

У эстонца отсутствует *визитная карточка легенды*. «Эстонец не представляет в мире какого-либо типа, стиля или клише. Если Джордж, Тереза или Иван предполагают какое-то коммуникативное включение, то Тыну вызывает лишь недоумение. В этом его товарная слабость и вместе с тем его метафизическая сила».

Сергей Федякин. До жути одинокий... — «Независимая газета», 1999, № 178, 24 сентября.

К 90-летию Константина Воробьева, прозу которого критик сопоставляет с военной эпопеей Константина Симонова (естественно, не в пользу последней) и с «лейтенантской прозой» Виктора Некрасова: «Честность Некрасова и честность Воробьева — одной природы. Но Некрасов ближе к правде документа. Воробьев — к той художественной правде, которая была завещана русской литературе ее XIX веком». Сергей Федякин справедливо называет *повесть «Убиты под Москвой» одной из самых страшных и самых замечательных страниц русской прозы этого столетия*.

Составитель «Периодики» в качестве литературного критика тоже обращался к творчеству этого прозаика: о «деревенской» повести К. Воробьева «Друг мой Момич» см. рецензию «Разорение» («Новый мир», 1989, № 3).

Виктория Шохина. О фельдфебелях, карнавале и заговоре чувств. К 65-летию Первого съезда советских писателей. — «Независимая газета», 1999, № 162, 2 сентября.

О том, как мыши сами спешили в мышеловку и норовили обогнать остальных.

Сергей Юрский. Западный экспресс. — «Октябрь», 1999, № 9.

Варшава — Франкфурт-на-Одере — Берлин — Франкфурт-на-Майне — Базель — Берн — Женева — и швейцарско-французская граница. Начало пути см. в № 5 «Октябрь» за 1999 год.



ДАТЫ: 170 лет назад (1 января 1830 года) начала выходить «Литературная газета» А. А. Дельвига; 17 (29) января исполняется 140 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860 — 1904); 7 (19) января исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900 — 1973); 8 (21) января исполняется 100 лет со дня рождения Олега Васильевича Волкова (1900 — 1996); 100 лет назад С. А. Поляковым было основано московское издательство «Скорпион»; 70 лет назад начал выходить основанный М. Горьким журнал «Литературная учеба».

Составитель **Андрей Василевский.**

СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА



Открывая в разделе «Библиография» новую рубрику «Сетевая литература», я хочу поделиться некоторыми предварительными соображениями о том, что, собственно, станет предметом наших обозрений и как мы намерены ее делать (прекрасно понимая, что в процессе работы что-то в наших намерениях может и измениться).

Русский литературный Интернет несмотря на совсем молодой возраст накопил очень даже приличные ресурсы. Свои серверы открывают и ведущие известные библиотеки, и университеты страны, и литературные колледжи, школы, гимназии, представляющие здесь творчество своих воспитанников; есть в Интернете библиотеки, изначально создававшиеся как библиотеки электронные (назову наиболее популярные: **Публичная электронная библиотека Евгения Пескина** (<http://win.www.online.ru/graphics/rlibrary.gif>), представляющая русскую классику: Пушкин, Достоевский, Гончаров, Чехов, Блок, Гоголь... — и **Библиотека Максима Мошкова** (<http://lib.ru>), содержащая более 20 000 текстов — «Современная и античная художественная литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор, история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и парашютизм, философия и эзотерика и так далее);

есть сайты «музейные», скажем, **Мир Марины Цветаевой** (<http://tsvetaeva.da.ru>), а есть — посвященные творчеству современных писателей, Пелевину, например;

есть многонаселенные литературные сайты: **Клуб Русских Писателей Нью-Йорка** (www.kulichki.rambler.ru/rwc), а есть персональные, скажем, сервер Дмитрия Галковского (www.samisdat.aha.ru) и так далее, и так далее.

Иными словами, обозреть все интересное в русском литературном Интернете, даже при условии сужения разговора (только о современной литературе), невозможно. Разумеется, нам предстоит обращаться к разным серверам, но все-таки основным предметом нашего обозрения будут прежде всего **тексты современных писателей, так сказать, «экссклюзивно интернетовские», то есть существующие пока только в электронной версии.**

Употребленное выше словосочетание «русский Интернет» не означает, что мы будем учитывать некие географические границы. К счастью, Интернет такого понятия вообще не знает — доступность текстов, выставленных в Москве, Владивостоке, Бостоне, Сиднее, одинакова. Границы в Интернете только языковые. И мы намерены исходить из того, что все, написанное и выставленное в Интернете на русском языке, то есть созданное в русской культурной традиции (лично я не знаю ничего более фундаментального в культуре, чем ее язык — язык во всех смыслах), имеет самое прямое отношение к русскому литературному Интернету. (Здесь можно бы употребить слово «русскоязычный», но это кому как нравится. Мне кажется, что поскольку слово «русский» содержит признаки прилагательного, то в данном случае особой разницы между словами «русский» и «русскоязычный» нет.)

Мы не намерены рассматривать интернетовскую литературу как некий особый эстетический феномен. Возможно, это говорит о консерватизме и эстетической ограниченности составителя, но я, например, пока еще не сталкивался с текстами, которые убеждали бы меня в существовании особой интернетовской поэтики литературного творчества. Даже такой прием, как организация повествования с помощью гипертекста, — казалось бы сугубо интернетовский специфический прием, — рожден творческой практикой писателей в докомпьютерную эпоху (вспомним «Модель для сборки» Кортасара или «Бесконечный тупик» Галковского). В своих суждениях о литературе, представленной Интернетом, мы исходим из того, что в конечном счете литературные произведения разделяются отнюдь не по признаку технологии — чем написано, гусиным пером или металлическим? на «Рейнметалле» отстукано или на компьютере? Интернетовская литература представляется нам просто частью литературы. И соответственно сайты, представляющие ее, мы будем

рассматривать как еще одну группу литературно-художественных изданий. Короче, мы рассматриваем Интернет просто как место первой публикации произведений, а не как особую их, произведений, поэтику. Сознаю, что сказанное здесь может показаться спорным, и с интересом готов выслушать возражения, а если будут серьезные аргументы — готов к обсуждению вопроса.

Ну а пока мы обязаны проделать, может быть, скучную, но необходимую здесь работу — представить, хотя бы кратко, ведущие литературные сайты. (Знакомство с сайтами продолжится и в следующих обзорах, но в дальнейшем оно будет сочетаться с разговором о конкретных произведениях.)

Итак:

ЛИТО имени Стерна (www.lito.spb.ru) — один из «старейших» и авторитетнейших литературных сайтов русского Интернета. Представляет творчество современных писателей. *«Литературное объединение им. Лоренса Стерна — это содружество сетевых литераторов, созданное для творческого общения, обсуждения литературных работ и работы над совместными литературными проектами».* Автор проекта и исполнитель — известный петербургский прозаик Александр Житинский. Среди авторов, представивших свои произведения, писатели из России, Белоруссии, Украины, Германии, Японии, США и т. д.

ВАВИЛОН. Современная русская литература (www.vavilon.ru) — один из самых грамотно выстроенных, внятных по структуре и «вместительных» литературных сайтов.

«Вавилон — это попытка всесторонне представить в Интернете современную русскую литературу высокой пробы: от „живых классиков“ до только входящих в литературный мир 20-летних. Сфера нашего интереса — все многообразие актуальных сегодня поэтик (включая и вполне традиционные, но, как нам кажется, не исчерпанные до конца). Формы представления:

1) Антология современной русской литературы (с некоторым преобладанием поэзии): открыты персональные страницы 73 авторов, на каждой — краткая биография, фотопортрет и, конечно, достаточно представительное собрание текстов (среди этих авторов — Наталья Горбаневская и Сергей Гандлевский, Геннадий Айги и Всеволод Некрасов, Лев Лосев и Нина Искренко);

2) сетевые версии ряда важных для нынешнего литературного процесса периодических изданий (преимущественно экспериментальных, малотиражных и т. п.);

3) хроника литературной жизни (планы литературных мероприятий в Москве, отчеты о состоявшихся литературных вечерах, информация о новых книгах);

4) авторские проекты литераторов, предназначенные специально для Интернета: страница Всероссийского конкурса поэзии хайку, литературный журнал TextOnly, мемориальная страница выдающегося переводчика Норы Галь и др.».

Автор проекта и нынешний куратор сайта — Дмитрий Кузьмин.

Современная русская литература с Вячеславом Курицыным (<http://www.guelman.ru/slava>) — сайт, посвященный современной литературе. Сравнительно молодой, существует около года, но ресурс наращивает очень активно и потому уже вошел в число самых популярных в Интернете. Это произошло еще и благодаря еженедельным, энергично написанным обзорам культурной и литературной жизни держателя сайта Курицына. Кроме обзоров «Курицын-weekly» на сайте помещены имена ста лучших, по мнению Курицына, современных писателей, от Солженицына и Аксенова до Пригова и Левкина, читатель может обратиться к текстам части этих писателей через сайт Курицына, пока, правда, не ко всем ста. А также на отдельных страницах присутствуют собственно интернетовские публикации, среди их авторов Илья Алексеев, Маргарита Меклина, Наталья Смирнова, Кася Попова, Аркадий Застырец, Константин Уваров, Тимур Кибиров, Станислав Гридасов, Илья Фальковский, Дмитрий Кузьмин.

ОСТРАКОН (http://members.tripod.com/~barashw/ostr_z.gif) — сайт, содержащий тексты русскоязычных писателей Израиля. А также электронную версию журналов «Зеркало» и «Поэтический Иерусалим», отчеты о встречах в литературном салоне «на крыше» у Ольги Медведевой.

«ОСТРАКОН (греч. глиняный черепок) — археологический термин: часть стенки разбитого сосуда, использованная для записей. Две-три тысячи лет назад черепки были самым распространенным подручным материалом...»

«Наш сайт призван быть таким виртуальным черепком — ОСТРАКОНОМ для всех названных — и каких угодно других целей, — вписанных при этом в контекст современной русской литературы и — жизни в той точке Восточного Средиземноморья, которая для многих — и по разным причинам — носит название Святой Земли... Имена, внесенные в наше Собрание, — это в первую очередь те люди, которые составляют сегодня определенный круг литераторов, выходящих из России и пишущих по-русски, живущих в Иерусалиме и Тель-Авиве... Что касается эстетической и личностной проблематики, с которой мы имеем дело, то здесь можно привести выдержку из книги Александра Гольдштейна „Прощание с Нарциссом”... „Дело не в том, чтобы отпраздновать разрыв с традицией метрополии, речь идет о создании новой культурно-географической перспективы... ВАРИАНТ КАВАФИСА, названный так мною и Александром Барашем, возвещает о том, что русский литературный Иерусалим — Тель-Авив станет вскоре новым благородным камнем в ожерелье средиземноморских столиц. И человек, выводящий в Израиле русское слово, обретет собратьев среди тех, кто занят тем же ремеслом в Касабланке, Танжере, Стамбуле, Триполи, Тунисе, Алжире, Марселе. Это будет удивительная разноязычная община, небывалый родственник цех...”»

На сервере представлены со своими произведениями Александр Гольдштейн, Михаил Гробман, Александр Бараш, Ольга Медведева, Наум Вайман, Юлия Винер, Илья Брокшейн, Михаил Король и другие. Куратор сайта — поэт Александр Бараш.

Страница Александра Левина (http://levin.rinet.ru/map_4.gif) — очень емкая страница, кроме стихов, статей самого Левина, а также его компьютерного бестселлера «Самоучитель работы на компьютере» (почти все мы учились по нему), здесь открыты персональные страницы для Строчкова, Тучкова, Байтова, Ахметьева, Сухотина и других.

Сетевая словесность (<http://www.litera.ru/slova>) — как следует из названия, представляет современную сетевую литературу.

«Словесность» — это журнал, поскольку здесь публикуются новые произведения. Но журнал предполагает периодичность, дискретность выпусков, здесь же — точечные публикации в континууме индивидуального и коллективного творчества. Нет выпусков, нет номеров, есть естественно образующиеся конфигурации текстов-авторов-тем-жанров-мотивов. В этом смысле «Словесность» — принципиальным образом НЕ журнал.

Значит, это библиотека, хранилище текстов? Да, поскольку «Словесность» — весьма представительное собрание произведений современной литературы. Но в обычную библиотеку попадают уже опубликованные произведения, здесь же они в большинстве случаев предстают перед публикой впервые.

И наконец, «Словесность» — лаборатория словесного творчества в электронной среде — как теоретическое, так и практическое (разнообразные эксперименты в построении гипертекстовых и мультимедийных произведений).

Координатор проекта — Евгений Горный.

Vernitskii Literature. Молодая русская литература (<http://www.friends-partners.org/~alexey/>) — «многонаселенный» литературный сайт. Вполне соответствующий по содержанию своему названию. На титульной странице предупреждение: «В текстах встречаются сильные выражения!» Имена представленных авторов в большинстве своем кажутся незнакомыми (Наталья Кожевникова, Ренат Гильфанов, Татьяна Данильянц, Валентин Мазиллов, Дмитрий Мозговой, Александр Дашевский, Гера Скрипка, Мария Ордынская и другие), но даст бог, еще их узнаем. Основатель проекта — Алексей Верницкий, куратор проекта — Ольга Зонберг.

Лавка языков (http://vladvostok.com/Speaking_In_Tongues/voices) — на этом сайте тоже множество незнакомых нам имен (Татьяна Ретивова, Константин Дмитриенко, Александр Белых, Андрей Пичахчи и другие), поэты, переводчики, литераторы. Сайт, судя по адресу, создан во Владивостоке, задуман как сайт элитарной литературы, в частности переводной, и, похоже, выдерживает заявленный уровень.

Лягушатник (<http://www.net.cl.spb.ru/frog/>) — попытка сугубо интернетовского литературного творчества. В том числе и творчества коллективного. Полное название сайта: «Лягушатник. Журнал поэзии хайку». Автор проекта Алексей Андреев.

Статья редактора журнала «От цветка к саду» о сетевых интерактивных играх и гипертекстах, основанных на методах японской поэзии, в известной мере является еще и литературным манифестом сайта. Правда, здесь представлены и более традиционные формы творчества. Имена авторов: Елена Мулярова, Михаил Визель, Алексей Добкин, Виталий Павлюк, Галина Коваленко, Макс Смолев, Екатерина Бондарева, Владимир Забалуев, Аля Пономарева, Алексей Верницкий, Степан Печкин, Владимир Герцик и другие.

Составитель **Сергей Костырко**.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Январь

5 лет назад — в № 1 за 1995 год напечатана «революционная хроника» Валерия Залотухи «Великий поход за освобождение Индии» и документальное повествование Марка Кострова «Дульные тормоза. Рассказы об НСА — Независимой северной армии».

10 лет назад — в № 1, 2, 3, 4, 5 за 1990 год напечатан роман А. Солженицына «В круге первом».

15 лет назад — в № 1 за 1985 год напечатан рассказ В. Катаева «Спящий».

20 лет назад — в № 1, 2 за 1980 год напечатан роман Даниила Гранина «Картина».

30 лет назад — в № 1 за 1970 год напечатана повесть Чингиза Айтматова «Белый пароход. (После сказки)».

35 лет назад — в № 1, 2, 3, 4 за 1965 год напечатана шестая книга воспоминаний Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

40 лет назад — в № 1 за 1960 год напечатаны «Новые стихи» Анны Ахматовой («Подумаешь, тоже работа...», «Не страшай меня грозной судьбой...», «Летний сад», «Отрывок», «Воспоминание»).

70 лет назад — в № 1, 2, 3, 4, 5 за 1930 год напечатан роман Леонида Леонова «Соть».

SUMMARY



In 2000 the magazine «Novy Mir» is celebrating its 75-th anniversary. The first issue is opened by a ceremonial jubilee ode. The Valery Zalotukha's story «The Last Communist» and Larisa Miller's prose «And I Feel Myself as a Non-Returner» are published in this issue. You can also read the first part of Marina Paley's literary work «The Long Distance or The Slavic Accent»; the author calls such a genre as «screen script imitations».

The poetry is represented in this issue by new poems of Aleksander Kushner; here you can also read poems, written by Ariadna Efron in fifties.

The well-known writer Boris Yekimov publishes his new essay «Ten Years Later», dedicated to problems of contemporary Russian countryside life.

Under the heading «Times and Manners» Marietta Chudakova's sketches «Human Talks and Horses' Thud» are represented; you can also find here the article «The Spirit of Time and the Sense of Humor» written by Sergey Averintsev.

The constant heading «By the Way» is written by a culturologist Jury Kagramanov.

Under the heading «Close Remote Past» are published memoirs of the priest Boris Stark and Natalia D. Stark.

The Rustam Rakhmatullin's article «Exodus», dedicated to metaphysical landscapes of Moscow, are published under the heading «Les Essais».

In the light of the magazine's anniversary this issue presents interviews of the «Novy Mir» editor in-chief with Jury Burtin, Marietta Chudakova and Mikhail Novikov.

The literary critique is represented by the Andrey Nemzer's article «The Remarkable Decade» dedicated to contemporary Russian prose.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор **А. В. Василевский**

Редакционная коллегия: **М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев**

Корректоры **Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова**

Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерная верстка — **И. Н. Колесникова**

Компьютерный набор — **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,
для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.09.99 г. Подписано к печати 29.11.99 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 16,0 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

Тираж 14 480 экз. Зак. 5725. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**«НОВОМУ МИРУ» —
75 ЛЕТ!**

**РОМАН
МИХАИЛА БУТОВА
«СВОБОДА»**

(«НОВЫЙ МИР», 1999, № 1, 2)

**ПОЛУЧИЛ
ЛИТЕРАТУРНУЮ ПРЕМИЮ
SMIRNOFF-БУКЕР
КАК ЛУЧШИЙ
РУССКИЙ РОМАН
1999 ГОДА**